ISSN 0130 – 6545

# 1981 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ. МОСКВА

1981

1 Январь


## Содержание


АРИЭЛЬ КАНСАНИ Д. — Стихи *(Перевод с испанского и вступление Владимира Резниченко)* 3

ИМРЕ ШАРКАДИ — Рассказы *(Перевод с венгерского и вступление Л. Васильевой)* 7

УИЛЬЯМ СТАЙРОН — Софи делает выбор *(Главы из романа. Перевод с английского Т. Кудрявцевой. Послесловие Г. Злобина)* 26

РИШАД АБУ ШАВИР — Плач на груди любимой *(Повесть. Перевод с арабского В. Шагаля. Вступление Р. Ланды)* 83

### Литературные иллюстрации

МАКС ФРИШ — Человек появляется в эпоху голоцена *(Повесть. Перевод с немецкого Е. Кацевой. Послесловие Е. Книпович)* 122

### Критика

**Сопоставляя точки зрения**

Ф. М. Достоевский и мировая литература (Беседа в редакции) 179

## Культура и современность

### Заметки на полях

Ю. Погосов — Пора зрелости (Кубинская литература на страницах журнала «Революсьон и культура») 215

## Публицистика

### От имени планеты...

Выступления участников Третьей Международной встречи писателей в Софии 218

АНУАР АЛИМЖАНОВ — Под одним небом 241

## Антирубрика

Л. М. ФЭЛЛОУ — Собиратели путовиц *(Перевод с английского Л. Биндеман и В. Лимановской)* 248

## К нашим иллюстрациям

Е. Львова — Светлин Русев 253

## Среди книг

### Издано в СССР

«Ваша страна протягивает нам руку дружбы...» (Интервью с Гуанасеной Витаной) ✦ В. Молчанов — Рынок образов ✦ Н. Попова — Маленький большой мир 254

### Издано за рубежом

Дм. Хачатурян — «Бесплодная смоковница» ✦ В. Иорданский — Жизнь... как падающая звезда 259

## Из месяца в месяц 263


*На первой странице обложки: СВЕТЛИН РУСЕВ (Болгария). «День последний». Фрагмент.*

*На четвертой странице обложки: СВЕТЛИН РУСЕВ. Пейзаж.*

© «Иностранная литература», 1981.

# АРИЭЛЬ КАНСАНИ Д.

*Перевод с испанского и вступление ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО*

Все эти стихи, по словам их автора, известного аргентинского поэта Ариэля Кансани Д., написаны в море. Ариэль Кансани — капитан торгового флота. Вот уже более тридцати лет он плавает в океане, бывая в своем родном Буэнос-Айресе лишь считанные недели в году.

Минувшим летом крупный сухогруз «Ла пампа» впервые бросил якорь в ленинградском порту. Пока судно находилось под разгрузкой и погрузкой, поэт успел побывать в Москве. Здесь он встретился с писателями, был гостем редакции «Иностранной литературы».

Все эти стихи, как уже было сказано, написаны в море. Однако капитанская рубка Ариэля Кансани Д.— не плавучая башня из слоновой кости. Поэт-моряк всем своим сердцем обращен к земному бытию с его многочисленными проблемами — социальными, политическими, философскими. Может быть, в самом деле суша ему лучше видна оттуда — из морской дали? И разве, читая лирику Кансани, не начинаешь убеждаться в правильности бытующего представления о том, что моряки умеют любить и тосковать в разлуке, как никто другой?

Есть, наверно, еще одна черта, особенно присущая характеру моряков,— мечтательность, склонность к фантазиям. Лирический корабль Кансани и впрямь до предела нагружен фантазиями и мечтами. Поэт грезит о мире, где «красота сосуществовала бы со справедливостью, хлебом и миром». «Я посеял слова, тысячи слов...— пишет он в предисловии к своей последней книге,— служа будущему, всепланетному человеку, который уже живет и пробуждает в каждом из нас безымянные (и в то же время могущественные) ферменты, помогающие выстоять и не сдаться».

Разыскивая пути к человеку, «живущему среди свободы и красоты», сам поэт, судя по его словам, обитает в мире гораздо более прозаическом. Морская служба, рассказывает он, для него отнюдь не только романтика, но прежде всего ремесло, дающее средства к существованию ему и семье. В течение десяти лет Кансани выпускал поэтический журнал «Корморан и дельфин», но из-за недостатка средств был вынужден прекратить его издание.

...Сейчас, когда стихи Кансани впервые появляются на русском языке, их автор, наверное, находится в очередном плавании. «На суше много хлопот,— сказал нам поэт во время беседы в редакции.— Но когда корабль в море, капитан спокоен». Словам этим поверить довольно трудно. Ведь если судить по поэзии Ариэля Кансани Д., человек этот не бывает спокойным — даже в теплых южных морях во время полнейшего штиля.

---

**АРИЭЛЬ КАНСАНИ Д. — ARIEL CANZANI D.** (род. в 1928 г.).

Аргентинский поэт. Автор многих поэтических сборников, критических статей и стихотворных переводов. Его стихи переводились на многие языки мира. На русском языке печатается впервые.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Стихотворения, необходимые для роста» («Poemas del crecimiento necesario», Buenos Aires, 1974) и «От моря к морю, от земли к земле» («De mar en mar, de tierra en tierra», Buenos Aires, 1980).

## Скупцы

Скупцы,
зря стережете
свои ларцы!

Все равно ведь
вам принадлежать
никогда
не будут
это солнце
и эти цветы,
эта жизнь
и эта картина,
которую пишет
художник,
не имеющий ни гроша
в своем дырявом кармане,
полном фантазий.
Вам принадлежать
никогда
не будут
стихи,
прорастающие
из семян огня,
ветер,
тучи,
любовь
и поцелуи.

Скупцы,
зря стережете
свои ларцы!

## Сны

Я положу
в свои ладони
ящериц
пускай
они
уснут.

И пауков
и муравьев-гигантов
и голубей
пускай
они уснут.

Пусть
упадет
на волны
вечер
пусть
буревестник ночи
в черном
клюве
унесет
мои глаза
и пусть заря
мне выпачкает
кровью
пальцы.

Я положу
в свои ладони
сны
пускай
они
цветут.

## Раскрывая глаза

Солнце
каждое утро
может согреть нас лучами
ветер
обласкать наши лица
туча
пролиться теплым дождем
моллюск-аргонавт
преподнести нам
фиалки и розы
расцветшие
в его туловище
незамысловатом
медуза
с сивой старческой бородой
раствориться
в зеленой глуби
нежно облекающей
наши тела
чайка
принести в своем клюве
весточку от любимой
из горячих широт
мошкара
подарить нам
свое многотысячное потомство
погибающее от изумленья
глядя вниз
на эту ужасную
бездну.

Есть люди
которые могут
принести нам

© Editorial Losada, S. A., 1974.

в своих глазах
и ладонях
раскрытых
как лепестки
цветов
редкостной красоты
мысли
и сновиденья...

Солнце
каждое утро
может согреть нас лучами...

## *Не продавай свою песню*

Не продавай свою песню.

Если ты
нуждаешься в золоте,
лучше укради его,
но песню не продавай

никогда.

■ ■ ■

Губы — для поцелуев
и только потом — для слов.

Губы — для поцелуев
и только потом — для проклятий.

Губы — для поцелуев,
и лишь когда это нужно —
чтобы плюнуть в лицо.

Губы — для поцелуев,
вовеки — для поцелуев,
чтобы любить безмерно,
чтобы встречать по-братски
всех, кто идет нам навстречу
(будь то друг или недруг).

Губы — для поцелуев,
чтоб целовать исступленно
женщину — ту, что любит,
женщину — ту, что мечтает,
женщину — ту, что ждет.

Губы — для поцелуев!
Люди, не забывайте:
бог сотворил наши губы
только для поцелуев;
после, намного позже,
грянуло первое слово,
первый язык родился,
вспыхнули первые войны;
губы сжав, мы окрепли
в невероятной вере:

губы — для поцелуев!
После, намного позже —
чтоб, разрываясь в крике,
требовать мира и счастья.
Дайте ж им целоваться
и расцветать в поцелуях,
пусть сбудется их призванье,
пусть они служат любви!

## *Путь по земле*

С моря приходишь очищенным,
опаленным солнцем и ветром,
ошпаренным пеной кипящей,
вымытым непогодами,
ливнями и снегами.

Город меня укачивает;
после стольких скитаний
в беспредельной лазури
мне непонятны игры,
в которые он играет.

С моря приходишь чистым
и с опаской,
чуть-чуть враскачку
начинаешь свой путь по земле.

## *Пройденное*

Сколько горя
громоздится
в этих глазах!

Сколько ярости
сотрясает
эти руки!

Сколько сомнений
запало
в это сердце!

Сколько грязи
налипло
на эти ступни!

## *Путешествие без глаз*

Вчера,
устав
от непрерывного пользования
глазами,
я их оставил
на грязном столике в баре
и продолжил свой путь.

День
померк...

Теперь я уже не вижу
женщину,
которая, выбиваясь из сил,
тащит двоих малышей,
а третьего,
спящего,
прижимает к груди.

Теперь я уже не вижу
плачущих
и беременных,
роскошь
и нищету,
выпрашивающую подаянья.

Теперь я уже не вижу
циников,
негодяев
и добрых людей,
облака
и деревья.
Теперь я уже не вижу
солнце,
свет которого
повинен
в стольких мерзостях.

. . . . . .

Стрелки часов
вращались
безостановочно,
и я
длинными пальцами
извлек из мрака
свои глаза —
к этому времени
они уже успели
погаснуть.

## *Вопросы ко власть имущим*

Сеньор епископ, рассейте мои сомненья:
вам ежедневно доводится беседовать с богом —
неужто же он всякий раз вас прощает,
когда вы благословляете армии?

Сеньор генерал, соблаговолите ответить:
если один только танк стоит сто миллионов песо,
если напалм сжигает стольких мужчин и женщин,
разве не поэтично быть партизаном?

Сеньор инквизитор нашей мечты и сновидений,
заносящий нас в свою постыдную картотеку,
неужто вы до сих пор понять не сумели,
что все ваши труды абсолютно бесплодны?

■ ■ ■

Конечно, был я водорослью, *
зеленой или синей,
в одной из прежних жизней.

Иначе бы сейчас
я море не любил
так горячо и сильно,
что даже сердцу больно.

■

* © Editorial Losada, S. A., 1980.

# ИМРЕ ШАРКАДИ

## *Рассказы*

*Перевод с венгерского и вступление Л. ВАСИЛЬЕВОЙ*

Советский читатель пока еще мало знаком с творчеством Имре Шаркади. На русский язык переведены его пьесы, повесть «Трусиха» и рассказ «Дезертир» — у нас он напечатан в молодежном журнале, включен в две антологии.

«Дезертир» — возможно, лучший рассказ Имре Шаркади. Он был написан в 1948 году и почти сразу стал хрестоматийным для венгерской новеллистики. Время действия рассказа — конец войны, Советская Армия уже воюет на территории Венгрии, хортистские части отступают на запад. Молодой солдат — голодный, промерзший, без курева, в его рваных ботинках хлюпает декабрьская жижа — решается ненадолго заглянуть на свой хутор, мимо которого идет его часть...

Рассказ подкупает безыскусностью ситуации, простотой языка и вместе с тем острым драматизмом. Секрет его эмоционального воздействия, быть может, еще и в том литературном приеме, к которому прибегает автор. Повествование ведется от первого лица, от лица того самого безымянного крестьянского парня, которого вдруг так сильно потянуло к теплу домашнего очага. Рассказ, как и человеческая жизнь, обрывается внезапно: «Солома под их сапогами была сырой, и тот, в фуражке, уже навел на меня автомат, и все четверо выстрелили...»

Литературный прием сам по себе, конечно, не нов. Русскому читателю, возможно, вспомнятся лермонтовские строчки:

С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана...

или знаменитая поэма-реквием:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте...

Но если у Лермонтова условность происходящего как бы оговорена с самого начала — стихотворение называется «Сон», и у Твардовского определенность первой строки исключает какую-либо надежду на счастливый конец,— то у Шаркади читатель до последней минуты верит в чудодейственное спасение героя, в то, что он «не услышит разрыва», «не увидит той вспышки», ведь «дезертир» рассказывает о себе, рассказывает о том, как чуть было не погиб от рук карателей... Шаркади, кстати, и сам однажды едва не стал жертвой нилашистов, уклоняясь в 1945 году от воинской повинности.

© Sarkadi Imréné, Sarkadi Ádám, Sarkadi Borbála, 1975.

**ИМРЕ ШАРКАДИ — SARKADI IMRE** (1921—1961).

Венгерский писатель, журналист, драматург; лауреат премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. Основные произведения: повести и романы «Путь Яноша Гала» («Gál János útja», 1950), «Привидения в Сикеше» («Kisértetjárás Szikesen», 1950), «Зверь с хутора» («Tanyasi dúvad», 1953), «В бурю» («A Viharban», 1955), сборников рассказов «Удача Михая Барты» («Barta Mihály szerencséje», 1952), «Воробьиное поле» («Veréb dülö», 1954) и др.

На русский язык переведена повесть «Трусиха», пьесы «Потерянный рай», «Сентябрь», рассказ «Дезертир».

Предлагаемые рассказы взяты из книги «Новеллы» («Novellák». Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975). Они войдут в сборник избранных произведений И. Шаркади, готовящийся к печати в издательстве «Художественная литература».

Имре Шаркади — автор многих новелл, повестей, романов, пьес, один из талантливейших представителей поколения венгерских писателей, творчество которых развивалось после Освобождения. Он родился в Дебрецене, работал помощником аптекаря, печатником, обучался юридическим наукам в Дебреценском университете, учительствовал, был рабочим на заводе, редактором на киностудии «Мафильм», писал критические статьи об И. Эркене, Т. Дери, Л. Немете, а также о Джойсе и Хаксли, но главные свои силы отдавал журналистике, писательскому труду. «Его проза созвучна стремительности его времени; в период после Освобождения Имре Шаркади был самым прозорливым, самым обещающим писателем»,— считает исследователь его творчества, известный критик Ласло Б. Надь.

1945 год — начало нового летосчисления и для венгерской истории, и для венгерской литературы. Многие писатели оказались сразу в гуще политических событий, вызвались служить своим творчеством новой жизни.

Шаркади сотрудничал в газете Национальной крестьянской партии, был хроникером, социографом, одним из «исследователей деревни». В 1946—1948 годах он объездил — на бричке, а случалось, и на крыше поезда — всю страну. Он с удовольствием побывал бы в каждой деревне, чтобы увидеть все своими глазами и, основываясь на личных, непосредственных впечатлениях, описать жизнь крестьян после земельной реформы. И каким бы аспектом политической, социальной жизни села Шаркади ни занимался, он всегда докапывался до сути, «пытался вникнуть,— по признанию современников, во все хитрости, выведать все секреты — не только у жизни, но и у смерти». Несколько лет Шаркади учительствовал в Балмазуйвароше, жил в только что организованном кооперативе, переносил вместе с крестьянами тяготы и невзгоды трудных лет становления, боролся вместе с ними за социалистическое переустройство села, и частью этой борьбы была его книга «Воробьиное поле», которую венгерская критика и по сей день считает самым достоверным писательским отчетом о венгерском селе на пути к новой жизни. Сборник рассказов «Воробьиное поле» был удостоен премии Кошута. Не только в рассказах, но и в повестях того времени («Путь Яноша Гала», «Рози», «Зверь с хутора» и других) писатель изображает «душевные битвы», вызванные коренными изменениями в жизни крестьянства, понимая, что сейчас в селе решаются самые острые, самые злободневные проблемы современности.

Имре Шаркади был блестящим полемистом, он принимал участие в литературных дискуссиях 50-х годов, когда сталкивались иной раз полярные точки зрения на взаимоотношения литературы и действительности, литературы и политики. Многие дискуссии велись в исключительно напряженной политической обстановке. Обсуждалась ли проблема свободы и ответственности, старых и молодых писателей, говорилось ли о «пессимистических произведениях», о «духовных блужданиях» или о писателях, сохраняющих дистанцию в «три шага от марксизма», Шаркади всегда выступал с позиций приверженца нового, социалистического строя, с позиций человека, который честно пытается разобраться в том, что достигнуто, что сделано хорошего и где были допущены ошибки в годы строительства социализма.

Тяжело пережив события 1956 года, Шаркади, и раньше не поддерживавший позиции самоизоляции, нашел в себе силы, как и герой его знаменитой новеллы «В колодце» Мате Биро, выбраться к свету, вернуться к активной творческой деятельности.

Имре Шаркади начинал как «крестьянский» писатель, венгерские критики даже называли его «талантливейшим эпигоном Морица» — может, не только за приверженность крестьянской проблематике, но и за суровость морицевского реализма, непримиримость ко всякой лжи. Значительное место в творчестве писателя заняла и антифашистская тема. Но в последние годы Шаркади все настойчивее обращается к философским, нравственным проблемам, он размышляет о роли интеллигенции, о месте художника в новом обществе. Герои его поздних повестей, отмеченных острокритическим пафосом («В бурю», «Записки доктора Шебека», «Трусиха»),— интеллигенты, не поспевающие за общественными изменениями, нелегко преодолевающие инерцию прошлого или просто струсившие перед жизнью. «Меня интересовали люди,— признается автор,— которые, несмотря на свои незаурядные способности, по каким-либо причинам не принимали социализм и которые, как мне приходилось наблюдать, рано или поздно терпели из-за этого крах».

Имре Шаркади, прожив очень короткую жизнь, оставил заметный след в истории венгерской литературы. Его проза оказала влияние на таких видных художников слова, как Ференц Шанта, Шандор Шомоди Тот, Йожеф Дарваш. Пьесы Шаркади не сходят со сцен венгерских театров; по его произведениям сняты фильмы, самый известный из них — «Карусель» — успешно демонстрировался во многих странах. О творчестве писателя пишутся статьи и исследования. А несколько лет назад будапештское издательство «Сепиродалми» выпустило четырехтомное собрание его сочинений — рассказы, повести, пьесы, эссе, каждый том предваряет вступительная статья одного из известных критиков. Это издание — и дань уважения талантливому художнику, и серьезное испытание для его произведений, написанных два-три десятилетия назад. Не оставят ли они равнодушными людей следующего поколения? Не обернется ли новое прочтение для давних почитателей таланта Имре Шаркади разочарованием? По свидетельству венгерской прессы, эти опасения оказались напрасными.

# *В Хортобади*

Старший табунщик Андраш Буйдошо сидел верхом на лошади и смотрел прямо перед собой. Трудно было сказать, думает ли он сейчас о чем-нибудь. Темное от загара, с глубокими морщинами лицо казалось вырезанным из дерева, и весь он, сухой, маленький, походил на древнюю диковинную статуэтку. Он сидел не шевелясь, даже веки его не вздрагивали — само застывшее спокойствие. Казалось, он не только ни о чем не думает, даже не дышит.

А старик между тем размышлял: что было бы, если бы он был вовсе не он, а кто-то другой, богатый, носил бы дорогую одежду, жил бы в городе, в красивом доме, где было бы много комнат и он — лет на тридцать моложе,— окруженный роскошью, сидел бы за столом, уставленным всякими яствами. Чудно́ было бы! Жаль, не удалось ему этого испытать. А вот почему не удалось?

Две собаки вскочили, тявкнули раз-другой, предупреждая хозяина, что кто-то приближается к ним, но этот кто-то был еще далеко, а собаки обленились и выжидали теперь — пусть поближе подъедет.

Андраш Буйдошо слегка повернул голову туда, где неподалеку от него, расстелив на траве армяк, лежали два его сына. Старший что-то рассказывал младшему, оба смеялись, но так тихо, будто боялись потревожить тишину в степи, нарушить безмолвие отца.

Буйдошо только взглянул в их сторону — и они тут же вскочили, подошли к отцу и стали напряженно всматриваться, кто там в коляске, долго смотрели, хотя в первую же минуту поняли: коляска муниципального советника.

— Коляска муниципалитета,— сказал Янош, старший сын.

— Двух черных меринов запрягли,— со знанием дела добавил Балинт.

Старик молчал.

— Господин муниципальный советник, господин Вереш к нам пожаловал.

— И правда он. Интересно, что ему здесь надо?

— Сейчас скажет.

Старик слегка нахмурился — вот любят болтать попусту. Раз едет, значит, надо. Приехал уже.

Ему было досадно, что мысли его прервали. Чего ради явился сюда глава муниципалитета?

Буйдошо только тогда слез с лошади, когда коляска подъехала совсем близко, и собаки, заливаясь лаем, прыгали уже у ног черных меринов. Старик снял с лошади седло, хлопнул ее по крупу, чтобы шла в табун, к другим лошадям, и направился к муниципальному советнику, сам пошел, потому что уважал его, чувствовал к нему расположение. Не раз сиживали они вместе в корчме, пили вино, пели песни.

Муниципальный советник Иштван Вереш — огромный, как бегемот, ростом чуть ли не два метра, весом с центнер, здоровый, сильный, лицо медно-красное, голос громовой — был живым, жизнерадостным человеком, заядлым охотником, любил и поесть и выпить. Куртка на нем чуть не лопалась, он был весь потный и пыльный и, здороваясь, так сильно сжал табунщику руку, будто у самого рука была железной.

— Зря вы лошадь отогнали,— сказал он.

— Зря?

— Впрочем, и другую оседлать можно. Любую... Отправляемся в полдень, сразу после обеда.

Буйдошо поглядел на табун, слегка сдвинул брови.

— Они отдыхают пополудни.

— Знаю, только не до отдыха сейчас. Я бы тоже отдыхал, будь на то моя воля, я бы сейчас такие сладкие послеобеденные сны видел, до утра бы не проснулся. Не удовольствия же ради трясся я в коляске сорок километров.

И он вытер пот со лба.

— Надо уходить с табуном, Буйдошо. Сегодня же. Это приказ. Фронт близко. Нужно уходить, пока еще можно уйти.

Вереш тяжело вздохнул, вытер лицо, шею, выругался, обозвал этот приказ идиотским. Зачем перегонять табун? И куда? На край света все равно не убежишь с ним. Будь что будет. Солдаты так или иначе придут сюда, все отнимут, продадут, разбазарят, пустят в расход — тут и сам господь бог не поможет. Но приказ есть приказ.

Андраш Буйдошо молча, неторопливо набивал трубку.

— И куда перегонять, ваше благородие?

— К Полгару. До ночи надо перейти мост, на той стороне у Тиссапалконье переночуете. Там хороший выгон.

— В Палконье и останемся?

— Нет, оттуда дальше надо идти.

— Еще дальше?

— За Дунай.

Старый табунщик не спеша чиркнул спичкой, закурил. И только тогда поднял глаза на Вереша.

— А зачем, ваше благородие? Скажите, зачем?

— Зачем, зачем... Может, господь бог это и знает, а я — нет. Затем, что все со страху в штаны наложили, на плечах уже не головы, а тыквы, только и делают, что отдают разные распоряжения, а мы выполняй их.

Ему хотелось показать табунщику, что они товарищи по несчастью, что ему все это тоже не по душе, для него это тоже нелегкое дело, хотелось как-то выгородить себя. Оба знали, какая пагубная это затея — поднимать сейчас весь табун, бросить стойбище, загоны и, распихав пожитки по торбам, навьючив мешки на лошадей, отправиться неведомо куда. Ведь до сих пор они спокойно жили посреди огромной степи, и даже разрывы бомб и грохот пушек сюда почти не долетали, а от судьбы своей все равно никуда не уйдешь.

Андраш Буйдошо стоял неподвижно.

— Пора за дело приниматься, скоро полдень.

— Я не буду перегонять табун, ваше благородие,— пастух вскинул голову.— Я не буду.

Оба его сына стояли поблизости, слушали, переводя круглые от удивления глаза с отца на господина Вереша, переглядывались и облегченно вздохнули, когда их отец сказал: «Я не буду».

Муниципальный советник Вереш только рукой махнул.

— Зря вы это, Андраш, все равно что против ветра плевать. Приказ ведь.

Он повернулся, обвел взглядом жеребят, лошадей — табун сильно поредел — и покачал головой: и тут война сколько бед наделала, черт бы ее побрал.

— Я не поведу табун, ваше благородие,— снова твердо сказал Буйдошо.

— Ну а кто ж его, по-вашему, поведет? Чего вы этим добиваетесь? Господь бог что ли спустится с небес лошадей пасти?

— Вот когда спустится, тогда табун и пойдет. А до этого с места не сдвинется.

— Дурак ты, Андраш,— снова махнув рукой, сказал Вереш, переходя на «ты», а это городские господа не часто себе позволяли — только раз в году на празднике пастухов. Там, в большом зале городской ратуши, стоя рядом с городскими властями, даже старшие табунщики, даже самые сильные и мужественные выглядели жалкими и беспомощными, словно новорожденные ягнята.

— Я уже сказал, ваше благородие. Я не поведу.

— Ты нанимался пасти табун, Андраш Буйдошо, или не нанимался?

— Да, нанимался. Я и делаю ту работу, на которую нанимался: пасу табун здесь, в Хортобади, от Маты до Аламзуга, пасу в дождь, мороз, слякоть. Бывает, и голодный пасу, а то и не сплю по нескольку дней, такая уж у меня работа. Но срываться сейчас с места и мчаться черт-те куда, ваше благородие, на это я не согласен, на это я говорю «нет».

— Ты сам себе господин, тебе легко так говорить, ты себе гораздо больше можешь позволить. А я вот не могу сказать «нет», когда мне приказывают, я всего лишь безвольный, никчемный муниципальный советник, которому что ни прикажи, он все исполнит, в лепешку расшибется, но сделает, потому что я — всего лишь я, а не ваше благородие господин старший табунщик.

— Мне все одно, господин Вереш, я уже сказал.

— Ты что, Буйдошо, спятил, что ли?

— Может, и спятил, только я уже сказал: нет.

— Но почему, что случилось? Объясни мне, я пойму. Мне-то можешь сказать? Мы с тобой как-никак старые друзья.

— Я могу сказать, ваше благородие.

— Так говори.

— Сейчас скажу. Мне пятьдесят лет, и почти сорок из них я пасу лошадей. Я две войны пережил, в первую служил у господ в городе, поэтому освободили меня от военной службы, не взяли в солдаты ни тогда, ни сейчас, я не просил об этом, но все равно премного благодарен. А если бы забрали в армию, тогда уже ничего не попишешь, тогда бы делал все, что прикажут. Только если бы да кабы — что о том толковать. Но теперь — чтобы я погнал табун из Хортобади невесть куда? Вы можете мне сказать, куда я должен гнать табун? Столько лошадей! Что мне их, по пастушьим торбам распихать? Куда мне их деть — скажите бога ради. Некуда мне их спрятать, все равно отыщут, незачем мучить животных и себя тоже. А ребята мои? Мне их что, здесь оставлять или с собой брать? Метаться по степи как очумелые? Чего ради? Мы что, ограбили кого?

Табунщик хрипел, задыхался. Смуглое лицо стало лилово-красным, казалось, его сейчас хватит удар.

Советник Вереш молча слушал, его широкое, полное, с грубыми чертами лицо смягчилось, ему всегда был по душе старый пастух, а теперь он проникся к нему еще большим уважением, насколько можно проникнуться уважением к человеку из другой среды, из другого мира. Буйдошо выложил ему чистую правду. Конечно, табун здесь должен оставаться, и ему, Верешу, нужно было стукнуть кулаком по столу и сказать «нет», даже если бы стали сдирать с него шкуру, даже если катится в тартарары вся страна, зло и упрямо сказать «нет»— так должны поступать венгры, хотя и венгры-то настоящие перевелись, разве что один-два остались среди этих вот пастухов с задубленными от солнца лицами... А впрочем, пропади оно все пропадом, катись к чертовой матери, лучше всего завалиться сейчас в корчму, упиться в стельку и, если уж все к чертям собачьим летит, насыпать бы пороху в двухствольное охотничье ружье — оно сгодится, чтобы башку разнести.

Вереш вздохнул, выругался. Он понимал, что он трусливее табунщика, приказ ему все равно придется выполнять, а этот чертов пастух только время тянет.

— Ну что мы спорим, старина, ни к чему это. Скажите пастухам, чтобы собирались в дорогу, а вы садитесь в коляску, проедем пока до корчмы, выпьем по стаканчику вина.

— Вы знаете меня, ваше благородие?

— Уже лет двадцать.

— Так, стало быть, знаете: если я что сказал, то не отступлюсь.

— Андраш Буйдошо, да будет вам, что мы зря время теряем?

— И не надо его терять, ваше благородие. Вы меня знаете — я уже все сказал.

— Да ладно вам, садитесь, выпьем вина, потолкуем.

— Вина мы можем выпить, ваше благородие, да только все равно не столкуемся, я это наперед говорю.

— Ах ты господи, поехали же наконец — в горле пересохло.

Они выпили литр вина, потом еще литр и еще. Советник Вереш любил выпить и пил много, не хмелея. О табуне он не заговаривал, напевал что-то тихонько себе под нос, поглядывал на ласковое октябрьское небо, потом вдруг поднял с земли позднего осеннего шмеля, припорошенного пылью. Вереш съел кусок мяса, жареную рыбу, тарелку супа, свежих горячих булочек — штук пятнадцать, выстрелил в ястреба, который долго кружил у них над головами, наконец расплатился и сказал: «Ну, ладно, в путь».

Андраш Буйдошо опять только коротко бросил: «нет».

— Послушай, ты, Буйдошо! Видишь эту подкову? Мне ее согнуть ничего не стоит, а за тебя примусь, так только мокрое место останется... Я тебе на одну ногу наступлю, за вторую дерну, пополам разорву, даже ахнуть не успеешь. И ты еще осмеливаешься мне перечить, грязная скотина. Я тут с ним, видишь ли, разговоры разговариваю. А ну иди, поднимай табун, не то врежу — не обрадуешься.

— Бейте, ваше благородие. Вы это можете, только табун перегонять меня не заставите.

— Ну и кретин же ты, Буйдошо, упрямый, шелудивый осел. Ты думаешь, я на тебя управу не найду? Хочешь, чтобы я позвонил в комендатуру? Хочешь, чтобы они приехали сюда? Надели на тебя наручники? Избили в кровь, выкололи глаза, упрямая твоя дурья башка? Ты тупоголовый старый хрыч, безмозглая скотина, даже у твоей лошади и то ума больше, чем у тебя. Чего ты добиваешься? Думаешь, мне все это по душе? Думаешь, мне нравится, что это подлое жулье разворовало, разбазарило весь наш табун? А они его разворовали, говорю я тебе, если ты до сих пор этого не знал. И придется тебе этим швабам подчиниться. Можешь вопить, топать ногами, но должен подчиниться, нравится тебе это или нет. Потому что теперь уже один черт, теперь всему конец, всему, что было, и впереди у нас только маленькая отсрочка до могилы, а в таком случае какое тебе дело, что будет с этими лошадьми?

Андраш Буйдошо молча покачал головой.

— Послушай, Андраш, я могу, конечно, и по-другому поступить. Могу сделать так, как ты хочешь. Наймусь к тебе в разбойничью шайку, и будем мы убивать каждого, кто приблизится к нашим лошадям, или же...

И тут советник вдруг спохватился. Боже мой, надо же так упиться? Перед кем это он унижается, кого уговаривает?

В его голосе зазвенел металл:

— Ну, Буйдошо, хватит, поднимайте табун!

— Я сказал уже, ваше благородие.

— Нет?

— Нет.

— Я ведь сейчас отсюда из корчмы могу позвонить в комендатуру, и они приедут, займутся тобой по-настоящему.

— Воля ваша, господин Вереш.

— И позвоню. Ну давай иди к табуну.

— Я-то могу пойти, но табун не пойдет.

— Тогда катись ко всем чертям, Буйдошо Можешь отправляться на все четыре стороны. С сегодняшнего дня Йожеф Тот — старший табунщик.

— Нет, ваше благородие, по найму срок еще не кончился.

— Я здесь муниципальный советник, я приказываю, а не вы. Понятно это?

— Вы можете командовать хоть всей Хортобадью, только не нашим табуном.

— Ну хорошо, Андраш, ты явно свихнулся. На солнце, что ли, перегрелся? Пеняй теперь на себя. Я с тобой по-хорошему говорил — не понимаешь. Я иду звонить в комендатуру.

— Идите, ваше благородие. Давно бы вам это надо сделать.

— А я тебе говорю, Андраш Буйдошо, ты сумасшедший. Свихнулся.

— Может, оно и так, ваше благородие. Может, и так.

Через час приехала немецкая военная машина. В ней сидел капитан-венгр и два эсэсовца — солдат и фельдфебель.

Иштван Вереш все это время пил и ел.

Когда приехала машина, он снова подошел к Буйдошо.

— Ну, старина, теперь, может, хватит дурака валять?

— Не волнуйтесь, ваше благородие. Кто должен был приехать, тот и приехал.

— Сейчас тебя заберут, бить станут, мучить, а табун все равно уйдет. Ну кому нужно твое геройство? Я побольше тебя значу и то ничего не могу сделать. Да и те, кто повыше меня, тоже ничего не могут.

— Наверно, вы и правы, ваше благородие. Наверно, правы. Но я уж как решил, так решил. Об одном только вас прошу. Если со мной беда какая случится, может, поможете чем моим ребятам. Ну а нет, и так обойдутся. Ничего, пуста не даст им пропасть.

Маленький худой табунщик расправил плечи, выпрямился — даже как будто ростом стал выше, потом подкрутил усы, снял шляпу, вытер ее рукавом рубашки — ни дать ни взять на свадьбу собрался.

Иштван Вереш коротко объяснил капитану, в чем дело, тот подошел к Буйдошо.

— Вы будете перегонять табун?

— Разрешите доложить, господин капитан: перегонять табун не буду.

— Тогда я передам вас немцам.

— Выполняйте свои обязанности, господин капитан. Каждый делает свое дело.

К ним подошел фельдфебель, отодвинул плечом капитана и встал перед старым табунщиком. Немцу пришлось наклониться немного вперед — пастух был значительно ниже ростом. Стройный, красивый, светловолосый парень стоял перед стариком, глядел куда-то вдаль холодными голубыми глазами, а потом вдруг наотмашь ударил табунщика по лицу. Капитан поднял брови, удар ему понравился, немец, видно, знал в этом толк.

Андраш Буйдошо сначала побелел, потом лицо его вспыхнуло, он облизнул бескровные губы и снова расправил плечи.

— Это нам не впервой,— сказал он.

Два его сына стояли в нескольких шагах от него. За ними пятеро пастухов. Стояли, раздумывали, не пора ли пускать в ход палки? Настал ли момент? И вообще, что будет?

Иштван Вереш снова выругался, сплюнул и заорал на табунщика:

— Опомнись, Андраш, черт бы тебя побрал, ведь ты... ты...

Кровь хлынула ему в лицо, Вереш замолчал, испугался, как бы его удар не хватил. Только глаза его, налитые кровью, бегали взад-вперед. «Как ты мог допустить такое, боже милостивый, ведь это я все натворил, и я смотрю теперь, как они расправляются с ним».

— Минуту дает на раздумье,— перевел капитан слова фельдфебеля.

— Я сказал уже, господин капитан. Я не пойду.

— Почему не пойдете? Вы что, с ума сошли?

— Может, и так, господин капитан. Очень может быть.

— Что с вами?

— Со мной ничего, господин капитан. Со мной ничего уже не случится. Только вот табун, он никуда не пойдет. И я не пойду. И никто. Табун здесь в степи должен быть, он погибнет, если его угнать. Да и мне не жить, если с ним уйду, так уж лучше здесь...

Фельдфебель отвернул рукав, взглянул на часы, выждал минуту, потом, не торопясь, вытащил из кобуры пистолет и дважды разрядил его в грудь Андраша Буйдошо. Маленький сухой старик, не издав ни звука, рухнул как подкошенный.

Фельдфебель приказал подымать табун. Пастухи, испуганные, не посмели и слова против сказать. Они набросили седла на верховых лошадей, на вьючных наскоро нагрузили пожитки, и через час один из них, назначенный старшим табунщиком, распустил плеть и погнал табун в сторону Полгара.

— А вы идите,— Иштван Вереш повернулся к двум мальчикам, двум сыновьям убитого Андраша Буйдошо.— Идите. Вашего отца мы отвезем в Дебрецен и там похороним. Он при муниципалитете служил... и теперь при исполнении... Ну, сиротки, ступайте.

Вдвоем с кучером они подняли мертвого табунщика и отнесли в коляску. Теперь его можно было принять за важного господина, который, развалясь, сидит на заднем сиденье, вот только рот у него был перекошен.

Мальчики ничего не сказали. Балинт, сжав губы, смотрел прямо перед собой, потом всхлипнул, по щеке поползла слеза.

Янош строго прикрикнул на него:

— Не реви. Не реви, говорю тебе, а то получишь у меня.

Он одернул на себе армяк, взял за руку младшего брата, повернулся спиной к муниципальному советнику, и они пошли на юго-запад, в сторону Собосло, домой. За их спинами утихал топот снявшегося табуна, и они уходили все дальше, пыль пусты скоро поглотила их, их голоса, фигуры, и на месте стойбища не осталось ничего и никого — только мертвый Андраш Буйдошо на заднем сиденье коляски, кучер и Иштван Вереш, который долго глядел вслед удалявшимся сыновьям Буйдошо, а потом перевел взгляд на мертвое тело старого пастуха. Было очень тихо, и в этой тишине Иштван Вереш, всегда веселый, шумный и здоровый, как бык, вдруг остро почувствовал, что здесь сейчас что-то умерло, ушло безвозвратно. Умер не только Андраш Буйдошо, а целый мир, в котором он жил и которому радовался, погибла страна. Все кончено, подумал он с горечью и ожесточением и направился к хортобадьской корчме, чтобы напиться там, но теперь уже до бесчувствия, до беспамятства, чтобы растворить в вине тот комок боли, который так сжимал сердце, что Вереш едва мог перевести дыхание — в такие минуты человек начинает думать: не стоило родиться, не стоило жить.

А два мальчика тем временем шли рядом, молча, ничем не нарушая тишины пусты. Казалось, они просто идут куда-то спокойным, размеренным шагом, не чувствуя усталости, не сбиваясь с того темпа, который пожирает километры, как огонь. К вечеру они добрались до Собосло, достали спрятанный под навесом ключ, открыли дверь пахнувшей плесенью хибарки, в которой вот уже три года после смерти матери почти и не жили, вошли, сели, уставились в землю. Янош время от времени сплевывал на утрамбованный глиняный пол, как бы показывая: теперь он старший в доме, он — мужчина, и все, что касается их двоих,— теперь его забота, беда и мука.

Что с ними будет? Никто этого не знает, и гадать об этом не стоит.

Позднее, вечером, Балинт, проголодавшись — да и тяжело и непривычно было сидеть так долго не двигаясь,— снова начал плакать, без слез, только жалобно скуля, как маленький щенок, который всего боится.

— Не реви,— сказал Янош.— Не реви, кому говорю.

— Я... я не реву.

— Ничего, не пропадем, как-нибудь.

— Наш папка,— всхлипывал младший.

— Не реви, все равно не воскресишь его.

— Теперь и мы умрем...

— Сказал тебе, замолчи...

— Яни, и никого у нас нет, никто нам не поможет.

— Есть.

— Кто? Кто нам поможет? Никого нет.

— А пуста? Она как была, так и осталась наша.

У Яноша пересохло в горле, он вышел во двор, направился к колодцу, чтобы попить воды, избавиться от горьковатого привкуса во рту, и тут увидел, что Собосло заняли русские,— они с Балинтом сидели в доме и ничего не слышали, а теперь он вдруг увидел, что по улице мчится галопом эскадрон казаков на длинногривых лошадях, все в красных шапках, под мышками зажаты винтовки.

— Вот это да,— глаза Яноша совсем округлились.

Он был потомственным табунщиком и сразу заметил, как ловко сидят в седле всадники. «Так же, как я, почти так же»,— подумал он.

Потом эскадрон исчез, только клубы пыли остались за ним, а когда они поредели, рассеялись, по дороге двинулись солдаты — чтобы исполнилось то, о чем только что говорил тринадцатилетний сын пастуха Янош Буйдошо, утешая своего младшего брата: погибшего отца заменит им пуста и вся страна, Венгрия.

*1954*

## *Партизаны*

Утром части королевской армии заняли село. Александро в это время как раз пробирался из села и на всякий случай спрятался в стоге сена: вдруг вздумают стрелять. Партизаны ушли в горы, оттуда изредка слышались выстрелы, скорее всего партизаны просто давали знать, что здесь они, недалеко. Днем село обошли несколько унтер-офицеров с солдатами, они реквизировали продовольствие. Крестьяне причитали, дескать, нет у них ничего, но в конце концов в каждом доме что-нибудь да находилось — где полмешка муки, где кувшинчик масла; хозяева и рады были бы припрятать кое-что, да солдатам есть надо и к тому же за плечами у них винтовки. Иногда реквизиционные отряды и лошадей уводили — и тут ничего нельзя было поделать, крестьяне только ворчали недовольно или, стоя в воротах, молча попыхивали трубками, а потом ташились к себе в дом и сидели там при слабом свете коптилки. Вечером патруль задержал двух крестьян, которые гнали к лесу лошадей, голов десять—пятнадцать. Лошадей отобрали, а каждый из виновных по приказу капитана получил по двадцать пять ударов палками.

Ночью началась перестрелка, продолжалась она около часа. Жители проснулись, стали прислушиваться к тому, что творится на улице, решив сперва, что это партизаны спускаются с гор, чтобы отбить село. Но стреляли не только в поле, а и в самом селе. Солдаты подожгли дом Коллиса Конзопоулоса, решив, что в нем засели партизаны. Жена Коллиса выбежала из дома, кричала, плакала, звала ребенка — поначалу думала, что он в доме остался, потом нашла его возле ко-

нюшни, там же и сам Коллис отыскался, солдаты стали что-то выспрашивать у него, потом отвели в комендатуру. Дом сгорел, но ни оружия, ни людей там не обнаружили.

На следующее утро капитан приказал отобрать у крестьян всех лошадей. Село поддерживает партизан, в солдат стреляют, угоняют скот. Нечего с ними церемониться, лошади и в королевских частях нужны. Коллиса выпустили из комендатуры, он все твердил, что с вечера лег спать, а проснулся, только когда стрелять начали и когда дом загорелся. Три унтер-офицера с двумя солдатами обошли все село, они и сами не знали, уводя лошадей, действительно ли это кара за партизан. Во дворе у Константина Романоса неожиданно поднялся шум. Хозяин так и не встал с постели, а жена не захотела отдавать лошадь. Солдаты поначалу смеялись, хлопали женщину по заду, а потом один из них потащил ее на сеновал. Она завизжала, кинулась в дом, солдат за ней. Когда в комнату вбежала жена и за ней солдат, Константин вскочил, стал кричать на него. Солдат двинул его прикладом и хотел было уйти, раз уж хозяин дома оказался, но от его удара тот упал, застонал, заохал, а жена принялась вопить, что мужа ее убили.

Дело принимало серьезный оборот, на крик в дом вошел унтер-офицер, поглядел на Константина, спросил, что случилось. Солдат доложил, что всего лишь ткнул его легонько в грудь прикладом, унтер-офицер покачал головой: не годится так... стрелять в гражданское население не положено... Выстрелов, правда, он не слышал... Да только Константин был весь в крови, кровь на рубашке, на постели, простыне, одеяле, повсюду. Откуда столько крови? Жена запричитала: почем ей знать, болен он. внутреннее кровотечение, а его, больного, бьют. Унтер-офицер уже хотел уйти, но все это ему показалось странным, он вспомнил, что ночью была стрельба, и послал одного из солдат за врачом, пусть поглядит, что с крестьянином. Врач пришел, осмотрел Константина, тот все не хотел рубашку снимать, и наконец установил: огнестрельная рана в плече. «Рана свежая?»— унтер-офицер, будто охотничья собака, почуял добычу. «Совсем свежая. Думаю, вчерашняя».

Одного солдата унтер-офицер оставил в доме, а сам обо всем доложил капитану. Константина, поддерживая с обеих сторон под руки, увели в комендатуру, он несколько раз по дороге терял сознание, хотя пройти надо было всего метров пятьдесят. В комендатуре его усадили на стул, он попросил закурить, ему дали. Потом пришел капитан и стал допрашивать:

— Где тебя ранило?

Константин поначалу только тряс головой, потом сказал, что это его бык недавно боднул, тогда врач сказал: врет он, рана огнестрельная. А как же, конечно огнестрельная, закивал головой Константин. Это партизаны в него позавчера стреляли, потому что он не хотел с ними идти, в то самое место угодили, куда бык боднул.

Офицер и врач переглянулись. Унтер-офицер недоверчиво уставился на Константина: врет ведь, скотина, да только поди докажи.

— Не болтай чепуху, рана у тебя свежая.

— Конечно свежая, господин офицер. потому как разбередили ее. Господин солдат с моей женой побаловаться захотел, вот я и вскочил с кровати.

— Не о том тебя спрашивают. Говори, где ранили?

Константин только плечами пожал, и лицо у него было такое, будто не понимает он, о чем речь. Он продолжал твердить, что рана позавчерашняя и открылась от удара. Капитан злился, врач твердил, что крестьянин врет, но доказательств никаких не было, так они и препирались бы, если бы не пришел один из унтер-офицеров и не доложил: в доме у Константина все перерыли и в копне сена нашли автомат.

— Ну что, и теперь отпираться будешь?

— Почем мне знать, как он туда попал.

Капитан чувствовал, что одерживает верх. «С автоматом умеешь обращаться?»— «Нет, мудреное это дело».—«В армии был?»—«Да, еще когда с итальянцами воевали».—«А с немцами?»—«Нет, я на другом фронте был».— «На каком другом? Ты что, к партизанам потом ушел?»—«Нет, нет,— забормотал крестьянин,— я тогда дома был».

Капитан хлопнул ладонью по столу. Партизан, стало быть... Константин, бледный, сидел напротив на стуле и смотрел на него большими светлыми невинными глазами, потом робко попросил еще одну сигарету.

Через полчаса его повесили на дереве перед сгоревшим домом Конзопоулоса. Целое зрелище из этого устроили. Солдаты по приказу капитана обошли все дома, выгоняя людей. Пусть смотрят: так будет с каждым, кто помогает партизанам. Крестьяне молча смотрели, знали, что Константина потому повесили, что обнаружили рану от пули. Старухи крестились, дети в страхе прятались за их юбки.

— Вот сволочи,— тихо сказал своему соседу Атанасио Вергис, громче не мог сказать: рядом стояли солдаты.

— Ты не очень-то, а то и до тебя доберутся,— прошептал одноглазый Мурроянис, сверкнув своим уцелевшим глазом на руку Атанасио: она у него распухла, одеревенела, пиджак, наверно, с трудом натянул.— А то и тебя тоже...

Атанасио ничего не ответил. Из-под Константина выбили табуретку, тело его дрогнуло несколько раз и замерло в петле. Люди стали расходиться по домам, а когда стемнело, не смели и носа высунуть на улицу. Вечером снова раздались выстрелы, пальба в горах была сильнее вчерашнего, сменять часовых солдаты выходили неохотно — как бы снова не стали из домов стрелять. Атанасио, раздевшись по пояс, мочил тряпку в холодной воде и обматывал ею руку, которая пылала огнем.

— Горит вся,— встревоженно сказала жена и тут же не удержалась:— Надо было тебе?

От холодного компресса Атанасио стало немного легче, но к утру начался жар, рука отекла и стала твердой, как тугой резиновый мяч. Атанасио смотрел, качал головой, вокруг раны все воспалилось. Он надел на себя смоченную в уксусе рубашку и вышел во двор, чтобы солдаты не увидели его лежащим в постели. Целыми днями бродят они по селу, то в один дом зайдут, то в другой, от погреба до чердака все вверх дном переворачивают — оружие ищут или раненых.

Жена еще больше забеспокоилась, когда двое солдат пришли к ним искать оружие, она все смотрела на мужа — бледный такой, а рукой старается двигать, чтобы не заметили ничего. Автомат Константина нашли в копне сена, так они теперь с сена начинали обыскивать, а если уж и там ничего не находили, принимались искать в другом месте. Кое-кто даже в колодец спускался, пробовали и возле конюшен копать, правда, не то чтобы копали, а так — ткнут в землю раз-другой, не мягкая ли.

— Дострелялся? — сказала вечером жена.— А дальше что будет? Как ты с этим к врачу пойдешь?

Атанасио пробурчал в ответ: раз уж беда стряслась, нечего ругаться, помогла бы лучше чем. Врача в деревне нет, врач только у солдат, к вечеру можно сходить за стариком Кондориотисом, он любые раны, любые болезни лечит. Кондориотис принес ему какие-то травы, чтобы заваривать, пить, как чай, и примачивать рану. Но Атанасио лучше не стало. Вечером рука покраснела до самого плеча, так болела и распухла, что он еле всунул ее в рукав пиджака.

В висках у Атанасио стучало, голова разламывалась от боли. Есть ничего не хотелось, утром он выпил полкружки молока, днем

попросил вина, разбавленного водой. А вечером и вовсе сознание потерял, рука к этому времени уже и на руку не походила, отливала красным, лиловым, дотронуться до нее нельзя было — очень сильно болела, а потом перестала болеть, вся онемела, и пошевелить ею он уже не мог.

Атанасио теперь не поднимался, он лежал в кровати, проклинал короля, его солдат и всех продажных сволочей. Он почти все время метался в жару, бредил, а когда приходил в себя, выпивал глоток-другой вина и просил поправить подушку. Жена не находила себе места от волнения, металась по комнате и все причитала: черт бы побрал эту стрельбу. Что теперь будет?

Вечером опять пришел Кондориотис, осмотрел руку, сказал, что дело плохо. Примочки, конечно, пусть она прикладывает, но поможет ли это — кто знает. Кондориотис, подняв брови, хотел сказать, что надо бы за врачом послать, но промолчал. Какой смысл говорить об этом? Днем солдаты объявили: из села никому уходить не разрешается. А здесь только один врач — у солдат, уж чем к нему идти, лучше в постели умереть.

Если бы можно было перебраться за линию фронта, там, верно, нашелся бы врач. Но как туда добраться? Атанасио уже и встать не может, мечется в жару, и все чаще теряет сознание. Ни на лошадь его не посадишь, ни в телеге не провезешь. На всех дорогах посты.

А утром снова повешение, солдаты опять ходили по домам, сгоняли крестьян на площадь. На этот раз Костомирису затянули петлю на шее, он ночью попытался бежать в горы, поймали его на лесной опушке. У него и винтовка была, будто и лошадь где-то припрятал. Атанасио не мог идти на площадь, но жена его там была, видела, как вывалился язык у повешенного, как посинело лицо. Все-таки хорошо, что у него только рука синяя, может не заметят.

А рука у Атанасио действительно посинела, почернела даже, и дыхание было такое хриплое, прерывистое, как у раненого животного, воспаление перешло на плечо, на шею, он уже только стонал, когда к нему обращались, уже и сесть не мог. Лишь на минуту-другую приходил в сознание. Посмотрит, скажет несколько слов, и снова голова его упадет на подушку. Кондориотис сказал: надо подождать, может, он и одолеет болезнь. Жена молчала, она уже не верила ему.

— Нужно идти за врачом.

— Иди! А через полчаса он будет болтаться на виселице — сразу вылечат.

Пять раз отправлялась она в комендатуру и каждый раз, дойдя до ворот, возвращалась. Не может же она стать убийцей своего богом данного мужа? Но когда Атанасио начинал хрипеть на кровати и весь пылал, как раскаленная плита, она снова кидалась к двери. К вечеру все-таки решилась — побежала в комендатуру, но снова вернулась, не посмела войти туда, не посмела ничего спросить у часового. Теперь Атанасио пластом лежал на подушках, его голова горела, но боль в руке утихла, рука стала лиловой, с плесневым налетом, как на трупе.

Вечером партизаны снова открыли стрельбу, спустились с гор, окружили село. Через час восемь солдат было убито, около двадцати ранено, теперь и из домов стреляли. Женщина прикладывала к голове Атанасио мокрую холодную тряпку, пробовала влить несколько капель вина ему в рот. Капитан уже думал об отступлении, но получилось не отступление, а беспорядочное, паническое бегство. Около полуночи село заняли партизаны. Времени у них не много было. Пока за селом перестрелка кончилась, пока на ночлег расположились да посты выставили, уже светать начало.

А Атанасио к утру умер. Не на виселице умер, а дома в кровати. Голова его к тому времени распухла, как арбуз, почернела, как головешка. Опоздали. Женщина смотрела из окна на освободителей,

проходивших по улице. Впрочем, если бы они и раньше пришли, все равно ничем не смогли бы помочь ее мужу. Среди них не было врача, только крестьяне да другой рабочий люд, бедняки, они могли лишь пожалеть Атанасио и похоронить его с честью утром. Рядом с ним похоронили и двух повешенных. Длинных речей не говорили. За месяц на кладбище могил на пятнадцать стало больше.

*1948*



## *На хуторе*

Наклонившись к окошку железнодорожной кассы, Янош сказал: «Один билет до Тюшкепусты», ему дали кусочек картона, но он не смог прочесть, что на нем было написано.

Подошел поезд. Янош вошел в вагон и спросил у проводника, на какой станции ему лучше сойти.

— В Бече,— ответил проводник.— Агроном, который туда ездил, всегда в Бече выходил, там его бричка ждала.

— Но меня бричка не ждет.

— Тем хуже для вас.

И тогда Янош — в отместку — взял и нарисовал проводника, над его фуражкой торчали длинные ослиные уши. Пассажиры, сидевшие рядом, узнавая проводника, смеялись. Потом достали карты и, когда совсем рассвело, начали играть. Янош рисовал тех, кто играл, и тех, кто спал, пил, ходил по вагону, но, верный своему правилу, только тогда отдавал рисунки, когда за них платили.

В Бече он вышел. Было, наверно, часов семь. Янош представил себе, как побредет сейчас один по пусте, и невесело ухмыльнулся. Еды у него не было, в кооперативном магазине он съел студень и снова спросил дорогу до Тюшке. Ему ответили: километров двенадцать будет, да только дорога плохая. Потом Янош договорился с одним возчиком, что тот довезет его до перекрестка. Возчику он заплатил вперед — купил ему два стакана вина, и тот, немного смутившись, выпил. Вообще-то, сказал он, я мог бы и так довезти — поклажа не тяжелая.

Янош сел на телегу, было уже девять часов, и они поехали в поля, напоенные весенними ароматами. Кое-где уже зеленела озимь.

На развилке остановились, возчик показал, как пройти — всего несколько километров — к корчме, что стояла на границе двух районов. Но тут подъехала другая телега, на ней Янош и прибыл наконец-то в госхоз.

Прибыть-то он прибыл, да только радоваться пока было нечему.

Это вовсе и не госхоз был, а большая строительная площадка. Дома строящиеся, только что построенные, тракторы, и всюду невообразимая, непролазная грязь, поди разберись, что тут где. Человек, у которого он спросил, где здесь правление, показал на какое-то здание, но там сказали, что правление в соседнем доме, перед которым кипели споры из-за конской упряжи. Наконец он вошел в дом, узнал, где правление, но администраторша, пухлая молодая женщина, сказала, что надо подождать, но чего ждать, не сказала. Янош опять принялся рисовать, зная, что на эту удочку обязательно клюнут, но женщина даже ни разу не взглянула в его сторону. Только во второй половине дня в правление пришел директор — в сапогах, в забрызганном грязью плаще — и пригласил Яноша в кабинет.

— Ты ел сегодня? — был его первый вопрос.

— Да как вам сказать.

— Сейчас половина третьего. Ступай быстро на кухню, поешь и приходи сюда. Тебе скажут, где кухня.

С этими словами директор открыл дверь и выпроводил его. Яноша покормили на кухне — суп-гуляш и галушки с творогом. Он наелся до отвала, вернулся к правлению, но директора там уже не было. Не было и администраторши, дверь была заперта.

Янош отправился слоняться по поселку.

Еще когда он проходил по двору, навстречу ему попалась маленькая девчушка, закутанная в большой платок. Казалось, ей лет десять. Но, взглянув на ее лицо и глаза, Янош понял, что она постарше. Девочка несла, прижимая к груди, маленького щенка. Смешного лохматого черного щенка.

— Ты директора не видела?

— Видела. Домой пошел. Километра два отсюда.

Янош выругался про себя, почесал в затылке, потом рассмеялся. Теперь ему было уже все равно.

— А ты куда идешь?

— Домой.

— А где ты живешь?

— Там же, где директор.

— Ну тогда пошли вместе.

— А вам зачем директор нужен?

— Я новый расчетчик по зарплате. Он отправил меня поесть...

Какое-то время шли, не зная, о чем говорить, наконец Янош спросил просто так, чтобы не молчать:

— Ты кем будешь, когда вырастешь?

Девочка вдруг наклонила голову, не сразу ответила:

— Я пока не раскрываю своих планов.

— Почему?

— Подумаете, что я чересчур честолюбивая.

— Ты в школу ходишь?

— Хожу. Я в восьмом классе. Мне ведь уже пятнадцать лет. Когда мы еще не были в госхозе, я один год не училась.

Потом подняла на Яноша глаза:

— Так и быть, скажу вам. Я в гимназии буду учиться!

Больше они не разговаривали, потому что их нагнала бричка с директором.

Тот, увидев Яноша, остановился, усадил парня рядом с собой. Янош только кивнуть успел девушке на прощанье.

— Пообедал? — спросил Бартош или Барток — Янош плохо запоминал имена, а потом вопросы посыпались один за другим:— А ты что кончал? Гимназию? И что делал после?

— Рисовал,— ответил Янош.

Он вдруг почувствовал доверие к директору, который так просто и напрямик спрашивал его обо всем, и рассказал ему, что в художественное училище его не приняли, в следующем году снова будет поступать... а вдруг, кто знает... В бюро по трудоустройству ему предложили работать расчетчиком, а из районного центра сюда направили.

— Ах, вот как,— директор повел плечами,— значит, ты временно у нас? Но раз художником решил стать, раз у тебя к этому способности есть, от своих планов не отступайся.

И Янош начал работать в госхозе. Ему дали койку в мужском общежитии, там кроме него еще трое парней жили. И потекли дни, похожие один на другой.

На третий или четвертый день, когда Янош уже начал понемногу осваиваться, его позвал к себе директор и сказал, что для авторемонтной мастерской нужен хороший красочный плакат. Пусть он нарисует отстающих механизаторов, поломанные, брошенные детали и передовых механизаторов, сверкающие чистотой машины.

— Словом, ты понимаешь, о чем я говорю.

Янош пожал плечами, хотел было отказаться, а потом вдруг загорелся и за два дня нарисовал плакат. Кто бы ни приходил взгля-

нуть на плакат, все его хвалили. Яноша успех так окрылил, что он решил своим типажам придать черты портретного сходства. Отстающего он сделал похожим на одного неопрятного старика, который работал в авторемонтной мастерской, а симпатичного вихрастого паренька, который к тому же жил с ним в одной комнате, изобразил передовиком.

Когда принес плакат директору, тот за голову схватился.

— Ну и отколол ты номер!

— Почему? Какой номер?

Оказалось, что тот неряшливый старик — его сразу все узнали — самый лучший рабочий в мастерской, а молодой и вихрастый — чуть ли не самый худший. Плакат этот никуда не годился, все надо было переделать. И лучше бы нарисовать, чтобы никто ни на кого не походил, пояснил директор, а так, вообще.

Вечером Янош, смеясь, рассказал вихрастому механику, что все узнают его на плакате и это-то как раз директора не устраивает.

— Отдай тогда плакат мне,— сказал механик, которого звали Петером.

— Зачем он тебе?

— Покажу одной девушке.

— У тебя есть ее фотография?

— Есть. Там только не разглядишь ничего.— Петер достал фотографию — не очень четкий групповой снимок — и показал на маленькое личико. Янош узнал ту девушку, с которой встретился в день своего приезда.

— Симпатичная. Как ее зовут?

— Рожи. Рожи Чордаш. Ее отец кучером у нас работает, я ее еще осенью углядел.

— Ну, а она?

Петер многозначительно вскинул брови и пустился в разглагольствования. Сам подумай, что здесь, на хуторах, делать? Ну, подзаработаешь тут денег, ну, в город от силы два раза в месяц съездишь, а для чего? Чтобы прокутить сотню форинтов? Так разве это цель, разве это жизнь? А ему уже девятнадцать лет, скоро в армию идти, и надо думать, на ком жениться после демобилизации.

— Ты что, бываешь у них?

— Да, бываю.

— Возьми и меня как-нибудь с собой.

— С удовольствием. Это даже хорошо, что не один туда буду ходить, у нас с ней не такие еще отношения.

И вот однажды пришли они с Петером к Чордашам, поговорили со стариком о том о сем и девушку дважды видели, когда проходили через кухню. Петер, как и принято, сказал ей что-то в шутку, но девушка едва ответила ему. Янош подумал: на смотринах в старое время, тоже, наверное, так разговаривали.

Когда прощались, девушка сказала Яношу:

— А я и не знала, что вы художник.

Янош вдруг смутился. «Разве это плохо?»— пробормотал он, и они ушли.

Однажды теплым апрельским днем Янош увидел девушку из окна, но выбежать из дому и хоть словом с ней перемолвиться не смог — старый бухгалтер в это время что-то объяснял ему.

Потом в майские праздники парни и девушки танцевали в клубе народные танцы, Янош и не знал толком, будут или не будут танцевать — ему поручили оформить зал,— и когда он все сделал, остался на концерт. На сцене девушка была такой красивой — в расшитом жилете, в сапожках, что у него сердце чуть не выскочило из груди. «Она лучше всех»,— решил Янош.

А когда встретился с нею в перерыве и протянул ей руку, сильно

смутился. Девушка в этом наряде казалась совсем взрослой, только по рукам, открытым до локтя, видно было, что она еще ребенок.

— Давно тебя не видел,— сказал Янош.

Девушка улыбнулась.

— А вы рисуете? Рисуете сейчас что-нибудь? — спросила она.

Янош вдруг почувствовал себя счастливым.

— Я и вас как-нибудь нарисую.— От волнения он даже перешел на «вы».— Я и тебя как-нибудь нарисую,— поправился он.— Если буду настоящим художником. Жаль, что ты к этому времени уже вырастешь.

— А взрослую меня разве нельзя нарисовать?

— Нет, ты мне такая нравишься. Маленькая.

Они прошли еще немного рядом, но больше уже не разговаривали, а потом Рожи ушла к трем своим подружкам, и те потащили ее за собой. Яношу стало удивительно радостно на душе, он побежал в общежитие, влетел в комнату, бросился на кровать и, растянув рот в улыбке, уставился в потолок.

С того дня он постоянно думал о Рожи. А однажды набрался храбрости и после обеда пошел к Чордашам. Девушка сидела на берегу ручья и читала. И время от времени поглядывала на корову, которая неподалеку щипала траву. Девушка сидела спиной к Яношу, не видела его, по крайней мере не смотрела в ту сторону, откуда он пришел. Юноша сорвал цветок и, тихонько подкравшись сзади, пощекотал им шею девушки. Рожи махнула рукой, будто отгоняя жука, потом увидела Яноша, вспыхнула и улыбнулась. Вскочила на ноги, расправила передник и смущенно подняла на юношу глаза.

Янош тоже молчал в замешательстве, потом наконец сказал:

— Здравствуй. Что читаешь?

— Учу,— не сразу ответила Рожи.

Янош опустился на тот же камень, где только что сидела девушка, и взглянул на нее снизу вверх.

— Если хочешь, могу помочь,— с чувством некоторого превосходства предложил он.

Рожи села рядом. Они помолчали немного, потом взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Я пришел, чтобы нарисовать тебя,— сказал Янош.

— А на чем рисовать будешь? Бумагу-то ты не принес...

— Сначала так, в голове.

Рожи медленно закрыла книгу, потом снова ее открыла.

— Я тоже очень люблю все, что красиво,— сказала она.

— Ты думаешь, художники это любят?

— Да, люди искусства.

Девушка сказала это серьезно, со всей серьезностью своих пятнадцати лет. Они еще поговорили немного о всяких пустяках. Что красивее — весеннее поле или летнее, виноградник или клеверище, лошадь или перистые облака? И смеялись: разве можно эти вещи сравнивать? С хутора закричали: — Рожи, Рожи...

Девушка вскочила и снова покраснела.

— Меня зовут,— огорченно сказала она, но глаза ее сияли.

— Я завтра снова приду, хорошо? Поболтаем... и бумагу принесу.

— Хорошо,— смутившись, ответила девушка и побежала к дому.

Янош почти тут же окликнул ее:

— Рожи!

Она обернулась.

— Ты самая красивая,— сказал Янош, но так тихо, только самому себе. Рожи не могла услышать его. Она снова побежала, и когда уже была у ворот дома, Янош опять крикнул, приложив ладони ко рту: — Ты самая красивая!

И сразу же испугался — вдруг кто-нибудь услышит его. По дороге и в самом деле шла какая-то старуха, Янош резко повернулся и

кинулся прочь. Сорвал на бегу ветку акации, что росла у обочины, и принялся махать ею, будто это крыло, будто оно могло помочь ему бежать быстрее.

Ну а если человеку кажется, что он вот-вот полетит, тогда все в мире прекрасно.

*1959*



## *За все надо платить*

Янош Тот наконец решился поговорить с агрономом — прямо сейчас возьмет и подойдет к нему. Но тут из-за угла дома во двор въехали две большие подводы, агроном сразу направился к ним, стал о чем-то спрашивать у возниц. Янош Тот ждал и ждал, и, пока он ждал, решимость его пропала. Нужно было раньше подойти, думал он, сейчас все было бы уже позади.

Наконец агроном освободился, и Янош Тот направился к нему.

— У меня к вам просьба, товарищ Каршаи.

— Давай выкладывай.

Агроном — молодой человек, черноволосый, с густыми бровями, длинноногий и большерукий — мог и накричать иногда, но в общем-то был хорошим, добрым парнем. Поэтому именно его и выбрал Янош Тот, в нем он был уверен больше, чем в других.

— Я хотел бы попросить до завтра, до утра, самое позднее до двенадцати часов... лошадь.

— Лошадь? — удивился агроном и внимательно поглядел на Яноша.— Зачем она тебе?

— Понимаете, мне съездить надо. Я бы мог и на велосипеде, но сейчас такая грязь, мне просто не доехать на велосипеде.

Агроном почесал в затылке.

— Выходит, я должен дать тебе госхозную лошадь? Тебе, поди, и седло понадобится?

— Да, и оно тоже...

— Куда ехать-то?

— В Кишмагош. Чуть дальше него.

— Так это ж километров двенадцать.

— Пятнадцать.

Янош помолчал немного, а потом у него вдруг вырвалось:

— Там танцы будут в доме культуры.

Агроном даже выругался от неожиданности.

— Ну и дела, ты бы хоть не говорил этого. И я должен давать тебе лошадь, потому что тебе танцевать приспичило? Из-за каких-то танцулек лошадь тридцать километров по грязи гонять? А чем ты будешь кормить ее вечером? И утром?

— Это уж моя забота,— в голосе Яноша слышалось нетерпение.— Я с собой торбу возьму.

Агроном задумался. Вытащил сигарету, закурил.

— Надо было тебе говорить, что на танцы собрался? Сказал бы, что в больницу кого-нибудь повезешь...

— Мне не в больницу надо,— Янош Тот запнулся, глотнул воздух,— потому и сказал...

— Девушка там, в Кишмагоше?

— Да.

— И ждет вас, конечно?

— Не знаю... я сказал ей, что приеду в субботу.

— Понятно.

Агроном посмотрел куда-то вдаль. Странная просьба. Разумеется, он мог дать парню лошадь, в воскресенье никто отчета за нее не потребует, и все-таки не положено это, особенно если учесть, для чего он ее берет. Правда, по такой грязи на велосипеде не доедешь,

пешком тоже не дойдешь... может, дать ему лошадь, а то откажешь сейчас, и он всю неделю, а то и больше будет сам не свой ходить.

— Ну, ладно. Какую лошадь берете?

— Если верхом... то на Пайкоше можно.

Агроном улыбнулся. Парень, ясное дело, хочет появиться перед девушкой на красивой лошади. Пайкош как раз для верховой езды.

— Ладно, берите Пайкоша, товарищ Тот. Думаю, излишне напоминать вам, что лошадь беречь как зеницу ока...— Агроном снова улыбнулся и дал парню несколько советов.

Они еще немного поговорили, пожали друг другу руки, потом Янош, счастливый, пошел за лошадью, седлом и сбруей. А Каршаи вечером, посмеиваясь, рассказывал жене, как Яношу захотелось покрасоваться перед своей девушкой верхом на лучшей лошади госхоза и что он разрешил парню взять Пайкоша.

Жене вся эта история не понравилась. Она вообще была не в духе, может, потому, что младшенький горшок опрокинул, может, еще из-за чего, во всяком случае, благодушное настроение мужа никакого отклика у нее не вызвало.

— За его ухаживания тебе расплачиваться придется,— сказала она хмуро.

А Янош Тот после обеда оседлал лошадь и отправился в Кишмагош. Там хорошенько покормил ее, очистил от грязи — для этого в торбу с овсом он и щетку положил, потом привязал ее и весь вечер, уже ни о чем не беспокоясь, танцевал со своей девушкой, а после танцев проводил ее — третий хутор от дома культуры. Уже начало светать, звезды стали гаснуть, когда Янош в прекрасном, радостном настроении решил отправиться в обратный путь.

Расставаясь, они договорились, что Янош на следующей неделе познакомится с ее родителями. Все складывалось как нельзя лучше. И вдруг Янош обнаружил, что лошади нет.

За домом культуры был сделан навес. Под ним Янош и привязал лошадь. И седло и чепрак — все было там, но лошадь исчезла.

Под навесом лежала и солома, и тыква, наполовину съеденная, которую он под покровом темноты сорвал где-то поблизости, но вот лошади, лошади нигде не было.

Несколько минут он мучительно соображал, что теперь делать. Он-то думал, что последним конокрадом был Шандор Рожа, а тот жил лет сто назад, если не больше. Кто же теперь ворует лошадей? И что делают с ворованной лошадью? Местный житель не мог ее украсть — тут все видели, кто на ней приехал, вор и дня ее у себя не продержит. И продать тоже не сможет... нет на нее паспорта... ничего не сможет он с ней сделать. Тогда зачем украл?

Но над этим вопросом Янош размышлял недолго, его терзала другая дума: что ему делать без лошади? Как он вернется домой в госхоз и как он скажет агроному Каршаи, что лошадь украли?

Хорош же он будет, придя домой с седлом на плече!

Даже если лошадь украдена, вор не мог далеко уйти. Так-то оно так. Да где ее искать?

Дом культуры опустел, несколько подвыпивших парней еще околачивались тут, но они о лошади ничего не знали, даже не обратили внимания, была она под навесом или нет. Двери клуба заперли, заведующий ушел домой, а Янош стоял под открытым небом, на котором занималась заря, и ломал голову над тем, что ему делать.

Домой он не пойдет, это точно. Вот так, без лошади, предстать перед глазами агронома было немыслимо.

Седло, чепрак, попону он взвалил на плечо и пошел к ближайшему хутору, чтобы там все оставить. На хуторе еще спали, пришлось разбудить хозяев — Янош не так хорошо и знал их. Хозяин, пожав плечами, сказал, чтобы положил все куда-нибудь, а потом бы

уж искал лошадь, да вот куда положить? Наконец отнесли все на конюшню.

Дверь в конюшне не запиралась, и Янош, снова оставшись один, подумал: раз уж так не везет ему в жизни, то и седло и попону украдут, пока он ищет лошадь.

И он решил, что убьет того, кто украл лошадь, убьет, не говоря ни слова. А может, над ним подшутил кто?

Ну и шуточки! Да и кому бы это могло прийти в голову?

Подлее таких шуток ничего не придумаешь, за них и убить мало.

И вот двадцатилетний парень выходит ранним осенним утром на проселочную дорогу, оглядывается по сторонам: нечеткие очертания хуторов вдали, деревья вдоль дороги. И ничего больше. Где искать лошадь? Янош направляется к ближайшему хутору, решив, что осмотрит все конюшни в округе, а потребуется, и силой заставит их открыть...

К полудню он побывал уже в десяти домах, перессорился со многими хозяевами, не очень-то им нравилось, что парень, принимая их за конокрадов, обыскивает их конюшни. Янош устал, был весь в грязи и голоден. Он целую ночь не спал, целый день не ел, знай только шлепал по грязи в своем выходном костюме. Начался моросящий осенний дождь. Янош промок, холодные струи затекали за воротник, комья глины налипли на одежду. К утру он выкурил последнюю сигарету. Куда идти? Вокруг не было ничего, кроме раскинувшейся во все стороны степи да маленьких хуторов — а их сотни. В котором из них может быть лошадь? Куда мог прийти тот, кто ее украл?

Он даже подумал, что возьмет и повесится сейчас на дереве. Не может он возвратиться без лошади, не может сказать агроному, что пропала она. Не потому, что придется за нее платить: выплатить можно и по частям. Если бы только это... Ведь агроном дал ему лошадь под свою ответственность. Как он посмотрит ему в глаза?

«Он же отвечает за нее перед государством,— думал Янош, — а я отвечаю перед ним».

На третий день он вернулся домой — промокший, продрогший, осунувшийся и без лошади. Ему уже было все равно. Лучше — если сразу отрубят голову. Пусть делают с ним что хотят, ему все равно.

А лошадь уже была в госхозе. Кто-то отвел ее домой шутки ради. Но кто это сделал, кто был этот шутник, так и не узнали. Возчики нашли ее утром привязанную в конюшне и решили, что Янош Тот в последнюю минуту передумал и не поехал в Кишмагош. В понедельник, когда Янош не вышел на работу, забеспокоились, не случилось ли что, заявили в полицию, стали искать.

— Худшей шутки и не придумаешь,— сказал Каршаи, когда Янош Тот, бледный, с ввалившимися глазами и пошатываясь от усталости, предстал перед ним.— И все это время вы ее искали?

Янош только головой мотнул вместо ответа. Еле сдерживался, чтоб не заплакать.

— Вот ведь какие дела. Ну, а девушка? Стоило хоть?

— За все в жизни надо платить,— усмехнувшись, сказал Янош и рассказал Каршаи, чем обернулась для него эта поездка верхом.

А позднее, должно быть, решил: конечно, стоило — ведь той же осенью они обручились и свадьбу сыграли. Все плохое, когда оно уже позади, легко забывается.

Но дороги к дальним хуторам тем не менее могли бы быть и получше.

*1959*

■

# УИЛЬЯМ СТАЙРОН

# *Софи делает выбор*

## ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

*Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ*

### Глава пятнадцатая

Утром Пенсильванский экспресс, на котором мы с Софи ехали в Вашингтон, чтобы затем следовать дальше в Виргинию, остановился из-за отсутствия тока на развилке, как раз напротив завода Уитина в Роуэе, штат Нью-Джерси. За время стоянки — а длилась она всего минут пятнадцать, не больше — на меня снизошло какое-то удивительное спокойствие, и я обнаружил, что с надеждой смотрю в будущее. Я до сих пор не понимаю, как я мог впасть в столь безмятежное, поистине изысканное спокойствие после нашего поспешного бегства от Натана, а затем бессонной, полной волнений ночи, которую мы с Софи провели в недрах Пенсильванского вокзала. Глаза у меня щипало от усталости, а какая-то частица ума была все еще занята размышлениями о том, какого ужаса мы едва избежали. По мере того как шла ночь, обоим нам — и Софи и мне — казалось все более и более вероятным, что Натан скорее всего находился вовсе не рядом, когда звонил нам по телефону, и тем не менее его страшная угроза побудила нас в панике бежать из «Розового дворца», прихватив с собой всего лишь по чемодану, и устремиться в округ Саутгемптон, на ферму. Мы решили, что оставшимися вещами займемся потом. А пока нами обоими владело — да в известной мере и объединяло — одно-единственное, настоятельное желание: бежать от Натана, и как можно дальше.

И все же в поезде я едва ли мог бы впасть в это состояние взвинченного спокойствия, если бы мне не удалось заставить себя позвонить с вокзала двум людям. Одним из них был Ларри, который сразу понял, в каком отчаянном состоянии находится его брат, и сказал, что немедленно выезжает из Торонто и попытается раскрутить Натана. Мы пожелали друг другу удачи и сказали, что будем поддерживать контакт. Теперь по крайней мере я знал, что переложил ответственность за Натана на плечи другого, а не умчался, бросив его в беде, хотя бежал-то я, спасая свою жизнь. Второй человек, которому я поз-

© by William Styron, 1979.

---

**УИЛЬЯМ СТАЙРОН — WILLIAM STYRON** (род. в 1925 г.).

Американский писатель. Первый рассказ опубликовал в 1945 г. Автор романов «Сойти во тьму» («Lie Down in Darkness», 1951), «Сожги эту обитель» («Set This House on Fire», 1960), «Признания Ната Тёрнера» («The Confessions of Nat Turner», 1967; Пулитцеровская премия 1968 г.).

В «Иностранной литературе» напечатана его повесть «Долгий марш» (№ 7, 1967).

Мы публикуем две последние главы из нового романа У. Стайрона «Софи делает выбор» («Sophie's Choice», New York, Random House, 1979) с послесловием Г. Злобина.

вонил, был мой отец — он, конечно, обрадовался, узнав, что мы с Софи едем на Юг. «Ты принял прекрасное решение! — донесся до меня из далекой дали его явно взволнованный голос.— Правильно, что решил плюнуть на этот никудышный мир!»

И вот я сидел в купе рядом с задремавшей Софи и, поглядывая из переполненного вагона на раскинувшийся внизу Роуэй, жевал черствую слойку, которую купил у мясника-кондитера вместе с пакетиком тепловатого молока; и постепенно я стал по-доброму, тепло думать о предстоящих мне годах. Теперь Натан и Бруклин остались позади, и я готовился перевернуть страницу моей жизни и открыть в ней новую главу. Во-первых, я прикинул, что моя книга, которая получалась довольно длинной, почти на одну треть завершена. Случаю угодно было, чтобы, пока я жил у Джека Брауна, мне удалось дойти в своем повествовании до некой точки, где сходились все узлы,— теперь, я это чувствовал, мне нетрудно будет собрать все ниточки воедино, как только мы с Софи обоснуемся на ферме. Через недельку-другую, приспособившись к новой сельской среде — познакомясь с рабочими-неграми, помогающими вести хозяйство, набив кладовую припасами, нанеся визиты соседям, научившись водить старенький, побитый грузовичок и трактор, которые, как сказал отец, будут переданы мне вместе с фермой,— я легко смогу продолжить свое повествование и, потрудившись как следует, сумею завершить работу и переправить рукопись издателю в конце 1948 года.

От этих мыслей настроение у меня поднялось, и я взглянул на Софи. Она крепко спала, ее спутанные светлые волосы лежали на моем плече, и я очень осторожно обнял ее, легко коснувшись при этом губами ее волос. В памяти что-то смутно, болезненно запульсировало, но я отбросил эту боль — значит, я нормальный мужчина, если эта женщина вызывает во мне такое всепоглощающее, такое душераздирающее желание! Нам, конечно, придется пожениться, как только мы обоснуемся в Виргинии: правила морали, существующие ныне в этих местах, не допускают внебрачного сожительства. Хоть меня и мучили разные эти проблемы — в том числе необходимость вычеркнуть из памяти Натана, а также проблема разницы в нашем возрасте,— у меня было такое ощущение, что Софи согласится, и я решил, как только она проснется, позондировать на этот счет почву. Она шевельнулась и что-то пробормотала во сне — даже сейчас, предельно изнеможенная, она была до того хороша, что у меня слезы подступили к горлу. Боги ты мой, подумал я, ведь эта женщина, похоже, скоро станет моей женой.

Поезд дернулся, продвинулся немного вперед, затормозил, снова остановился, и по вагону прошел тихий единодушный ропот. Моряк, стоявший в проходе надо мной, приложился к банке с пивом. Позади меня заорал, точно в аду, младенец, и я подумал, что, если в публичном месте оказывается плачущий младенец, рок непременно должен поместить его рядом со мной. Я осторожно прижал к себе Софи и стал думать о моей книге — чувство гордости и удовлетворения содеянным пронзило меня, я хорошо потрудился, изящно и красиво ведя повествование по предначертанному пути к неизбежной развязке, которую еще оставалось дописать, но которую я уже тысячу раз мысленно себе представлял: истерзанная, всем чужая девушка идет по равнодушным летним улицам того города, который я только что оставил позади, к своей одинокой смерти. На мгновенье я вдруг впал в уныние: сумею ли я пробудить в себе такую страсть, такую силу прозрения, чтобы нарисовать юную самоубийцу? Смогу ли описать все так, чтоб это выглядело *подлинным?* Я уже сейчас мучительно боялся тех тяжких минут, когда мне придется *выдумывать* душевные страдания девушки. И однако же, я был непоколебимо уверен, что сумею завершить замысел, и даже нашел для своего романа соответствующее меланхолическое название: «Приобщение к ночи». Оно возникло у ме-

ня под влиянием «Requiescat» [1] Мэтью Арнольда[2], элегии, превозносящей силу женского духа, последняя строка которой звучит: «И вступит он сегодня под своды храма Смерти». Разве может подобная книга не завладеть умами и душами тысяч читателей? Глядя из окна на закопченный фасад завода Уитина — массивный, уродливый, с синими окнами, отражающими свет утра,— я вздрогнул от счастья и опять-таки гордости при мысли о качестве того, что я вложил в свою книгу ценою стольких часов упорного труда, ценою пота и — да, конечно,— порой отчаяния; и снова вспомнив о еще не написанной развязке, я представил себе строку из восторженной рецензии критика, которая появится в 1949 или 1950 году: «Потрясающий внутренний монолог женщины — самый сильный после монолога Молли Блум» [3]. «Какое безумие! — подумал я.— Какое самомнение!»

Софи спала. Я с нежностью думал о том, сколько дней и ночей будет она вот так дремать рядом со мною многие годы. Интересно, какая нас ждет на ферме брачная постель, каких она размеров и формы, достаточно ли широк, пружинист и прочен матрас, которому, уж конечно, придется немало вытерпеть. Я представил себе наших детишек-светловолосиков, которые расцветят нашу ферму польскими лютиками и чертополохом,— и как я весело, по-отцовски командую: «Пора доить коров, Ежи!», «Ванда, накорми цыплят!», «Тадеуш! Стефания! Закройте амбар!» Представил себе ферму, которую видел лишь на фотографиях, сделанных отцом, и какой она будет, став обиталищем известного литератора. Подобно «Рябому дубу», дому Фолкнера на Миссисипи, ферму тоже надо будет как-то назвать — наверное так, чтобы в названии упоминался земляной орех, который там выращивают. «Арахисовый приют» — нет, слишком претенциозно; я решил отставить тему ореха и поискать что-то более изысканное, величественное, горделивое — ну, скажем, «Пять вязов» (я надеялся, что на ферме найдется пять вязов или хотя бы один), или «Розовый лес», или «Необозримые просторы», или «Зофья» — в честь возлюбленной дамы моего сердца. В призме моего внутреннего взора годы, как синие холмы, мирно катились вдаль к горизонту далекого будущего. Мой роман «Приобщение к ночи» имел шумный успех, автора увенчали лаврами, редко выпадающими на долю столь молодого писателя. А потом небольшая повесть, тоже широко расхваленная,— повесть о моем военном прошлом, суровая книга неприкрашенной правды, изобличающая военщину, трагикомедия абсурда. И все это время мы с Софи живем на скромной плантации в благородном уединении; между тем репутация моя растет, автора все больше терзают средства массовой информации, но он наотрез отказывается от всяких интервью. «Я просто живу на ферме и выращиваю орехи»,— говорит он, продолжая упорно трудиться. Лет в тридцать или около того — новый шедевр «Эти пылающие листья», хроника жизни трагического вождя негритянского восстания Ната Тёрнера.

Поезд дернулся и, набирая скорость, мягко, жирно, как хорошо смазанный механизм, застучал на стыках; видение мое расплылось радужным пятном на фоне убегающих назад закопченных стен Роуэя.

Софи слегка вскрикнула и проснулась. Я перевел на нее взгляд. Казалось, у нее поднялась температура: лоб и щеки ее горели и над верхней губой возник росистый налет — полоска усов из капелек пота.

— Где мы, Стинго? — спросила она.

— Где-то в Нью-Джерси,— ответил я.

---

[1] «Да почиет» *(лат.)*.

[2] Арнольд Мэтью (1822—1888) — английский критик и поэт.

[3] Молли Блум — героиня романа Джеймса Джойса «Улисс». Последний эпизод романа представляет собой ее знаменитый внутренний монолог — поток сознания, написанный на одном дыхании.

— А сколько всего ехать до Вашингтона?— спросила она.

— О, часа три-четыре,— сказал я.

— А потом дальше — прямо на ферму?

— Я еще не знаю точно. Мы доедем поездом до Ричмонда, потом автобусом до Саутгемптона. Это займет у нас еще несколько часов. Ведь ферма почти в Северной Каролине. Вот почему я думаю, что нам надо провести ночь в Вашингтоне, а утром уже двинуться на ферму. Мы могли бы, пожалуй, переночевать и в Ричмонде, но так ты хотя бы увидишь Вашингтон.

— О'кей, Стинго,— сказала она и взяла мою руку.— Как скажешь, так и будет.— И, помолчав, добавила: — Стинго, ты не мог бы принести мне воды?

— Конечно.— Я стал протискиваться по проходу, забитому людьми, главным образом военными, и около площадки обнаружил кран, из которого нацедил в бумажный стаканчик теплой, подозрительной на вид воды. Я шел назад как по воздуху, все еще под впечатлением своих распрекрасных воздушных замков, но настроение мое мгновенно упало при виде Софи, сжимавшей в руках целую пинту «Четырех роз», которую она извлекла из своего чемодана.

— Софи,— сказал я мягко,— ради всего святого: ведь еще только *утро*. Ты даже и не завтракала! Так цирроз печени можно получить.

— Все в порядке,— сказала она, плеснув виски в стаканчик.— Я же на вокзале поела. И выпила лимонаду.

Я тихонько застонал, зная по прошлому, что ничего тут не поделаешь — только еще больше все осложнишь и вызовешь бурную сцену. Самое большее, на что я мог рассчитывать,— это подкараулить момент и выхватить у нее бутылку, как я это раза два уже делал. Я откинулся на спинку сиденья. Поезд мчался по сатанинским индустриальным пустыням Нью-Джерси, постукивая-позвякивая, пронося нас мимо жалких трущоб, сараев из металлических листов, идиотских киношек под открытым небом с мелькающими по экрану надписями, мимо складов, кегельбанов, похожих на крематории, крематориев, похожих на роликовые катки, болот, затянутых зеленой химической пленкой, стоянок для машин, варварских нефтеочистительных заводов с их тонкими, устремленными ввысь трубами, выбрасывающими пламя и горчично-желтый дым. Что подумал бы Томас Джефферсон при виде всего этого? — пронеслось у меня в голове. Софи нервничала, вертелась, то смотрела из окна на пейзаж, то подливала себе виски в стаканчик и наконец повернулась ко мне.

— Стинго, а этот поезд останавливается где-нибудь отсюда до Вашингтона?

— Всего на одну-две минуты, чтобы забрать пассажиров и дать другим пассажирам сойти. А что?

— Мне надо позвонить.

— Кому?

— Я хочу позвонить — узнать про Натана. Я хочу понимать, что он в порядке.

При воспоминании о кошмаре минувшей ночи беспросветный мрак окутал меня Я схватил Софи за плечо и сжал его крепко, чересчур крепко — она даже сморщилась.

— Софи,— сказал я,— послушай. Послушай меня. С этим *кончено*. Ничего ты тут сделать не можешь. Неужели ты не понимаешь, что он действительно готов был *убить нас обоих?* Ларри приедет из Торонто, разыщет Натана и... словом, *позаботится* о нем. В конце-то концов, он же его брат, ближайший родственник. Натан сумасшедший, Софи! Его надо... *госпитализировать*.

Она заплакала. Слезы потекли по ее пальцам, державшим стаканчик, и они показались мне вдруг такими тоненькими, розовыми, хрупкими. А в глаза снова бросилась эта синяя, точно след безжалостных зубов, татуировка на ее руке.

— Просто не знаю, как я теперь справлюсь — я хочу сказать: без него.— Она всхлипнула и умолкла.— Я бы позвонила Ларри.

— Ты его сейчас не найдешь,— стоял я на своем,— он скорее всего в поезде, подъезжает к Буффало.

— Тогда я бы позвонила Моррису Финку. Он бы мне сказал, вернулся Натан или нет. Иногда, понимаешь, он так делал, когда накачается. Возвращался, принимал нембутал и засыпал. А потом проснется — и все уже в порядке. Или почти в порядке. Моррис конечно же знает, вернулся он или нет.— Она высморкалась, продолжая тихонько судорожно всхлипывать.

— Ах, Софи, Софи,— прошептал я; мне очень хотелось добавить: «С ним *все кончено*», но я не мог заставить себя это сказать.

Поезд с грохотом влетел в филадельфийский вокзал, завизжал, содрогнулся и стал посреди этой пещеры, куда не проникает солнце, а на меня вдруг накатилась ностальгия, которой я никак не ожидал. В окне я увидел отражение своего лица, бледного от бдений за письменным столом в четырех стенах, сквозь это лицо на секунду проступило другое — лицо моего более юного двойника, мальчишки, каким я был десять лет назад. Я громко рассмеялся, поймав себя на этом воспоминании, и, внезапно почувствовав прилив сил и вдохновения, решил отвлечь Софи, вывести ее из нервного кризиса и немножко взбодрить или хотя бы попытаться.

— Вот мы и в Филадельфии,— сказал я.

— Это большой город? — спросила она. То, что она, хоть и сквозь слезы, проявила любопытство, показалось мне обнадеживающим знаком.

— М-м-м, сравнительно большой. Не такой огромный, как Нью-Йорк, но все же. Пожалуй, как Варшава до нацистской оккупации. Это первый большой город, который я увидел в своей жизни.

— А когда это было?

— Году в тридцать шестом — мне тогда исполнилось одиннадцать лет. До того я ни разу не был на Севере. Мне сейчас вспомнилась чертовски смешная история, которая произошла со мной в день моего приезда сюда. Мои тетя и дядя жили в Филадельфии, и мама — это было года за два до того, как она умерла,— решила послать меня к ним летом на неделю. Отправила она меня одного на автобусе дальнего следования. В ту пору детишки немало ездили одни — это было абсолютно безопасно. Словом, ехать мне на автобусе надо было весь день — он шел кружным путем из Тайдуотера в Ричмонд, затем в Вашингтон и дальше — через Балтимор. Мама велела нашей цветной кухарке — помнится, звали ее Флоренс — положить мне в бумажный пакет побольше жареных цыплячьих ножек, и был у меня еще термос с холодным молоком — как ты понимаешь, превкусная еда в дороге. И вот где-то между Ричмондом и Вашингтоном я уничтожил весь мой завтрак, а потом днем автобус остановился в Авр-де-Грас...

— Это ведь по-французски, да? — заметила Софи.— Гавань...

— Совершенно верно, это маленький городок в Мэриленде. Мы с тобой будем через него проезжать. Словом, вышли мы все тогда на остановке у паршивого ресторанчика, где можно было попи́сать, выпить содовой воды и еще чего-нибудь в этом роде, и там я увидел игральный автомат—бега. В Мэриленде, видишь ли, в противоположность Виргинии, в известной мере разрешена азартная игра, и вот в эту машину можно было опустить медяк и поставить на одну из, скажем, двенадцати крошечных металлических лошадок. Помню, мама дала мне ровно четыре доллара на расходы — это было очень много во времена Великой депрессии; я воспы́лал желанием поставить на лошадку и соответственно сунул в отверстие медяк. Ну, Софи, что произошло, ты и представить себе не можешь. Эта чертова машина сорвала банк — ты знаешь, что значит «сорвать банк»? По всей машине замелькали огни, и из нее хлынул настоящий *поток* медяков — десятки,

*сотни* монет. Я просто глазам не мог поверить! Я, наверное, выиграл долларов пятнадцать медяками. Они рассыпались по всему полу. От счастья я голову потерял. Но тут, понимаешь, возникла проблема, как везти эту добычу. На мне, помнится, были короткие белые полотняные штанишки, и я принялся рассовывать медяки по карманам, но их было так много, что они все время отовсюду вылетали. Но все настроение мне испортила эта противная баба, которой принадлежал ресторанчик: когда я попросил ее — обменяйте мне, пожалуйста, медяки на доллары,— она пришла в такую ярость, принялась кричать, что играть-де на таком автомате можно только после восемнадцати лет, а у меня еще под носом не высохло, и что у нее отнимут лицензию, и что, если я сейчас же не уберусь к черту, она вызовет полицию.

— А тебе было одиннадцать,— сказала Софи, беря меня за руку.— Чтобы Стинго было одиннадцать лет — не могу поверить. Какой же ты, наверно, был милый мальчишечка в своих белых полотняных штанишках.— Нос у Софи был все еще красный, но слезы прекратились, и мне показалось, что в глазах ее загорелся веселый огонек.

— Словом, сел я снова на автобус и поехал дальше в Филадельфию. Путь был далекий. А стоило мне пошевельнуться, как из моих разбухших карманов вылетал медяк, а то и несколько, и катился по проходу. Если же я вставал, чтобы их поднять, получалось только еще хуже, потому что из карманов у меня вылетали новые медяки и катились в разные стороны Когда мы приехали в Уилмингтон, шофер был уже просто вне себя: ведь пассажиры всю дорогу только и делали, что искали мои монеты.— Я умолк, глядя на безликие силуэты, которые стояли на платформе, беззвучно поехавшей вдруг назад, так как поезд, слегка покачиваясь, двинулся дальше.— Короче говоря,— продолжал я, в свою очередь сжимая руку Софи,— трагический финал разыгрался на автобусной станции, которая должна быть где-то тут, недалеко. В тот вечер тетя и дядя встречали меня; я кинулся к ним, по дороге зацепился за что-то ногой и шлепнулся прямо на попку — карманы у меня лопнули, все чертовы медяки высыпались и полетели с платформы вниз, во тьму, туда, где под землей стоят автобусы, и когда дядя поднял меня и отряхнул, в карманах у меня оставалось монет пять — не больше. Все остальные безвозвратно исчезли.— Я умолк, сам немало позабавившись этой милой дурацкой историей, которую я рассказал Софи, ничего не прибавив, да, впрочем, она и не нуждалась в украшательствах.— Это история-предупреждение о разрушительной природе алчности,— добавил я.

Софи прикрыла лицо рукой, загородившись от меня, но плечи ее тряслись, и я решил, что она смеется. Я ошибся. Она опять плакала, плакала от муки, которую, видимо, не могла осилить. Я вдруг понял, что, сам того не желая, должно быть, вызвал в ней воспоминания о ее мальчике. Я дал ей немного поплакать. Постепенно рыдания ее стали затихать. Наконец она повернулась ко мне и сказала:

— Там, в Виргинии, куда мы едем, Стинго, ты думаешь, есть школа Берлица — школа, где учат языки?

— На кой тебе это? — сказал я.— Ты ведь знаешь уже столько языков — больше, чем любой из моих знакомых.

— Это для английского,— ответила она.— О, я знаю, я говорю теперь хорошо и даже читаю, но мне надо выучиться писать. Я так плохо пишу по-английски. Все так странно пишется.

— Ну, не знаю, Софи,— сказал я,— наверное, есть языковые школы в Ричмонде или Норфолке. Но оба города довольно далеко от Саутгемптона. Зачем тебе это?

— Я хочу написать про Освенцим,— сказала она,— хочу написать про то, что там со мной было. Я, конечно, могу писать по-польски, или по-немецки, или даже по-французски, но мне так хочется уметь писать по-английски...

Освенцим. События последних нескольких дней так далеко отодвинули в моей памяти название этого места, что я почти забыл о его существовании, и сейчас оно меня ударило, как палкой по голове,— мне стало больно. Я посмотрел на Софи — она глотнула виски из стаканчика и слегка рыгнула. Язык у нее с трудом поворачивался, а я уже знал, что это предвещает разброд в мыслях и неуправляемость поведения. Мне так и хотелось швырнуть ее стаканчик на пол и раздавить. Я проклинал себя за слабость, или нерешительность, или бесхребетность, или что-то еще, мешавшее мне тверже вести себя с Софи в такие минуты. «Подожди, вот мы поженимся»,— подумал я.

— Ведь так еще много такого, чего люди не знают об этом месте! — вырвалось у нее.— Даже *тебе*, Стинго, я еще много не рассказала, а я столько тебе рассказывала. Ты знаешь, там все время стоял запах от горящих евреев, день и ночь. Это я тебе говорила. Но я тебе еще не говорила почти ничего про Биркенау, где меня морили голодом и так мне было плохо — я чуть не умерла. Или про то, как я видела — охранник содрал одежду с монашки и напустил на нее собаку, и собака искусала ее всю — и тело, и лицо, так что она через несколько часов умерла. Или...— Тут Софи умолкла, уставясь в пространство, потом продолжала: — Столько много страшного я могла бы рассказать. Но, может, лучше написать это как роман, если, понимаешь, я научусь хорошо писать по-английски, и тогда, может, люди поймут, как нацисты умели заставить тебя делать такое, что, ты думала, никогда не сможешь сделать. К примеру—Гёсс. Никогда бы я с ним не легла—только из-за Яна. И никогда бы не стала говорить, что ненавижу евреев или что это я написала ту брошюру, а не мой отец. Все это я делала ради Яна. И радио не взяла. Я и сейчас убить себя готова — зачем я его не стащила, но это ведь могло погубить моего мальчика, понимаешь, Стинго? Оттого я и рот раскрыть боялась, просто не могла доносить тем людям из Сопротивления, ничего не могла сказать про то, что знала, когда работала у Гёсса, потому что боялась...— Голос изменил ей. Руки у нее дрожали.— *Так* боялась! Всего боялась — такой они внушили мне страх! Почему же мне не сказать о себе всю правду? Почему не написать в книге, что я была страшный трус, грязная collaborationiste [1], что я делала все самое плохое, только чтоб спасти себя? — Из груди ее вырвался дикий стон, перекрывший грохот поезда, так что головы ближайших соседей повернулись, глаза обратились к нам.— Ох, Стинго, не могу я жить со всем этим!

— Замолчи, Софи! — приказал я.— Ты же *знаешь*, что ты не коллаборационистка. Ты сама себе противоречишь! Ты знаешь, что ты была просто *жертвой*. Ты сама мне летом говорила, что в лагере вела себя иначе, чем в обычном мире. Ты сама мне говорила, что просто невозможно было мерить свои поступки, как и поступки других людей, общепринятыми мерками. Так что, прошу тебя, Софи, прошу тебя, *прошу*, перестань себя терзать! Ты просто сжираешь себя за то, в чем не виновата,— ты же так *заболеешь*! Пожалуйста, прекрати.— И, понизив голос, я добавил, неожиданно для себя присовокупив ласковое словцо, которое до сих пор ни разу не употреблял: — Пожалуйста, дорогая, прекрати это — ради твоего же блага.— С этим словцом фраза прозвучала напыщенно: я уже говорил с Софи, как законный супруг, но иначе сказать я не мог.

Я чуть было не произнес и тех слов, которые вертелись у меня на языке уже сотни раз этим летом: «Я люблю тебя, Софи». При одной мысли о том, что вот сейчас я произнесу эту простую фразу, сердце у меня отчаянно заколотилось, а потом вдруг замерло, но прежде чем я сумел открыть рот, Софи заявила, что ей надо в туалет. Она допила остатки виски и встала Я с тревогой следил за ней, пока она пробиралась в конец вагона,— светлая головка ее подпрыгивала, красивые ноги

[1] Коллаборационистка, то есть человек, активно сотрудничавший с гитлеровцами *(франц.)*.

шагали нетвердо. Проводив ее взглядом, я снова уткнулся в «Лайф». Должно быть, я тут же и задремал или, вернее, уснул — сон захлестнул меня после утомительной бессонной ночи с ее напряжением и хаосом, ибо когда голос кондуктора где-то рядом прокричал: «По вагонам!», я даже подскочил на банкетке и только тут понял, что целый час, а то и больше проспал. Софи рядом со мной не было, и страх, словно одеяло, сотканное из множества мокрых рук, внезапно окутал меня. Я взглянул в темное окно, увидел промелькнувшие огни тоннеля и понял, что мы выехали из Балтимора. Дойти до конца вагона, протискиваясь и проталкиваясь мимо животов и задов полусотни человек, стоявших в проходе, можно было минуты за две, я же совершил этот переход за несколько секунд, опрокинув по дороге какого-то малыша. Обезумев от страха, я принялся колотить в дверь женского туалета — отчего я считал, что она все еще там? Толстая негритянка с копной торчащих во все стороны, похожих на парик волос и нарумяненными скулами цвета ноготков высунула оттуда голову и пронзительно завизжала: «Убирайся отсюда! Ты что, чокнутый?» Я кинулся дальше.

В более комфортабельной части поезда меня обволокла слезливая мелодия времен моей бабушки, препарированная фирмой «Музак». Звуки скрипок, старательно выводивших «В зеленых садах» Перси Грейнджера, преследовали меня, пока я как одержимый оглядывал одно купе за другим в надежде, что Софи забрела в какое-нибудь из них и, быть может, заснула. Теперь уже две мысли попеременно теснились в моей голове: что она сошла в Балтиморе и что... Ах, черт бы меня подрал, другая была еще непереносимее. Я снова и снова открывал двери туалетов, обследовал обтянутые похоронным плюшем пространства четырех или пяти салон-вагонов, с надеждой оглядел вагон-ресторан, где цветные официанты в белых передниках шлепали взад и вперед по проходу в дымном, пропитанном прогорклым маслом воздухе. Наконец вагон-клуб. Маленький столик, касса,— хранительница сих мест, приятная седовласая пожилая дама подняла на меня печальные глаза.

— Да, бедняжка искала телефон,— сказала она после того, как я выложил ей свой непростой вопрос.— Представляете — в поезде! Хотела позвонить в Бруклин. Бедняжка, она так плакала. Правда, она казалась немного навеселе. Она пошла туда.

Я обнаружил Софи в конце вагона — в темной клетке площадки, где стоял страшный грохот, так как это был не только конец вагона, но и конец поезда. Закрытая на засов стеклянная дверь в проволочном оплетении выходила на убегавшие назад рельсы, поблескивавшие в полуденном солнце и сливавшиеся где-то в далекой бесконечности среди зеленых хвойных лесов Мэриленда. Софи сидела на полу, привалившись к стене, желтые волосы ее трепал сквозняк, в руке она сжимала бутылку. Как и несколько недель назад, когда она уплыла в небытие под влиянием усталости, чувства вины и горя, она держалась до тех пор, пока могла. Она подняла на меня глаза и что-то сказала, но я не расслышал. Я пригнулся пониже и теперь расслышал — вернее, отчасти прочел по губам, отчасти уловил этот бесконечно печальный голос: «По-моему, я не вытяну».

Служащие в отелях, конечно, видят немало странных типов. Но я до сих пор думаю о том, какие мысли родились в мозгу патриархального клерка, стоявшего за стойкой портье в отеле «Конгресс», что совсем рядом с центром нашего государства Капитолием, когда перед ним предстали его преподобие молодой Уилбер Энтуисл в явно не соответствующем священническому сану саржевом костюме, но с выставленной для всеобщего обозрения Библией в руках, и его изрядно помятая, светловолосая жена с лицом, перепачканным вагонной ко-

потью и слезами; пока они регистрировались, она бормотала что-то нечленораздельное с сильным иностранным акцентом и была несомненно вдребезги пьяна. В конце концов маскировка сработала, и портье проглотил наживку. Изобретенная мной личина оказалась достаточно убедительной, несмотря на отсутствие традиционного костюма. В сороковых годах людям, не состоявшим в браке, не разрешалось жить вместе в одном гостиничном номере; кроме того, фальшивая регистрация в качестве мужа и жены рассматривалась как уголовное преступление. Риск возрастал, если дама была пьяна. Доведенный до отчаяния, я знал, на что отваживаюсь, но подумал, что сведу опасность к минимуму, если сумею придать всему хотя бы скромный ореол святости. Так появилась Библия в черном кожаном переплете, которую я извлек из чемодана, когда поезд уже подъезжал к Юнион-стейшн, а также адрес, который я размашисто написал в регистрационной книге для придания неоспоримой достоверности сладкому голосу и елейным манерам священнослужителя: униатская богословская семинария, Ричмонд, Виргиния. С чувством облегчения я увидел, что моя хитрость сумела отвлечь внимание клерка от Софи: на пожилого джентльмена с двойным подбородком, к тому же южанина (как и многие вашингтонские служащие), мои верительные грамоты произвели впечатление, и с присущей южанам добродушной словоохотливостью он сказал:

— Приятного вам пребывания у нас, ваше преподобие, вам и вашей супруге. Вы священником какой же будете церкви?

Я только было хотел ответить: «Пресвитерианской», но он забасил — так коротконогая гончая с лаем бежит по лощине навстречу своим собратьям:

— А я — я баптист, вот уже пятнадцать лет посещаю Вторую баптистскую церковь в Вашингтоне, прекрасный у нас там теперь проповедник — его преподобие Уилкокс, может, вы о нем слыхали. Он из округа Флъюванна, штат Виргиния,— там я родился и вырос, хотя он, конечно, гораздо меня моложе.— Увидев, что я потихоньку начал отодвигаться от стойки вместе с Софи, тяжело висевшей на моей руке, клерк позвонил и, вызвав единственного сонного негра-посыльного, протянул мне карточку.— Любите вкусную морскую еду, ваше преподобие? Побывайте в этом ресторанчике у реки. «Ресторан Герзага» называется. Лучшее заливное из крабов во всем городе.— И когда мы уже подошли к старенькому лифту со стеклянными дверцами цвета зеленого горошка, он, все еще не желая нас отпускать, промолвил: — Энтуисл. А вы случайно не родственник Энтуислов из округа Паухэтен, ваше преподобие?

Я снова был на Юге.

Все в отеле «Конгресс» дышало troisième classe[1]. Крошечная комнатушка, которую мы сняли за семь долларов, была унылая и душная; она выходила на ничем не примечательную улочку, откуда в нее проникал слабый дневной свет. Софи, еле державшаяся на ногах от недосыпа, плюхнулась на кровать еще прежде, чем посыльный поставил наши чемоданы на шаткую подставку и получил от меня двадцать пять центов. Я поднял раму, за которой обнажился карниз, весь покрытый белой известкой — следами голубей, и теплый октябрьский ветерок, ворвавшись в комнату, сразу освежил воздух. Издали, с Юнион-стейшн, до меня донесся лязг поездов и приглушенные гудки, а откуда-то совсем близко — барабанная дробь и взвизги труб, звуки цимбал, самодовольное свиристенье военного оркестра. Две-три мухи глухо жужжали в затененном уголке под потолком.

Я лег рядом с Софи на кровать, продавленную посредине, что не только позволило, а скорее вынудило меня подкатиться к ней, точно

---

[1] Третьеразрядностью *(франц.)*.

мы лежали в неглубоком гамаке; от выношенного белья и одеяла исходил слабый запах мускуса и хлора — то ли от стирки, то ли от чего другого, а может быть, и от всего вместе. Безмерная усталость и тревога за Софи притупили было остроту желания, которое я всегда испытывал в ее присутствии, но близость Софи, прикосновение ее тела пробудили меня — я закрутился, заворочался, не в силах заснуть. До слуха моего донесся отдаленный бой часов — пробило полдень. Софи спала прижавшись ко мне, приоткрыв губы; дыхание ее слегка отдавало виски. Низкий вырез шелкового платья обнажил одну грудь — у меня тотчас возникло неудержимое желание дотронуться до нее, что я и сделал,— сначала осторожно кончиками пальцев провел по коже с голубыми прожилками, но тут же возник стыд: терзать плоть Софи, нарушая ее наркотический сон,— в этом было что-то поганое, близкое к некрофилии, и я отдернул руку.

Но заснуть я все равно не мог. Различные образы, звуки, голоса, прошлое и будущее перемежались, а иногда сливались в моем мозгу: гневный рев Натана. такой жестокий, такой дикий, что я постарался скорее забыть о нем; недавно написанные эпизоды из моего романа — герои, точно актеры на сцене, подавали реплики, звеневшие у меня в ушах; голос отца в телефоне — радушный, приветливый (разве старик не прав? Разве не следует мне теперь навсегда поселиться на Юге?); Софи на замшелом берегу воображаемого пруда или глубокого водоема среди лесов, что раскинулись за покрытыми весенней зеленью полями «Пяти вязов», ее стройное длинноногое тело в плотно облегающем купальном костюме из ластекса дышит красотой и здоровьем, на коленях у нее — наш улыбающийся во весь рот гномик-первенец; тот страшный выстрел, прогремевший у меня в ушах; солнечные закаты, одинокие ночи любовных томлений, благословенные восходы, исчезнувшие дети, победа, горе, Моцарт, дождь, сентябрьская зелень, сон, смерть. Любовь. Замирающие звуки «Марша полковника Богея», который исполнял проходивший мимо оркестр, пробудили во мне острую ностальгию, и мне вспомнились не столь давние военные времена, когда я приезжал в отпуск из лагеря в Каролине или Виргинии и лежал без сна (и без женщины) в каком-нибудь отеле в этом самом городе — одном из немногих американских городов, где бродят призраки истории,— и, думая об улицах под моим окном, представлял себе, как они выглядели всего три четверти века назад, когда здесь бушевала братоубийственная, принесшая несказанное горе война и тротуары были забиты солдатами в синих мундирах вперемешку с авантюристами и проститутками, ловкими жуликами в цилиндрах, колоритными зуавами, прыткими журналистами, восходящими дельцами, хорошенькими кокетками в шляпах с цветами, таинственными шпионами Конфедерации, карманниками и гробовщиками — эти последние вечно спешили по своим неотложным, непрекращавшимся делам, ибо их ждали десятки тысяч по преимуществу совсем молоденьких мальчиков, которые находили свою смерть на безрадостных землях к югу от Потомака и лежали штабелями, словно дрова, в пропитанных кровью полях и лесах за сонной рекой. Мне всегда казалось странным, даже жутким то, что в этом чистом современном городе — нашей столице Вашингтоне,— таком холодном и официальном в своей шири и красоте, все еще бродят, как и в ряде других городов, настоящие призраки. Звуки оркестра растворялись в далекой дали; приглушенная расстоянием бравурная мелодия звучала мягко, грустно, как колыбельная. Я заснул.

Когда я проснулся, Софи сидела на кровати, скорчившись, поджав под себя ноги, и смотрела на меня. Я словно вынырнул из небытия и по тому, как изменился свет в комнате — хотя тут и в полдень царил полумрак, а сейчас стало почти совсем темно,— понял, что проспал несколько часов. Сколько времени Софи вот так смотрела на меня, я, конечно, не мог сказать, но не без смущения подумал, что, наверно,

довольно долго; лицо у нее было такое милое, озадаченное, чуть насмешливое. Оно по-прежнему было бледное, измученное, и под глазами лежали черные тени, но она явно ожила и протрезвела. Казалось, она вполне оправилась — во всяком случае, на данный момент — после того страшного припадка в поезде. Увидев, что я заморгал, она сказала с нарочито подчеркнутым акцентом, к которому иногда шутки ради прибегала:

— Ну-с, преподобный Эн-туи-и-сл, хорошо поспа-али?

— Боже, Софи,— в смятении воскликнул я,— который час? Я спал мертвым сном.

— Я слышала, колокол только что пробил на церкви. По-моему, пробил три раза.

Все еще не вполне проснувшись, я повернулся и погладил ее по плечу.

— Пора выходить на марш, как говорят в армии. Не можем же мы торчать здесь весь день. Я хочу, чтоб ты увидела Белый дом, Капитолий, памятник Вашингтону. А также театр Форда, ну, ты знаешь, где стреляли в Линкольна. И Мемориал Линкольна. Столько здесь всех этих чертовых штук. А потом можно и перекусить...

— Я совсем есть не хочу,— возразила она.— А город смотреть хочу. Я чувствую себя гораздо лучше после сна.

— Ты мигом заснула — точно свечу задули,— сказал я.

— Ты тоже. Когда я проснулась, ты лежал с открытым ртом и храпел.

— Нечего издеваться,— сказал я не без искреннего ужаса.— Я ведь не храплю. Я в жизни никогда не храпел! Никто ни разу не говорил мне об этом.

— Потому что ты никогда ни с кем не *спал*,— игриво возразила она. Потом нагнулась и прильнула к моим губам чудесным влажным каучуковым поцелуем да еще вдобавок просунула язычок — он быстро, весело обследовал мой рот и исчез. И прежде чем я успел отреагировать, хотя сердце и застучало в бешеном ритме, она уже снова сидела, поджав ноги, возвышаясь надо мной.

— Господи, Софи,— начал было я,— никогда этого не делай, если...— Я поднял руку и вытер губы.

— Стинго,— прервала она меня,— куда мы теперь?

Немного сбитый с толку, я сказал:

— Я же говорил тебе. Осмотрим достопримечательности Вашингтона. Пройдем мимо Белого дома — может, даже увидим Гарри Трумэна.

— Нет, Стинго,— снова прервала она меня, на этот раз более серьезным тоном.— я хочу сказать — куда мы *в самом деле* направляемся? Вчера вечером, когда Натан.. В общем, вчера после того, что он сделал, когда мы стали быстро-быстро упаковывать чемоданы, ты все говорил: «Надо ехать домой, домой!» Снова и снова говорил: «Домой!» А я просто пошла за тобой, потому что так испугалась, и вот мы теперь с тобой в чужом городе, и я просто не понимаю, зачем мы здесь. На самом-то деле куда мы едем? Куда это — домой?

— Но ты же знаешь, Софи, я тебе говорил. Мы едем на ферму, про которую я тебе рассказывал в Южную Виргинию. Ничего больше про эти места я тебе сейчас сказать не могу. Это ферма, где растет главным образом земляной орех. Я никогда ее не видел, но отец говорит, что она вполне комфортабельная, со всеми современными американскими удобствами. Ну, понимаешь, стиральная машина, холодильник, телефон, водопровод в доме, радио — словом, полный набор. Когда мы устроимся, поедем в Ричмонд и приобретем хороший проигрыватель и множество пластинок. Накупим себе музыки, которую мы оба любим. Там есть универсальный магазин — он называется «Миллер

энд родс» — с отличным отделом пластинок, во всяком случае, он был отличным, когда я ходил в школу в Мидлсексе...

— «Когда мы устроимся»? — снова прервав меня, повторила она мягко, но с явным намерением довести расследование до конца.— А как это будет? Что значит — «устроимся», Стинго, дорогой?

Вопрос этот породил во мне огромную волнующую пустоту, которую я не мог заполнить мгновенным ответом, ибо понял вдруг, что ответ этот должен быть весомым, начиненным глубоким смыслом; я как-то по-идиотски судорожно глотнул и надолго умолк, ощущая лишь стремительный аритмичный стук крови в висках да исполненную отчаяния, могильную тишину в жалкой комнатенке. Наконец я медленно произнес, но гораздо смелее и непринужденнее, чем, мне казалось, я когда-либо смогу это сказать: — Софи, я люблю тебя. Я хочу на тебе жениться. Я хочу жить с тобой на этой ферме. Хочу писать там книги, возможно, до конца моих дней; хочу, чтоб ты была со мной и помогала мне и чтобы у нас была семья.— Секунду помедлив, я добавил:— Ты мне очень нужна. Очень, очень. Слишком ли самонадеянно с моей стороны думать, что и я тебе нужен? — Еще произнося эти слова, я подумал, что произношу их с той же дрожью, таким же голосом, что и этот напыщенный идиот Джордж Брент, когда он в одном фильме, который я как-то видел, делал предложение Оливии де Хэвиленд на прогулочной палубе дурацкого голливудского океанского лайнера; но черт с ним, с пафосом,— главное, я наконец сказал то, что должен был сказать, а все признания в любви, мелькнула у меня мысль, возможно, всегда выглядят кинематографической дешевкой.

Софи опустила голову на подушку рядом с моей, так что я почувствовал, как пылали у нее щеки, и приглушенно заговорила мне в ухо, а я смотрел на ее обтянутые шелком бедра, слегка колыхавшиеся надо мной.

— Ах, Стинго, сладкий мой, ты такая прелесть. Ты так заботишься обо мне — много, много. Право, не знаю, что бы я без тебя делала.— Пауза; губы ее коснулись моей щеки.— Знаешь что, Стинго: мне ведь больше тридцати. Что ты будешь делать с такой старухой?

— Справлюсь,— сказал я.— Как-нибудь справлюсь.

— Тебе нужна женщина ближе по возрасту, чтоб у вас были дети, а не такая, как я. И потом...— Она умолкла.

— Что — потом?

— Ну, доктора сказали, мне надо быть очень осторожной насчет детей после...— Снова молчание.

— Ты хочешь сказать — после того, через что ты прошла?

— Да. Но дело не только в этом. В один день я стану старой уродиной, а ты будешь еще совсем молодым, и как я буду винить тебя, если ты станешь бегать за молоденькими хорошенькими барышнями.

— Ах, Софи, Софи,— возразил я шепотом, а сам в отчаянии думал: «Она ведь не сказала мне: «Я люблю тебя» в ответ на мое признание».— Не надо так. Ты всегда будешь моей... Словом, всегда будешь для меня...— Я тщетно пытался найти что-то по-настоящему нежное, а сказал лишь: — Первым Номером.— Это прозвучало отчаянно банально.

Она снова выпрямилась.

— Я хочу поехать с тобой на эту ферму. Я так хочу увидеть Юг после всего, что ты мне говорил, и почитавши Фолкнера. Только почему нам не поехать туда ненадолго, и я бы пожила там с тобой, только мы бы не стали жениться, а потом решили бы...

— Софи, Софи,— прервал ее я,— я бы *очень* этого хотел. Мне ничего другого и не нужно. У меня вовсе нет маниакального стремления жениться. Но ты не представляешь себе, что за люди там живут. То есть, я хочу сказать, это вполне пристойные, щедрые, добрые южане, но в таком маленьком сельском местечке, где мы с тобой поселимся,

просто *невозможно* жить неженатыми. Господи Иисусе, Софи, они же все *христиане!* Стоит пройти слуху. что мы живем во грехе, как это принято называть, и эти славные виргинцы вываляют нас в смоле и в перьях, привяжут к длинному бревну, перевезут через границу штата и бросят в Каролине. Ей-богу, так это и будет.

Софи хихикнула.

— Американцы такие смешные. Я считала, что Польша очень пуританская страна, но представить себе такое...— Теперь-то я понимаю, что взвывшая в тот момент сирена, а вернее, хор сирен и грохочущий ад, сопутствовавший их пронзительному вою, прорвали тонкую ткань настроения Софи, которая, частично моими стараниями, разгладилась было, стала ровной, как бы засветилась по краям, словно пронизанная солнцем. Городские сирены даже на расстоянии звучат омерзительно, их звук всегда порождает какое-то ненужное, раздирающее душу волнение. И сейчас, возникнув на узкой улице всего тремя этажами ниже нас, звук сирены оглушительно возрос, словно рожденный между тесных стен каньона, и, отраженный закопченными стенами дома напротив, вытянутым свиным рылом, сгустком крика проник в наше окно. Барабанные перепонки запротестовали, не выдерживая этой садистской пытки звуком, и я выскочил из постели, чтобы опустить раму. В конце темной улицы из какого-то здания, похожего на склад, чернильное пятно дыма уходило в небо пушистым пером, а как раз под нами пожарные машины, задержанные неведомым препятствием, продолжали изрыгать в воздух свой невероятный вой.

Я с грохотом опустил раму, что принесло некоторое облегчение, но, судя по всему, ничуть не помогло Софи — она лежала на кровати, отчаянно дрыгая ногами, плотно накрыв голову подушкой. Оба мы уже какое-то время жили в большом городе и должны были привыкнуть к такому нарушению тишины — правда, источник шума впервые звучал столь громко и находился столь близко. А в этом сонном городишке Вашингтоне поднялся такой шум, какого я в Нью-Йорке ни разу не слыхал. Но вот пожарные машины медленно обошли задержавшее их препятствие, сирены зазвучали глуше, и я повернулся к распростертой на кровати Софи. Она смотрела на меня. Если жуткий визг лишь прошелся по моим нервам, то ее он истерзал, как злой кнут. Лицо ее покраснело и было искажено; она повернулась к стене, затряслась и снова ударилась в слезы. Я сел рядом с ней. И долго молча смотрел на нее, пока рыдания ее постепенно не стихли, и тогда до слуха моего донеслось:

— Прости меня, Стинго. Я. видно, не умею владеть собой.

— Отлично умеешь,— сказал я без особой убежденности.

Некоторое время она лежала так — молча, глядя в стену. Наконец она сказала:

— Стинго, ты когда-нибудь в жизни видел один и тот же сон снова и снова? Такие сны, кажется, называют «периодически повторяющимися», да?

— Да,— сказал я и тут же вспомнил сон, который приснился мне после смерти мамы, когда я был еще совсем мальчишкой: открытый гроб стоял в саду, и оттуда на меня с мукой глядело ее мокрое от дождя, искаженное лицо.— Да,— повторил я,— был такой сон, который много раз возвращался ко мне после смерти мамы.

— Ты считаешь, это непременно должны быть сны про родителей? Мне, к примеру, всю жизнь снится сон про моего отца.

— Странно,— сказал я.— Может быть. Не знаю. Матери и отцы — они у основания нашей жизни. Во всяком случае, могут быть.

— Когда я тут сейчас заснула, мне снова приснился сон про моего отца — я видела его много раз. И сразу забыла, как проснулась А тут заорала эта пожарная машина — сирена. Это было ужасно, и все же звук был музыкальный. Может, это от музыки? У меня получился шок, и я снова вспомнила про сон.

— А о чем был твой сон?

— Понимаешь, это сон про то, что случилось со мной, когда я была совсем маленькая.

— Что же случилось с тобой, Софи?

— Ну, сначала тебе надо кое-что понять — до того, как я расскажу тебе про мой сон. Было это, когда мне исполнилось одиннадцать лет, как тебе. И было это летом, когда мы ездили отдыхать в Доломитовые Альпы,— я тебе об этом уже говорила. Помнишь, я тебе говорила, что мой отец каждое лето снимал домик там, над Больцано, в маленькой деревушке Обербозен, где, конечно, говорили по-немецки. Там была маленькая колония поляков — профессора из Кракова и Варшавы и несколько польских — думаю, их можно так назвать — аристократов, во всяком случае, люди с деньгами. Среди профессоров, я помню, был знаменитый антрополог Бронислав Малиновский. Отец пытался подружиться с Малиновским, но Малиновский терпеть не мог отца. Как-то в Кракове, я слышала, один взрослый сказал, что профессор Малиновский считает моего отца, профессора Беганьского, выскочкой и безнадежно вульгарным. В общем, была там, в Обербозене, одна богатая полька — княгиня Чарторыжская, с которой мой отец очень подружился, и летом, когда мы приезжали туда, они часто встречались. Она была из очень древней, очень благородной польской фамилии, и отцу нравилось, что она богатая, ну, и что она относится к евреям, как он.

Это ведь были времена Пилсудского, когда евреев в Польше не обижали, а мой отец и княгиня Чарторыжская садились рядом и принимались рассуждать про еврейскую проблему и про то, что надо от евреев избавляться. Странно это было, понимаешь, Стинго, потому что отец в Кракове при мне, или при моей матери, или при ком-нибудь еще никогда не позволял себе говорить про евреев и про то, как он их ненавидит. Во всяком случае, пока я была девочкой. А тут в Италии, понимаешь, в Обербозене, с этой княгиней Чарторыжской он вел себя иначе. Ей было восемьдесят лет, она всегда ходила в красивых длинных платьях, даже летом, и носила драгоценности — я помню, у нее была огромная брошь с изумрудом,— и они с отцом сидели в ее элегантном Sennhütte, иначе говоря, шале, пили чай и говорили про евреев. Разговаривали они всегда по-немецки. У нее был красивый сенбернар, я играла с собакой и невольно слышала их разговоры, они почти всегда говорили про евреев. Про то, что надо их куда-нибудь выслать — всех до единого и избавиться от них раз и навсегда. Княгиня даже хотела создать для этого фонд. Они все говорили про разные острова — вот сослать бы евреев на Цейлон, или на Суматру, или на Кубу, а лучше всего на Мадагаскар. Я не очень-то их слушала, потому что играла с внуком княгини Чарторыжской — он был английский мальчик,— или играла с большой собакой, или слушала музыку на граммофоне. Понимаешь, Стинго, музыка — она как-то связана с моим сном.

Софи снова умолкла и крепко прижала пальцы к закрытым векам. В монотонном звучании ее голоса появился нерв. Она повернулась ко мне, словно отключаясь от воспоминаний.

— У нас *непременно* будет музыка там, куда мы едем, Стинго. Я не смогу продержаться долго без музыки.

— Ну, я буду с тобой откровенен, Софи. В захолустье — я хочу сказать, за пределами Нью-Йорка — по радио почти ничего не передают. Ни одной приличной станции не найдешь. Только днем по субботам выступает Милтон Кросс [1] да транслируют оперы из «Метрополитен». Остальное — сплошной фольклор. Порой нечто ужасающее. Может, я сделаю из тебя любительницу Роя Экаффа [2]. Но я уже ска-

[1] Милтон Кросс — музыкальный комментатор, специалист по опере.

[2] Рой Экафф — исполнитель народных песен Юга.

зал: как только приедем, прежде всего купим проигрыватель и пластинки...

— Я стала такая привередливая,— вставила она.— Натан ведь покупал мне столько музыки. Но это у меня в крови, в этом моя жизнь, понимаешь, и тут уж я ничего не могу поделать.— Она помолчала, снова собирая воедино разрозненные нити памяти. Потом сказала: — У княгини Чарторыжской был граммофон. Одна из первых моделей, не очень хорошая, но никакой другой я прежде не видела и не слышала. Странно, правда: старая полька евреев ненавидела, а музыку любила. У нее была уйма пластинок, и я прямо голову теряла от удовольствия, когда она их ставила для нас — для моей матери, для моего отца и для меня, а иногда и для других гостей — и мы слушали эти пластинки. Главным образом арии из итальянских и французских опер — Верди, и Россини, и Гуно,— но от одной пластинки, я помню, у меня даже дух перехватывало — так она мне нравилась. Пластинка эта, наверно, была редкая и очень ценная. Сейчас прямо не верится — такая она была старая, хриплая, но я ее обожала. На этой пластинке мадам Шуман-Хейнк пела Lieder [1] Брамса. На одной стороне, помню, был «Der Schmied» [2], а на другой «Von ewiger Liebe» [3], и когда я в первый раз услыхала эту пластинку, я сидела как в трансе, слушала этот дивный голос, прорывавшийся сквозь шумы, и все думала, что такого великолепного пения я никогда еще не слышала, все равно как ангел сошел на землю. Странное дело, эти две песни я слышала только раз за все время, что мы с отцом ходили в гости к княгине. А мне так хотелось снова их послушать. О боже, я чувствовала, что готова сделать что угодно — даже что-то отчаянное,— только бы услышать их снова; меня так и подмывало попросить, чтоб их снова поставили, но я была такая застенчивая, да к тому же отец наказал бы меня, если бы я вдруг... ну, словом, стала такая нахальная...

И вот во сне, который ко мне приходит снова и снова, я вижу, как княгиня Чарторыжская в своем красивом платье идет к граммофону, потом поворачивается и говорит как бы мне: «Хотите послушать Lieder Брамса?» И я всякий раз хочу сказать: «Да». Но отец встревает, и я не успеваю сказать. Он стоит рядом с княгиней, смотрит на меня в упор и говорит: «Пожалуйста, не ставьте такую музыку для девочки. Она еще слишком глупенькая, все равно не поймет». И тут я просыпаюсь, и мне так больно... Только на этот раз все было еще хуже, Стинго. Потому что во сне, который я сейчас видела, отец опять говорил с княгиней, но не о музыке, а...— Софи помедлила и шепотом добавила: — О моей смерти. Он, кажется, хотел, чтобы я умерла.

Я отвернулся от Софи. Сделал несколько шагов к окну, глубоко несчастный, встревоженный; где-то глубоко в кишках у меня словно раскручивался комок боли. В комнату проник слабый горький запах гари, тем не менее я поднял раму окна и увидел, как внизу по улице тонкой голубой вуалью ползет дым. Вдали, над горевшим зданием, колыхалось черное облако, но пламени я не увидел. Запахло сильнее— обгоревшей краской, или дегтем, или лаком вместе с паленой резиной. Снова взревели сирены, но на сей раз приглушенно, в другой стороне улицы, и краешком глаза я увидел, как фонтан воды гейзером взлетел в небо—к скрытым от меня окнам, встретил на своем пути некий скрытый от глаз ад и рассеялся облаком пара. На тротуарах внизу зеваки в рубашках с короткими рукавами стали осторожно продвигаться ближе к огню, и я увидел, как два полисмена принялись перегораживать улицу деревянными барьерами. Никакая опасность ни гостинице, ни нам не угрожала, но я почувствовал, что меня трясет от волнения.

Я только было повернулся снова к Софи — она посмотрела на меня с кровати и сказала:

---

[1] Песни *(нем.)*.

[2] «Кузнец» *(нем.)*.

[3] «О вечной любви» *(нем.)*.

— Стинго, я должна тебе сейчас кое-что рассказать — я этого никогда еще никому не рассказывала. Никогда.

— Так расскажи.

— Если ты не будешь этого знать, ты меня вообще не поймешь. А я вдруг почувствовала, что должна кому-то наконец рассказать.

— Так расскажи мне, Софи.

— Сначала дай мне выпить.

Не раздумывая, я подошел к ее чемодану и вытянул из скользкого вороха полотна и шелка вторую бутылку виски: я знал, что она спрятана там. «Напивайся, Софи,— подумал я,— ты это заслужила». Затем я прошел в крошечную ванную, до половины наполнил водой рвотно-зеленый пластмассовый стаканчик и отнес ей в кровать. Софи до краев долила в него виски.

— А ты не хочешь? — спросила она.

Я отрицательно покачал головой и, вернувшись к окну, глубоко вдохнул бурые химические терпкие испарения, изрыгаемые далеким пожаром.

— Тот день, когда меня привезли в Освенцим,— услышал я ее голос за спиной,— был такой красивый. Акация цвела.

«А я в это время ел бананы в Роли, в Северной Каролине»,— подумал я не впервые за время знакомства с Софи, однако, пожалуй, впервые понимая все значения Абсурда и предопределенность связанного с этим нескончаемого кошмара.

— А знаешь, Стинго, той зимой в Варшаве как-то вечером Ванда предсказала свою смерть, и мою смерть, и смерть моих детей.

Я уже не помню точно, в каком месте повествования Софи преподобный Энтуисл услышал собственный шепот: «О боже, боже ты мой». Зато в сознании моем запечатлелось, как эти слова — пока она вела свой рассказ, а дым стлался над соседними крышами, и наконец пламя, ярко вспыхнув, взметнулось в небо,— эти слова, которые вначале я произносил с искренней пресвитерианской верой, в конце утратили всякий смысл. Я просто хочу сказать, что все восклицания: «боже», «боже ж ты мой» или даже «господи Иисусе», которые я шепотом повторял, были такой же пустой скорлупой, как представление идиота о боге или мысль, что вообще есть такое существо.

— Иногда я начинаю думать, что все плохое на этом свете, все зло, какое только было изобретено, связано с моим отцом. Тогда, зимой, в Варшаве я не чувствовала вины за то, что у меня такой отец, или за то, что́ он писал. Но я часто чувствовала страшный стыд, а это не то же самое. Стыд — чувство грязное, которое еще труднее перенести, чем чувство вины, и мне хотелось умереть при одной мысли, что мечты моего отца осуществляются у меня на глазах. Я много всякого узнала, потому что жила вместе с Вандой, а вернее, была очень с ней близка. А она получала столько сведений о том, что творилось в разных местах, и я тогда уже знала, что евреев тысячами увозят в Треблинку и Освенцим. Сначала думали, что их просто посылают на работы, но у движения Сопротивления была хорошая разведка, и довольно скоро мы узнали правду — узнали про газовые камеры и про крематории, про все. А ведь именно этого хотел мой отец — от такой мысли я просто погибала.

К себе на работу, на фабрику по производству толя, я ходила пешком, а иногда ездила на трамвае мимо гетто. Фашисты тогда еще не выкачали всю кровь из гетто, но уже начали свое черное дело. Я часто видела длинные вереницы евреев, все они держали руки на затылке, и нацисты под дулом ружей гнали их, как скот. Евреи были все такие *серые*, беспомощные — я даже однажды вышла из трамвая, потому что меня тошнило. А мой отец все это время вроде бы... *поощрял* этот ужас, не только поощрял, а словно бы сам *творил*. Не могла

я держать все это дольше в себе — я чувствовала, что должна кому-то рассказать. Никто в Варшаве ведь не знал, из какой я семьи: я жила под фамилией мужа. И я решила рассказать Ванде об этой... этой скверности.

И все же... все же, понимаешь, Стинго, я не могла не признаться себе кое в чем. Меня влекло то немыслимое, что происходило с евреями. Я не могу определить, что это было за чувство. Это вовсе не было удовольствием. Это было что-то другое, противоположное — больное. И однако же, бывало, иду я мимо гетто, остановлюсь вдалеке и, точно зачарованная этим зрелищем, смотрю, как сгоняют евреев. И вдруг я поняла, почему это меня так притягивает, и была потрясена. Я чуть не задохнулась, когда поняла. А дело было в том, что я вдруг осознала: пока немцы будут с такой невероятной — поистине сверхчеловеческой — энергией уничтожать евреев, я в безопасности. Нет, не то чтобы в полной, но все же в *безопасности*. Хоть и плохи были наши дела, но по сравнению с этими затравленными, беспомощными евреями мы чувствовали себя в меньшей опасности. Словом, пока фашисты тратили столько сил на уничтожение евреев, я считала, что и мне, и Яну, и Еве ничего такого уж страшного не грозит. И даже Ванде и Юзефу, хоть они и занимались очень опасными делами. Но стыд мой от этого только возрастал, и вот в тот вечер, про который я рассказываю, я решила поделиться своими мыслями с Вандой.

Мы, помню, как раз заканчивали наш очень скромный ужин — суп из турнепса и гороха и какая-то эрзац-колбаса. И говорили о том, сколько чудесной музыки мы не услышали. А я весь ужин тянула — все не говорила то, что хотела сказать, потом наконец собралась с духом и говорю: «Ванда, ты когда-нибудь слышала такую фамилию — Беганьский? Збигнев Беганьский?»

В глазах у Ванды на минуту появилось отсутствующее выражение. «О да, ты имеешь в виду этого профессора-фашиста из Кракова. Он был довольно известен до войны. Здесь, у нас в городе, произносил истерические речи против евреев. Я совсем забыла о нем. Интересно, куда он девался. Наверно, работает на немцев».

«Он умер, — сказала я. — Это был мой отец».

Я увидела, как вздрогнула Ванда. И в доме и на улице было так холодно. В окно плевками шлепал мокрый снег. Дети уже лежали в постели в соседней комнате. Я уложила их там, потому что у меня кончилось топливо — уголь и дрова, а у Ванды хотя бы было большое пуховое одеяло, так что дети могли согреться. Я внимательно смотрела на Ванду, но на лице ее ничего не могла прочесть. Через некоторое время она сказала: «Так, значит, это был твой отец. Странно, наверное, иметь такого отца. Какой он все-таки был?»

Меня удивила ее реакция: она отнеслась к моему признанию так спокойно, так естественно. Ведь из всех, кто в Варшаве был в Сопротивлении, она, пожалуй, больше всех помогала евреям — или *пыталась* помочь, это ведь было очень трудно. Я бы, пожалуй, назвала это ее специальностью — пытаться помочь людям из гетто. А кроме того, она считала, что тот, который предает евреев или хотя бы одного еврея, — предает Польшу. Это Ванда подговаривала Юзефа убивать поляков, которые предавали евреев. Она была такая *нетерпимая*, такая убежденная — настоящая социалистка Но ее вовсе не шокировало — или как иначе сказать — то, что у меня был такой отец, и явно не считала, что я... ну, словом, что я заражена этим. Я сказала: «Мне почему-то трудно говорить о нем» И она сказала мне в ответ очень мягко: «Ну и не надо, душенька. Не все ли мне равно, кто был твой отец. Ты же не отвечаешь за его отвратительные грехи».

Тогда я сказала: «Ты знаешь, получилось так странно. Немцы ведь убили его в рейхе. В Заксенхаузене».

Но даже это — ну, даже эта *ирония судьбы* вроде не произвела на нее впечатления. Она только моргнула и провела рукой по воло-

сам. Волосы у нее были рыжие, тонкие, без блеска — такие тонкие и тусклые, потому что она плохо питалась. Она только сказала: «Он, очевидно, оказался среди тех преподавателей Ягеллонского университета, которых схватили сразу после начала оккупации».

Я сказала: «Да, и мой муж тоже. Я тебе об этом не рассказывала. Он был учеником моего отца. Я ненавидела его. Я тебе солгала. Надеюсь, ты простишь мне, что я сказала тебе, будто он погиб в бою, когда началось вторжение».

И я хотела закончить то, что начала,— это свое извинение,— но Ванда оборвала меня. Она закурила сигарету — помнится, она курила как ненормальная, когда были сигареты. И она мне сказала: «Зося, милая, это не имеет значения. Да неужели ты думаешь, мне важно, кем они были? Для меня важна *ты*. Твой муж мог быть гориллой, а твой отец — Йозефом Геббельсом, ты все равно осталась бы моей самой любимой подругой». Тут она подошла к окну и опустила маскировочную штору. Она это делала, только когда считала, что опасно. Квартира находилась на пятом этаже, но вокруг дома все было разбомблено, и то, что происходило в нем, наверно, могло быть замечено фашистами. Поэтому Ванда никогда не рисковала. Помню, она взглянула на свои часы и сказала: «Сейчас у нас будут гости. Два еврейских лидера из гетто. Они придут за свертком с пистолетами».

Помню, я подумала: «Великий боже!» Сердце у меня всякий раз начинало страшно колотиться и к горлу подступала тошнота, когда Ванда упоминала про оружие, или про тайные встречи, или про что-то такое, что грозило опасностью или возможностью попасть в фашистскую облаву. Ты же понимаешь: поймай тебя, когда ты помогаешь евреям, — и конец. Я вся обливалась по́том, и у меня подкашивались колени — ох, какая я была трусиха! Я только надеялась, что Ванда не заметит, и когда на меня это накатывало, я думала: не унаследовала ли я от отца еще и трусость. А Ванда тут и говорит: «Я слышала об одном из этих евреев по тайным каналам. Говорят, он очень храбрый, очень знающий. Но только он отчаялся. У них там возникло Сопротивление, но оно не организовано. Он прислал нашей группе записку о том, что в гетто скоро непременно начнется настоящее восстание. Мы уже имели дело с другими, но этот человек—динамо-машина, толкач. По-моему, фамилия его Фельдшон».

Мы еще подождали этих двух евреев, но они все не шли. Ванда сказала мне, что оружие спрятано в подвале нашего дома. Я пошла в спальню посмотреть на детей. В спальне воздух был такой холодный — он резанул меня как ножом.— и над головой Яна и Евы стояло даже облачко пара. Я слышала, как ветер свистит в щелях оконной рамы. Но на детях было большое старое польское одеяло на гусином пуху, и оно защищало их от холода, грело вместо печки. И все же, помнится, я стала молиться богу, чтобы мне раздобыть хоть немного угля или дров и перебраться завтра к себе в квартиру. За окном было невероятно темно — весь город был погружен в темноту. Меня трясло от холода. У Евы в тот вечер была простуда и очень сильно болело ушко, и она долго не засыпала. Так она мучилась. Но Ванда отыскала аспирин — его почти невозможно было достать, а Ванда могла достать что угодно, — и Ева заснула Я еще помолилась, чтобы к утру воспаление у нее прошло и боль тоже. Потом я услышала стук в дверь и вернулась в гостиную.

Второго еврея я не помню хорошо — он все больше молчал, — зато я хорошо помню Фельдшона. Он был плотный, светловолосый, лет, по-моему, сорока с небольшим. и у него были такие пронзительные умные глаза. Они пронзали тебя насквозь, хотя и смотрели сквозь такие толстые стекла — помню, одно стекло было с трещиной склеенное. Помню, какой он мне показался злой, хоть и вежливый. Он прямо кипел от злости и возмущения, хотя держался о'кей. Он сразу заявил Ванде: «Я не могу заплатить вам сейчас, не могу сразу внести

деньги за оружие». Я не слишком хорошо понимала его польский — он говорил, понимаешь, неуверенно и с трудом. «Я, конечно, сумею скоро расплатиться с вами, — сказал он, запинаясь, своим злым голосом, — но не сейчас».

Ванда предложила ему и другому еврею присесть и заговорила по-немецки. И для начала сказала вещь не очень приятную: «У вас немецкий акцент. Можете говорить с нами по-немецки или на идиш, если хотите...»

Но он прервал ее, зло, раздраженно, на безукоризненном немецком: «Мне вовсе ни к чему говорить на идиш! Я говорил по-немецки еще до того, как вы родились...»

Тут Ванда поспешила прервать его: «Вовсе ни к чему придумывать объяснения. Говорите по-немецки. Моя подруга и я, мы обе говорим по-немецки. Никто не требует, чтобы вы вообще платили нам за оружие, а тем более сейчас. Эти пистолеты-автоматы украдены у эсэсовцев, так что денег при сложившихся обстоятельствах мы с вас не возьмем. Хотя средства нам могли бы пригодиться. Но о деньгах поговорим в другой раз». Мы все сели. Она села рядом с Фельдшоном под этой тусклой лампочкой. Свет был желтый, пульсирующий — никто не знал, сколько он продержится. Ванда предложила Фельдшону и другому еврею сигареты — оба взяли. Она сказала: «Это югославские сигареты, тоже украденные у немцев. Свет в любую минуту может погаснуть, так что давайте говорить о деле. Только сначала я хотела бы кое-что узнать. Из каких вы будете, Фельдшон? Я хочу знать, с кем я вхожу в сделку, и имею на это право. Так что выкладывайте. Ведь нам, возможно, придется какое-то время поддерживать деловой контакт».

Это, знаешь ли, было просто удивительно, как Ванда общалась с людьми — открыто, прямо, с кем угодно, с совсем чужими. Это было почти... наверное, самое правильное было бы сказать — *нахально*... И вела она себя, как крутой мужик, а в то же время была такая молодая и женственная, и была в ней какая-то мягкость, так что все сходило ей с рук. Помню, я смотрела на нее. Вид у нее был очень... *истерзанный*, наверное, правильно будет сказать. Она две ночи не спала, все работала, где-то бегала, вечно в опасности. Она ведь много времени отдавала работе в подпольной газете — это было так опасно. По-моему, я говорила тебе, она была совсем не красавица — лицо широкоскулое, молочно-белое и все в веснушках, но был в ней какой-то магнетизм, который преображал ее, делал удивительно привлекательной. Я все смотрела на нее — выражение лица у нее стало жесткое, непримиримое, как и у еврейского лидера, и до того напряженное, что оно прямо-таки поражало. Притягивало.

Фельдшон сказал: «Я родился в Быдгоще, но родители вывезли меня в Германию совсем ребенком.— Голос его вдруг зазвучал зло, иронично: — Этим и объясняется мой плохой польский. Признаюсь, в гетто многие из нас стараются поменьше говорить на нем. Приятнее пользоваться другим языком, а не тем, на котором говорят хозяева Польши. Тибетским? Эскимосским? — И более мягким тоном добавил: — Извините, что я отвлекся Вырос я в Гамбурге и там получил образование. Я был одним из лучших студентов в новом университете Потом стал учителем гимназии. В Вюрцбурге. Преподавал французскую и английскую литературу. Во время урока меня и арестовали. Когда выяснилось, что я родился в Польше, меня выслали сюда в тридцать восьмом году — меня, жену, дочь и еще нескольких евреев польского происхождения.— Он помолчал и с горечью добавил: — Мы ускользнули от нацистов, а теперь они рушат стены наших домов. Только вот кого я должен больше бояться — нацистов или поляков, поляков, которых, казалось бы, я должен считать своими соотечественниками? Что касается нацистов, то я по крайней мере знаю, на что они способны».

Ванда не стала развивать эту тему. Она заговорила об оружии. Сказала, что пистолеты лежат в подвале дома, завернутые в толстую бумагу. Там же находится ящик с патронами. Она взглянула на свои часы и сказала, что ровно через пятнадцать минут два бойца Гвардии Людовой сойдут в подвал, чтобы вынести ящик в парадное. Они условились насчет сигнала. Как только она его услышит, сказала Ванда, сразу даст знак Фельдшону и второму еврею. Они тотчас выйдут из квартиры, спустятся по лестнице и внизу, в парадном, найдут пакеты. И как можно быстрее покинут дом. Помню, она сказала, что хотела бы обратить их внимание на одно обстоятельство. У одного из пистолетов — это были «люгеры», я точно помню — сломан ударник или что-то там еще, но она постарается заменить его, как только сможет.

Тут Фельдшон говорит: «Вы только одного нам не сказали. Сколько их там?»

Ванда посмотрела на него. «Я думала, вам говорили. Три автоматических «люгера».

Лицо у Фельдшона побелело, буквально стало белым как мел. «Этого быть не может, — шепотом произнес он. — Мне сказали, что будет дюжина пистолетов-автоматов, возможно даже штук пятнадцать. И еще гранаты. Этого просто быть не может!» Я видела, что он в ярости и, конечно, в отчаянии. Он покачал головой: «Три «люгера», притом один со сломанным ударником. Бог ты мой!»

Ванда сказала очень деловито — я заметила, что она сдерживается изо всех сил: «Это все, что мы смогли сейчас сделать. Попытаемся добыть еще. Думаю, сумеем. Там еще четыреста обойм. Вам, конечно, понадобится больше, и мы тоже постараемся их добыть».

Тон у Фельдшона стал вдруг таким мягким, чуть ли не извиняющимся: «Вы, надеюсь, не рассердились на мою реакцию. Мне ведь дали понять, что будет гораздо больше, и сейчас это для меня большое разочарование. А потом сегодня я уже пытался вести переговоры с другой партизанской группой, хотел выяснить, можем ли мы рассчитывать на их помощь. — Он помолчал, и в глазах его, смотревших на Ванду, появилось такое бешенство. — Это было ужасно, просто уму непостижимо! Пьяные сволочи! Они рассмеялись нам в лицо, принялись издеваться — им доставляло такое удовольствие смеяться и издеваться над нами. Они обозвали нас жидами! И это были *поляки*».

Ванда спросила своим спокойным, деловым тоном: «Кто же это были?»

«Они называют себя оэнэровцами [1]. Но такая же история получилась у меня и вчера с другой группой польского Сопротивления. — Он посмотрел на Ванду, весь кипя от ярости и отчаяния, и сказал: — Значит, вот все, с чем я должен держаться против двадцати тысяч нацистских солдат: три пистолета-автомата, издевки и смешки. Да что же это, ради всего святого, *происходит*?»

Ванда начала злиться на Фельдшона — это уж я точно могла сказать: ее бесило все, сама *жизнь*. «Оэнэровцы — это настоящие коллаборационисты. Фанатики, фашисты. Украинцы или люди Ганса Франка — и те больше бы вам посочувствовали. Но я вас сразу хочу предупредить. Найдутся и другие люди, которые отнесутся к вам не лучше. А то и хуже. Если вы когда-нибудь столкнетесь с партизанами генерала Корчинского, они могут пристрелить вас — и все».

«Невероятно! — сказал Фельдшон. — Я благодарен вам за эти три пистолета-автомата, но сами понимаете — это смешно! Просто уму непостижимо, что тут происходит! Вы читали «Лорда Джима» [2]? Про

---

[1] ONR — национально-радикальная партия — правоэкстремистская профашистская молодежная организация, существовавшая с апреля по июль 1939 года.

[2] «Лорд Джим» (1900) — роман английского писателя Джозефа Конрада.

офицера, который бежит с тонущего корабля на единственной спасательной шлюпке, предоставив беспомощных пассажиров своей судьбе? Извините за сравнение, но я не могу не думать о том, что нечто похожее происходит здесь. Наши же соотечественники преспокойно дают нам пойти ко дну!»

Я увидела, как Ванда встала, уперлась кончиками пальцев в стол и чуть нагнулась к Фельдшону. Она снова очень старалась держать себя в руках, но я видела, как ей это трудно. Она была такая бледная и измученная. И она заговорила таким отчаянным голосом: «Знаете, Фельдшон, вы либо глупый, либо наивный, а то и все сразу. Правда, едва ли человек, любящий Конрада, может быть глупым, так что скорее всего вы наивны. Как же вы могли забыть тот простой факт, что существует *антисемитизм*. Вы сами только что сказали: «Хозяева Польши». Вы живете в стране, где широко распространен антисемитизм, живете в гетто, которое у нас создано, так как же вы можете *рассчитывать* на какую-либо помощь? Как вы можете вообще чего-либо ожидать — разве что от тех немногих из нас, кто по разным причинам — из идеализма, по моральным убеждениям, просто из человеческой солидарности — готов сделать то, что в наших силах, чтобы спасти вам жизнь? Господи боже ты мой, Фельдшон, да ваши родители наверняка уехали с вами из Польши, чтобы бежать от *шовинистов*. Бедняги, они, конечно, не могли знать, что эта теплая, гостеприимная, гуманная, добрая Германия превратится для вас в ледяную тундру и каленым железом будет гнать вас прочь. Не могли ваши родители знать и того, что, когда вы вернетесь в Польшу, вас, и вашу жену, и вашу дочь будет ждать здесь та же участь. Несмотря на это Dreck [1], которое написано в Евангелии, несчастья рождают в людях не понимание и сострадание, а жестокость. И люди, не раз терпевшие поражение, способны быть чрезвычайно жестокими. Я могу только удивляться тому, что эти оэнэровцы всего лишь обозвали вас жидом! — Она помолчала и добавила: — А теперь вам не кажется странным, что я по-прежнему люблю эту страну больше, чем я могу выразить, больше самой жизни и что, если придется, я готова умереть за нее через десять минут?»

Фельдшон посмотрел на Ванду пылающим взглядом и сказал: «Хотел бы я считать это странным, но не могу, потому что я и сам готов умереть за нее».

Я волновалась за Ванду. Никогда еще я не видела ее такой усталой — у вас это, наверное, назвали бы *раскисшей*. Она так много работала, так мало ела, почти не спала. Голос у нее то и дело надламывался, и я заметила, как дрожали ее пальцы, когда она уперлась ими в стол. Она закрыла глаза, крепко зажмурилась и вздрогнула — даже слегка качнулась. Я подумала: она сейчас лишится чувств. Но тут она открыла глаза и снова заговорила. Голос ее звучал хрипло, напряженно и так горестно: «Вы упомянули «Лорда Джима» — книгу, которую я случайно знаю. Сравнение у вас получилось хорошее, вот только вы забыли конец. По-моему, вы забыли, как герой в конце искупает свое предательство — искупает его своей смертью. Своими страданиями и смертью. Разве нельзя представить себе, что кое-кто из нас, поляков, может искупить вину своих соотечественников, которые предали вас, евреев? Даже если наша борьба не спасет вас? Неважно. Спасет она вас или не спасет. Я, во всяком случае, буду рада

---

[1] Дерьмо *(нем.)*.

уже тому, что мы пытались это сделать — пытались искупить свою вину страданиями, а может быть, и смертью».

Ванда помолчала с минуту и добавила: «Я не хотела обидеть вас, Фельдшон. Вы храбрый человек — это ясно. Ведь вы рисковали жизнью, чтобы прийти сегодня сюда. И я знаю, каково вам. Я узнала еще летом, когда увидела первые фотографии, тайно вывезенные из Треблинки. Я была среди первых, кто их видел, и, как и все, сначала глазам своим не поверила. Теперь я верю. Страшнее испытания, выпавшего вам на долю, ничего быть не может. Каждый раз, когда я прохожу мимо гетто, я думаю про крыс в бочке, которых какой-то сумасшедший расстреливает из пулемета. Вот с чем я сравниваю вашу беспомощность. Но и мы, поляки, по-своему тоже беспомощны. Мы обладаем большей свободой, чем вы, евреи, гораздо большей: свободой передвижения, свободой от непосредственно грозящей опасности, однако мы в повседневной осаде. Мы тоже крысы, только не в бочке, а в горящем доме. Мы можем держаться подальше от огня, найти место попрохладнее, спуститься в подвал, где вообще безопасно. Некоторым, возможно, даже удастся удрать из дома. Многие ежедневно сгорают заживо, но дом большой, и нас спасает само наше множество. Огонь не может сожрать нас всех, а потом настанет день — такое ведь возможно,— когда он вообще потухнет. И если это случится, немало народу останется в живых. А вот в бочке — ни одна крыса в бочке не выживет.— Ванда глубоко перевела дух и посмотрела в упор на Фельдшона.— А теперь позвольте мне задать вам один вопрос, Фельдшон. Как, по-вашему, этих перепуганных крыс, которые мечутся в горящем доме, может волновать участь крыс, которые сидят в бочке, тем более что этих крыс они никогда не считали родными?»

Фельдшон только смотрел на Ванду. Он уже много минут не отрывал от нее глаз. Он молчал.

Тут Ванда взглянула на свои часы. «Ровно через четыре минуты мы услышим свисток. Тогда вы двое выйдете отсюда и спуститесь вниз. Оружие будет лежать у двери.— И добавила: — Три дня назад я вела переговоры в гетто с одним из ваших соотечественников. Не буду называть его — это ни к чему. Скажу только, что он лидер одной из групп, которая решительно противостоит вам и вашей группе. По-моему, он то ли поэт, то ли романист. Мне он в общем-то понравился, но мне было отвратительно одно в его речи. То, как он говорил о евреях,— это звучало так претенциозно. Он говорил: «Наше бесценное наследие — страдания».

Тут Фельдшон не выдержал и выпалил, так что все мы рассмеялись. Даже Ванда и та улыбнулась. Он сказал: «Это мог быть только Левенталь. Моисей Левенталь. Этакий Schmalz[1]».

Но тут Ванда сказала: «А мне ненавистна сама мысль, что страдания бесценны. В этой войне все страдают: и евреи, и поляки, и русские, и чехи, и югославы, и цыгане — все. И все — жертвы. Но бесценных страданий не существует, и все умирают дерьмовой смертью. Ну, а прежде чем вы уйдете, я хочу показать вам кое-какие фотографии. Они были у меня в кармане, когда я говорила с Левенталем. Я их тогда только что получила. Я хотела показать ему, но почему-то не сделала этого. Я покажу их вам».

Как раз в эту минуту погас свет — маленькая лампочка мигнула и потухла. Я почувствовала, как сердце у меня екнуло от страха. Иногда свет гаснул просто оттого, что прекращалась подача тока. А в других случаях — я знала,— когда немцы устраивали засаду, они вырубали свет в доме и выуживали людей с помощью карманных фонариков. Какое-то время все мы сидели неподвижно. Только из печурки в комнату падал красноватый отблеск. Потом, когда Ванда

---

[1] Жир *(нем.)*. Здесь: скользкий.

убедилась, что просто прекратили подачу тока, она достала свечу и зажгла. Я все еще дрожала, боялась, а Ванда бросила несколько фотографий на стол рядом со свечой и сказала: «Взгляните на это».

Мы все пригнулись пониже. Сначала я не могла понять, что там — словно груда палок, много, много палок, похожих на веточки. А потом разглядела — это было невыносимое зрелище: целый товарный вагон, полный мертвых детей,— их там были десятки, возможно сотни, все в таких застывших скрюченных позах, какие могут быть, только когда человек замерз насмерть. И все другие фотографии — такие же: вагоны с десятками детей, застывшими, замерзшими.

«Это не еврейские дети,— сказала Ванда,— все это маленькие поляки, не старше двенадцати лет. Маленькие крысята, которые не сумели выжить в горящем доме. Фотографии сняты бойцами Гвардии Людовой, которые взломали эти вагоны, стоявшие на запасных путях между Замостьем и Люблином. Тут несколько сот трупов на этих фотографиях, все — из одного только поезда. А ведь были и другие поезда, поставленные на запасные пути, в которых дети умирали от голода, или замерзали, или же погибали от того и другого. Это только один пример. А таких тысячи».

Все молчали. Слышно было лишь наше дыхание, но все молчали. Наконец Ванда заговорила, и голос у нее впервые за все время был действительно сдавленный, прерывающийся — в нем прямо чувствовалось изнеможение и еще горе. «Мы пока еще не знаем точно, откуда эти дети, но, думается, знаем, кто они. Это, видимо, те, которые были сочтены непригодными для программы германизации — программы «Lebensborn»[1]. Они, видимо, откуда-то из-под Замостья. Мне говорили, это из тех тысяч, которых отобрали у родителей, но сочли расово неполноценными и определили в Майданек или Освенцим — для уничтожения. Только они туда не доехали. В положенное время этот поезд, как и многие другие, был отправлен на запасный путь, где детям и дали умереть — вы видите от чего. А другие умерли от голода, еще другие задохнулись в запломбированных вагонах. Из одного только района Замостья исчезло тридцать тысяч польских детей. И тысячи и тысячи из них умерли. Это ведь тоже массовое истребление, Фельдшон.— Она провела рукой по глазам и добавила: — Я собиралась рассказать вам и о взрослых, о тысячах невинных мужчин и женщин, истребленных в одном только Замостье. Но не стану. Я что-то очень устала, и у меня вдруг голова закружилась. Хватит и этих детей».

Ванда пошатнулась. Я, помню, схватила ее за локоть и осторожно потянула вниз, чтобы она села. Но она продолжала говорить — при свете свечи, этим своим бесцветным, монотонным голосом, точно в трансе: «Нацисты ненавидят вас, Фельдшон, и вы пострадаете, но они не остановятся на евреях. Вы думаете, когда они покончат с евреями, они отряхнут руки, и перестанут убивать, и поладят со всем остальным миром? Вы недооцениваете это зло, если питаете такие иллюзии. Потому что, когда они покончат с вами, они явятся сюда и заберут меня. Хоть я и наполовину немка. Не думаю, чтоб они устроили мне легкую жизнь — до конца. А потом они схватят вот эту мою хорошенькую подружку-блондиночку и поступят с ней так же, как с вами. Не пощадят они и ее детей, как не пощадили этих замерзших крошек, которых вы тут видите».

В комнате-коробке вашингтонского отеля, где сгущались сумерки, мы с Софи как-то незаметно для себя поменялись местами, так что теперь я лежал на кровати и смотрел вверх, а она стояла у окна, где прежде стоял я, задумчиво глядя на далекое пламя пожара. Она умолкла; я видел ее лицо лишь сбоку — она вся ушла в воспоминания, глаза ее были устремлены в дымную даль. Тишину наруша-

[1] «Источник жизни» *(нем.)*.

ло лишь воркование и пофыркивание голубей на подоконнике снаружи да приглушенный шум, доносившийся из глубины улицы, где люди боролись с огнем. Часы на церкви снова пробили — четыре раза.

Наконец Софи опять заговорила:

— На другой год в Освенциме — я тебе об этом уже рассказывала — они схватили Ванду, пытали ее, подвесили на крюке, и она задохнулась. После того, как я об этом услышала, я все думала о ней, вспоминала по-разному, но чаще всего вспоминала ту ночь в Варшаве. Я снова видела ее, когда Фельдшон и тот, другой еврей ушли за оружием,— как она села у стола, уткнулась лицом в скрещенные руки, совсем измученная, и заплакала. Странно, но прежде я никогда не видела, чтоб она плакала. По-моему, она всегда считала это слабостью. Тогда, помню, я нагнулась над ней, положила руку ей на плечо и смотрела, как она плачет. Она ведь была совсем молоденькая — моих лет. И такая храбрая...

Я любила ее, несмотря на все ее недостатки, потому что она была лучше меня и она была такая удивительно храбрая.

Словом, как я уже говорила, она предсказала свою смерть, и мою смерть, и смерть моих детей. Так она и заснула тогда за столом, положив голову на руки. Мне не хотелось ее тревожить, и я подумала о том, что она говорила про детей, и вспоминала фотографии — эти груды застывших детских тел,— и мне вдруг стало страшно и так жутко, как никогда прежде, хотя и прежде на меня уже столько раз нападал мрак, такой мрак, что во рту появлялся вкус смерти. Я пошла в комнату, где спали мои дети. На меня так подействовало то, что сказала Ванда, что я не могла с собой совладать, и хотя понимала, что не надо этого делать, а все-таки сделала: разбудила Яна и Еву, взяла их обоих на руки, прижала к себе. Они были такие тяжелые — они ведь еще не проснулись, и хныкали, и что-то шептали,— а мне они казались удивительно легкими, наверно потому, что мной владело безумное желание держать их обоих на руках. И еще потому, что я была полна такого страха, такого отчаяния от слов Ванды про будущее: я ведь понимала, что она сказала правду, но что я могла поделать против чего-то такого чудовищного, такого огромного.

За окном было холодно и черно, ни огонька во всей Варшаве — холодный и неописуемо черный город, и только ночь, и мокрый снег, и ветер. Помню, я открыла окно и впустила в комнату ледяной воздух и ветер. Я сказать тебе не могу, как близка я была тогда к тому, чтобы выброситься вместе с детьми в черноту, и сколько раз потом я проклинала себя за то, что этого не сделала.

Вагон, который вез Софи, ее детей и Ванду в Освенцим (вместе с участниками Сопротивления и просто поляками, попавшими в последнюю облаву), не принадлежал к числу обычных. Это не был товарный вагон или вагон для скота, какие немцы обычно использовали для подобного рода перевозок. Как ни удивительно, это был старый, но еще вполне приличный спальный вагон с коридором, устланным ковром, с отдельными купе, с туалетами и небольшими металлическими ромбами над каждым окном, где на польском, французском, русском и немецком языках пассажиров призывали не высовываться. Внутренняя отделка — вытертые, но вполне еще удобные кушетки, причудливые, теперь уже потерявшие блеск лампы — подсказывала Софи, что в почтенном вагоне некогда ездили пассажиры первого класса; если бы не одна особенность, это вполне мог быть один из тех вагонов, в которых отец, любивший путешествовать с шиком, не раз во времена ее детства возил всю семью в Вену, Бозен или Берлин.

Особенность же этого вагона — столь зловещая и гнетущая, что у Софи, когда она это увидела, на миг перехватило дыхание, —

состояла в том, что окна его были наглухо забиты досками. Другая особенность состояла в том, что в каждое купе, предназначенное для шести — восьми человек, фашисты усадили человек по пятнадцать-шестнадцать вместе с багажом. А в узком проходе, в полутьме, тесно прижавшись друг к другу, стояло еще с полдюжины заключенных обоего пола — они то хватались друг за друга, когда поезд резко тормозил или ускорял движение, то падали на колени сидящим. Двоетрое наиболее смекалистых из движения Сопротивления быстро приняли на себя руководство. Разработали график, согласно которому сидящие и стоящие менялись местами,— это принесло облегчение, но облегчения от удушливой жары, создаваемой множеством тел, сгрудившихся в купе, или кислого, тошнотворного запаха, стоявшего в вагоне на протяжении всего пути, ничто принести не могло. Это была, конечно, не пытка, но адское, отчаянное неудобство. Ян и Ева, единственные дети в купе, по очереди сидели на коленях у Софи и у всех остальных. В почти лишенной света клетке кого-то начало рвать, и человеку стоило немалого труда и сил выбраться из купе и протиснуться по забитому людьми коридору в один из туалетов. «Уж лучше бы товарный вагон, — вспомнилось Софи, как простонал кто-то. — Там хоть можно бы лечь». Однако по сравнению с другими составами, пересекавшими в те времена Европу, направляясь в ад, — составами, которые на тысячах мертвых перекрестков времени и пространства и задерживали, и отводили в тупики, и угоняли на запасные пути,— поезд, везший Софи, шел не так уж долго: в обычное время путешествие длилось бы с шести утра до полудня, сейчас же на него ушли не дни, а всего лишь сутки с четвертью.

Возможно, потому (а Софи признавалась мне в этом снова и снова), что она всегда исходила не из действительного, а из желаемого, она утешалась тем, что фашисты везли ее и деливших с нею участь заключенных в столь необычном вагоне. К тому времени все уже знали, что в лагеря нацисты перевозят людей в товарных вагонах и в вагонах для скота. И вот теперь, очутившись с Яном и Евой в этом хоть и старом, но все же первоклассном вагоне, Софи тотчас поспешила отбросить вполне логичную мысль, что ее тюремщики воспользовались таким вагоном просто потому, что он оказался под рукой (наскоро заколоченные досками окна должны были бы подсказать такой вывод). Вместо этого Софи изобрела для себя более успокоительное объяснение: раз, мол, она едет чуть ли не в салон-вагоне, где благополучные поляки и богатые туристы раскланивались и дремали в предвоенные дни,— это признак особой привилегии, это значит, что с ней обойдутся лучше, чем с тысячью восемьюстами евреями из Малкини, которых везли в страшной тесноте — и уже не один день — в голове поезда, в запломбированных черных вагонах для скота. Как потом выяснилось, надежды эти были столь же нелепыми, и фантастическими, и в общем-то постыдными, как и ее мысли, связанные с гетто, а она думала, что само наличие евреев в Варшаве и одержимость нацистов идеей их истребления является гарантией ее безопасности. И безопасности Яна и Евы.

Слово «Освенцим» — «Аушвиц», шепотом проползшее по купе, наполнило ее таким страхом, что она едва не потеряла сознание, хоть и раньше ни секунды не сомневалась, что именно туда идет поезд. Заметив крошечную полоску света между досками, которыми было забито окно, она прильнула глазом к узенькой щелке и по тому, что увидела в первый же час пути при свете пробуждавшегося утра, сумела определить направление: их везли на юг, прямо на юг — мимо деревенек, окружающих вместо обычных пригородов Варшаву, прямо на юг мимо зеленеющих полей и березовых рощ — на юг, к Кракову. Из всех возможных мест заточения только Освенцим находился на юге, и Софи вспомнила, какое она почувствовала отчаяние, когда собственными глазами увидела, куда они едут. Репутация у Освенцима

была зловещая, омерзительная, жуткая. Хотя в гестаповской тюрьме то и дело возникали слухи о том, что их отправят в Освенцим, Софи все надеялась и отчаянно молилась, чтобы их послали в трудовой лагерь в Германию, куда уже отправили стольких поляков и где, по другим слухам, людей содержали в менее жестоких, менее бесчеловечных условиях. Но по мере того, как Освенцим приближался с неотвратимой неизбежностью и становилось ясно, что в этом поезде его не миновать, Софи начало душить сознание того, что она попала в число жертв «заодно», что пострадает она случайно. И она все снова и снова твердила себе: «Я здесь ни при чем». Если бы на свою беду она не попала в облаву вместе со многими бойцами Гвардии Людовой,— злополучное стечение обстоятельств, осложненное ее дружбой с Вандой и тем, что они жили в одной квартире, хотя Софи и кончиком мизинца не помогла Сопротивлению,— ее могли бы признать виновной в серьезном преступлении — контрабандном провозе мяса, но не в таком страшном, как подрывная деятельность, и тогда ее не везли бы в столь неслыханно враждебное человеку место. Но среди прочих ироний судьбы, поняла Софи, было и это: никакой суд ее *не судил* — ее лишь допросили и... забыли. А потом швырнули сюда вместе с партизанами, и она стала жертвой не столько какого-то особого, карающего правосудия, сколько вселенской ярости, сумасшедшей жажды проявить неограниченное господство и силу порабощения, которая нападала на нацистов всякий раз, как им удавалось одержать победу над движением Сопротивления, и которая на этот раз распространилась на несколько сот несчастных поляков, попавших в капкан последней облавы, устроенной варварами.

Отдельные детали этого путешествия Софи запомнила особенно четко. Смрад, духота, бесконечная смена положения — вставай, садись, снова вставай. Неожиданная остановка поезда, и сверху на голову летит коробка — не оглушает, даже не причиняет особой боли, но на макушке вскакивает шишка величиной с яйцо. Вид, открывающийся в щелку: весеннее солнце исчезло, уступив место мелкому дождю, и сквозь тонкую пленку дождя — березы, еще не отошедшие после убийственного зимнего снегопада, изогнувшиеся белыми аркадами, в виде луков, рогаток, тонких сломанных скелетов, повисших хлыстов. И всюду лимонно-желтые пятнышки куриной слепоты. Поля, покрытые нежной зеленью, которая вдали сливалась с зеленью хвойных и лиственных лесов. Снова солнце. Книжки, которые Ян, сидя у нее на коленях, пытался при слабом свете читать: «Швейцарские Робинзоны»[1] по-немецки; польские издания «Белого клыка»[2] и «Пенрода и Сэма»[3]. Два сокровища, которые Ева наотрез отказывалась положить в сетку для багажа, а отчаянно прижимала к себе, словно боялась, что их могут в любой момент отнять: флейта в кожаном футляре и Миша — одноухий, одноглазый медведь, который с колыбели всегда был при ней.

Сильный дождь за стеной — настоящий потоп. Запах рвоты — всепроникающий, неистребимый, сырный. Соседи по купе, две испуганные девочки из монастырской школы лет шестнадцати или около того, всхлипывают, спят, просыпаются, шепчут молитвы пресвятой деве; Виктор из Гвардии Людовой, черноволосый, кипучий, разъяренный, уже замышляет восстание или побег и без конца строчит на обрывках бумаги записки Ванде, которая едет в другом купе; сухонькая старушка, лишившаяся разума от страха, утверждает, что она племянница Венявского, утверждает, что свернутый трубочкой пергамент, который она прижимает к груди,— оригинал знаменитого «По-

---

[1] «Швейцарские Робинзоны, или Приключения на необитаемом острове» (1813) — повесть швейцарского писателя и философа Иоганна Рудольфа Висса (1782—1830).

[2] «Белый клык» — известный роман Джека Лондона.

[3] «Пенрод и Сэм» (1916) — приключенческая повесть американского писателя Бута Таркингтона.

лонеза», утверждает, что имеет право на неприкосновенность, и принимается плакать, как девочки-школьницы, когда Виктор грубо бросает ей: «Нацисты подотрутся вашим «Полонезом», никому он не нужен». От голода начинает сводить живот. Есть абсолютно нечего. Другая старушка, уже отошедшая в мир иной, лежит в коридоре, там, где ее настиг сердечный приступ; в скрещенных застывших руках — крест, а белое как мел лицо все в пятнах от следов сапог и башмаков, шагавших через нее или проходивших мимо. Снова — к щелке, ночной Краков, знакомая станция, залитые луной железнодорожные пути, где они стоят час за часом. В зеленоватом лунном свете — отвратительное зрелище: германский солдат в своей feldgrau[1] форме, с ружьем, перекинутым через плечо, мастурбирует на сумеречных пустынных путях и, скалясь, демонстрирует свою мощь любопытным, или безразличным, или хихикающим узникам, которым случилось наблюдать его сквозь щель. После сна — яркое утро. Переезд через Вислу, темную, дымящуюся от испарений. Пока поезд все движется на запад сквозь золотое, словно пронизанное пыльцой утро, Софи узнает два городка: Скавину и Затор. Ева впервые за все время заплакала — от голодных спазм в животе. Молчи, детка. Еще несколько минут забытья, взорванного солнечным, роскошным, захватывающим дух дивным сном: в длинном платье, с диадемой в волосах, она сидит за роялем перед десятью тысячами зрителей и в то же время — как ни странно — летит, *летит*, рвется ввысь, к свободе, даруемой божественными аккордами «Императорского концерта»[2]. Веки, дрогнув, приоткрываются. Грохот, скрежет тормозов, остановка. Освенцим.

Они пробыли в вагоне большую часть дня. Довольно скоро подача тока прекратилась; лампочки в купе погасли, остался лишь молочно-белый свет, сочившийся сквозь щели в досках, которыми было забито окно. Откуда-то издалека донеслись звуки оркестра. По вагону пробежала дрожь паники — почти ощутимая, как мороз, пробегающий по коже, и в темноте возник тревожный шепот — хриплый, нарастающий, но почти столь же непонятный, как шорох армии листьев. Девочки из монастырской школы взвыли в унисон, призывая святую матерь божию. Виктор прикрикнул на них; в тот же миг Софи услышала голос Ванды, слабо донесшийся из другого конца вагона, призывавший подпольщиков соблюдать спокойствие, соблюдать тишину,— голос, придавший ей мужества.

Должно быть, в первой половине дня пришла весть об участи, постигшей сотни и сотни евреев из Малкини, которые ехали в передних вагонах. «Всех евреев — в фургоны»,— пришла записка Виктору, записка, которую он громко прочел в полутьме и которую Софи, настолько отупевшая от страха, что она даже забыла утешения ради прижать к себе Яна и Еву, тотчас мысленно перевела: «Всех евреев отправили в газовые камеры». И Софи вместе с девочками из монастырской школы принялась молиться. В молитву ее ворвался громкий плач Евы. Дети держались очень мужественно на протяжении всего пути, но сейчас голод стал причинять малышке подлинные страдания. Она кричала как резаная — Софи качала ее, пытаясь успокоить, но ничто не помогало: крики девочки на какое-то время даже вытеснили из головы Софи мысль об обреченных на смерть евреях. Но вот крики прекратились. Как ни странно, помог Ян. Он умел обращаться с сестренкой и сейчас взялся за дело — сначала что-то говорил ей на им одним понятном языке, потом втиснулся рядом. И при бледном свете принялся читать Еве историю Пенрода — о приключениях маленького мальчика в зеленом райском американском захолустье; Ян хихикал, смеялся, его высокое певучее сопрано мягко убаюкивало, а Ева к тому же устала и оттого быстро заснула.

---

[1] Зеленовато-серой *(нем.)*.

[2] Название Пятого фортепьянного концерта Бетховена.

Прошло несколько часов. День уже стал клониться к вечеру. Наконец к Виктору поступила еще одна записка: «Первый вагон аковцев[1] — в фургоны». Это означало лишь одно: что, как и евреев, несколько сот солдат, находившихся в вагоне как раз перед ними, отправили в Биркенау и крематории. Софи уставилась в пространство, сжала руки на коленях и приготовилась к смерти, полная неизъяснимого ужаса и в то же время впервые благостно-горестного смирения. Старушка — племянница Венявского впала в коматозную оторопь, измятые страницы «Полонеза» рассыпались, из уголков губ на подбородок вытекли струйки слюны. Много позже, пытаясь припомнить эту минуту, Софи пришла к выводу, что, наверное, и сама потеряла сознание, ибо помнила она уже лишь то, как, полуослепшая от яркого света, стояла на платформе с Яном и Евой перед хауптштурмфюрером доктором Фрицем Йемандом фон Нимандом[2].

Софи, естественно, не знала его имени, да никогда больше его и не видела. Это я окрестил его Йемандом фон Нимандом, потому что такое имя показалось мне вполне подходящим для доктора СС — человека, который возник перед Софи словно ниоткуда и точно так же навеки исчез с ее горизонта, оставив, однако, после себя несколько своеобразных следов. Один такой след: воспоминание о его сравнительной молодости — тридцать пять, сорок лет — и неуместной, хрупкой, волнующей красоте. Собственно, доктор Йеманд фон Ниманд, его внешность, его голос, его манеры — все это останется с Софи навсегда. Как и его первые слова: «Ich möchte mit dir schlafen». Что означает предельно прямо и откровенно: «Я хотел бы переспать с тобой». Нудно-пошлая фраза, произнесенная с позиции устрашающего превосходства, ни тонкости, ни шика, сухо и жестко, так могла бы сказать нацистская Schweinhund[3] из второсортного фильма. Но именно такими, по свидетельству Софи, были его первые слова. Отвратительно для врача и джентльмена (быть может, даже аристократа), хоть он и был тогда явно и бесспорно пьян, чем и можно объяснить подобное хамство. Софи с первого взгляда решила, что он, пожалуй, аристократ — возможно, пруссак или из прусского рода,— ибо уж очень он был похож на одного офицера-юнкера, друга ее отца, которого она видела однажды, когда ей было шестнадцать лет и они летом ездили в Берлин. Ярко выраженный «нордический» тип, по-своему привлекательный: тонкие губы, высокомерный, чопорный; и хотя во время их краткой встречи молодой офицер держался с ней холодно и безразлично, чуть ли даже не презрительно, на грани грубости, однако она не могла не поддаться обаянию его поразительной красоты, не то чтобы женственного, а скорее по-женски мягкого выражения его спокойного лица. Он немного походил на осолдафоненного Лесли Ховарда, к которому она питала слабость с тех пор, как видела «Зачарованный лес». Хотя тот немецкий офицер и вызвал у нее тогда неприятное чувство и она была довольна, что больше никогда не встречалась с ним, позднее он то и дело тревожил ее воспоминания: «Будь он женщиной, меня бы, наверное, потянуло к такому человеку». И вот теперь перед ней стоял его двойник, почти точная его копия в фуражке эсэсовца, чуть сдвинутой набок,— стоял на пыльной бетонной платформе в пять часов дня, красный от вина, или коньяка, или шнапса и лениво-патрицианским тоном с явным берлинским выговором произносил совсем не патрицианские слова: «Я хотел бы переспать с тобой».

Софи никак не отреагировала, но пока он говорил, она подметила одну весьма несущественную деталь, которая, однако же, врезалась ей в память,— еще один призрачный след, оставленный доктором,—

---

[1] Аковцы — солдаты Армии Крайовой, польской регулярной армии, подчинявшейся эмигрантскому правительству в Лондоне.

[2] По-немецки это означает: «Некто Никто».

[3] Сволочь, свинья *(нем.)*.

деталь, которая всегда будет живо возникать в ее мозгу, выскакивая из мутного моря впечатлений того дня: вареные рисинки на лацкане эсэсовского мундира. Их было всего четыре или пять — еще блестящие от жира, они походили на крошечные личинки. Она смотрела на них как зачарованная, и тут до нее вдруг дошло, что оркестр в честь прибывших узников играет — вразнобой, безбожно фальшивя, однако же терзая нервы эротической печалью и подчеркнутой ритмичностью даже там, в темном вагоне,— аргентинское танго «Ла кумпарсита». Как же она до сих пор его не узнала? Ям-пам-пам-*пам.*

«Du bist eine Polack,— сказал доктор.— Bist du auch eine Kommunistin?»[1]

Софи обхватила Еву за плечи одной рукой, другой обняла за талию Яна и ничего не ответила.

А доктор рыгнул и более резко отчеканил: «Я знаю, что ты полька, но ты тоже из этих грязных коммунистов?» И, не дожидаясь ответа, повернулся в своем дурмане к следующим узникам, казалось тотчас забыв про Софи.

Ну почему она не сыграла дурочку? «Nicht sprecht Deutsch» [2]. Это могло бы их спасти. Ведь столько толпилось вокруг народу. Не ответь она ему по-немецки, он бы, возможно, пропустил их всех троих. Но существовал тогда такой неумолимый факт, как страх, и страх заставил ее поступить неразумно. Она знала то, чего в своем слепом и благостном невежестве некоторые прибывшие туда евреи не знали, а она знала благодаря знакомству с Вандой и другими и боялась превыше всего: она знала про селекцию. И как раз сейчас она и ее дети проходили ту пытку, о которой она слышала — об этом десятки раз шепотом рассказывали в Варшаве,— но которая казалась ей столь немыслимой, настолько к ней самой неприменимой, что Софи выкинула мысль об этом из головы. И тем не менее вот она стоит сейчас на платформе, и перед ней — доктор. А там — совсем рядом, за крышами товарных вагонов, в которых еще недавно ехали обреченные на смерть евреи из Малкини,— был Биркенау, и доктор мог послать туда, в адскую печь, любого, кого пожелает. Эта мысль повергла Софи в такой ужас, что она не выдержала и, вместо того чтобы смолчать, произнесла: «Ich bin polnisch! In Krakow geboren [3]. — И беспомощно залепетала: — Я не еврейка! И дети мои — они тоже не евреи. — И добавила: — Они чистой расы. Они говорят по-немецки.— И под конец объявила: — Я христианка. Я верующая католичка».

Доктор снова повернулся к ней. Брови его приподнялись, и он посмотрел на Софи без улыбки пьяными, влажными, разбегающимися глазами. Он стоял так близко, что теперь она отчетливо почувствовала запах алкоголя — кисловатый дух пшеницы и ячменя,— и у нее не хватило силы воли ответить на его взгляд. В эту минуту она поняла, что сказала что-то не то, это может обернуться роковой ошибкой. Она на секунду отвернула лицо — рядом шеренга узников медленно шагала по голгофе селекции, и она увидела Заорского, учившего Еву играть на флейте, в момент, когда решалась его судьба,— увидела еле уловимый кивок докторской головы, отославший учителя налево, в Биркенау. Она снова повернулась к доктору Йеманду фон Нимандy и услышала:

«Так, значит, ты не коммунистка. Ты верующая».

«Ja, mein Hauptmann [4]. Я верю в Христа».

Какой идиотизм! По манере держаться, по взгляду доктора — а в глазах его появилось напряженное свечение — она почувствовала: все, что она говорит, не только не помогает ей, не только не защища-

---

[1] Ты полячка. Ты и коммунистка тоже? *(нем.)*

[2] Не говорит по-немецки *(искаж. нем.).*

[3] Я полька! Родилась в Кракове *(нем.).*

[4] Да, капитан *(нем.).*

ет, а почему-то стремительно ведет к развязке. И она подумала: «Да порази же меня немотой!»

Доктор не очень твердо держался на ногах. Он на секунду качнулся к низшему чину, стоявшему с блокнотом в руке, и, сосредоточенно ковыряя в носу, что-то ему прошептал. Ева, изо всех сил вцепившаяся в ногу Софи, заплакала.

«Значит, ты веруешь в Христа, нашего искупителя? — сказал доктор, с трудом ворочая языком, но как-то странно-отвлеченно, словно лектор, исследующий не слишком хорошо освещенную грань логического построения. И затем произнес фразу, в ту минуту абсолютно непонятную: — Разве он не сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им» [1]?» И рывком, дернувшись с методичной расчетливостью пьяного снова повернулся к Софи.

Чувствуя, что с языка готова сорваться глупость, но ей мешает застрявший в горле ком, Софи только хотела было что-то сказать, как доктор объявил:

«Одного ребенка можете оставить при себе».

«Bitte?» [2] — переспросила Софи.

«Одного ребенка можете оставить при себе,— повторил он.— Другого надо отдать. Которого оставляете?»

«Вы хотите сказать, я должна выбрать?»

«Вы же полька, не еврейка, поэтому у вас есть привилегия — право выбора».

Поток ее мыслей захлебнулся и замер. Она почувствовала, как у нее подгибаются колени.

«Я не могу выбирать! Не могу! — Она закричала. О, как отчетливо помнила она свой крик. Истязаемые ангелы никогда не кричали так в аду. — Ich kann nicht wählen!» — кричала она.

Доктор заметил, что они привлекают к себе внимание.

«Заткнись! — приказал он.— Выбирай быстро. Выбирай, черт бы тебя подрал, или я их обоих отправлю туда. Живо!»

Она не могла этому поверить. Она просто не могла поверить тому, что стоит, не чувствуя боли, обдирая колени, на бетонной платформе, так крепко прижав к себе детей, что, казалось, их плоть должна врасти в ее плоть, несмотря на разделявшие их одежды. Она не верила — безоговорочно, неразумно. Эта же неспособность поверить отражалась и в глазах сухопарого молодого ротного с восковым лицом, докторского помощника, к которому она почему-то вдруг обратила умоляющий взгляд. Он, казалось, был ошарашен, на нее смотрели широко раскрытые, озадаченные глаза, точно он хотел сказать: «Я тоже этого не могу понять».

«Не заставляйте меня делать выбор,— услышала она собственный молящий шепот,— я не могу выбирать».

«Тогда обоих — туда,— сказал доктор своему помощнику,— nach links» [3].

«Мама!» — услышала она тоненький пронзительный голосок Евы, когда, оттолкнув от себя ребенка, она, пошатываясь, неуклюже поднялась с колен.

«Берите малышку! — выкрикнула она.— Берите мою девочку!»

И тогда помощник доктора — осторожным, мягким жестом, который Софи тщетно будет пытаться забыть,— потянул Еву за руку и повел ее прочь в легион обреченных, дожидавшихся своей судьбы. А перед мысленным взором Софи навсегда остался подернутый пеленой образ девочки, которая с мольбой все смотрела и смотрела назад. От крупных обильных соленых слез Софи почти ослепла, и ей не запомнилось выражение лица Евы, за что она до конца жизни будет

---

[1] Евангелие от Марка. X, 14.

[2] Пожалуйста? *(нем.)*. В данном случае — «Что?».

[3] Налево *(нем.)*.

благодарна судьбе. Ибо в самой сокровенной глубине своей души она сознавала, что не могла бы этого вынести,— ее и так доводило чуть не до безумия воспоминание о маленькой фигурке, исчезавшей вдали.

— Ева так и ушла, прижимая к себе своего Мишу и свою флейту,— сказала мне Софи, заканчивая рассказ.— И многие годы потом я не могла слышать этих двух слов — Миша и флейта. И не могла произносить их ни на одном языке.

С тех пор как Софи поведала мне все это, я часто размышлял над феноменом, который представлял собою доктор Йеманд фон Ниманд. Самое меньшее это был псих, человек, действовавший из спортивного интереса; не знаю, отвечало ли то, что он проделал с Софи, инструкциям эсэс. Изумление мальчишки-ротного говорило об этом. Должно быть, доктор долго ждал появления такой Софи с детьми в надежде осуществить свою гениальную затею. В глубине своей жалкой душонки он, видимо, отчаянно жаждал взвалить на Софи или на кого-то вроде нее — какого-нибудь христианина с нежной, легко ранимой душой — грех, которому нет прощения. И поскольку он был до такой степени одержим страстным желанием совершить такой чудовищный грех, мне представляется, что доктор был исключительным, пожалуй, даже уникальным явлением среди других роботов СС; его поступками руководило порой то, что он когда-то был религиозен.

Почему я называю это религиозностью? Прежде всего, наверно, потому, что он с таким вниманием отнесся к словам Софи о том, что она — верующая. Но я рискую поразмыслить над этим из-за одного штриха, который Софи немного позже добавила к своему рассказу. А она сказала, что после прибытия в лагерь находилась несколько дней в таком шоке — была настолько истерзана тем, что произошло на платформе, и последующим уводом Яна в детский лагерь,— что с огромным трудом сохраняла рассудок. И тем не менее однажды в бараке до ее сознания дошел разговор между двумя немецкими еврейками, вновь прибывшими узницами, которым чудом удалось проскочить селекцию. По их описанию ясно было, что доктор, о котором они говорили,— человек, оставивший их в живых,— был тот же, что отправил Еву в газовую камеру. Софи особенно отчетливо запомнилось одно обстоятельство: одна из женщин, жившая прежде в Берлине, точнее — в Шарлоттенбурге, сказала, что знает доктора с юности. Он не узнал ее на платформе. А она не была с ним так уж хорошо знакома, хоть они и жили по соседству. Так вот, два обстоятельства, связанных с ним — помимо на редкость красивой внешности,— она запомнила, они почему-то застряли у нее в памяти: он исправно ходил в церковь и упорно собирался стать священником. А корыстолюбивый папаша заставил его пойти в медицину.

И другие воспоминания Софи указывают на то, что доктор был человеком верующим. Или по крайней мере — разуверившимся и жаждавшим искупления, искавшим новой веры. Наводит на такую мысль, например, его пьянство. Из дошедших до нас материалов можно сделать вывод, что офицеры СС, включая врачей, при исполнении своих обязанностей всегда держались с поистине монашеской строгостью — отличались трезвостью и твердо следовали правилам. Работа палача самого низкого пошиба — главным образом возле крематориев,— естественно, побуждала к обильным возлияниям, но этим кровавым делом обычно занимались простые солдаты, которым разрешалось доводить себя до бесчувствия (так оно частенько и бывало). Офицеры же СС были избавлены от этих неприятных обязанностей, да и вообще считалось, что они, как и офицеры других родов

войск, должны достойно вести себя, особенно во время службы. Как же получилось, что Софи столкнулась с доктором Йемандом фон Ниандом в ту редкую минуту, когда он находился в состоянии отупения, был настолько пьян, что глаза у него глядели в разные стороны, и настолько неаккуратен, что на отворотах его мундира виднелись жирные рисинки — следы, вероятно, долгого и обильно орошенного вином застолья? Ведь доктору показываться в таком виде было крайне опасно.

У меня сложилось впечатление, что доктор Йеманд фон Ниманд столкнулся с Софи в весьма кризисный для него период — он треснул, как бамбук, и уже начал рассыпаться. О последующей карьере фон Ниманда можно только строить предположения, но если он был хоть в какой-то мере похож на своего шефа Рудольфа Гёсса и на эсэсовцев вообще, то он лишь изображал из себя Gottgläubiger [1], иными словами, отбросив христианство, делал вид, будто верит в бога. Ибо как можно верить в бога и одновременно долгие месяцы применять свои знания в столь гнусном месте? Встречая бесчисленные поезда со всех концов Европы, потом отсеивая дееспособных и здоровых от трагических толп калек, беззубых и слепых, слабоумных и эпилептиков, а также нескончаемой череды беспомощных стариков и беспомощных детей, не мог он не знать, что рабовладельческое предприятие, на которое он работал (а вернее, гигантская бойня, изрыгающая останки бывших людей),— это издевательство над богом, отрицание его. И к тому же в конечном счете он был вассалом концерна «И. Г. Фарбен». Так что сохранить веру, находясь в подобном месте, он никак не мог. Бога ему заменило сознание всемогущества бизнеса. И так как подавляющее большинство тех, над кем он творил суд, были евреи, насколько же ему, должно быть, стало легче, когда прибыл приказ Гиммлера истреблять всех евреев без исключения. Теперь ему уже не придется больше заниматься селекцией. Он сможет покинуть эти ужасные платформы и посвятить себя выполнению обычных для медика обязанностей. (А как ни трудно себе это представить, Освенцим был столь огромен и столь многообразен, что попадались и там медики, проводившие неслыханные опыты, которых, очутись там люди чувствительные, они наверняка избегали бы.)

Но приказы Гиммлера довольно скоро были отменены. Ненасытная утроба «И. Г. Фарбен» требовала человеческого сырья, и злополучный доктор снова вышел на платформы. Вновь предстояла селекция. Скоро одни только евреи пойдут в газовые камеры. Но пока не поступит окончательный приказ, евреи и «арийцы» равно будут подвергаться селекции. (Исключения, конечно, будут происходить по воле случая или по капризу судьбы — именно так получилось с евреями из Малкини.) И доктор, почувствовав, что теряет веру в бога, начал пить, стал неаккуратен в еде. Wo, wo ist der lebende Gott? [2] Где он, бог моих отцов?

И конечно, ответ все же пришел к нему, и, я думаю, настал день, когда доктор просиял, обретя надежду. Связана она была с проблемой греха или, вернее, с отсутствием проблемы греха и с осознанием неразрывной связи между отсутствием греха и отсутствием бога. Греха нет! Итак, он страдал от скуки, беспокойства, даже отвращения, но не от сознания совершенного греха, когда принимал участие в поистине скотских преступлениях, не чувствовал он и того, что, посылая тысячи несчастных невинных людей в небытие, он преступал божественный закон. Все для него сводилось к несказанному однообразию. Все свои безнравственные поступки он совершал по-деловому, в атмосфере, где отсутствовали грех и бог.

---

[1] Верующего в бога *(нем.)*.
[2] Где, где он, живой бог? *(нем.)*.

Не проще ли было в таком случае совершить самый страшный грех, какой он только способен был измыслить? Грех, все величие которого вроде бы в великодушии — в выборе. Ведь он же обладал всей полнотой власти, чтобы отобрать у Софи обоих детей. Только так могу я объяснить то, что доктор Йеманд фон Ниманд сотворил с Софи, когда она предстала перед ним со своими двумя детишками первого апреля, в День дураков, под буйные ритмы танго «Ла кумпарсита», нестройно гремевшего в сгущавшихся сумерках.

## Глава шестнадцатая

Всю жизнь я был склонен к неуемной дидактике. Одному богу известно, в какие ужасающие бездны зевоты погружал я на протяжении лет свою семью и друзей, которые из любви ко мне терпели мои частые припадки словоизвержения и более или менее успешно скрывали зевок, легкое потрескиванье челюсти и появление влаги у выхода слезного канала, указывающие на смертельную борьбу со скукой. Но в тех редких случаях, когда момент выбран правильно, а аудитория оказывается достаточно подготовленной, моя энциклопедическая способность говорить и говорить о том или ином предмете неплохо мне служит: в такой момент, когда ситуация требует благословенной разрядки в виде бездумной болтовни, ничего нет более успокаивающего, чем поток бесполезных фактов и голой статистики. Я использовал все свои познания — подумать только! — по части *земляных орехов*, пытаясь завладеть вниманием Софи в тот вечер в Вашингтоне, когда мы неторопливо шли мимо залитого светом прожекторов Белого дома, а потом кружным путем отправились в «Ресторан Герзага» — к «лучшим заливным крабам в городе». После того что Софи рассказала мне, земляные орехи казались вполне подходящей темой, чтобы наладить новые нити коммуникации. Ибо за два часа, прошедших после ее рассказа, я, по-моему, едва ли сумел сказать ей больше трех или четырех слов. Да и она не слишком-то была разговорчива. А земляные орехи дали мне наконец возможность нарушить наше молчание, попытаться вырваться из-под нависшего над нами облака депрессии.

— Земляной орех — это вовсе не орех, а нечто вроде гороха, — пояснял я.— Он двоюродный брат гороху и бобам, но есть между ними одно существенное отличие: земляной орех развивается под землей. Это растение однолетнее, не поднимающееся высоко над почвой. У нас в Соединенных Штатах произрастают в основном три сорта земляного ореха — Виргинский крупноплодный, Усатый и Испанский. Земляным орехам требуется много солнца и долгий безморозный период созревания. Потому растут они на юге. Основными штатами, выращивающими земляной орех — в порядке значимости,— являются: Джорджия, Северная Каролина, Виргиния, Алабама и Техас. Был такой невероятно одаренный негритянский ученый по имени Джордж Вашингтон Карвер, который нашел десятки способов применения земляного ореха. Помимо того, что земляной орех просто идет в пищу, он применяется еще в косметике, для изготовления пластиков, изоляционных лент, взрывчатых веществ, некоторых медикаментов и уймы всяких других вещей. Земляному ореху обеспечено огромное будущее, Софи, и я думаю, что наша маленькая ферма станет расти и расти, и очень скоро мы не только сможем сами себя прокормить, но, возможно, даже разбогатеем — во всяком случае будем очень неплохо существовать. Мы уже не будем зависеть от Альфреда Кнопфа или Харпера с братьями[1] в смысле хлеба насущного. Почему я тебе рас-

---

[1] Имеются в виду крупные книгоиздательства «Альфред Кнопф» и «Харпер энд Роу».

сказываю про земляной орех — да просто потому, что, став хозяйкой нашего поместья, ты вынуждена будешь иной раз помочь с ним управиться. Ну, а что касается *выращивания*, то сажают земляные орехи по окончании морозов на расстоянии трех — десяти дюймов друг от друга, рядами, оставляя между ними пространство в два фута. Вызревает он обычно через сто двадцать — сто сорок дней после высадки...

— Знаешь, Стинго, я как раз о чем-то подумала,— сказала Софи, врываясь в мой монолог. — И это очень важно.

— А именно? — спросил я.

— Я ведь не умею водить. Не умею водить машину.

— Ну и что?

— Но мы же будем жить на ферме. По твоим словам, так далеко от всего. И мне надо уметь водить машину, верно? В Польше я этому не училась — у нас так мало людей имели машины. И вообще учились водить, только когда уже становились старше. А здесь... Натан говорил, что научит меня, но так и не научил. А мне, конечно же, надо будет научиться водить.

— Это легко, — ответил я. — Я тебя научу. У нас там уже есть грузовичок «пикап». Да и вообще в Виргинии не спрашивают на каждом шагу водительские права. Бог ты мой, — вдруг вспомнил я. — Я ведь получил свои права в *четырнадцать* лет. Я хочу сказать: получил на *законных* основаниях!

— В четырнадцать? — повторила Софи.

— Господи, я и весил-то около девяноста фунтов и еле видел поверх руля. Помню, полицейский, который принимал экзамен, посмотрел на моего отца и говорит: «Это ваш сын или карлик?» Но удостоверение я все же получил. Таков уж наш Юг... Даже в самых обычных вещах на Юге все иначе. Взять, к примеру, возраст. На Севере такому мальчишке никогда бы не выдали водительские права. А на Юге ты словно бы раньше взрослеешь. Наверно, это связано с пышностью произрастания, ранним созреванием. Есть такой анекдот: кого в Миссисипи называют девственницей? Ответ: двенадцатилетнюю девчонку, которая бегает быстрее своего отца. — Я услышал собственное утробное хихиканье, первый проблеск чего-то хоть отдаленно похожего на благодушие, которого я не чувствовал уже многие часы. И одновременно возникло неудержимое желание побыстрее добраться до округа Саутгемптон и начать высаживать земляной орех,— желание не менее острое, чем потребность поесть знаменитых заливных крабов Герзага. И я затараторил с глупой развязностью, не столько забыв то, о чем мне только что поведала Софи, сколько, наверно, не подумав, каким зыбким после этой исповеди было ее душевное равновесие.

— Так вот,— заявил я этаким увещевательным тоном пастора,— по некоторым твоим замечаниям я почувствовал, что ты думаешь, будто ты там не приживешься. Но послушай, это же абсолютно не так. Возможно, поначалу люди и будут держаться немного отчужденно, и тебе не будет давать покоя мысль о твоем акценте и о том, что ты иностранка, и так далее,— но позволь тебе сказать, Софи, милая: южане, стоит им поближе узнать человека, становятся такими теплыми, такими *широкими* людьми — других таких во всей Америке не встретишь. Это тебе не хулиганы и не специалисты по темным делам из больших городов. Так что не волнуйся. Конечно, нам придется немножко приспособиться. Как я уже говорил, я думаю, нам придется довольно скоро сыграть свадьбу — понимаешь, хотя бы чтоб избежать мерзких сплетен. Словом, после того как мы поосвоимся и познакомимся с окружающими — на это потребуется несколько дней, только и всего, — мы составим длиннющий список покупок, возьмем грузовичок и поедем в Ричмонд. Нам понадобится тысяча всяких ве-

щей. Ферма полностью укомплектована, но нам понадобится еще столько всякого всего. Например, проигрыватель и куча пластинок. А потом такая мелочь, как свадебное платье для тебя. Тебе, конечно, захочется одеться покрасивее для этой церемонии, так что мы походим по магазинам Ричмонда. Парижских туалетов там, конечно, не найдешь, но магазины есть преотличные...

— Стинго! — резко оборвала она меня. — Прошу тебя! Прошу! Не спеши ты так со свадебным платьем и всем прочим. Что, по-твоему, лежит у меня в чемодане? Что?! — Голос ее зазвенел, задрожал от гнева и злости, которые я редко у нее вызывал.

Мы остановились, и я повернулся, чтобы лучше рассмотреть ее лицо в сумерках прохладного вечера. В ее затуманенных, потемневших глазах было столько горя — я понял в ту минуту (и в груди у меня возник болезненный комок), что сказал что-то совсем не то.

— Что же? — как идиот спросил я.

— Подвенечное платье, — мрачно ответила она, — подвенечное платье, которое Натан купил мне у Сакса. Мне *не нужен* подвенечный туалет. Неужели ты не понимаешь...

Да, я понял. К своему глубочайшему отчаянию, понял. Все было плохо. В эту минуту я впервые почувствовал, какое расстояние разделяет нас, а я в своих иллюзорных мечтах о любовном гнездышке на Юге ни разу даже не задумался над тем, что нас разделяет нечто столь же непреодолимое, как широкая река во время наводнения, исключающая возможность подлинного общения. Во всяком случае, общения в любви, которого я так жаждал. Натан. Она по-прежнему была поглощена Натаном — до такой степени, что даже свадебные одежды, которые она увезла с собой в такую даль, имели для нее огромное — и реальное, и символическое — значение. И до меня вдруг дошла еще одна правда: до чего же нелепы были все эти мои мечты о свадьбе и сладких годах жизни с любящей женой на старой плантации, когда предмет моей страсти — она стояла сейчас передо мной усталая, с лицом, искаженным болью, — таскает с собой в чемодане свадебный наряд, купленный, чтобы доставить удовольствие человеку, которого она любила больше жизни. Боже, до чего я был глуп! Язык мой превратился в бетонную глыбу, я пытался произнести какие-то слова и не мог. За плечом Софи монумент Джорджу Вашингтону, ярко освещенный стилет, вонзенный в ночное небо, купался в октябрьском тумане, и крошечные люди ползали у его основания. Я чувствовал слабость во всем теле и безнадежность, внутри у меня были одни осколки. С каждой отстукиваемой часами минутой Софи, казалось, со скоростью света удалялась от меня.

И однако же, она вдруг прошептала что-то, чего я не понял. Издала какой-то шипящий звук, еле слышный, и прямо тут же, на авеню Конституции, метнулась ко мне и упала в мои объятия.

— О Стинго, дорогой мой, — зашептала она, — пожалуйста, прости меня. Я не собиралась на тебя кричать. И я хочу поехать с тобой в Виргинию, правда хочу. И мы завтра уедем вместе, верно? Просто, когда ты сказал, что мы *поженимся*, мне стало так... так много тревожно. И так неясно. Неужели не понимаешь?

— Да, — ответил я. И конечно, я понял, хотя, из-за своего тупоумия, поздновато. Я держал ее, крепко прижав к себе. — Конечно, понимаю, Софи.

— О, мы поедем на ферму завтра, — сказала она, сжимая меня в объятиях, — правда поедем. Только не говори про свадьбу. Пожалуйста.

В этот момент я осознал также, что допустил некоторое искажение истины в своем припадке эйфории. Было что-то от эскапизма в моем упорном стремлении выставить для обозрения все прелести этого сада земных радостей у края Непролазного болота, где не жуж-

жат мясные мухи, не ломаются насосы, не бывает неурожаев, не лоботрясничают на хлопковых полях нищенски оплачиваемые черные, не воняет свиным навозом; хоть я очень доверял мнению отца, но ведь милая старая ферма «Пять вязов» вполне могла оказаться убогим обиталищем, и не будет мне оправдания, если я заманю Софи, словно в капкан, в этакую развалюху на очередной Табачной дороге[1]. Но я поспешил выкинуть это из головы — о таком я не мог даже думать. К тому же появился повод для более серьезных волнений. Теперь мне стало до ужаса очевидно, что кратковременный фонтан нашего хорошего настроения сник, ослаб, перестал бить совсем. Когда мы двинулись дальше, мрак, окружавший Софи, казалось, стал зримым, осязаемым, словно туман, — протяни к ней руку, и рука станет влажной от этого тумана и отчаяния.

— Ох, Стинго, мне так нужно выпить, — сказала она.

Мы шли по вечерним улицам в полном молчании. Я перестал показывать Софи достопримечательности столицы, больше не изображал из себя туристского гида, как я это делал в начале наших бесцельных блужданий, чтобы немножко ее развлечь. Теперь мне было ясно, что, сколько Софи ни старайся, избавиться от того ужаса, который она, не сдержавшись, выплеснула в нашем маленьком гостиничном номере, ей не удастся. И мне тоже. Здесь, на 14-й улице, где в холодном, пахнущем сидром и ранней осенью вечернем воздухе перед нами расстилались залитые ярким светом элегантные овалы газонов Ланфана[2], мне стало ясно, что мы с Софи не способны сейчас оценить ни симметрию города, ни его мирную, здоровую благопристойность. Вашингтон вдруг показался типично американским городом, выхолощенным, геометрически разлинованным, нереальным. Я так сроднился с Софи, что чувствовал себя поляком и в моих артериях и венах, казалось, текла кровь старушки Европы. Освенцим все еще властно владел моей душой, как и душой Софи. Неужели этому не будет конца? Не будет?

Наконец, когда мы уселись за столиком, откуда был виден сверкающий, весь в лунных бликах Потомак, я спросил Софи про ее мальчика. Я увидел, как она глотнула виски и лишь потом сказала:

— Я рада, что ты задал мне этот вопрос, Стинго. Я ждала, что ты спросишь, и хотела, чтобы ты спросил, а сама почему-то заговорить об этом не могла. Да, ты прав. Я часто думала: если б я только знала, что случилось с Яном, если бы я только могла разыскать его, это бы действительно спасло меня, избавило от всей этой тоски, которая на меня наваливается. Если бы я нашла Яна, может... ох, может быть, я бы *избавилась* от этих страшных мыслей, которые у меня все еще бывают, от этого желания, которое возникало у меня и все еще возникает... желания покончить с жизнью. Сказать *прощай* этому месту, такому непонятному и такому странному и... и такому несправедливому. Если бы я только могла отыскать моего мальчика, это, думаю, спасло бы меня.

Это, может быть, даже спасло бы меня от чувства вины из-за Евы. В общем-то я знаю, что не должна чувствовать себя плохой из-за того, что так сделала. Я же понимаю, что это было, ну, в общем, не в моей власти, и все равно так страшно просыпаться утро за утром и сразу вспоминать об этом и жить с этим. Если прибавить еще и это к другим моим скверным поступкам, становится совсем невыносимо. Просто невыносимо.

Много, много раз я все думала — может так быть, что Ян где-то жив? Если Гёсс сделал, как говорил, что сделает, может, Ян еще жив

[1] Название романа американского писателя Эрскина Колдуэлла, описывающего жизнь разорившихся фермеров из Джорджии, которые живут на Табачной дороге.

[2] Ланфан Пьер-Шарль (1754—1825) — военный инженер, родившийся во Франции; был приглашен Джорджем Вашингтоном для планировки будущей столицы на реке Потомак в 1791 году и начал ее строительство, но не закончил, так как был отстранен из-за чрезмерных расходов, связанных с размахом предпринятых им работ.

где-то в Германии. Только я не думаю, чтобы мне удалось его найти — после всех этих лет. По программе Lebensborn они лишали детей биографии, так быстро меняли им имена, мигом превращали в немцев — я не знала бы даже, где и начинать искать его. Если, конечно, он действительно там. Когда меня привезли в переселенческий центр в Швецию, я только об этом и думала — день и ночь: скорее поправиться, выздороветь, чтоб поехать в Германию и найти моего мальчика. А потом я встретила эту польку — помню, она была из Киля, — и у нее было такое трагическое, такое потерянное лицо, какого я на человеке никогда не видела. Она была узница из Равенсбрюка. У нее тоже отняли ребенка для Lebensborn — маленькую девочку, и после войны эта женщина много месяцев колесила по Германии, все искала, искала. Но она так и не нашла свою дéвочку. Она сказала — никто никогда не нашел своих детей. И еще сказала мне — худо не найти свою девочку, а искать — еще хуже, смертная мука. Не ездите, сказала она, не ездите. Потому что, если поедете, будете видеть вашего ребенка везде в этих разрушенных городах, на каждом углу, в каждой группе школьников, в автобусах, которые проезжают мимо, в машинах, на детских площадках — везде; какой-нибудь ребенок махнет вам — вы окликнете его, броситесь к нему, да только это будет не ваш ребенок. И сердце ваше будет рваться на части по сто раз в день, так что даже легче, когда знаешь, что твой ребенок умер...

Но по-честному, Стинго, — я ведь тебе уже говорила: я не думаю, что Гёсс что-нибудь сделал для меня, и я думаю, Ян остался в лагере, а если он там остался, я уверена, что он не жив. Когда я лежала сама совсем больная в Биркенау зимой перед концом войны, — я тогда ничего этого не знала, я услышала после, так мне было худо, я чуть не умерла, — эсэсовцы решили избавиться от детей, которые еще оставались, а их было несколько сотен — далеко, в детском лагере. Русские подходили, и эсэсовцы хотели уничтожить детей. Почти все это были польские дети — еврейские дети были уже мертвые. Эсэсовцы думали сжечь их в яме живьем или перестрелять, а потом решили сделать так, чтоб меньше осталось следов и доказательств. И вот в очень холодный день они повели детей к реке, заставили их снять одежду и намочить в воде — как бы выстирать, а потом заставили их снова эту мокрую одежду надеть. А потом отвели их всех назад — на площадь перед бараками, где дети жили, и велели построиться на перекличку. Как были — в мокрой одежде. Перекличка шла много, много часов, а дети стояли мокрые и мерзли, и настала ночь. Все дети умерли от того, что простудились в тот день. Умерли от простуды и воспаления легких — очень быстро. Я так думаю, Ян, наверно, был среди них...

Только не знаю,— произнесла под конец Софи, глядя на меня сухими глазами, но еле ворочая языком, что всегда бывало с ней после нескольких стаканов спиртного, которое отягощало ее язык и одновременно приносило истерзанному воспоминаниями мозгу благостное, отупляющее забвение,— что лучше: знать, что твой ребенок умер даже такой страшной смертью, или знать, что твой ребенок жив, но что ты его никогда, никогда больше не увидишь? Я ведь ни то, ни другое не знаю наверняка. А если бы я выбрала, чтобы Ян пошел... пошел налево вместо Евы. Это что-нибудь изменило бы? — Она помолчала, глядя сквозь ночь на темные берега Виргинии, куда мы держали путь, такой невероятно далекой во времени и пространстве от преследовавшего ее проклятия, от ее собственной, погруженной во мрак и непостижимой для меня даже в тот момент, судьбы. — Ничто вообще ничего бы не изменило, — сказала Софи. Ей не свойственны были театральные жесты, и впервые за все месяцы нашего знакомства она сделала что-то неестественное — ткнула себя в грудь и пальцами словно разорвала невидимую пелену, обнажая сердце до того

истерзанное, что трудно вообразить. — Только оно, по-моему, изменилось. Так настрадалось, что стало каменным.

Я понимал, что мы должны как следует отдохнуть, прежде чем продолжать наш путь на ферму. С помощью всяких словесных ухищрений, включая сельские мудрости, приправленные добрыми южными шуточками, которые я сумел извлечь из памяти, мне удалось немного взбодрить Софи и довести наш ужин до благополучного конца. Мы пили, ели заливное из крабов и оказались способными забыть об Освенциме. К десяти часам вечера Софи была уже снова в дурмане и нетвердо держалась на ногах — как, кстати, и я, машинально поглотивший излишнее количество пива, — так что назад в гостиницу мы поехали на такси. К тому времени, когда мы достигли загаженных мраморных ступеней и пропахшего табаком холла гостиницы «Конгресс», Софи уже дремала у меня на плече и, обхватив меня за талию, тяжело повисла на мне, пока мы поднимались на лифте к себе в номер. Молча, не раздеваясь, она повалилась на осевшую под нею постель и мгновенно заснула. Я накрыл ее одеялом, разделся до трусов, лег рядом и тоже заснул, словно меня огрели дубиной по голове и я погрузился в небытие. Во всяком случае, на какое-то время. А потом пришли сны. Нельзя сказать, чтобы церковный колокол, непрерывно звонивший в моем сне, звучал немузыкально, но у него был какой-то лязгающий, пустой, протестантский звук, словно он был отлит из дешевых сплавов, — звук этот, как демон, врывался в мои сумбурные эротические видения и набатом гудел, словно голос греха. Преподобный Энтуисл, накачавшийся «Будвейзером» и лежавший в постели с женщиной, которая не была ему женой, плохо чувствовал себя даже во сне среди этого противоестественного благополучия. ОБРЕЧЕН! ОБРЕЧЕН! — гудел гнусный колокол.

Должно быть, остатки кальвинизма и моя священническая личина — да еще этот чертов колокол — повинны в том, что я оказался не на высоте, когда Софи разбудила меня. Было это, по-видимому, часов около двух ночи. Казалось, я должен был чувствовать себя как человек, чьи мечты, следуя ходячему выражению, сбылись, ибо и осязание мое, и зрение, хоть еще и затуманенное сном, подтверждали, что Софи лежала рядом обнаженная, что она нежно покусывала меня за ухо и одновременно ласкала. Было это во сне или наяву? Хотя мне и так уже было непостижимо сладко в этом подобии сна, остатки его мгновенно рассеялись, ибо я услышал шепот Софи:

— Ох, Стинго, любимый... скорее, я так хочу тебя...

Лицо мое, когда я проснулся, было в луже солнечного света, и я инстинктивно потянулся, стремясь нащупать руку Софи, волосы, грудь, хоть что-то... Эти утренние поиски близкого существа, когда, еще не вполне проснувшись, протягиваешь руку, стали своего рода павловским рефлексом, который часто посещал меня в последующие годы. Но Софи исчезла. Исчезла! Ее отсутствие после столь полного (пожалуй, правильнее было бы сказать — единственного) сродства плоти, какое я впервые в моей жизни познал, было пугающим, почти ощутимым; сквозь сон я понял, что это, наверно, из-за запаха, который, словно испарения, еще оставался в воздухе, — мускусного запаха, все такого же возбуждающего, такого же похотливого. Еще не вполне проснувшись, я окинул взглядом смятые простыни в изножье, не в состоянии поверить, что после столь бурных, столь счастливых минут во мне осталась мужская сила, заявлявшая о себе под выношенной несвежей простыней. А потом меня захлестнула паника, ибо, бросив взгляд на висевшее под наклоном зеркало, я понял, что Софи нет в ванной и, значит, нет в номере вообще. Я выскочил из кровати, и головная боль похмелья молотом ударила меня по черепу; пока я сражался с брюками, меня охватила еще большая паника или, вернее

сказать, ужас: колокол звонил теперь наяву, и, сосчитав его удары, я понял, что уже *полдень*! Мои истошные крики в трубку дряхлого телефона ничего не дали. Полуодетый, бормоча проклятья, кляня себя на чем свет стоит исполненный самых мрачных предчувствий, я выскочил из номера и помчался по запасной лестнице вниз, в холл, где единственный негр-посыльный орудовал мокрой тряпкой среди каучуконосов в кадках, кресел с продавленными пружинами и полных окурков пепельниц. Там за стойкой подремывал старый чудак, который принимал нас накануне, сраженный тем, что холл, несмотря на полдень, еще не готов к приему гостей. При виде меня он тотчас встрепенулся и принялся выкладывать мне свои новости, хуже которых я еще не слыхал.

— Она сошла всамделе рано, ваше преподобие,— сказал он,— так рано, что ей пришлось меня будить.— Он посмотрел на посыльного: — Сколько, ты думаешь, было времени, Джексон?

— Да, наверно, этак около шести.

— Правильно, около шести. Только рассвело. И вид у нее, ваше преподобие, был всамделе никудышный.— Он помолчал, как бы извиняясь за дальнейшее.— Я хочу сказать, ну, в общем, такой был вид, точно она выпила несколько кружек пива. И волосы у нее были во все стороны. Ну, словом, подошла она тут к телефону и вызвала по междугородной Бруклин в Нью-Йорке. Само собой, я, конечно, все слышал. Она с кем-то говорила — по-моему, с мужчиной. Потом заплакала и сказала ему, что сейчас же отсюда уезжает. Все звала его по имени — всамделе она была расстроена, ваше преподобие. Мейсон. Джейсон. Какое-то такое имя.

— Натан,— произнес я, чувствуя, как перехватывает горло.— Натан! Ох ты, черт побери!

Симпатия, сочувствие — амальгама эмоций, показавшаяся мне вдруг такой чисто южной и старомодной,— появились в глазах старого клерка.

— Да, Натан. Я не знал, что делать, ваше преподобие,— оправдывался он.— Она пошла наверх, а потом спустилась со своим чемоданом, и вот он — Джексон — отвез ее на Юнион-стейшн. Вид у нее был ужасно расстроенный, и я подумал про вас и хотел было... Думал позвонить вам по телефону, но ведь было еще так рано. Да и потом не хотел вмешиваться. Понимаете, не мое это дело.

— Ох ты, черт побери, черт побери,— услышал я собственное бормотание, не столько видя, сколько догадываясь о том, с каким недоумением смотрит на меня старик, который, будучи прихожанином Второй баптистской церкви Вашингтона, едва ли был подготовлен к подобному богохульству со стороны священника.

Джексон отвез меня наверх в стареньком лифте — я прислонился к его неприютной стене с завитушками из кованого железа и закрыл глаза, отказываясь поверить тому, что услышал, и еще решительнее отказываясь это принять. Конечно же, думал я, вот я сейчас вернусь, а Софи лежит в постели, золотые волосы ее блестят в прямоугольнике солнечного света, проворные любящие руки раскинуты, зовут меня к новым восторгам...

Вместо этого в ванной за зеркало над умывальником была заткнута записка. Нацарапанная карандашом, она свидетельствовала о весьма несовершенном знании письменного английского, на что Софи совсем недавно жаловалась мне, а также о влиянии немецкого, которому она столько лет назад выучилась у своего отца в Кракове и который — в чем я до этой минуты не отдавал себе отчета — прочно, словно карниз или тесаный камень в готике, врос в архитектонику ее ума.

*Дорогой мой Стинго, ты такой изумительный Любовник, мне так не хочется покидать, и прости меня, что не сказала Прощай, но я должна вернуться к Натану. Поверь мне, ты найдешь Чудо-Мадемуазель и*

*будешь с ней счастлив на ферме. Я так нежно тебя люблю — ты не должен думать bei*[1] *этому, что я жестокая. Но когда я проснулась, я почувствовала себя так ужасно, и такое у меня Отчаяние про Натана, я хочу сказать, меня так наполнило чувство Вины и мысли о Смерти, точно Eis лед потек по моя Blut*[2]*. Я поняла, что должна быть снова с Натаном, как уж получится. Я, может, больше тебя не увижу, но поверь мне, сколько много значит для меня, что я тебя узнала. Ты великий Любовник, Стинго. Мне так плохо, но теперь пора уезжать. Извини мой скверный englisch*[3]*. Я люблю Натана, но сейчас чувствую — ненавижу Жизнь и Бога. К ЧЕРТУ бога и все Hände Werke*[4] *его. И Жизнь — туда же. И даже то, что осталось от Любви.*

*Софи.*

Впоследствии мне так и не удалось выяснить, что же произошло между Софи и Натаном, когда она в ту субботу вернулась в Бруклин. Поскольку она рассказала мне так подробно о том ужасном уик-энде в Коннектикуте прошлой осенью, я, пожалуй, был единственным из числа их знакомых, кто хоть в какой-то мере представлял себе, что́ произошло у них в комнате, когда они встретились в последний раз. Но даже я мог лишь догадываться: они не оставили никаких следов, которые послужили бы ключом к разгадке тайны их последних минут. Как бывает обычно после большинства непостижимых трагедий, возникли бередящие душу «если бы», делающие особенно мучительными в ретроспективе размышления о том, каким образом можно было бы все это предотвратить. (Я лично думаю, что в конечном счете этого предотвратить было нельзя.) Главную роль тут мог сыграть Моррис Финк, хотя — далеко не будучи семи пядей во лбу — он и так повел себя умнее, чем следовало ожидать. Никто так и не установил, когда в течение этих тридцати шести часов, что прошли со времени нашего с Софи бегства до ее возвращения, Натан вошел в дом. Все-таки странно, что Финк, так давно и так внимательно наблюдавший за всеми перемещениями обитателей дома, не заметил, как Натан вернулся и заперся в комнате Софи. Правда, потом он утверждал, что не видел Натана, и у меня нет оснований не верить ему, как и тому, что возвращения Софи он якобы тоже не заметил. А она, если на железной дороге и в метро не произошло никаких аварий или задержек, очевидно, вернулась в «Розовый дворец» около полудня того дня, когда уехала от меня из Вашингтона.

Я так критически исследую утверждения Финка по поводу передвижений Натана и Софи просто потому, что Ларри, который, вернувшись из Торонто, тут же примчался на Флэтбуш авеню, чтобы поговорить с Моррисом и Йеттой Зиммермен, просил привратника позвонить ему, как только тот увидит, что Натан вошел в дом. Об этом же просил Финка и я, а Ларри к тому же дал ему изрядный куш на чай. Но, должно быть, Натан (трудно сказать, в каком он находился состоянии ума и какие побудительные причины двигали им) прошмыгнул мимо Морриса, когда тот не смотрел в его сторону или спал, а когда позже приехала Софи, он этого просто не заметил. И потом я подозреваю, что Моррис был уже в постели, когда Софи звонила Натану. Свяжись Моррис Финк с Ларри раньше, тот примчался бы уже через несколько минут, а он был единственным человеком на свете, способным справиться со своим безумным братцем Натаном, и я уверен, будь Ларри вызван, история эта закончилась бы иначе. Возможно, не менее скандально, но иначе.

В ту субботу на Восточном побережье началось бабье лето, принеся с собой тепло, когда можно ходить в одной рубашке, и мух; оно

---

[1] По *(нем.)*.
[2] Кровь *(нем.)*.
[3] Английский *(нем.)*.
[4] Дела рук *(искаж. нем.)*.

возродило в людях добродушие и создало у многих обманчивое впечатление, что близкий приход зимы лишь померещился им в дурном сне. Во всяком случае такое чувство возникло у меня в тот день в Вашингтоне (хотя мысли мои и были далеки от погоды); почувствовал это, наверно, и Моррис Финк в своем «Розовом дворце». Он рассказывал потом, что, лишь услышав доносившуюся сверху музыку, с возрастающим изумлением понял, что Софи — у себя в комнате. Он не разбирался в музыке, которую Софи и Натан так часто слушали,— просто называл ее «классикой» и даже раз признался мне, что слишком она «глубокая» для его понимания, но он переносит ее легче, чем этот грохот, который всем так нравится и который несется из приемников и проигрывателей других жильцов.

Словом, он удивился — нет, он был поистине потрясен тем, что Софи вернулась; он моментально связал ее возвращение с Натаном и даже настроился на то, чтобы позвонить Ларри. Но доказательств того, что Натан находится в доме, у него не было, и он принялся размышлять: вот он позвонит Ларри, а вдруг окажется, что это — ложная тревога. Он теперь до смерти боялся Натана (две ночи тому назад он стоял почти рядом со мной и видел, как я отшатнулся, когда в трубке раздался звук выстрела) и изнывал от желания обратиться в полицию — хотя бы за защитой Со временем последнего буйства Натана ему все чудилось, что в доме таится опасность, и он вообще так нервно переживал ситуацию Натан — Софи, так трясся и был настолько неуверен в завтрашнем дне, что готов был отказаться от комнаты, за которую платил полцены, отрабатывая вторую половину в качестве привратника, и сказать миссис Зиммермен, что намеревается переехать к своей сестре в Фар-Рокуэй. Теперь он уже не сомневался в том, что Натан — это дьявол в наижутчайшем его воплощении. Угроза всему живому. Но Ларри сказал, чтобы ни он и никто другой ни при каких обстоятельствах не обращался в полицию. И потому Моррис сидел и ждал внизу, у двери в холл, обливаясь липким потом от летней жары и слушая сложную, бездонно глубокую музыку, лившуюся сверху.

Затем, к своему великому удивлению, он увидел, как дверь наверху медленно приоткрылась и Софи наполовину высунулась из своей комнаты В ее внешности не было ничего необычного, вспоминал он потом,— она выглядела, быть может, ну, чуточку усталой, с тенями под глазами, но в выражении ее лица почти ничто не выдавало напряжения, или печали, или горя, или каких-либо других «негативных» эмоций, которые вполне могли бы у нее быть после пытки, пережитой в последние дни. Наоборот: стоя там, наверху, ласково поглаживая ручку двери, она вдруг мимолетно улыбнулась, словно что-то позабавило ее и она вот-вот рассмеется,— губы ее приоткрылись, ослепительные зубы сверкнули при ярком дневном свете, и Моррис увидел, как она провела языком по верхней губе, как бы ставя преграду словам которые собиралась произнести. Моррис понял, что она заметила его, и сердце у него екнуло. Он уже многие месяцы был к ней неравнодушен, ее красота продолжала будоражить его изо дня в день, без всякой надежды, разливаясь в его душе половодьем сердечной боли или задраивая душу роговой корой. Конечно же, она заслуживала лучшего, чем этот meshuggener [1] Натан.

Но тут его вдруг поразила ее одежда — туалет, который даже для его ненатренированного глаза выглядел немодным, устарелым и тем не менее удивительно подчеркивал необыкновенную прелесть Софи: белый жакет с плиссированной, винного цвета, шелковой юбкой, шелковый шарф вокруг шеи и надвинутый на лоб белый берет. В этом костюме она казалась кинозвездой, возникшей из прошлого,— Кларой Боу Фэй Рэй, Глорией Свенсон, кем-то в этом роде. Он никогда преж-

[1] Сумасшедший *(идиш)*.

де не видел ее в таком туалете? Когда она бывала с Натаном? Моррис не мог припомнить. Он был до крайности озадачен не только ее видом, но и самим фактом, что она в доме. Всего две ночи назад она съехала со всем своим багажом в такой панике и с... Еще одно озадачивающее обстоятельство. «А где же Стинго?» — хотел было он по-дружески ее спросить. Но прежде чем он успел раскрыть рот, она подошла к перилам и, перегнувшись, крикнула:

— Моррис, вы не могли бы принести мне бутылку виски? — И бросила пятидолларовую бумажку, которая полетела вниз и которую он поймал в воздухе, зажав между пальцами.

Он проковылял пять кварталов до Флэтбуш авеню и купил бутылку «Карстейрса». Возвращаясь по душной жаре, он задержался у края парка, где на спортивных полях молодые люди и мальчишки гоняли футбольные мячи, отпихивали друг друга и весело выкрикивали ругательства, по-бруклински отрывисто и громко; пыль из-под их ног поднималась коническими циклонами и покрывала белым налетом сухую траву и листья деревьев на краю парка. Моррис легко отвлекался. Позже он вспоминал, что минут на пятнадцать — двадцать начисто забыл, что его за чем-то посылали, и очнулся, лишь когда «классическая» музыка, загрохотавшая из окна Софи в нескольких сотнях ярдов от того места, где он стоял, вывела его из отупения. Музыка была бравурная — казалось, звучало множество труб. Это сразу напомнило Моррису о поручении, которое он взялся выполнить, а также о том, что Софи ждет его, и он поспешно засеменил к «Розовому дворцу», так что на Кейтон авеню (он это отчетливо запомнил, как и многие детали того дня) его чуть не сшиб желтый грузовичок фирмы «Кон Эдисон». По мере того как он приближался к дому, музыка звучала все громче, и ему даже пришло в голову попросить Софи — как можно деликатнее — убавить звук, но потом он передумал: ведь время в конце-то концов дневное, да к тому же суббота и других жильцов нет дома. Музыка разливалась окрест, никому не причиняя вреда. Ну и черт с ней, пусть играет.

Он постучал в дверь Софи, но никто не ответил; он забарабанил сильнее — по-прежнему ничего. Тогда он поставил бутылку «Карстейрса» на пол возле двери и спустился вниз к себе в комнатенку, где около получаса рассматривал свои альбомы со спичечными этикетками. Моррис принадлежал к числу коллекционеров — в комнате у него был еще набор навинчивающихся крышек от бутылок с безалкогольными напитками. Вскоре он решил, что настало время вздремнуть. Когда он проснулся, день уже клонился к вечеру, и музыка прекратилась. Он вспоминает, как его липким покровом накрыло предчувствие беды — оно было как бы частью не по сезону удушливой жары, создававшей впечатление, будто ты находишься в бойлерной; даже несмотря на приближавшиеся сумерки, воздух не шевелился, дышать было нечем, и он весь взмок. Как-то уж очень *тихо* вдруг стало в доме, отметил он про себя. Над дальними деревьями парка вспыхнула зарница, а с запада, как ему показалось, раздался глухой удар грома. В тишине темного дома он снова пошлепал наверх. Бутылка виски по-прежнему стояла у двери. Моррис снова постучал. У видавшей виды двери был узкий зазор, отчего там, где она отходила от рамы, образовалась щель, и хотя дверь захлопывалась автоматически, изнутри ее можно было еще закрыть на цепочку; Моррис увидел в щель, что внутренняя цепочка накинута, и понял, что Софи находится в комнате. Раза два-три он окликнул ее, но ответом была тишина, и удивление его переросло в беспокойство, когда, прильнув еще раз к щели, он заметил, что в комнате нет света, хотя уже наступила темнота. Вот тут-то он и решил, что стоит, пожалуй, позвонить Ларри. Доктор приехал в течение часа, и они вместе взломали дверь...

Тем временем, жарясь в другой комнатенке в Вашингтоне, я пришел к решению, которое не позволило *мне* оказать какое-либо влия-

ние на ход событий. Софи на добрых шесть часов опередила меня, и тем не менее, если бы я сразу бросился за ней вдогонку, я мог бы вовремя приехать в Бруклин и успеть отвести удар, нависший над нею. А я вместо этого терзался, и погибал, и по причинам, которые мне до сих пор до конца не понятны, решил ехать в Саутгемптон без нее. В решении моем, должно быть, немалую роль сыграло чувство обиды — раздражение и злость на то, что она бросила меня, уколы подлинной ревности и отсюда горький вывод: пусть теперь сама заботится о своей целости и сохранности. Натан, этот schmuck [1]! Я сделал все что мог. Пусть возвращается к своему сумасшедшему еврею, этому лощеному мерзавцу. И вот, подсчитав таявшие ресурсы моего кошелька (по иронии судьбы я все еще существовал щедротами Натана), я отбыл из отеля, источая слабый душок антисемитизма, протащился несколько кварталов по достойной джунглей жаре до автобусной станции и там купил билет до далекого Франклина, штат Виргиния. Я твердо решил забыть Софи.

К тому времени был уже час дня. Я едва ли это осознавал, но я находился в состоянии глубокого кризиса. Я так болезненно, так остро пережил это чудовищное разочарование — это предательство! — что ноги у меня тряслись в подобии пляски святого Витта. Вдобавок я терпел с похмелья муки мученические, словно меня распяли на кресте, и терзался неутолимой жаждой, а когда автобус уже начал прокладывать себе путь по забитым машинами артериям Арлингтона, меня обуяла вдруг такая тревога, что датчики моей психики настроились на серьезный лад и стали посылать по всему телу сигналы бедствия. Многое из того, что со мной происходило, объяснялось виски, которое Софи влила мне в глотку. Никогда в жизни я не видел, чтобы мои пальцы так дрожали и что-то я не припомню, чтобы мне когда-либо было трудно закурить сигарету. Проносившийся мимо лунный пейзаж казался кошмарным сном, что еще больше усиливало мою подавленность и страх. Унылые пригороды, высокие стены тюрем, широкий Потомак, вязкий от отбросов. Во времена моего детства, не такого уж далекого, южные окраины округа Колумбия сонно дремали, овеваемые пылью, прорезанные буколическими дорогами и перекрестками. Бог ты мой, взгляните на все это сейчас. Я совсем забыл о проказе, которая так быстро поразила мой родной штат: непристойно расплодившееся урбанистическое убожество округа Фейрфакс, разжиревшего на военных прибылях, проносилось перед моим взором, накладываясь, словно галлюцинация, на воспоминания о форте Ли в Нью-Джерси, а впереди разматывалось бетонное проклятие, с которым еще день тому назад я считал, что расстался навсегда. Не было ли все это раковой опухолью, привитой янки и разраставшейся по моему любимому Старому доминиону [2]? Конечно же, дальше на Юге дело пойдет лучше, и тем не менее я почувствовал, что вынужден откинуться и положить больную голову на спинку сиденья,— мною владел такой страх, такая бесконечная усталость, каких я никогда в жизни не знал.

Шофер выкрикнул: «Александрия». И я понял, что должен бежать из этого автобуса. Интересно, мелькнула мысль, что подумает доктор местной больницы, увидев тощее, измученное существо в мятом шелковом костюме, которое попросит, чтобы на него надели смирительную рубашку? (В тот ли момент я со всей уверенностью осознал, что никогда не буду жить на Юге? Думаю, что да, но и по сей день не могу быть в этом уверен.)

Однако я все-таки сумел более или менее взять себя в руки, победив демонов неврастении. Пользуясь средствами междугородного

---

[1] Мерзавец *(идиш)*.

[2] Старый доминион — обиходное название штата Виргиния.

сообщения (включая такси, из которого я вылез почти полным банкротом), я добрался до Юнион-стейшн и успел на трехчасовой поезд, отправлявшийся в Нью-Йорк. Пока я не уселся в душном вагоне, у меня не было возможности вспоминать Софи или вызывать в памяти ее образ. Великий боже, ведь обожаемая мною женщина очертя голову ринулась в омут смерти! В момент озарившего меня прозрения я вдруг понял, что изгонял ее из своих мыслей на протяжении этого неудавшегося бегства в Виргинию по той простой причине, что подсознательно запрещал себе предвидеть и принять то, чему я, терзаясь крестной мукой, все больше находил подтверждение, ибо чувствовал: что-то ужасное должно произойти с ней и с Натаном, и мой отчаянный бросок в Бруклин никак не изменит той участи, которую они для себя избрали. Я понял это не потому, что стал провидцем, а потому, что до сих пор намеренно был слеп, или туп, или то и другое вместе. Да разве в записке Софи не было все сказано — так ясно, что наивный шестилетний ребенок мог бы разгадать ее смысл, и разве я не проявил беспечности, преступной беспечности, не помчавшись сразу за нею, вместо того чтобы бессмысленно трястись в автобусе через Потомак? Тревога захлестнула меня. Неужели к тому чувству вины, которое убивало ее с такой же несомненностью, как несомненно были убиты ее дети, теперь должна добавиться еще моя вина в том, что по слепоте своей я помог скрепить ее обреченность — все равно как если бы руками Натана задушил ее? Я воскликнул про себя: «Великий боже, да где же тут телефон? Надо предупредить Морриса Финка или Ларри, пока еще все не кончено». Но не успел я додумать эту мысль, как поезд содрогнулся и тронулся, и я понял, что никакой возможности связаться с кем бы то ни было теперь уже не будет, пока...

На меня напал странный припадок религиозности — недолгий, но сильный. Библия, которую я возил с собою вместе с журналом «Тайм» и газетой «Вашингтон пост», многие годы сопутствовала мне в моих странствиях. Она послужила дополнением и к моему костюму достопочтенного Энтуисла. Я не был человеком богобоязненным, и Священное писание было для меня всегда своего рода литературным подспорьем, откуда я черпал образные выражения и цитаты для героев моего романа, двое или трое из которых выродились в религиозных фанатиков. Я считал себя агностиком, свободным от оков веры и достаточно смелым, чтобы не обращаться к весьма сомнительному, с точки зрения логики, бестелесному существу, именуемому богом, даже в момент родовых схваток или страданий. Но сейчас, сидя в вагоне — отчаявшийся, неописуемо ослабший, до смерти перепуганный, совершенно потерянный,— я чувствовал, что все мои подпорки куда-то исчезли, а «Тайм» и «Вашингтон пост» вроде бы не предлагают лекарства от моих мук. Плохо выкрашенная дама солидного веса и размеров впечаталась в сиденье рядом со мной, перенасытив окружающее пространство ароматом гелиотропа. Мы мчались сейчас на север — прочь из округа Колумбия. Я повернулся, чтобы посмотреть на свою соседку, и почувствовал на себе ее взгляд. Она разглядывала меня круглыми, влажными, доброжелательными карими глазами размером с платановые шары. Она улыбнулась, издала какой-то хрип, и на лице ее появилась поистине материнская заботливость, которой так жаждало в этот момент мое исстрадавшееся сердце.

— Сынок,— сказала она с невероятной убежденностью и доброжелательностью,— на свете есть *одна* хорошая книга. И она как раз у тебя в руках.— Дав таким образом мне свою визитную карточку, моя товарка-странница вытащила из хозяйственной сумки собственную Библию и со вздохом удовлетворения, влажно чмокнув губами, принялась читать.— Верь слову Его,— напомнила она мне,— и *будешь* спасен — так сказано в святом Евангелии, и это божья правда. Аминь.

Я отозвался:

— Аминь.— И открыл Библию точно на середине, где, как я помнил еще со времени посещения дурацкой воскресной школы, должны находиться псалмы Давида.— Аминь,— повторил я.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже... Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» [1]. Внезапно я почувствовал, что должен укрыться от всех человеческих глаз. Я кинулся в туалет, заперся и, сев на стульчак, принялся набрасывать в блокноте апокалипсические послания самому себе, содержание которых я едва ли понимал. А они неудержимым потоком рвались из моего помутненного сознания — то были последние записи приговоренного к смерти или безумный бред человека, погибающего в самом далеком и гнилом месте на земле и швыряющего бутылки со своими безумными посланиями в черную безразличную глубину вечности.

— Почему ты плачешь, сынок? — спросила женщина, когда я через некоторое время рухнул на сиденье рядом с ней.— Кто-то тебя очень обидел?

Я ничего не мог сказать ей в ответ; тогда она сделала мне одно предложение, и, немного погодя, совладав с собой, я принялся читать вслух вместе с ней — наши голоса, сливаясь, звучали гармоническим, взволнованным, погребальным дуэтом, перекрывая грохот поезда.

— Псалом восемьдесят восьмой,— говорил я.

И она отвечала.

— Это очень хороший псалом. «Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями...» [2]

Так мы читали все время, пока ехали через Уилмингтон, Честер, мимо Трентона, время от времени переходя к Екклесиасту и Исайе. Потом принялись было за Нагорную проповедь, но на меня она подействовала не так, как надо: возвышенный древнееврейский плач скорее расслаблял, и мы вернулись к Иову. Когда я наконец поднял глаза и посмотрел в окно, снаружи уже царила тьма, и на западе небо озарялось яркими сполохами зеленых молний. Проповедница в темных одеждах, к которой я успел привязаться, если не полюбить, сошла в Ньюарке.

— Всешеньки утрясется,— предсказала она на прощание.

В тот вечер «Розовый дворец» походил на декорацию к жестокому детективному фильму, какие я видел сотни раз. И по сей день отчетливо помню, как, шагая по тротуару, я пытался смириться со случившимся — старался не удивляться. Все, что сопутствует смерти, было налицо, как я себе и представлял: кареты «скорой помощи», пожарные машины, пикапы технической помощи, полицейские автомобили с пульсирующим красным светом на крыше — всего этого было больше чем нужно, словно в бедном ветхом доме произошло страшное массовое убийство, а на самом деле просто два человека положили своему существованию, можно сказать, красивый конец, тихо отойдя в небытие. Прожектор заливал все своим ацетиленовым светом, путь преграждал мрачный барьер с картонной надписью «Проход запрещен», и всюду стояли группки убийц-полицейских, жевавших резинку и время от времени небрежно постукивавших себя по толстому заду. Я заспорил с одним из них — желчным неприятным ирландцем, настаивая на своем праве войти в дом, и, наверное, простоял бы на улице не один час, если бы не Ларри. Он заметил меня и резко сказал что-то красноречивой скотине, после чего мне разрешили войти в нижний холл. В моей комнате, дверь в которую была приоткрыта, Йетта Зиммермен полулежала-полусидела в кресле, бормоча что-то бессвязное на идиш. Ее явно только что поставили в известность о случив-

[1] Библия Псалом 41.

[2] Стайрон ошибся: псалом 87.

шемся: широкое, некрасивое лицо ее, обычно светившееся тонким юмором, было без кровинки, взгляд — отсутствующий, как у человека в состоянии шока. Какой-то медик из «скорой помощи» стоял над ней со шприцем в руке. Ларри молча повел меня наверх мимо группки полицейских репортеров, похожих на червей, и двух-трех фотографов, которые при появлении любого движущегося предмета щелкали фотоаппаратами со вспышкой. На лестничной площадке так накурили, что на секунду мне померещилось, будто здесь был пожар. У входа в комнату Софи Моррис Финк, действительно сраженный горем и еще более бледный, чем Йетта, дрожащим голосом объяснялся с детективом. Мне пришлось довольно долго ждать, чтобы перекинуться хотя бы словом с Моррисом. Он немного рассказал мне о том, что было днем, как гремела музыка. И наконец за выбитой дверью глазам моим предстала комната в мягких кораллиновых тонах.

Я заморгал, приспосабливаясь к полумраку, затем постепенно различил Софи и Натана, лежавших на ярком абрикосовом покрывале. Они были одеты совсем так же, как в то далекое воскресенье, когда я впервые увидел их вместе: она — в щегольском костюме былых времен, он — в допотопной, франтоватой серой шерстяной паре в широкую полоску, придававшей ему вид везучего игрока. Они лежали, одетые, в объятиях друг друга и казались с того места, где я стоял, двумя возлюбленными, которые нарядились для вечерней прогулки, а потом вдруг решили прилечь и вздремнуть, или заняться любовью, или шепотом поведать друг другу что-то сокровенное и так навеки и застыли в торжественном и нежном объятии.

— Я бы на вашем месте не смотрел на их лица,— сказал Ларри и, помолчав, добавил: — Но они не страдали. Приняли цианистый натрий. Через несколько секунд все было кончено.

К моему стыду и огорчению, я вдруг почувствовал, что колени у меня подгибаются, и чуть не упал, но Ларри схватил меня и удержал. Тут я взял себя в руки и перешагнул через порог.

— Это еще кто, доктор? — спросил полицейский, преграждая мне путь.

— Член семьи,— сказал Ларри, и это была чистая правда.— Впустите его.

В комнате не было ничего, что могло бы что-то прибавить или убавить или как-то объяснить эту двойную смерть. Я почувствовал, что больше не в состоянии на них смотреть. Зачем-то я пробрался к проигрывателю, который автоматически сам выключился, и взглянул на стопку пластинок, которые Софи и Натан заводили в тот день. Среди дюжины пластинок, которые я снял с проигрывателя, я увидел «Импровизацию для трубы» Перселла, концерт для виолончели Гайдна, часть Пасторальной симфонии и плач по Евридике из «Орфея» Глюка. Были там еще два произведения, названия которых много значили для меня хотя бы потому, что я знал, какое значение они имели для Софи и Натана. Одним из них было ларгетто из си-бемоль-мажорного фортепьянного концерта Моцарта — последнего, который он написал; Софи не раз слушала его при мне, лежа в постели, прикрыв согнутой в локте рукой глаза, а медленные нежные трагические звуки затопляли комнату. Моцарт был очень близок к концу жизни, когда писал этот концерт,— не потому ли (вспомнились мне ее рассуждения вслух) в этой музыке звучит такая поистине радостная покорность судьбе? Посчастливься ей стать пианисткой, рассуждала вслух Софи, этот концерт она бы одним из первых выучила наизусть, отшлифовала бы каждую грань этих «вечных» для нее звуков. Я почти ничего не знал тогда о Софи и потому не мог понять скрытого смысла того, что она, помолчав, сказала, а сказала она, что, слушая этот концерт, она всегда представляет себе детей, которые играют в сумерках, издали перекликаясь тоненькими голосками, в то время как на зеленую безмятежную лужайку тихо опускается ночь.

В комнату, шурша пластиковыми мешками, вошли двое служителей из морга в белых куртках. Следующей пластинкой оказалась та, которую Софи и Натан слушали все лето. Я не собираюсь придавать этому большее, чем нужно, значение, так как оба они — Софи и Натан — отринули веру. Но пластинка была на самом верху, и, опуская ее на место, я невольно протянул ниточку между нею и их концом: должно быть, в минуту смертной муки, или эйфории, или какого-то иного всеобъемлющего прозрения, которое они разделили, прежде чем погрузились в вечную тьму, в ушах у них звучало: «Иисусе, радость человеческая» [1].

Эти последние записи следует, наверно, назвать чем-то вроде «Исследования о том, как победить горе».

Мы похоронили Софи и Натана рядом, на кладбище в округе Нассау. Устроить это оказалось куда легче, чем можно было предположить. А волнения все-таки были. Речь ведь шла о своеобразном «пакте самоубийства» (как обозвала это «Дейли ньюс» в крикливой статье с фотографиями, помещенной на третьей странице), заключенном между евреем и католичкой, о двух любовниках, погрязших во грехе, волнующей красавице и интересном мужчине, инициаторе трагедии, молодом человеке, известном своей неуравновешенной психикой, и т. д.— все это в 1947 году рассматривалось как сверхскандал. И можно было представить себе всякого рода возражения против совместных похорон. Однако устроить их оказалось сравнительно легко (и устроил все Ларри), тем более что никаких религиозных обрядов не предполагалось. Родители Натана и Ларри были правоверными евреями, но мать их умерла, а отец, которому в ту пору минуло восемьдесят, дышал на ладан и совсем выжил из ума. А кроме того — надо же смотреть фактам в лицо, сказали мы себе,— у Софи не было никого ближе Натана. Все эти соображения привели к тому, что именно Ларри договорился об обряде, который и состоялся в ближайший понедельник. И Ларри и Натан уже многие годы не ходили в синагогу. А я сказал Ларри, когда он спросил моего совета, что Софи едва ли хотела бы, чтобы ее отпевал священник или чтобы ее хоронили по католическому обряду,— утверждение, возможно, кощунственное, обрекавшее Софи на вечный ад, но я был убежден (как убежден и по сей день), что поступил правильно. В загробной жизни Софи не страшен никакой ад.

Итак, аванпост фирмы Уолтера Б. Кука в центре города провел похоронную церемонию в самом благопристойном и приличном — при сложившихся обстоятельствах — виде, хотя всему и сопутствовал душок (во всяком случае для зевак, толпившихся снаружи) грязной и роковой страсти. Немного не повезло нам со священнослужителем, который совершал обряд: он оказался совсем никудышным, но я, по счастью, не знал этого, когда, стоя рядом с Ларри, встречал пришедших на похороны. Их было всего несколько человек. Первой прибыла старшая сестра Ландау, у которой муж хирург. Она прилетела из Сент-Луиса со своим семнадцатилетним сыном. Два разодетых педикюрщика — Блэксток и Катц — прибыли с двумя молоденькими женщинами, работавшими вместе с Софи,— обе, красноносые, осунувшиеся, рыдали вовсю. Йетта Зиммермен — на грани прострации — приехала с Моррисом Финком и похожим на раввина толстяком студентом Мойше Маскетблитом; он поддерживал Йетту, хотя был такой бледный, такой перепуганный и так неуверенно передвигал ногами, что поддерживать следовало бы его самого.

Явилось и несколько друзей Натана и Софи — шесть или семь молодых интеллектуалов и преподавателей Бруклинского колледжа, входивших в «Группу Морти Хэбера», как я ее прозвал, и с ними сам Морти. Это был гуманитарий, человек мягкий, с тихим голосом. Мы

---

[1] Кантата № 147 Баха.

уже были немного знакомы, я успел его полюбить и в тот день на какое-то время прилепился к нему. Похороны проходили в обстановке невероятно тяжелой, всепронизывающей торжественности, без намека на какую-либо, пусть самую незначительную, разрядку, вполне допустимую на иных похоронах,— тишина и напряженные несчастные лица говорили о подлинной трагедии, о подлинном шоке, в каком находились люди. Никто не потрудился посоветоваться насчет музыки, что было совсем уж нелепо и стыдно. Когда пришедшие на похороны стали входить в зал под щелканье и вспышки фотоаппаратов, я услышал «Аве, Мария» Гуно, которую плаксиво затянул орган. Я вспомнил о том, как Софи, да и Натан, любила музыку, какие благородные чувства она будила в них обоих, и от этих надрывных, вульгарных стенаний у меня перевернулось все внутри.

Собственно, мое нутро и без того находилось в весьма плачевном состоянии, как и общее равновесие. Со времени приезда из Вашингтона я ни минуты не был трезв и ни минуты не спал. Я ходил из угла в угол, метался, преодолевая жжение в глазах от бессонницы, и поскольку сон не приходил, я заполнил эти страшные часы, слоняясь по улицам и барам Флэтбуш авеню, шепча: «Почему, почему, почему?» и накачиваясь главным образом пивом, так что я был почти, но не совсем пьян. В этом состоянии опьянения, со странным чувством непричастности к происходящему и одновременно непередаваемого изнеможения (позже я понял, что это могло кончиться настоящим алкогольным галлюцинозом), я сидел на скамье в фирме Уолтера Б. Кука и слушал его преподобие Де Витта, «вещавшего» над гробами Натана и Софи. Собственно, Ларри был не виноват в том, что тут оказался его преподобие Де Витт. Ларри действительно считал, что нужен священник, но раввин показался ему неподходящим, а католический священник неприемлемым, и тогда какой-то его приятель или приятель приятеля предложил его преподобие Де Витта. Это был священник-универсалист лет сорока, с синтетически благолепным лицом, светлыми, волнистыми, тщательно причесанными волосами и ярким подвижным и каким-то девичьим ртом. На нем был рыжевато-коричневый деловой костюм с рыжевато-коричневой жилеткой, обтягивавшей намечающийся животик, на котором поблескивал золотой ключ «Омикрон Дельта Каппа», ведущего университетского сообщества.

И тут я вдруг полуидиотски, но достаточно громко хихикнул, вызвав легкое движение среди ближайших соседей. Я ни разу еще не видел, чтобы этот ключ носил кто-либо старше моего возраста, особенно вне университета, и потому человек, с первого взгляда вызвавший у меня отвращение, показался мне еще более мерзким. А как хохотал бы Натан при виде этого пресноводного тритона-гоя! Притулившись в полумраке рядом с Морти Хэбером, вдыхая сладкий аромат калл, я пришел к выводу, что его преподобие Де Витт, как никто доселе, пробуждает во мне потенциального убийцу. А он тянул что-то оскорбительно нудное, цитируя Линкольна, Ральфа Уолдо Эмерсона, Дэйла Карнеги, Спинозу, Томаса Эдисона, Зигмунда Фрейда. Христа он упомянул только раз, и то походя — мне-то, правда, это было безразлично. Я все ниже и ниже съезжал на скамье и начал отстраиваться от него, подобно тому как можно убрать звук, повернув ручку радиоприемника,— в свой оцепеневший мозг я впускал лишь самые вопиющие и слезливые пошлости. Эти заблудшие дети. Жертвы эпохи всепроникающего материализма. Утрата общечеловеческих ценностей. Несостоятельность старых принципов веры в свои силы. *Неспособность к взаимокоммуникации!*

«Какое фантастическое дерьмо!» — подумал я и тотчас понял, что произнес эти слова вслух, ибо почувствовал, как Морти Хэбер похлопал меня по колену, и услышал его тихое «ш-ш-ш!» и сдавленный смешок, ясно указывавший на то, что он вполне со мной согла-

сен. Тут я, должно быть, отключился — не заснул, а погрузился в какое-то близкое к столбняку состояние, когда все мысли, словно школьники после уроков, разбегаются из мозга, ибо моим следующим восприятием было жуткое появление двух металлических, цвета вороненой стали, гробов, которые везли по проходу мимо меня на сверкающих каталках.

— Кажется, меня сейчас вырвет,— сказал я излишне громко.

— Ш-ш-ш,— сказал Морти.

Прежде чем двинуться в лимузине на кладбище, я заскочил в соседний бар и купил большую коробку с пивом. В те дни можно было приобрести кварту пива за тридцать пять центов. Я сознавал, что, по всей вероятности, поступаю бестактно, но никто, казалось, не обратил на это внимания, и к тому времени, когда мы добрались до кладбища за Хэмпстедом, я уже был хорош. Как ни странно, Софи и Натан были среди первых, кто занял место в этом совсем новом некрополе. Под теплым октябрьским солнцем огромный массив нетронутой зеленой целины простирался до горизонта. Пока наша процессия двигалась к отдаленным могилам, я не без испуга подумал, не хороним ли мы наших друзей на поле для гольфа. И на какую-то секунду мне показалось, что это действительно так. Я попал во власть извращенной фантазии или причуд психики, что иногда случается с пьяными: я увидел, как поколения игроков в гольф с первого удара кладут мяч в ямку над Софи и Натаном, кричат: «Забил!» — и возятся со своими клюшками и чехлами, а потревоженные души усопших ворочаются под ходящей ходуном землей.

Сидя в одном из «кадиллаков» рядом с Морти, я листал антологию американской поэзии Унтермейера, которую прихватил вместе с записной книжкой. Я предложил Ларри прочесть что-нибудь оттуда, и ему эта мысль понравилась. Я твердо решил, что, прежде чем мы окончательно расстанемся, Софи и Натан должны услышать мой голос: не мог я примириться с тем, что последнее слово останется за его преподобием Де Виттом, это было бы просто неприлично, и потому я усердно листал тот раздел антологии, где была щедро представлена Эмили Дикинсон, в поисках самого прекрасного стихотворения. Я вспомнил, как в библиотеке Бруклинского колледжа именно Эмили свела Натана и Софи; ей, подумал я, и следует сказать им последнее «прости». Эйфория пьянящим потоком затопила меня, когда я нашел подходящее или, лучше сказать, идеальное стихотворение. Я тихонько усмехнулся про себя; тут лимузин остановился у разверстых могил, и я вывалился из машины, чуть не растянувшись на траве.

Реквием его преподобия Де Витта на кладбище был кратким резюме того, что он говорил в похоронном бюро. У меня создалось впечатление, что Ларри посоветовал ему быть покороче. Затем, решив все-таки привнести элемент обрядности, Де Витт извлек из кармана фиал с прахом и опустошил его над гробами, высыпав половину над гробом Софи, а другую над гробом Натана, стоявшим на расстоянии шести футов. Но это не был обычный скромный бренный прах. Его преподобие Де Витт сообщил, что прах был собран на шести континентах мира плюс в вечных льдах Антарктики, дабы напоминать, что смерть никого не минует, что она поражает людей всех верований, всех цветов кожи, всех национальностей. И снова мой извращенный ум подсказал мне, что Натан в свои светлые периоды терпеть не мог идиотов вроде Де Витта — с каким наслаждением он бы высмеял и изничтожил с помощью своего дара к подражанию этого надутого шарлатана. Но тут я заметил, что Ларри кивнул мне, и вышел вперед. В тишине горячего яркого дня слышно было лишь мягкое гудение пчел, привлеченных цветами, сваленными у края двух могил. Пошатываясь и слегка отупев, я думал об Эмили Дикинсон и о пчелах, о том, как неподражаемо она воспевает их и их жужжание, олицетворяющее у нее вечность.

Постель приготовь пошире,
С душой приготовь счастливой,
Ложись и жди, пока подойдет
Судный день справедливый.

Я сделал паузу. Мне не трудно было произносить слова — остановился я из-за вдруг нахлынувшего приступа веселости, на сей раз переплетавшейся с горем. Не было ли какого-то тайного смысла в том, что Софи и Натан олицетворялись для меня с постелью, начиная с того момента, ныне отодвинувшегося в далекое, отделенное столетиями прошлое, когда я впервые услышал над своей головой победоносный скрип кровати, и до финала на той же кровати, который останется в моей памяти, пока старческое слабоумие или смерть не изгладят этой картины? Кажется, тогда-то я и почувствовал, что начал сбиваться, язык у меня не ворочается и сам я распадаюсь.

Да будет могила мягкой,
Да будет удобным ложе.
И пусть рассветный шум золотой
Льется, тебя не тревожа [1].

Где-то в начале этого повествования я упоминал о том, что мое отношение к дневнику, который я вел в дни молодости, складывалось из любви и ненависти. Живые и ценные страницы — те, которые я, как правило, хранил,— родились, как мне казалось потом, в периоды импотенции, неосуществленных желаний и увечных страстей. С ними связаны вечера бездонного отчаяния, проведенные в обществе Лесли Лапидус и Мэри Элис Гримболл, и им было отведено законное место в этом повествовании. Что же до остального, то многое из того, что я записал, состояло из столь неглубоких раздумий, было полно такой псевдоафористической претенциозности, столь глупых экскурсов в дебри философии, куда мне незачем было влезать, что я решительно пресек возможность воспроизведения этих писаний и года два-три тому назад торжественно предал их огню у себя на заднем дворе. Несколько страничек, впрочем, уцелело от пламени, но я сохранил их не потому, что они являют миру непреходящие ценности, а скорее из-за того, что́ они добавляют к исторической летописи, точнее говоря — летописи моей жизни. Из полудюжины страниц, которые сохранились у меня от тех последних дней — начиная с лихорадочных набросков, сделанных в туалете поезда, везшего меня из Вашингтона, и вплоть до дня после похорон,— я счел нужным оставить ровно три коротких записи. Но и они интересны не потому, что в них заключено что-то нетленное, а потому, что при всей своей безыскусности они представляют собой крик души, вырвавшийся, подобно жизненным сокам, из недр существа, самая жизнь которого в тот момент была под вопросом.

«*Когда-нибудь я пойму, что такое Освенцим*». Это было смелое, но нелепое по своей наивности заявление. Никто никогда не поймет, что такое Освенцим. Я выразился бы точнее, если бы написал: «*Когда-нибудь я напишу о жизни и смерти Софи и тем самым попытаюсь показать, что абсолютное зло неистребимо в мире*». Феномен Освенцима так и остался необъясненным. Самая глубокая мысль, высказанная пока об Освенциме, является не столько утверждением, сколько ответом в виде вопроса.

Вопрос: «Скажи мне, где в Освенциме был бог?»
И ответ: «А где был человек?»

Вторая запись, которую я спас от небытия, может показаться несколько поверхностной, но я все же сохранил ее. «*Пусть любовь твоя распространится на все живое*». Слова эти в определенном смысле сильно отдают наставлением. Тем не менее, соединенные в одной

[1] Перевод Виктора Лунина.

фразе, они обладают поразительной красотой, и, видя их сейчас на разлинованной странице, странице, которая приобрела оттенок засохшего нарцисса и под медленным воздействием времени стала почти прозрачной, я обращаю прежде всего внимание на резкие штрихи, которыми они подчеркнуты — словно кинжал прошелся: «жик-жик-жик»,— как если бы страдалец Стинго, в теле которого я одно время обитал или который обитал во мне и впервые в своей взрослой жизни соприкоснулся со смертью, страданием, утратой и поразительной загадкой человеческого существования, пытался извлечь из этой бумаги единственную оставшуюся— пожалуй, единственно приемлемую — истину. «*Пусть любовь твоя распространится на все живое*».

Однако в связи с этой моей концепцией возникает несколько проблем. И первая, конечно, состоит в том, что это не моя концепция. Она порождена мирозданием и принадлежит богу, а в слова — так сказать, в «крылатые слова» — была оформлена такими мыслителями, как Лаоцзы, Иисус, Гаутама Будда и многие тысячи менее известных пророков, включая данного рассказчика, который услышал эту непреложную истину где-то между Балтимором и Уилмингтоном и с одержимостью безумца-скульптора, режущего камень, записал на бумаге. Спустя тридцать лет слова эти все еще звучат в эфире: я услышал их в том виде, как записал, в чудесной песне, которая исполнялась под гитару в программе народных песен, когда я однажды вечером ехал по Новой Англии. И тут мы подходим ко второй проблеме — к правде этих слов, или если не к правде, то к неосуществимости того, что в них заключено. Ибо разве Освенцим не встал непреодолимой преградой на пути этой всеобъемлющей любви, словно некая раковая опухоль в крови человечества? Разве он не изменил самую природу любви, сделав абсурдной мысль о том, что можно любить муравья, или саламандру, или змею, или жабу, или тарантула, или микроб бешенства — или даже вещи святые, прекрасные — в мире, который допустил существование черной громады Освенцима? Не знаю. Быть может, рано искать на это ответ. Так или иначе я повторил эти слова как напоминание о хрупкой, но стойкой надежде...

Последнее, что я сохранил из дневника,— это строка стихотворения, моего собственного. Надеюсь, это простительно, учитывая контекст, в котором строфа возникла. Дело в том, что после похорон я нализался до чертиков, как говорили в те дни про крайнюю степень опьянения, граничащую с потерей памяти. Я сел на метро и поехал на Кони-Айленд, намереваясь как-нибудь убить свое горе. Сначала я не очень понимал, что повлекло меня на эти улицы, полные кабаков и притонов, которые никогда не представлялись мне самыми привлекательными в нашем городе. Но день клонился к вечеру, погода удерживалась теплая и ясная, я был бесконечно одинок, и Кони-Айленд показался мне вполне подходящим местом, чтобы забыться. Парк Стиплчейз был закрыт, как и многие другие места развлечений, а вода — слишком холодна для купания, тем не менее теплый день привлек сюда целые ватаги ньюйоркцев. В неоновом свете, прорезавшем сумерки, любители развлечений и праздношатающиеся заполняли улицы. Возле кафе Виктора, паршивенького заведения, где Лесли Лапидус своим похотливым распутством напрасно распалила меня, я приостановился, пошел было дальше, потом вернулся: здесь я потерпел поражение, так почему бы здесь же не погрузиться на дно. Что побуждает человека терзать себя, взрезая мозг тупыми ножницами неприятных воспоминаний? Но скоро я забыл про Лесли. Я заказал кувшин пива, потом другой и напился до галлюцинаций.

Позже, той звездной ночью, в которой уже чувствовалось холодное дыхание осени и влажность атлантического ветра, я стоял на пляже один. Здесь царила тишина и, если не считать сверкающих звезд, кромешная тьма; причудливые шпили и минареты, готические крыши, башенки в стиле барокко вырисовывались тонкими силуэтами

на фоне освещенного городскими огнями неба. Среди этих башенок выделялась парашютная вышка с тонкими, как паучьи лапки, перекладинами и свисавшими сверху тросами,— здесь, у верхнего парапета этого головокружительного сооружения, я слышал вскрики и звонкий смех Софи, когда она летела вниз вместе с Натаном, спускалась на землю, радуясь началу лета, и было это, казалось, вечность тому назад.

И вот тут наконец у меня появились слезы, не сентиментальные слезы во хмелю, а слезы, которые со времени приезда из Вашингтона я по-мужски старался сдерживать и больше уже не в состоянии был сдержать; я до того крепко их в себе закупорил, что сейчас они теплым потоком хлынули меж моих пальцев. Высвободило этот поток прежде всего, конечно, воспоминание о том, как Софи и Натан давно-давно прыгали с вышки, но не только это, а ярость и скорбь по столь многим, кто на протяжении последних месяцев стучался в мое сознание и требовал быть оплаканным,— да, конечно, я плакал по Софи и Натану, но также по Яну и Еве — Еве с ее одноглазым Мишей,— и по Эдди Фареллу, и по Бобби Уиду, и по моему юному черному спасителю Артисту, и по Марии Хант, и по Нату Тёрнеру, и по Ванде Мук-Хорх фон Кретшман, которые составляют лишь маленькую горстку поверженных, замученных и умерщвленных детей земли. Я не плакал по шести миллионам евреев, или двум миллионам поляков, или миллиону сербов, или пяти миллионам русских — я не готов был плакать по всему человечеству,— но я плакал по тем, кто так или иначе стал дорог мне, и мои рыдания громко разносились по безлюдному пляжу, не вызывая у меня стыда; а потом запас слез кончился, и я опустился на песок — ноги у меня вдруг подкосились, стали какими-то удивительно хрупкими, непрочными для двадцатидвухлетнего человека.

И я заснул. Сны мои были отвратительны — какая-то мешанина из рассказов Эдгара Аллана По: то меня рассекали надвое чудовищные машины, то я захлебывался в водовороте грязи, то меня замуровывали в камень, то — и это было самое страшное — хоронили заживо. Всю ночь я сражался с ощущением беспомощности, невозможности издать хоть звук, неспособности пошевелиться или закричать под давящей тяжестью земли, которую ритмично — плюх-плюх-плюх — сбрасывали на мое парализованное страхом, опрокинутое навзничь тело, живой труп, который погребают в песках Египта. А пески пустыни были такие холодные.

Когда я проснулся, было раннее утро. Я лежал и смотрел прямо в зеленовато-голубое небо, затянутое прозрачным пологом тумана; над подернутым дымкой Тихим океаном, подобно крошечному кристальному глазу, одиноко светила Венера. Где-то поблизости стрекотали детские голоса. Я шевельнулся. «Осторожно, он просыпается!» — «Смотри, какие усищи отрастил!» — «Пошел ты!» Благословляя свое воскресение к жизни, я понял, что это дети заботливо накрыли меня слоем песка и что я лежу в целости и сохранности, точно мумия, под этим тонким обволакивающим плащом. И вот тогда я мысленно и записал: «Под холодным песком мне приснилася смерть/, но заря пробудила меня/, и увиделась мне в голубой вышине/ яркая утренняя звезда».

Это не был судный день — всего лишь утро. Утро безоблачное и прекрасное.

■

---

**КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.**

Советский переводчик с английского. Печатается с 1949 г. В ее переводах издавались произведения Ч. Диккенса, Дж. Голсуорси, М. Твена, Дж. Лондона, Т. Драйзера, Р. Олдингтона, Дж. Уэйна, А. Хейли, Р. Крайтона, Р. Хьюза, Дж. Апдайка и др.

# Выбор Уильяма Стайрона

Читая новый пятисотстраничный том Уильяма Стайрона, я то и дело мысленно возвращался к разговору с писателем в декабре 1977 года, когда мне довелось побывать у него дома в коннектикутском местечке Роксберри.

Было известно, что Стайрон работает над «большой книгой». Работает давно и, наверное, трудно. С момента выхода последнего его романа сейчас уже прошло двенадцать лет. «Признания Ната Тернера» автор определил как «размышления над историей». Двенадцать лет... Впрочем, писатель никогда не отличался ни беглостью, ни бойкостью пера. Если подходить с количественными мерками книжного рынка, то пятидесятипятилетний Стайрон написал вроде бы не так уж много — четыре романа. Зато первой же своей книгой, отличным семейно-психологическим романом «Сойти во тьму» (1951) он прочно утвердился в американской литературе как писатель и безошибочно «южный», и вместе — решительно порывающий с традицией почвенничества и легенды, которой отдавали дань даже большие мастера. «Ассимилированный северянин с южными корнями, только и всего»,— отозвался он о себе.

В тот вечер Стайрон говорил о войне, о фашизме, о книге, которую пишет.

«Война — это не просто военные операции... Многие недооценивают опасность, которую представлял собой фашизм... Мы, американцы, плохо осознаем то, что фашизм — абсолютное зло... Я потрясен страданиями, которые перенесли русские, поляки, славяне вообще... У меня в романе полячка, она пережила Освенцим».

Для меня ценны не эти отрывочные, на скорую руку сделанные тогда записи: такие же мысли Стайрон не раз излагал потом публично, в прессе. Ценно общее впечатление от нашей беседы, горячая убежденность писателя, погруженность в материал и понимание высоты, которую надо взять.

Роман, появившийся полтора года спустя, оправдал и превзошел ожидания. Даже те американские критики, которые не приняли книгу, признавали: «Подойдя к проблеме массового истребления людей с польской, так сказать, стороны, Стайрон несомненно открыл целую новую область исторического знания и романного опыта — во всяком случае для большинства американских читателей».

«Софи делает выбор» — книга не только о молодой польской женщине, прошедшей через ад Освенцима. Это книга о самом Стайроне, о его молодости, одиночестве, желаниях, о том, как он приобщался к большому миру человеческих переживаний и становился писателем. История, индивидуальное «я», искусство слова — таковы три взаимосвязанные темы произведения.

Литература давно доказала, что в понятии «автобиографический роман» нет противоречия. Но Стайрон не просто создает роман из материала своей жизни, он соединяет ее с чужой, вымышленной, сводит быль и небыль. Писатель и его персонажи втягиваются в такую сложную игру психологий и жизненных установок, факт и вымысел так проникают друг в друга, что итоговое логико-художественное единство нельзя оценить иначе как новаторское. Знаменательно, что другое вершинное произведение в американской прозе 70-х годов — «Свет в октябре» Джона Гарднера — тоже результат плодотворного реалистического эксперимента со структурным принципом двоемирия.

В интервью, данном висконсинскому журналу «Контемпорэри литераче» («Современная литература» № 1, 1979), Стайрон высказался в том смысле, что автобиографическое начало — скорее всего лишь прием, что оно должно придать достоверность вымышленному. Думается, однако, что дело глубже. Ни в каком другом романном жанре не выражается так полно этическая и гражданская позиция писателя, самое сокровенное в его личности.

Известно, что в 1974 году Стайрон посетил Польшу, побывал на том месте, где стоял освенцимский концентрационный лагерь, говорил с людьми. Но я не знаю, действительно ли летом 1947 года — время действия романа — он познакомился с Зофьей Завистовской, так зовут героиню, и был свидетелем ее трагедии.

Да и так ли уж важно, существовала ли в жизни писателя эта женщина, или он слышал о ней от других, или же просто выдумал? Настолько убедительно воссоздается собственно стайроновская линия в романе, так определенно авторское умонастроение, что читатель уносится в «даль свободного романа» с его жгучим многотемьем, смелой сменой и сплетением повествовательных форм, двумя стилевыми потоками — лирико-исповедальным и документально-публицистическим.

Рассказ ведет 22-летний виргинец: «Зовите меня Стинго...» Отслужив на Тихоокеанском фронте и закончив образование, он устраивается на работу в издательство. С усердием и высокомерием неофита он драконит самотек, мечтает о дружеской выпивке — ну, хотя бы с Джоном О'Харой — и истово пробует писать сам. Легкие ироничные штрихи — неотъемлемая часть портрета молодого Стинго. Вскоре ему, однако, надоедает читать чужие рукописи, назревает конфликт с главным редактором. Прельщенный скромной квартирной платой, Стинго переезжает из Манхэттена в Бруклин и поселяется в еврейском квартале на Флэтбуш авеню в жалком «Розовом дворце» мадам Зиммермен.

Здесь он знакомится с Натаном Ландау и Зофьей Завистовской. Впрочем, «знакомится» и отдаленно не передает того перелома, который совершится в однообразном и самоуглубленном существовании рассказчика. Его словно скинули в омут кипящих страстей и душевных терзаний.

Натан — искрометный, умный, обаятельный мужчина лет тридцати, занимающийся какими-то важными биологическими экспериментами.

Софи — красавица полька, буквально возвращенная к жизни заботой и стараниями ее возлюбленного. Она недавно прибыла из Европы, обвыкается в новом укладе. От многого в Америке она приходит в простодушный восторг, а многое ей решительно непонятно и раздражает.

Пятизначный номер на руке молодой женщины — внешний знак пережитого — и ослепительно белые зубы — верх американского стоматологического искусства — это как два слагаемых ее существа, как ее прошлое и настоящее. Но прошлое не отпускает Софи, оно входит в настоящее — и не только гнетущими воспоминаниями. Ее связь с Натаном не безоблачна. Вспыльчивый, неуравновешенный, он без повода болезненно ревнует подругу, закатывает безобразные сцены, а потом, рыдая, просит прощения, а та любит его, любит благодарно и беззаветно и терпеливо сносит его выходки.

Неистовые любовные сцены между новыми друзьями Стинго и их непонятные скандалы, его растущая привязанность к ним обоим, щемяще-сладостная музыка Брамса наверху и плач Софи, ностальгия по родному Югу и размышления о германском фашизме, смутные образы будущей книги — все это сталкивается, смешивается, завладевает Стинго без остатка.

Молодой, образованный, немного наивный и чуткий к прошлому и настоящему, ко всему темному и светлому, что есть в культурной и исторической традиции Юга, Стинго был как обнаженный нерв — ему еще пока трудно было сказать что-то свое. Единственное, чем он обладал,— это чувством места. Стинго физически ощущал, что может передать на бумаге предметный мир родного края — приатлантической низменности в Виргинии,— его пейзаж, краски, запахи, голоса, предания...

Выразительно рисует Стайрон, как у его героя и двойника выкристаллизовывается замысел первого романа, как мучительно и радостно он работает над ним. Становишься свидетелем того тяжелого специфического подъема духа, именуемого вдохновением, или работой воображения, или процессом творчества, когда сцепляются разрозненные ускользающие наблюдения, движения сердца, мысли и рождается новый мир, похожий и одновременно непохожий на то, что знал и видел.

Тема американского Юга введена в роман тем немыслимым стечением обстоятельств, какое бывает только в жизни, никак не в литературе. Стинго оказывается наследником порядочной суммы денег, которые выручил его прадед в незапамятные времена от продажи раба, черного паренька по имени Артист. Припрятанные деньги нашлись. Стинго получил свою долю, получил возможность отдаться работе над романом, а не отбывать часы на службе. Проклятие рабства приносит удачу просвещенному и совестливому южанину. Иронические, а точнее, исторические парадоксы такого рода — характерная черта своеобразной поэтики романа.

На почве южного вопроса и вспыхивает первая ссора между Натаном и Стинго. Неделю назад в Джорджии линчевали 16-летнего Бобби Уида за то, что он приставал якобы к белой девице. Натан разражается многословной тирадой, обвиняя всех белых южан в таких же злодеяниях, какие чинили нацисты в концлагерях. Где-то в глубине души у Стинго трепещет комочек вины за зверство горстки расистов. Но кто дал право Натану судить миллионы невинных людей, как можно отождествлять всех южан с несколькими расистами? Натан глух к голосу разума: «Я говорю как человек, чей народ страдал в лагерях смерти...»

«Что ты знаешь о концлагерях, ты, Натан Ландау!?» Этот вскрик Софи обращен не только к любовнику — он адресован многим и многим американцам, лишь краем уха слышавшим о том, какой кровью полита земля Восточной Европы.

Этот центральный мотив в прямом публицистическом пассаже, каких немало в книге, подхватит как сверхзадачу, как главный резон книги автор, но не тот 22-летний, а многоопытный, работающий во второй половине семидесятых годов писатель, чьи книги не раз становились предметом жарких дискуссий. «Создается впечатление, что, несмотря на опубликованные факты, фотографии, кинохроники, люди у нас, в Америке, по-настоящему не знают, что́ происходило, разве что понаслышке. Бухенвальд, Бельзен, Дахау, Освенцим — все это лишь пустые затасканные названия...»

Мучительность воспоминаний, боязнь, что тебя не поймут, до поры удерживали Софи от рассказа о себе. И все-таки уже влюбленному в нее Стинго удается малопомалу «разговорить» ее. В одних главах мы слышим живую речь Софи — эмоциональную, прерывистую, непоследовательную, изобилующую умолчаниями и повторами: писателю пришлось порой решать головоломки, передавая ее неуверенный в минуты волнения английский. Мы понимаем, чего стоит Софи эта растянувшаяся на несколько недель исповедь. В других главах повествование объективировано, оно ведется от третьего лица и перемежается авторским комментарием. Истинная история Софи складывается, таким образом, постепенно, обрастая новыми подробностями и насыщаясь драматизмом, она достигает кульминационной полноты и развязки в двух последних главах романа — они-то и предлагаются вниманию читателя.

Дочь Збигнева Беганьского, профессора юриспруденции Ягеллонского университета, детские и юношеские годы провела в Кракове. Мать-меломанка привила девочке любовь к музыке — она пройдет гармоничным или диссонансным аккомпанементом к словесному ряду по самым ключевым эпизодам. Отец, германофил и либерал, в совершенстве обучил дочь немецкому языку. Софи росла хорошенькой белокурой фрейлейн. Легкая обеспеченная жизнь — все это предстало вдруг в ином свете, когда Софи переписывала папину работу «Еврейская проблема в Польше. Предлагает ли национал-социализм ее решение?». За плавными профессорскими периода-

ми и казуистической аргументацией она при всей своей наивности разглядела призыв к тотальному устранению евреев. Разглядела, ужаснулась... и только.

Это было первое пятнышко на биографии стайроновской героини, первая ранка на ее совести.

В сентябре 1939 года гитлеровцы в Кракове, однако Беганьские еще строят иллюзии. Но слепая гитлеровская машина, запрограммированная на уничтожение «низших» рас, сработала безотказно. Отец Софи вместе с коллегами оказался в Заксенхаузене. Профессор-«патриот» мечтал о Польше без евреев, а нацисты создавали Европу без славян.

Три года оккупации Софи кое-как перебивается с двумя детьми в стылой, ставшей чужой Варшаве. Не бог весть какое преступление — выменять кусок мяса для чахоточной матери, и тем не менее она в Освенциме. Случай, внешность, безукоризненный немецкий обеспечили ей место на верху подневольной тюремной иерархии. Ее ненадолго определяют секретаршей к коменданту лагеря оберштурмбанфюреру Рудольфу Францу Гёссу.

И снова писатель открыто вторгается в романный текст. «Давайте рассмотрим поближе фигуру Гёсса...» Опираясь на впечатления от посещения Освенцима, документы, книги — среди них он выделяет две, изданные в Польше: «В кошмаре преступлений» и «Освенцим глазами СС»,— Стайрон создает портрет уголовника, вознесенного к верхним эшелонам нацистской власти, друга Гиммлера, приспешника Адольфа Эйхмана, с которым он разрабатывал технологию массового уничтожения людей и опробовал «Циклон-Б» на советских военнопленных. Перед читателем раскрывается фашистская ментальность, «ум, охваченный экстазом тоталитаризма», слепое орудие германского «дела», моральный вакуум, в котором нет даже неприязни или ненависти к жертвам, а лишь сентиментально-эгоистическое ощущение бремени долга — убивать.

Фигура нациста Гёсса, по убеждению Стайрона, и есть конкретное воплощение *абсолютного зла,* того самого, добавлю, о котором так много и бесплодно толкуют буржуазные политологи, проповедники, писатели. Чувство художнической ответственности уберегло Стайрона от чрезмерной психологизации Гёсса и других нацистских фигур в романе. Он не поддался прокатившемуся в 70-х годах на Западе поветрию на «психоисторию» фашизма, то есть попыткам рассматривать нацизм только как проявление всевозможных умственных и душевных комплексов — будь то у целых народов или отдельных личностей—и тем самым затемнить его социальную сердцевину.

Немецко-фашистские концентрационные лагеря были фабриками смерти для «неполноценных» и неугодных и вместе с тем являли собой гигантскую лабораторию по разработке методов полнейшего, тотального подавления личности. Систематическое умерщвление плоти человека шло рука об руку с растлением его духа.

Читатель сравнительно немного узнает о пребывании Софи в Освенциме, но вся боль, и стыд, и муки, и безмерные унижения, и издевательства сосредоточены в нескольких эпизодах.

Один из них произошел, когда в лагере стало известно, что «русские вот-вот возьмут Киев». В тот день жестокий приступ мигрени заставил Гёсса прервать диктовку, разговориться на отвлеченные темы, увидеть в жалкой узнице женщину. Софи решает использовать момент: она здесь по ошибке, страдает безвинно, вот даже брошюра отца, над которой трудились вместе. Она фантазирует, возводит на себя напраслину, готова отдаться Гёссу, готова буквально на все, лишь бы спасти сына или хотя бы повидать его.

Невозможно вообразить, до какого отчаяния, унижения и безумия можно довести человека. Стинго пытается представить себе эту последнюю черту, пытается «понять Софи, чтобы понять Освенцим».

Чтобы судить или прощать, надо в себе выработать ту пристрастную объективность, которая неизбежно подразумевает процесс самопознания и самооценок.

Много лет спустя, штудируя литературу о «лагерной вселенной», Стайрон наткнулся у одного автора на поразившую его мысль о «двух порядках параллельного опыта», о двух одновременных и несовместимых пластах бытия. В Освенциме шло методичное истребление людей, а в десяти милях оттуда — или в десяти тысячах миль, в Штатах,— люди продолжали жить почти как ни в чем не бывало.

Но для настоящего писателя чужого горя не бывает. И потому автор задается вопросом: а что делал я первого апреля 1943 года, когда в эшелоне, груженном евреями, участниками польского Сопротивления и несколькими такими же «случайными» жертвами, Софи привезли в лагерь? Стинго роется в памяти: прелестное весеннее утро, Северная Каролина, он поедает бананы, чтобы набрать вес и попасть в морскую пехоту. Он не скрывает своей, мягко выражаясь, политической наивности. Он тогда не очень много знал о фашизме. «Но разве это не так же верно в отношении большинства американцев да и большинства людей вообще, которые жили за периметром нацистских злодеяний?»

Еще пример совмещения несовместимого. В тот день, когда Софи разыграла унизительный спектакль, когда было уничтожено около двух тысяч узников, а Гёсс диктовал донесение наверх самому фюреру: «Механизм для особой акции в Биркенау чрезмерно перегружен...» — в тот самый день Стинго, изощряясь в остроумии, писал домой о ходе футбольного состязания в военном лагере.

Именно такой, самокритичный взгляд на самого себя дает Стайрону моральное право сказать о своей несчастной героине: «Да, она была жертвой, но одновременно и сообщником, пособником... в массовом убийстве».

Нет, Софи не доносила, не убивала, не предавала. Она просто хотела быть в стороне от политики, от ужасов войны, надеялась, что ее не тронут. Варшавские друзья убеждали: подумай о Польше, сейчас не время уклоняться. Но Софи до умопомрачения боится всего, что связано с Сопротивлением, у нее дети и — разве она не потеряла уже отца и мужа? «Я сделала выбор. Не стану ввязываться». Уже арестованная, в транспорте она твердит себе: я не сделала ничего такого. Да и в самом лагере она по-прежнему пугается ответственности, хотя знает, как могла бы быть полезна подпольщикам.

Теперь, четыре года спустя, Софи сходит с ума от жгучего стыда за свое малодушие и неизбывной, удушающей вины за все, что она сделала и чего не сделала.

Краков и Варшава были первым актом трагедии Софи. Освенцим — вторым. Третий разыгрался в Нью-Йорке.

С первых же дней знакомства Стинго замечает в Натане что-то «неуловимо зловещее», что никак не вяжется с тем привлекательным, что есть в нем. По ходу действия выясняется, что Натан — не только несостоявшаяся личность с непомерным самомнением. Войну он провел за чтением Пруста и Ньютона в психиатрической лечебнице. Вспышки раздражительности, рецидивы шизофрении, наркотический туман, половые девиации — все это в конечном счете он вымещает на Софи.

Одна из Натановых маний — так называемый «еврейский вопрос», эта навязчивая идея принимает у него настолько гипертрофированные размеры, что даже возлюбленную он обвиняет в антисемитизме и аморальности: «Ты, фашистская б...» Иначе как она могла выжить? Как *смела* выжить?

В целом ряде образов и ситуаций романа прочитывается полемика с буржуазно-националистическими, сионистскими идеями о повсеместном и вечном антисемитизме, о необыкновенно тяжком историческом уделе евреев, с утверждениями, будто нацизм строил свою политику исключительно на расовом принципе без учета определенных социально-экономических интересов. В упомянутом выше интервью Стайрон особо выделил эту проблему в романе, сказав: «Стало уже частью современной мифологии мнение, будто евреи — единственные жертвы массового истребления людей... Видеть в Освенциме только результат антисемитизма — значит недооценивать зло нацистского движения, то, насколько оно оскверняло жизнь... Мы сводим нацизм к чему-то меньшему, если утверждаем, что от него страдали только евреи».

Равным образом раздумья над фашистской доктриной расового превосходства то и дело возвращают Стинго «домой» — к порядкам на американском Юге, проблемам расизма в США. «Как писатель, я никогда не сумею вырваться из оков рабства»,— говорит автор. Ведь Освенцим — это апофеоз «нового порядка», некой обесчеловеченной формы общества, которое в конечном счете «возникло из института рабства, как оно практиковалось великими нациями Запада».

Таким образом, роман предупреждает об опасности всех и всяческих форм и разновидностей этнического избранничества, националистического фанатизма и нетерпимости, расового угнетения и геноцида. Писатель одинаково страстно обличает антисемитизм в санационной Польше, воинствующий сионизм и белый расизм в Америке.

Книга о фашизме, его зверствах и растлевающем влиянии не может быть сколько-нибудь полноценной ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения истории, если в ней нет сил, которые противостоят ему. Такие силы есть и в романе Стайрона — это участники польской национально-освободительной борьбы. Среди солдат невидимого фронта выделяется Ванда — мужественная патриотка, мечтающая о свободе Польши, социалистка, взявшая себе за образец Розу Люксембург.

Ни одна книга Стайрона не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков. Наверное, и эта вызовет споры. У меня тоже есть что возразить писателю по ряду моментов. Я не убежден в правомерности аналогии между историческими путями Польши и американского Юга. По-моему, есть неточности в изображении трудностей, разобщенности польского антифашистского Сопротивления — впрочем, об этом, наверно, с большим знанием дела напишут — если уже не написали — польские критики, как и о вспышках шовинистического мракобесия в предвоенной буржуазной Польше.

Другой ряд возражений касается психосексуальных переживаний действующих в романе лиц, открытости интимнейших сцен и форм удовлетворения чувственных потребностей, обилия эротических фантазий и снов. У большинства пассажей такого рода не отнимешь тематической целесообразности, но с писателем приходится спорить о пределах допустимого в художественной литературе, о степени соблюдения эстетического такта, хотя такой разговор неизбежно выйдет за рамки романа в область общего культурного климата Америки.

Как бы то ни было, важно, однако, чтобы споры вокруг нового романа Стайрона не заслоняли главного: *определенности* идейно-эстетической концепции книги, ее антифашистского пафоса, восполняющего конкретно-историческую недостаточность даже лучших американских романов, связанных со второй мировой войной. Думаю, не ошибусь, сказав, что впервые за много-много лет в литературе США так ясно показано, против чего сражались американские солдаты, ради чего была создана антигитлеровская коалиция.

Между тем именно направленность романа, его публицистический накал вызвали неудовольствие у некоторых американских критиков. Чего стоит, например, заявление Роберта Тауэрса, чью большую статью в «Нью-Йорк ревью оф букс» я уже цитировал в начале: «Самое слабое в романе — личность и голос рассказчика... Комментарии «старшего» Стинго (то есть Стайрона.— Г. З.) так же незрелы, как и его моло-

дого «я»... В романе нет ничего, что проливало бы свет на отношение писателя к его двойнику». И у нас нашлись критики, которые по причине автобиографичности поспешно отказали книге в праве называться романом...

В недолгой, нескладной, невыразимо мучительной жизни Зофье Завистовской пришлось сделать три выбора.

Первый — свободный, зависевший только от нее и никого больше: примкнуть к Сопротивлению или нет. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба, пойди она путем борьбы. Но во всяком случае это был достойный, действительный выбор, он открывал несколько возможностей.

Второй выбор — по принуждению, жуткий, запредельный, как пытка. Этот выбор не имел никакого реального смысла, он ровным счетом ничего бы не изменил. Но медик-эсэсовец, руководивший селекцией, знал, что делает, когда предложил матери выбирать, кому из двух детей — девятилетнему Яну или маленькой Еве — идти в печь...

Третий, последний выбор — между жизнью и смертью — осложнялся благодарной самозабвенной любовью к человеку, который, отодвигая собственное безумие, воскресил ее на время на чужих далеких берегах. Когда надо было идти на риск, чем-то поступиться, может быть, пожертвовать собой ради других, Софи выбрала *неучастие* — то, что наиболее вероятно обещало жизнь. На этот раз она выбрала *участие* и смерть. Какие только картины мирной совместной жизни не рисовал ей Стинго! Но она не смогла оставить Натана.

Трагедия Софи развивается на страницах романа с мощной неуклонностью античного рока. Писатель честен и убедителен в изображении смертоносной логики ее и Натановой судьбы. Он показывает, как они связаны со множеством других жизней и смертей, с памятью о жертвах, принесенных во имя избавления человека от фашистского зла.

В книге «Язык и молчание» известный критик Джордж Стайнер, говоря о зверствах нацистов, призывал «не примешивать к тому, что невозможно выразить словами, банальности литературных и социологических дебатов». Нет, молчание — не ответ, возражает Стайрон. «Я не согласен с мыслью, будто перед лицом определенных реальностей искусство пóшло или бессильно» Созданный им роман еще раз подтвердил возможности литературы.

«Софи делает выбор» — самобытное, выдающееся произведение, затрагивающее животрепещущие проблемы современности. Оно вскрывает несостоятельность метафизики и мифологии вневременного, абстрактного зла. Оно уясняет меру исторической вины — нацистских убийц, их жертв, Стайрона, каждого из нас. Оно взывает к нашему чувству ответственности. Писатель сосредоточился на психологии и практике фашизма, на катастрофических последствиях расистского фанатизма. И в трактовке этих чудовищных феноменов XX века ему удалось достичь такой выразительности и такого историзма, какие редко встретишь в литературе Америки.

**Г. ЗЛОБИН**

# РИШАД АБУ ШАВИР

# *Плач на груди любимой*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с арабского В. ШАГАЛЯ*

Тяжелые испытания, выпавшие на долю арабского народа Палестины, трагическая судьба палестинских изгнанников, разбросанных по разным арабским странам, горький опыт их жизни в лагерях беженцев, порождаемые всем этим отчаяние и гнев — таковы исторически сложившиеся обстоятельства, в которых действуют герои повести Ришада Абу Шавира. И не случайно эта повесть вызвала интерес читателей в арабских странах и была положительно оценена критикой.

Литератор Зияд, его возлюбленная студентка Фаджар, ее подруга Хана, моряк Гали, отважная партизанка Наххад, режиссер Халид и другие — биографии их по-своему типичны для участников той трудной, справедливой борьбы, которую вот уже более трех десятилетий ведет палестинский народ.

Избранные автором хронологические рамки действия, попеременно происходящего в Дамаске и Бейруте, относятся к 1972—1973 гг. Это был трудный период в истории Палестинского движения сопротивления (ПДС). Агрессивная экспансионистская политика правящих кругов Израиля и их западных, прежде всего американских, покровителей поставила ПДС перед лицом серьезных трудностей.

Герои повести в своих воспоминаниях часто возвращаются к печально известному «черному сентябрю», когда ПДС оказалось в тяжелом положении после вооруженных столкновений в Иордании.

Позже империалистические круги и израильская военщина с помощью своей агентуры спровоцировали вооруженные столкновения в Ливане, одной из целей которых была попытка ликвидировать Палестинское движение сопротивления. Повесть Абу Шавира заканчивается майскими событиями 1973 года — мужественной борьбой палестинцев при поддержке прогрессивных национально-патриотических сил Ливана.

Основная идея повести — крепнущая решимость участников Палестинского движения сопротивления преодолеть трудности, явившиеся результатом трагических событий и внутренних проблем в ПДС.

Главные герои книги — рядовые участники движения. В них воплощена высокая патриотическая идея повести. Это — прямые, честные люди, которым свойственны мужество борцов и максимализм юности. Они непримиримы к карьеризму, политиканству, отступничеству. Именно они являются сегодня основной силой движения. Абу Шавир очень верно определяет момент перехода его героев от рефлексии и пессимизма к духовному подъему, к подлинному героизму. Они обретают счастье в огне боев, преодолевая горечь скепсиса и утраченных надежд, оплакивая погибших друзей и близких.

**Р. ЛАНДА**

## 1

Доктор Сарват сбежал по ступенькам во двор.

— Ну, слава богу, не опоздал...— сказал он, взглянув на часы, и обратился ко мне: — Как вы?

© Ришад Абу Шавир, 1974.

**РИШАД АБУ ШАВИР** (род. в 1942 г.).

Палестинский писатель. Участник движения сопротивления. Член руководства Союза палестинских писателей и журналистов; заместитель главного редактора журнала «Аль-Кармаль». Автор сборников рассказов «Память прошлых дней» (1970), «Зеленый дом с черепичной крышей» (1974), повестей «Дни любви и смерти» (1972), «Влюбленные» (1979), исследования о современной палестинской прозе. Рассказы Ришада Абу Шавира печатаются в периодических изданиях многих арабских стран

Предлагаемая вниманию читателей повесть «Плач на груди любимой» вышла в 1974 г.

— Вполне терпимо.

— Доктор, доктор пришел,— послышался взволнованный женский голос.

Я стоял перед дверью, не смея опередить того, с кем было связано столько надежд.

— Пришел точно, как обещал...— сказала она.

Я кивнул ей и улыбнулся.

— Разве не говорил я тебе, он никогда не опаздывает?!

— Да, в самом деле...

— Ты знаешь его?

— Знаю, но не очень давно...

— Он египтянин... Это тебе известно?

К врачу в кабинет вошел пациент, и дверь за ним захлопнулась.

— Наш доктор всегда ходит к воскресной молитве, но сюда является еще до двенадцати и работает без перерыва до самого вечера. Здесь же и спит... И ест с нами вместе... Что и говорить, человек он хороший и отличный врач... С больного никогда лишнего не возьмет, довольствуется малым...

Она подвинула стул к столу и сказала мне:

— Ты плохо выглядишь. Неважно себя чувствуешь? Внутривенное вливание — вещь болезненная, бывает даже головокружение, но потом все довольно быстро проходит.

Голова у меня горит, в груди тяжесть — не вздохнуть. Кажется, будто не я один, а все вокруг страдают от боли. И эта женщина — тоже.

Прижимаюсь затылком к холодной стене и с трудом перевожу дух. Так хочется очутиться в чистой постели, почувствовать прикосновение свежей простыни, вытянуть ноги...

Мне хочется отдохнуть... прийти хоть немного в себя... осмотреться... Мне хочется...

— Пожалуйста, прошу вас,— раздается голос.— Взгляните на меня, ну-ка поживей!

Он ощупывает меня. Пальцы у него сильные, тонкие, как у музыканта.

— Как себя чувствуете?

— Ничего.

— А если серьезно?

— Тяжело мне... Не могу больше...

— Дышите глубже.

— Не могу.

— Я должен выслушать вас. Вдох. Не дышать. Еще раз вдох. Не дышать. Дышите.

(Я хочу дышать, дышать, непрерывно дышать, чтобы легкие наполнялись чистым, свежим воздухом... Хочу очутиться на вершине горы. Растянуться во весь рост на земле, поваляться в пыли... Как когда-то в Эрихе. Я забирался тогда на вершину горы, к западу от лагеря Ан-Нувейама, и смотрел, смотрел, покуда не заходило солнце, а потом быстро спускался вниз. Что ж тут удивительного: мы были тогда детьми, и дышалось нам легко и свободно, несмотря на голод и грязь... Боже, как давно это было! Да, это было тогда...)

— Дышите. Довольно.

Я оделся.

— Обратите внимание на свое здоровье. Самое малое дней десять вам не надо работать. Необходим дневной отдых. Надо, чтобы мозг отдохнул. Итак, полный покой: не читать, не писать... не думать. Не перегружать голову.

Я вышел от доктора и попытался... вздохнуть.

## 2

Выйдя из дома, я остановился, достал из кармана несколько салфеток и стал вытирать лицо, шею, волосы. Они были совершенно мокрые. Я поднял голову и в окне второго этажа увидел девушку. Она изо всех сил дула на стекло, а когда оно запотевало, нервно выводила на нем какие-то буквы и тотчас стирала их ладошкой. Заметив, что я наблюдаю за ней, она показала мне язык и быстро отошла от окна. Дождь, казалось, проникает под кожу, пронизывая до самых костей. Меня била дрожь.

— Я сомневаюсь в диагнозе,— сказал доктор во время моего очередного визита,— так что сделаем снимок грудной клетки в двух проекциях, спереди и сзади.— Он помолчал немного и продолжал: — Ничего страшного, просто надо исключить некоторые сомнения... Возможно, у вас всего лишь...

Он опять замолчал и снова стал внимательно рассматривать снимок легких, сделанный на советском рентгеновском аппарате, стоявшем у него в кабинете.

— Возможно, у вас просто небольшое расширение сердца. Снимок все прояснит. Кстати, ваша пьеса мне очень понравилась.

Он пристально посмотрел на меня и быстро спросил, словно боясь, что я его перебью:

— Вы довольны жизнью? Вернее, я хотел спросить: вы женаты? Ох, совсем забыл! В прошлый раз вы говорили уже, что не женаты. Как это я запамятовал? Знаете, я тоже холост. Сначала учился, потом пришлось помогать родным... Теперь должен поработать здесь самое меньшее год, потом поеду в Саудовскую Аравию или еще куда. Я тут выписал вам успокоительное... И все же почему бы вам не жениться?

(— Почему бы тебе не жениться? Ах, когда наконец я увижу тебя женихом, а рядом с тобой ее — красивую, прекрасную, как луна. Почему ты не хочешь жениться?

— Не время сейчас... Жизнь невыносимо тяжелая.

— Жизнь трудная, это верно. Потому и надо жениться, чтобы рядом был человек, готовый в любую минуту помочь. Отец твой именно поэтому и женился. Сын мой, свет очей моих, ты один у меня в целом свете. Когда я носила тебя под сердцем, то пряталась от людей. Не хотела никого видеть. Ох, как было мне тогда тяжело, как я мучилась, как страдала! Всю жизнь жила я надеждой, что ты будешь счастливым. И вот ты вырос. Я должна знать, что у тебя есть жена, есть дети. А то я и умереть спокойно не смогу. Неужели во всем лагере ты не можешь выбрать себе девушку по душе? Или ты что-то скрываешь от своей старой матери?

Я, кажется, впервые заметил тогда, что мать вся седая. Взглянул на портрет отца на стене, и мне почудилось, будто он смотрит на меня строго и говорит: женись, заведи детей, живи как все люди. И ничего не бойся.

Я внимательно вглядывался в его лицо, уже тронутое морщинами, пышные усы и тонкий нос. Он рано умер, мой отец, ему еще не было сорока.

В год его смерти мне исполнилось только шесть лет, но я хорошо его помню. Он носил армейскую форму, грубую и жесткую, как щетина на его лице, в то время не знавшем бритвы. Однажды он взял меня на руки, поцеловал в лоб, потом в щеки, прижал к себе и сказал:

— Будь сильным и ловким... Твой дед, гладя тебя по голове, часто с гордостью говорил: «Сын сына моего будет настоящим мужчиной...» Когда же мы спрашивали его, почему он так думает, он отвечал: «Вы посмотрите, какие у него жесткие волосы и острый взгляд. Орел, настоящий орел».

Глаза у отца всегда грустные. Лишь изредка промелькнет в них искорка радости и тут же угаснет. Отец опустил меня на пол, подошел к матери, нежно обнял ее. Она прильнула к нему. Так они долго стояли. Потом отец отвел руки матери, отошел чуть назад и тихо произнес:

— Смотри береги сына! — Это прозвучало как завещание.

Я хорошо запомнил эти слова отца. Запомнил интонацию его голоса. В нем звучали мольба и утешение. «Береги сына...»

И мы уехали... Да, уехали. Отец остался. Он не поехал с нами. Потом мы узнали, что он погиб. Пришел человек из нашей деревни, их там оставалось не более десятка, и сказал:

— Ваш отец погиб, погиб вместе с другими мужчинами...

— Сын мой, прошу тебя, женись... в память от отце... Разве ты не хочешь, чтобы наш род продолжался?

Я обнимаю ее, целую ее седые волосы и говорю:

— Моя дорогая, я сделаю все, как ты велишь, только подожди немного. Придет еще этот день... К чему спешить? Вся жизнь еще впереди.

— Люди говорят, ты не женишься потому, что мы бедняки,— отвечает мать с грустью в голосе.— И еще говорят, что живешь ты не так, как жил твой отец, а совсем по-другому. О, сын, свет очей моих, они больно ранят мое материнское сердце...)

Я вынул из кармана пачку сигарет.

— С курением надо кончать,— сказал доктор Сарват.

— Попробую,— ответил я.

Смял пачку в кулаке и бросил. Она плюхнулась на самую середину большой лужи и закачалась на ее поверхности. Я вздохнул и снова почувствовал тяжесть в груди. Стал спускаться по ступенькам в подвал. Проклятый подвал. На меня сразу пахнуло мазутом и сыростью. Нажал на кнопку. Раздался резкий, дребезжащий звонок, потом шум передвигаемого стула и шаги, тяжелые, размеренные. Наконец дверь открылась.

## 3

Запах мазута от печки. Он повсюду. И сырость. Пронизывающая сырость. Хочется побыстрее завернуться во что-то теплое и сухое. И мрак.

Плотным кругом уселись они у печки, словно хотят захватить все тепло ее промерзшими своими руками. Откуда-то снаружи доносится запах арака [1] и жаренного на вертеле мяса. Здесь по соседству небольшой ресторанчик. Зухейр нажимает одну за другой несколько кнопок — и надо мной вспыхивает свет, его вполне достаточно, чтоб различить лица сидящих.

— Тебе письмо,— говорит Зухейр, бросив на меня пристальный взгляд. Я хватаю конверт, вскрываю его.

«Милый мой Зияд,— о, этот знакомый, дорогой мне почерк.— Итак, я вернулся. В мире ничего не изменилось. Все в нем так одинаково, так похоже! Ничего нового. Он как обреченный на смерть больной. Наконец-то я дома... Побуду здесь день-другой — и обратно. Куда — сам не знаю. Жду тебя в лагере Ярмук.

*Гали».*

Ну вот, завоеватель вернулся. Повидал мир и возвратился в родные места. Чего он достиг? Наверняка ничего. Уезжая, он оставил мне записку. Несколько наспех написанных строчек. Я до сих пор помню каждое слово: «Зияд, представь себе, я уезжаю... Да-да, уезжаю. Ты спросишь — куда? Точно и сам не скажу. Скорее всего сперва в Турцию, а там, если получится, в Грецию. Попробую наняться на какой-нибудь корабль. Ты знаешь, дружище, я не трус. Просто мне

[1] Анисовая водка.

все надоело. Осточертело до тошноты. Но изменить я ничего не могу: у них все — и деньги, и оружие... Ведь мы мечтали совсем о другом. Прощай.

*Твой Гали».*

Нашел ты то, что искал в этом мире? Достиг хоть чего-нибудь? Может быть, мир раскрыл тебе объятия, одарил теплом вместо прежней своей суровости? Твои письма я получал довольно регулярно. Кто бы из новых твоих приятелей ни находился рядом с тобой — негр или грек, турок, египтянин, африканец или японец, ты всегда ухитрялся написать мне. Даже когда бывал в обществе проститутки.

«Все сводники в мире на одно лицо».

«Порт для моряков — это женщины и сплошные расходы. Так-то, мой друг Зияд. Моряк — как мул, привязанный к мельничным жерновам. Все ходит и ходит по кругу. А когда умрет, его бросают за борт. Привяжут камень к ногам — и в воду... Сам я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь умер на корабле, но знаю, как поступают с мертвецами на море.

Где же та пристань, к которой мы так стремились? Сколько сил приложили, чтобы достичь ее! Где Абу Араб, где Абу Джабар, где Саиб, где они все, принесшие себя в жертву, погибшие во вражеских концлагерях, убитые выстрелом в спину?

Где они? Нас лишили всего...

Я думал, если убегу, смогу все забыть. Но я ничего не забыл. Работаю как вол. Дымлю, как пекарня. Напиваюсь до чертиков. А потом никак не могу проснуться. Все мерещатся схватки, сражения. Разве выбросишь из памяти артобстрелы, пулеметные и автоматные очереди, взрывы бомб и гранат? Разве забудешь боевых друзей?»

«Я совсем не пишу матери. Да и о чем писать? Сам не знаю, люблю я ее или ненавижу».

Звонок в дверь вернул меня к действительности. Сложив письмо, я быстро сунул его в карман. Грусть не покидала меня. Но на сердце все же стало чуть легче: как-никак возвращается один из ветеранов. Может, и остальные вернутся?

— Зияд, ты здесь? — Это прозвучало как прекрасная музыка.— Вот здорово, ты собственной персоной...

(Где же ты была, дорогая? Бледное, без единой кровинки лицо, в глазах тревога и усталость, изможденное тело, морщины на лбу.)

— О боже! — вырвалось у меня.— Ты постарела лет на десять за этот недолгий срок!

Она грустно улыбнулась:

— А ты? Куда подевался твой пыл, весь твой задор, энергия?

— Все прошло... столько раз ифрит [1] охлаждал мой пыл, что не знаю, как быть... Сколько же мы не виделись? Почти год...

— Подумать только, целый год...

— Где ты была? Кого только я не спрашивал о тебе, никто ничего не мог сказать...

— Мне кажется, будто все мы заново родились. И не надо никого ни о чем спрашивать. А была я в Аммане. И это, пожалуй, самое главное. Теперь опять уезжаю... На этот раз вместе с вами...

Тут послышался голос Халида:

— Эй, ребята, репетиция, пора начинать.

Он хлопнул в ладоши, сбросил пальто и повесил его на вешалку, повторяя:

— Репетируем, друзья, репетируем... Лучше бы мне умереть в Газе, чем участвовать в этих идиотских спектаклях, выслушивать этот бездарный, бредовый текст...

Наконец унесли стулья, расставленные вокруг печки, стало просторней. Все смеялись, кричали, хлопали в ладоши, высмеивали пьесу.

---

[1] Злой дух, демон *(арабск.)*.

— Мордехай! — взревел Зухейр.— Ты думаешь, тебе удалось запугать меня... Нет! Я погибну, отдам свою жизнь во имя аллаха...

— Какая пьеса — такие и актеры,— заметил с усмешкой режиссер Халид.— Когда-то, в студенческие годы, я хотел создать нечто небывалое, эпохальное, а теперь вынужден подражать египетским кинорежиссерам.

Он пристально посмотрел на нас с Фаджар.

— Сядьте, пожалуйста, поближе к печке, только не разговаривайте. Следите за развитием действия,— сказал он, нервно постукивая пальцем по обложке папки с пьесой.— И попрошу вас сидеть на месте. Хватит смеяться! Ведь это — трагедия. Здесь плакать надо. К тому же своим смехом вы проявляете полное неуважение к творчеству самодеятельных актеров. И еще давайте договоримся: на звонки к дверям будет ходить Зияд и будет призывать каждого пришедшего, кто бы он ни был, к тишине.

Мы устроились возле печки. И тогда она извлекла из портфеля пачку сигарет.

— Покурим?

— Я бросил, дорогая.

— Ого, железная воля! И когда это свершилось, позвольте спросить?

— Совсем недавно. Час назад или того меньше.

— Ну ладно, старик, закуривай.

— Мне как-то не по себе, в груди словно огонь горит.

По ходу действия Зухейр, исполнявший роль федаина, должен был убить Моше Даяна.

— Я не страшусь смерти! — снова завопил он.— Не боюсь тебя, Мордехай.

— Будьте вы оба прокляты — и ты, и Мордехай,— невольно вырвалось у меня.

— Да будет проклят каждый, кто станет смотреть эту пьесу,— подхватил Зухейр.

— Чем ты сейчас занимаешься? — спросила Фаджар.

— Да так, ничем — пишу, читаю, сплю, вечно раздражен и недоволен собой, с нетерпением жду конца месяца, чтоб получить то, что мне причитается,— денег мало, а они так нужны! Живу в мрачной комнатенке в лагере Ярмук. Словом, мужчина что надо. Хорошо воспитанный, добрый, порядочный... Только жены не хватает...

— Да лишит тебя аллах разума... Вечно ты ноешь: то тебе плохо, то тебе грустно, и свет тебе не мил... да еще эти глупые шутки... Кто же твоя избранница, которую ты решил осчастливить?..

Фаджар выпустила дым прямо мне в лицо.

— Ты...

Она изумленно уставилась на меня, точно видела впервые. Лицо ее стало серьезным.

Видимо, по моему тону она поняла, что я не шучу. Она нервно закурила, руки у нее дрожали. Я понял: разговор предстоит тяжелый.

— Помнишь тогда, в Аммане... в квартале Джебель Луибда ты сказал то же самое... Я не ответила тебе отказом.— Голос ее звучал глухо, словно издалека. Казалось, она обращается не столько ко мне, сколько к себе самой.— Я сказала тебе тогда, что ты удивительный, что тебя многие любят, что я восхищаюсь тобой. В твоих глазах я увидела грусть и поняла, как виновата перед тобой. Я подумала: Фаджар, вот он — настоящий мужчина, который любит тебя, очень любит. Как же быть, ты ведь связана с другим! Я смотрела на тебя, и мне казалось, будто ты загнал меня в угол, будто я кругом перед тобой виновата... И я спросила себя: как же мне быть.

Она притушила сигарету о каблук своей туфли, вытянула руки над печкой; наши пальцы встретились. Она улыбнулась.

— Когда ты вернулась?

— Да вот, побывала сперва в Бейруте, потом в Дамаске и всюду чувствовала себя чужой, никому не нужной. Изгнанница! Люди переменились, их не узнать. Все играют в карты — во флиппер, в другие игры, ищут забвения в вине. Каждый занят самим собой, до других ему дела нет. Предположим, ты с кем-нибудь встретился, хочешь поговорить. Он вроде рад тебе, но очень скоро ты замечаешь: все его радушие — одна видимость; он тут, с тобой, но его как бы и нет вовсе, словно нырнул в воду, как рыба, и был таков.

— Уж я-то, будь уверена, Фаджар, никуда от тебя не денусь.

Наши пальцы переплелись, по ним заструились токи. Чуть приподняв голову, она пристально взглянула на меня, и тут я впервые заметил, что у нее зеленые глаза, а ведь мы так давно знали друг друга. Подумать только! Глаза цвета вечнозеленых растений...

Какая она чистая, какая милая... близкая и в то же время далекая. Такой она была для меня всегда. Никакая грязь не пристанет к ней.

— Время активных действий прошло...— снова услышал я ее голос.— Исчезли энтузиазм, готовность страдать, жертвовать собой ради дела. Но этого времени мы никогда не забудем, оно навечно вошло в наши сердца, как радость, как мука. Когда-то все мы служили в одном бюро «Джебель Луибда» — юноши и девушки. Одни переводили, другие писали, третьи печатали прокламации, боевые листки, плакаты. Трудились на совесть, как пчелы...— Она помолчала, затем с грустью произнесла: — Ты не слушаешь меня, думаешь о чем-то своем...

— Я слушаю тебя очень внимательно, просто вспомнил те дни, которые никогда не вернутся.

— Мне так не хотелось тогда уходить из Аммана. Я надеялась остаться там, приносить пользу. Я говорила нашим: пусть я должна уехать из города, но зачем мне расставаться с вами? Ведь это временное отступление. Главное — продолжать борьбу.

— Но как?

— Видишь ли, положение оказалось более серьезным, чем мы думали. Там, в Аммане, я еще жила надеждой, а здесь окончательно ее утратила. Ослепленные яростью, мы жили в плену собственных иллюзий... Мы не представляем толком, кто руководит нами.

— Но все дело в том, дорогая, что у них деньги... и оружие. И мощная поддержка — за каждым стоят какие-нибудь силы. Некоторые надеялись, что эти деятели изменят свою тактику, но они оказались еще бесчестней своих предшественников. Сколько их было — щеголявших всякими лозунгами: и то надо менять, и это никуда не годится, а о деле — ни слова... Займут высокий пост и вытворяют все, что им нравится.

Она закурила, задумалась, слегка покачивая головой, ее светлые волосы рассыпались в беспорядке.

— Он был одним из них,— сказала она, наконец, с болью и гневом.— Лучше бы я никогда не знала его. Он оказался таким же, как все они, даже хуже. Никто из них пальцем о палец не ударил, чтобы облегчить нашу участь, но они хоть не скрывали этого, а он? Он нас предал, извратил те идеи, во имя которых мы боролись и страдали.

— Фаджар! — воскликнул я, пораженный. Я знал, чего ей стоило это признание.

Она слегка склонила голову набок и взглянула на меня. Сигарета переместилась в правый угол ее рта. И то ли от сигаретного дыма, скрывшего половину ее лица, то ли от горечи воспоминаний в ее глазах блеснули слезы.

— Теперь все кончено. Ты знаешь, чем он был для меня.

Казалось, голос ее шел из самой глубины сердца. В нем были горе, ирония, раскаянье...

— Подумать только! Ведь он приехал из Советского Союза, защитил там диссертацию по политэкономии... Брат его занимал тогда

важный пост... Он сразу обрушился с критикой на своего брата, понося его за связи с Саудовской Аравией, за правые, отсталые взгляды... Тогда-то и взошла его звезда. Статьи, конференции, выступления, конгрессы, интервью следовали непрерывной чередой. Он стал кумиром молодежи, отвергавшей и отрицавшей всех и вся, губкой, вбиравшей в себя ее гнев... Пользуясь своей популярностью, он взбирался все выше и выше по лестнице славы...

— Фаджар... Я все это знаю, все, все.

— Но мне хотелось, чтобы ты услышал это от меня, я порвала с ним, порвала окончательно. Нас ничто больше не связывает.

— Очень рад за тебя. Я всегда говорил, что ваш союз кончится катастрофой для обоих... Не из ревности, нет, поверь...

— Спасибо, что ты всегда помнил обо мне, не забывал.

От рук ее, к которым я прикасался, исходило тепло. Она ласково улыбалась мне, ее глаза сияли радостью.

— Ну и пьеску нам подсунули... Играть нечего! — вскричал Халид.— Все это бред, бессмыслица!

— Должна была пойти моя пьеса...— сказал я ей.— Но по приказу одного высокопоставленного чиновника нам всучили эту дрянь... Автор ее — родственник какой-то важной персоны. Ну, а что до моей пьесы, они потребовали, чтобы я убрал несколько сцен, часть диалога... пригладил текст, смягчил критику. Я спросил их: что же тогда останется, господа?

— Разорвите вы эту пьесу ко всем чертям! — в сердцах сказал Халид.— И пусть провалятся все приказы и распоряжения! Рискуя жизнью, я вырвался сюда из Газы, чтобы служить родине, только ей... И уж конечно не для того, чтобы стать обманщиком, лжецом... Да избери я другой путь, давно б уже приискал себе теплое местечко в египетском кино и жил бы сейчас припеваючи! Рвите, ребята, чего мучиться! Слышите, что я сказал...

Под дружный взрыв смеха на пол полетели клочья бумаги.

— Помните, я вам сразу сказал: либо мы будем настоящими серьезными актерами, либо превратимся в лжецов и приспособленцев.

— Вот бы пожаловал к нам сюда автор этой пьески,— продолжал Халид, надрываясь от смеха,—мы проучили б его так, что запомнил бы до конца дней своих. Хотелось бы знать, что побудило его состряпать такую пакость, кто подбил его на это?

— Мне кажется, будто я в театре абсурда,— заметила с улыбкой Фаджар.— Сущий хаос, бессмыслица, вопли. Ничего не поймешь.

— Это хорошо! Хорошо, Фаджар, что ты ничего не понимаешь. Я не стану рассказывать тебе ни о тех, кто, словно вор, без зазрения совести обкрадывает таких, как ты, ни об их покровителях. Я многое мог бы тебе рассказать, но боюсь, расстрою тебя вконец. Вот лишь два случая. Один важный чиновник присвоил более сорока тысяч лир и открыл магазин по продаже женского платья. Нет-нет, это не выдумка, все проверено, факты подтвердились. Его даже вызывали куда следует и целых три часа допрашивали. Ты спросишь, какое он понес наказание? Никакого. Просто его обязали к определенному сроку вернуть по частям эту сумму. Еще один деятель прикарманивает разные пожертвования и добровольные взносы да еще имеет наглость регулярно являться за своим жалованьем, довольно кругленькой суммой в шестьсот сирийских лир. Мало того, он потребовал безвозмездную ссуду на пластическую операцию, которую должны делать его жене... Впрочем, всего этого тебе лучше не знать...

Она прикоснулась к моему лбу и одарила меня улыбкой, ласковой и нежной, как свежий ветерок в жаркий полдень.

— Ты знаешь, куда ты приехала?

— Я еще не приехала, а только собираюсь приехать... И не одна. Я жду, что наконец появится палестинец, более стойкий и терпеливый, чем верблюд, корабль пустыни.— Она рассмеялась: — Вообрази только, меня никто не считает иорданкой.

— Ты для меня, дорогая, оазис, где я отдохну под сенью пальм и утолю жажду из живительного источника.

Она встала, поправила на плече сумку, бросила в угол окурок и, выпустив облачко дыма, снова улыбнулась.

— Ты даже не представляешь, сколько раз я вспоминала о тебе, и вот наконец мы встретились. Сегодня я переночую у подруги, а завтра мы непременно увидимся.

Она ушла.

Халид продолжал ругаться, актеры собирали валявшиеся на полу клочки бумаги.

Пристроившись возле печки, Халид обратился ко мне:

— Теперь я доволен, мне стало легче, будто я сбросил с плеч мешок соли. А то мне все время казалось, будто я продаю себя по частям. Итак, с этой пьесой покончено, возврата нет. А ты почему молчишь? Я готов выслушать все, что ты скажешь.

Нашарив листок бумаги в кармане, я вспомнил, что мне пора. Вышел на улицу и сразу направился к лагерю беженцев, где ожидал меня друг, вернувшийся из дальних краев.

## 4. ГАЛИ

Я вернулся.

Когда я сошел с самолета в Бейрутском аэропорту, таможенный чиновник, досматривавший багаж приезжих арабов, увидев мои длинные светлые волосы и цветную рубашку с изображениями кинозвезд, ухмыльнулся, заглянул мне в лицо и громко приветствовал меня по-французски.

Другой, ставивший штампы в паспортах, спросил кратко:

— Местожительство?

— Пока не знаю.

— Профессия?

— Безработный. Это написано в визе.

— Потому и спрашиваю.

— Я странствую по свету... Разве это плохая профессия?

— Ты должен сообщить свой адрес в Ливане,— говорит он и улыбается.

— Пожалуй, я остановлюсь в отеле «Америка».

Он смерил меня взглядом.

— Где расположен этот отель?

— На площади Ля-Бурже.

С сомнением покачав головой, он поставил в моем паспорте штамп. Потом передал кому-то мои бумаги. Я пробрался сквозь толпу людей на улицу.

Ко мне подбежал носильщик:

— Поднести багаж?

Я улыбнулся и слегка приподнял мой чемоданчик, такие обычно носят дипломаты. Носильщик тут же отошел от меня и бросился искать более выгодного клиента.

Море и все мои плаванья ничего во мне не изменили. Теперь море осталось позади, я вернулся на родину. Поистине удивительно, непостижимо, в этой стране теперь хозяйничают жандармы. На каждом шагу патрули и проститутки. Вот он, Бейрут Выкладывай деньги, и он встретит тебя радушно, с улыбкой.

Где мои старые друзья? Где они, те, с кем вместе я голодал и брел по тернистым дорогам жизни? Те, что мечтали о великих свершениях?

Одержимые своей идеей, они тренировались до седьмого пота, до изнеможения овладевая боевым мастерством. Где они, прошедшие в сентябре жестокое испытание огнем? Кто из них еще жив?

Что стало с Зиядом, Рашидом, Абу Халилем? Все так же ль они верны своим книгам? Не угас ли в их душах огонь безрассудства и страсти?

Абу Халиль совсем спился. Как-то раз его сильно избили, раскроили череп. «Мы дали ему прекрасную возможность проявить себя, но что он сделал, чтобы показать свое мужество? — так говорили вы о нем.— Он не выдержал испытаний, не устоял». И тогда вы его выгнали, потому что знали: его не обманешь, он хорошо разбирается в происходящем. Вы приказали ему отправиться на юг Ливана и возглавить там работу с молодежью, а если понадобится — повести ребят в бой. Он выполнил ваш приказ. Тогда вы послали его в горные пещеры Иордании. Там он храбро сражался, был ранен, едва не лишился глаза, вернулся изуродованный...

Да, Абу Халиль пролил свою кровь в аль-Караме и на песчаных холмах западнее реки Иордан...

Тогда вы сказали, я хорошо это помню, он, мол, не может найти общего языка с молодыми, потому что не считается с их мнением.

Когда же он попытался разоблачить вас, рассказал о пьяных пирушках в учебных лагерях, обвинил вас в том, что вы спекулируете религией, не давая бойцам приобщиться к настоящей культуре, вы нагло объявили его безбожником, трусом, утверждая, будто ранен он был не в бою, а в случайной драке и никогда не ходил в рейды за реку...

Абу Халиль, или Абу Халл, как мы иногда его называли, был великодушен и добр. Худого слова от него не услышишь. Его светлое, не тронутое загаром лицо всегда озаряла улыбка, даже во время боя. Он был терпим к убеждениям и взглядам других, но решительно возражал против распространения на партизанских базах всяких никчемных книг.

За это вы бросили его в тюрьму, унизили, оскорбили, а затем вышвырнули на улицу... Неудивительно, что он запил с тех пор, стал грустным и замкнутым. Улыбка навсегда исчезла с его лица. Порой достаточно одного слова, случайного воспоминания, чтобы вызвать у него слезы. Вы уже решили — все, можно сбросить его со счетов. Но не тут-то было... Едва начались сентябрьские события, он первым прибыл в Дераю. Вас там еще и в помине не было. А затем Ар-Рамса... О, там он бился, как лев, но как только прекратились военные действия, сразу вернулся в Дамаск и развил бурную деятельность: участвовал во всяких организациях, отрядах, делал все, что от него требовалось. А вы, что делали вы на своих командных постах? Ведь такая роскошная жизнь, как у вас, не снилась даже министрам. Сидите в Дамаске, Дерае, Бейруте и знай себе отдаете приказы. Радиоприемник — ваше единственное «боевое» оружие.

Итак, я вернулся. Вот он — Бейрут. Всюду потоки людей, они небольшими речками растекаются по улицам, превращаясь мало-помалу в отдельные ручейки. Точь-в-точь как в Америке. Я видел это собственными глазами. Помню, когда впервые я сошел с корабля на берег, офицер иммиграционной службы сказал: в город идти запрещено. Придешь на судне в другой раз — может, и получишь разрешение.

— Почему? — спросил я.

— Таков закон,— ответил офицер.— Морякам, впервые прибывшим в страну, покидать порт не дозволено.

Будь проклята эта страна, сказал я. Будь проклят этот закон. Неважно, старый он или новый. Плевать я хотел на ваши небоскребы и на все прочее. Тут подошел ко мне матрос-негр, все его звали Бруно, и стал хохотать. «А ты почему не идешь прогуляться?»— спрашиваю. Вдруг он как плюнет да заорет: «Ненавижу эту подлую, ничтожную

страну, от нее-то я и сбежал в море! Презираю ее! Разве могут здесь жить порядочные люди?»

С Бруно я познакомился на борту греческого судна «Галаис», которое с грузом патоки и меда ходило в Америку и Англию, а затем в Африку, заходя по дороге в порты на Канарских, Азорских, Багамских островах и Тринидаде... Много стран обошел я на этом корабле.

Когда мы поднялись на палубу, из трюма вылез Бруно — огромный, могучий, черный — и направился прямо к нам. Улыбка у него была такая широкая, что, казалось, заполняла все лицо. В жизни не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться. При этом сотрясалось все его огромное тело, словно каждая клеточка его была начинена смехом. Но внезапно смех прекращался, и лицо Бруно принимало строгое, серьезное выражение.

— На море, если вкалывать, получите кучу денег! А в порту что? Женщины! Каких только там нет! Негритянки, англо-американки, франко-арабки... бери любую... И тут уж, будьте уверены, плакали ваши денежки! К корабельной жизни привыкают быстро. Привыкнете ждать, тосковать... Заведутся у вас болезни, о которых вы раньше и слыхом не слыхали: гонорея, сифилис и все такое прочее... В общем, зарубите себе на носу; как ни тяжко, ни утомительно в море, там в тысячу раз лучше, чем в Америке!

На корабль в Греции нас нанялось трое: египтянин, турок и я, иорданец. Итак, я иорданец. Смешно! А кто я на самом деле? Паспорт утверждает: иорданец. Без паспорта в этом мире шага не ступишь. Но паспорт-то у меня фальшивый. Тогда в Ирбиде, во время сентябрьских событий, мы захватили кучу паспортов. С началом боев я оставил Ирак, добрался до перекрестка дорог, сходившихся сюда из Сирии, Иордании и Ирака. Позиции здесь занимали тогда иракские войска, а дороги. ведущие на север, были в руках палестинских отрядов. Я направился в Джереш, оттуда — в Ахраш. На четвертый день боев сирийские части нанесли сильный удар по королевским иорданским войскам... Освободилась дорога на Джереш... Но в Ирбиде никого из друзей не осталось, только Абу Халиль и Абу Изз.

После боя мы встретились в Ирбиде.

— Представь себе,— сказал Абу Изз,— мы едва не погибли на второй день боев. У нас кончились боеприпасы: гранаты, мины... ничего не осталось.

А враг тем временем не дремал, двинул на нас бронетранспортеры и танки. Что нам делать? Передали по радио: прощайте... не забывайте и всякое такое...

Королевские войска подходили все ближе и ближе. Воевать, как я уже сказал, нам было нечем... Первый танк остановился, и кто-то прокричал в микрофон, чтобы мы сдавались.

И вдруг, ты только вообрази: взрыв — и танка как не бывало. Дело в том, что за несколько дней до этого мы заминировали дорогу, правда, потом по приказу командования военной зоны ее разминировали, но несколько мин, видимо, осталось, вот на одной из них танк и подорвался... И что ты думаешь? Вражеская колонна остановилась и стала откатываться назад. А ночью к нам прибыло подкрепление... войска из Дераи...

Мы, можно сказать, уцелели чудом. Нам удалось захватить учреждение. где оформляли паспорта. Там были бланки, печати. Все, что нам не понадобилось, мы сожгли, а остальное взяли с собой.

Незаполненные, совершенно чистые паспорта. Бери любой, заполняй и отправляйся на все четыре стороны. Хочешь в Европу? Пожалуйста. В любую арабскую страну... Мы тогда решили уехать, передохнуть, немного прийти в себя. Нам предстояли новые бои, конечно, если нам повезет и мы останемся в живых...

— Ты кто? — спросил негр.

— Иорданец.

— Кто? — переспросил он с искренним удивлением.

— Иорданец,— повторил я,— а что?

Пришлось долго объяснять, где находится Иордания. Он понятия не имел о такой стране.

Мы стали друзьями.

Он что-то писал, а потом читал мне вслух.

Как-то он показал мне книгу о негритянской поэзии, там я нашел имя поэта Антары [1] и его знаменитую муаллаку [2].

— Этот поэт — араб по происхождению,— сказал я ему.

— Ну и что? — ответил Бруно,— в то же время и негр. Не будь он негром, не был бы рабом. Так что этот поэт ближе мне, чем тебе.

Как-то Бруно, стоя на палубе, спросил у меня:

— Ты можешь показать, в какой стороне находится Америка?

Я наугад показал пальцем.

— О, Америка,— воскликнул он.— Когда-нибудь я посчитаюсь с тобой, воткну тебе нож в самый пах, ты еще узнаешь меня, шлюха! Тебе нравится Америка, араб?

— Нет,— ответил я.

— Вот и хорошо,— сказал он,— а то я свернул бы тебе челюсть. Послушай, в следующий раз тебя пустят в город, найми такси и кати в Гарлем, там живут только негры, но...

Он посмотрел на меня и рассмеялся:

— Знаешь что — твоя физиономия доставит немало тебе хлопот и неприятностей. Кто-нибудь наверняка пожелает врезать по твоей отвислой челюсти, приняв тебя за белого, в порядке, так сказать, компенсации — ведь черным немало доставалось от белых. Так что предупреждаю тебя: берегись!

Так оно и случилось. Как-то раз я пошел в город вместе с группой греческих моряков. Они устремились в бары и другие увеселительные места, а я направился в Гарлем... Потом у меня больше недели болела челюсть. А Бруно, узнав об этом, хохотал как сумасшедший.

— Вот увидишь,— заявил он,— когда-нибудь негры нокаутируют всю Америку... Этот день непременно придет...

В гостинице я обратился к портье:

— Мне нужен теплый номер на одного человека.

— Добро пожаловать, устаз...[3] прошу вас... Все, что прикажете... Откуда прибыли, устаз?

— Издалека.

— Прошу вас, проходите, все мы братья... пожалуйста...

В ту ночь я изрядно выпил и возвращался в гостиницу, едва держась на ногах. По дороге я забрел в район аз-Зейтуны. Там возле бара стояла девица в характерной позе, как стоят проститутки во всех уголках мира.

— Пойдем,— крикнула она.

Я рассмеялся.

— Пойдем же... или тебе нужна сводня?.. Получишь удовольствие, не волнуйся...

На острове Тринидад проститутка-мулатка сказала мне:

— Деньги вперед.

Я вытащил из кармана все свои деньги, швырнул ей в лицо и пошел к выходу. Она догнала меня:

— Извини, я не хотела тебя обижать, ты хороший парень. Пойдем!

Я провел у нее всю ночь.

---

[1] Арабский доисламский поэт.

[2] Название самых известных поэтических произведений древних арабов *(арабск.)*.

[3] Профессор, учитель, вежливое обращение к образованному человеку *(арабск.)*.

— Знаешь,— сказала она,— разные бывают люди среди моряков. Иной завалится, а потом узнаешь — платить-то ему нечем.

Утром она приготовила мне завтрак, села рядом, поцеловала и говорит:

— Отличный ты парень! Остался бы здесь навсегда. Лучшего места, чем Тринидад, тебе все равно не найти. Откроем лавчонку и заживем припеваючи. Ты подумай...

Так я мог превратиться в сутенера на каком-нибудь далеком чужом острове, ничего не ведая ни о юге Ливана, ни о сражениях в горах, ни об ужасах сентября.

Тринидад... Надо же, мог стать сутенером! День и ночь пить и веселиться, делить ложе с этой мулаткой, а потом умереть в богом забытом месте от какого-нибудь венерического заболевания.

В моем мозгу вдруг вспыхнуло слово: изгнание.

Стоило мне оказаться в изгнании — я бы наверняка погиб.

Исполненный отвращения, я бежал от всего, что меня окружало, исчез, чтобы повидать мир. И что я увидел? Негра, нашедшего себе пристанище на корабле. Проститутку на Тринидаде, требовавшую плату вперед. Полицейского на Мальте, который преследовал какого-то человека на мотоцикле, а потом испугался, что тот ускользнет от него, выхватил пистолет и убил его наповал...

— Пойдем со мной, получишь удовольствие.

— Аллах даст тебе удовольствие, сестра.

— Так ты идешь со мной или нет?

— У меня нет денег... Я не плачу вперед.

— Ты уплатил много... больше, чем следует...

Я спал как был — в одежде и в ботинках. Нет, не буду искать никого в Бейруте. За полтора года много воды утекло. Кто умер, того уже нет. А с живыми не знаю, что и стряслось. Моя мать живет в лагере Ярмук. Все ее богатство — фотография отца.

Отец.

Едва войдя в комнату, я вглядываюсь в его лицо. В нашем доме две комнаты, одна — матери, вторая — моя. В моей комнате книги и кровать. И на стене — фотография отца. Большая, внушающая уважение и трепет. Мужчина с резкими чертами лица, пышные, изогнутые кверху, ухоженные усы — предмет его гордости, символ мужественности.

Мама обняла меня, прижала к груди и заплакала.

Я подошел к фотографии: вот я и дома, отец, вернулся... А ты не вернулся. Я обращаюсь к тебе. Ты теперь стал неотъемлемой частью моей комнаты. Ты постоянно живешь в одном из уголков моей памяти. Бывало, ты исчезал из дома, но обязательно возвращался и всегда приносил деньги, костюмчик для меня или платье для мамы. Но однажды ты ушел и больше не вернулся. Потом к нам пришел какой-то человек и сказал матери: придется тебе теперь жить одной, твой муж, боец одного из разведотрядов, погиб!

Он погиб в тылу у врага на той стороне, и его не удалось даже похоронить...

Моя мать родила от него трех дочерей, две рано умерли, а третья уехала с мужем в Саудовскую Аравию. Я совсем не помню ее. Доведись нам встретиться, наверняка не узнал бы. Мне дали имя Гали, что значит — дорогой, долгожданный, желанный. Еще бы. После трех дочерей наконец сын! Мои родители очень хотели мальчика.

В конце каждого месяца моя мать уходила куда-то и приносила сто лир — пенсию за погибшего отца. У меня она никогда не брала ни фильса [1], никогда ни о чем не спрашивала. Она привыкла к таким отношениям. Однажды она мне сказала:

— Ты как отец, сколько лет я прожила с ним, но так и не узнала его. И тебя не знаю. Ты куда-то уходишь, потом возвращаешься. Где

[1] Мелкая монета, грош *(арабск.)*.

ты бываешь, что делаешь... Единственное мое желание — не пережить тебя, знать, что, когда я умру, ты похоронишь меня. Мне не так уж много осталось, я сильно состарилась за последнее время. И очень боюсь — вдруг умру, душа моя отойдет от тела, а похоронить меня будет некому...

— Зачем ты так говоришь! Ты крепкая, сильная. Чего тебе спешить на тот свет? Я умру раньше тебя... вот увидишь!

Она рассмеялась, покачала головой:

— Твой отец тоже так говорил.

Я взглянул на портрет, мне показалось, что отец строго смотрит мне прямо в глаза.

По всей комнате были разбросаны книги. Я стал усердно сдувать с них пыль. Так я вернулся к своим книгам, к лагерной жизни, к старым друзьям... Я бросился на кровать, уткнулся носом в подушку. Я так дрожал, что тряслись пружины матраса...

Когда меня укладывали на носилки, Абур-Раид сказал мне с улыбкой:

— Не бойся, Гали... рана легкая...

Кровь стекала на грудь и пятнами застывала на животе...

Меня отнесли в полевой госпиталь, окруженный деревьями, и оказали первую помощь. Я пролежал три дня. Прямо на койке стоял транзистор, непрерывно передававший военные сводки и призывы к решительным действиям... Рана действительно оказалась легкой.

В те дни как раз началось наступление на вражеские позиции, и бои были довольно тяжелые.

В Ирбиде ко мне пришел Абуль-Амджад-старший и нагло спросил:

— Это по какому же праву ты оставил бюро в Багдаде и явился сюда? Твое место там... Ты нарушил приказ...

— Как я могу оставаться в Багдаде, когда судьба народа, все наше движение в опасности? Мой святой долг — быть здесь и разить врага.

— Ты, я вижу, делаешь что хочешь...

Я застонал, сильно болела рана, сквозь бинт сочилась кровь.

— А ты? Чем ты занимался в Дамаске, вместо того чтобы собрать там людей и двинуться с ними в Ирбид и Ар-Рамсу?

Стукнув кулаком по столу, он завопил:

— Я отстраняю тебя от дел... отстраняю...

— Отстраняешь? — ответил я спокойно.— Да у тебя прав таких нет, слава аллаху, ты лишь один из руководителей, а не все руководство, и организация наша не поле твоего родителя...

— Так вот знай, знай, Гали. Командование решило распустить центральный комитет. Оно взяло всю власть в свои руки и не допустит расхлябанности. Мы никому не позволим нарушать приказы...

Я тогда подумал: «Деньгами вы распоряжаетесь как хотите... И ни за что не откажетесь от своих высоких постов и связанных с ними благ. Такая жизнь вам и не снилась... Портреты в газетах... По всему миру передают сообщения о ваших геройских подвигах...»

«Ты отстранен от дел». Это сообщили каждому, кто в сентябре сражался не на жизнь, а на смерть. Кто потерял в бою товарищей и боль этой потери носит в своем сердце, кто пожертвовал своей молодостью, образованием, своим будущим. Да, тем, кто наверху, все дозволено, хоть это и непостижимо.

Я позвонил, мать открыла и говорит:

— Заходи, сыночек, да хранит тебя аллах!

Наступил второй день.

— Он спит. Но если нужно, я его разбужу.

Я вытер лицо давно не стиранным полотенцем, которое лежало на письменном столе, и вдохнул в себя запах пота, пыли, старых вещей. Они так и лежали, как я их оставил, когда уезжал. Мать никогда ничего не трогала в моей комнате. Так уж у нас повелось.

## 5. ЗИЯД

Я поцеловал его, и мне почудилось, будто грудь моя наполнилась запахом пота.

— Я целую тебя,— сказал я ему, смеясь,— чтобы вдохнуть запах далеких морей, которым ты пропитан насквозь, почувствовать дыханье спавших с тобой проституток всех портов мира.

Он тоже рассмеялся, растянув рот до ушей. Закурил, жадно затянулся и сквозь пелену табачного дыма смотрел на меня.

— Итак,— сказал он,— мы возвращаемся...

— Э, дорогой, мы уже вернулись.— Я громко расхохотался.

— Скажи, пожалуйста, ты получил деньги, которые я тебе послал? — спросил он, переходя на деловой тон.

— Увы, дружище, не получил. Иначе с превеликой радостью поднял бы тост за твое здоровье в одном из лучших баров города.

Он вышел и заговорил со своей матерью. Их голоса едва слышно доносились до меня из-за стены. Затем он стал разжигать керогаз. По всей комнате были разбросаны старые газеты, журналы, книги, покрытые толстым слоем пыли. На стене — портрет его отца. Рядом — фотография: я и он пьем пиво. Эту фотографию я хорошо помню, было это в Бикдаше. Мы познакомились с ним на первом курсе университета. Он был типичным арабским юношей шестидесятых годов. В Бикдаш я прибыл из Иордании и стал публиковать небольшие статьи и заметки в студенческих стенных и многотиражных газетах. Он принес мне свой рассказ и попросил прочесть. «Если понравится,— сказал он,— можешь опубликовать». На следующий день мы снова встретились, поспорили по поводу его рассказа, прогулялись по парку и зашли в буфет выпить по чашке кофе. Покурили и расстались. Дня через два я пришел к нему домой и познакомился с его матерью. Потом я пригласил его на летние каникулы к себе в Эриху. Мы долго бродили по парку, по улицам, садам, где зрели апельсины и другие плоды... Ходили к Мертвому морю, поднимались в горы. Ездили в Набулус, оттуда отправились в Рамаллу; бродили по древним улицам Иерусалима, вдыхая запах истории. Посетили церковь Воскресения, прошли по дороге, по которой некогда шел Иисус, сын Марии. Привал устроили под деревьями у стен великой мечети Аль-Акса...

В глазах его я прочел изумление, ненависть, гнев. Помню, как он сказал: «Это — наша родина, наша родная земля, но мы здесь чужие. Там сионисты,— он показал рукой в сторону оккупированного Иерусалима,— а тут — полицейские короля».

Он толкнул деревянную дверь, и в нос нам ударил запах крепкого кофе. Он налил по чашечке мне и себе.

— Ну, что нового ты увидел в мире, каков он?

— Мир как мир, дружище, все в нем как было прежде, только каждому надо увидеть этот рехнувшийся мир. Уезжая, я думал, что больше на родину не вернусь. Но видишь — вернулся. Жизнь на чужбине невыносима. Мне так хотелось посмотреть самые огромные города на земле, Африку, всякие чудеса и диковины. Но теперь у меня пропало всякое желание скитаться по этому миру. А ты как?

— У меня все по-прежнему. Я, разумеется, нигде не бывал. И мне бы хотелось пространствовать, но не могу. Я сам привязал себя к этому месту.

— Чем занимаешься?

— Целые дни провожу в одном из бюро: читаю, немного пишу, иногда посещаю базы на юге Ливана, вот, пожалуй, и все. А ты что собираешься делать?

Он снова закурил и протянул пачку мне.

— Не курю. Бросил.

Он рассмеялся:

— Это — победа, и ее запишут на счет прогрессивных сил. Еще одно поражение империализма. А то ведь мы стратегически против империализма, а тактически за него — курим его сигареты, пьем его виски, смотрим его порнографические фильмы и чего еще только не делаем. Кстати, ты не знаешь, какая разница между моей организацией и твоей?

Я молчал. Тогда он ответил сам.

— Как мне представляется,— сказал он,— ваша организация в отличие от нашей требует, чтобы революционер, подобно губке, впитывал в себя гнев других. Наша же организация таких революционеров не признает.

Он опять рассмеялся.

— Ну и что ты думаешь дальше делать?

— Работать, непрерывно, изо всех сил, яростно и упорно, до изнеможения, чтобы отрезать себе пути к отступлению.

— Ты разве не слышал,— сказал я ему,— какие о тебе ходят слухи? Говорят, будто в Ираке ты растратил свыше двух тысяч фунтов из фонда организации на собственные нужды.

— Ну и пусть говорят, к их болтовне я давно привык. (Меня поразило его спокойствие.) Кстати, перед отъездом я связался с товарищем, ведающим денежным фондом, и попросил его проверить счета, но он отказал мне по каким-то причинам. Приехав сюда, я спрятал все счета, списки, ведомости, короче — все, что у меня было, здесь, дома.

Он открыл шкаф, вынул оттуда черную кожаную сумку, с какими ходят школьники, достал из нее большую папку и с торжествующим видом протянул мне:

— Вот, здесь все.

Радость захлестнула меня. Теперь им не удастся запятнать доброе имя товарища. А ведь ни я, ни его друзья по организации не смогли бы помочь ему. Я — потому что был в другой организации, они — за неимением доказательств. Он вдруг принялся вытирать тряпкой пыль с разбросанных на столе книг.

— Знаешь, в этом проклятом море я едва не рехнулся. Жил там хуже, чем в аду. День и ночь вспоминал всех вас — и тех, кто погиб в бою, и тех, кто томится в тюрьмах. С гневом думал я о виновниках наших поражений и страданий. Узнав из газет о сражении в Ахраше, я чуть не бросился в море, до того тошно мне стало. Я вопил во всю глотку: зачем я уехал? Зачем оставил друзей?

Подошел ко мне мой друг — негр, посмотрел мне в лицо, обнял и стал как маленького гладить по голове, приговаривая:

«Поверь, уж я-то знаю, что такое любовь к родине и друзьям. Ведь ты пришел на корабль не в погоне за деньгами, женщинами и вовсе не ради того, чтоб повидать белый свет. Нет, ты бежал от унижений, позора, от гнета и притеснений. Так же, как я. Ты рассказал о себе совсем немного, но мне и этого было достаточно, чтобы понять, что ты за человек. Послушай же меня, дружище: возвращайся домой, и я — я тоже вернусь. Лошадь должна умереть в своем стойле».— Помолчав, он продолжал: — Мне кажется, будто я попал в бурю и шквальный ветер швыряет меня из стороны в сторону. Я наглотался соленой воды, и у меня нет больше сил.

— Тебе надо отдохнуть,— сказал я ему.— Давай встретимся завтра, а хочешь — сегодня вечером. Я буду ждать тебя в бюро. Сходим ко мне домой, я живу в лагере для беженцев, это совсем близко.

— Как себя чувствует твоя мать? — спросил он.

— Слава аллаху, она здорова, в ближайшие дни обещала меня навестить.

Когда, попрощавшись, я выходил из дома, его мать крикнула мне вдогонку:

— Останься, сынок. Пообедаем вместе.

## 6. ГАЛИ

Я услышал женские голоса; протер глаза, почесал лоб, взглянул на часы. Десять часов. Опоздал... здорово опоздал. Улыбнулся. Куда, собственно, я опоздал? Голоса женщин становились все явственней.

— Умм Гали, слава аллаху, твой сын наконец вернулся, надо женить его поскорее, чтоб привязать к месту.

В дверь моей комнаты тихонько постучали.

— Просыпайся, сынок, соседка с дочерью пришли с тобой поздороваться.

— Погодите минутку, мне надо одеться.

Женский голос произнес нараспев:

— Входи, красавица, входи, невестушка, не стесняйся. Гали юноша воспитанный, благородный, мы от него видели только добро.

— И ничего другого не увидите,— сказал я вместо приветствия.

Первой в комнату вошла соседкина дочь, заполнив собой весь дверной проем. Она протянула мне руку и пробормотала что-то невнятное.

Следом за ней вошла мамаша, которая была еще толще дочери, со всей своей богатырской силой прижала меня к себе, дважды облобызала и громко заговорила:

— У твоей матери нет никого, кроме тебя, устаз Гали. Она, бедняжка, совсем одна. Клянусь аллахом, мы ее не забывали. Спроси ее, она не даст соврать. Твой дядя Абу Абдаллах не раз говорил ей: моя лавка к твоим услугам, бери что хочешь.

Дядя Абу Абдаллах, господин Мухаммед Абдаллах ас-Сахлия — владелец жалкой лавчонки. Торгует разной мелочью, в том числе спичками и расфасованными овощами и фруктами. Из каждого коробка вытаскивает несколько спичек, чтобы набить лишний коробок. А до чего жаден! Сколько с ним ни торгуйся, ничего не уступит. В долг может дать... разве что щепотку плохого местного табака. Скажешь: экий дрянной табачишко, а он тебе: «Не терплю иностранцев и их курево не терплю». Сам же он, это я хорошо знаю, курит контрабандные сигареты «Ротманс». Зато, если платишь ему наличными, он достает из-под прилавка иностранные сигареты и говорит, вздыхая: «Что делать, каждому надо жить. А у меня еще дети». При этом он подмигивает своим косым левым глазом и тут же добавляет: «Ты вот женись, сам увидишь, каково оно — прокормить жену и детей, да если еще жена попадется из образованных». После этого он совершенно не к месту скажет несколько слов о дочери Фатиме и тут же начнет расхваливать свой товар. Я слушаю его болтовню, а про себя думаю: клянусь аллахом, пачка «Ротманс» куда лучше этой твоей глупой овечки Фатимы, которая готовится получить свидетельство об окончании средней школы.

Мать приносит кофе и многозначительно говорит: «Да снизойдет благословение пророка на твою дочь, невесту-красавицу».

Соседка между тем, поправляя выбившиеся из-под платка волосы дочери, отвечает, с важностью произнося каждое слово:

— Она у меня перешла на второй курс юридического факультета.

Я невольно улыбнулся и сразу заметил на лице девушки досаду. Глаза наши встретились, и она опустила голову. Чтобы как-то загладить возникшую неловкость, я сказал:

— Ты, Фатима, скоро будешь свободно читать «Коран», может быть, станешь учительницей в Саудовской Аравии. Кто знает! Но, клянусь аллахом, по-моему, тебе лучше всего отправиться в Пакистан и преуспеть там на религиозной ниве.

Она прижала руку ко рту, словно боясь расплакаться, и закашлялась. Уж не вспомнила ли она те далекие времена, когда во мне сидел шайтан: стоило ее матери отлучиться из дома, как я быстро начи-

нал ласкать и гладить ее. Так продолжалось, пока мы не перешли в неполную среднюю школу. Потом она располнела, и у меня пропала всякая охота ласкать ее, хотя сама она очень хотела, чтобы все продолжалось по-прежнему.

Ее мать сказала:

— Брось все свои теперешние дела, вернись в университет, начни работать в агентстве по оказанию помощи беженцам. Тебе надо жениться. По крайней мере, скрасишь своей матери остаток ее дней.

Я ничего не ответил, достал ботинки из-под кровати, надел их, накинул на себя кофту.

— Упрямый, весь в отца,— заметила моя мать.

— Хорошо, хоть все вы возвращаетесь на родину,— затараторила соседка.— Но ты, устаз Гали, человек уважаемый, клянусь аллахом. А другие? Ты работаешь на совесть, а другие что делают... Строят себе дома, покупают автомобили, у них на счетах тысячи лир, и все это заработано на федаинах. А у тебя даже нет денег, чтобы жениться и продлить свой род. Какой позор!

Она закурила, похлопала дочь по спине.

— Я женюсь, о мать Абдаллаха, непременно женюсь,— ответил я зло.— Только на девушке, которая пьет вино, курит, болтает с кем хочет, ходит в кино, носит при себе оружие и воюет рядом с мужчинами. На такой, которая ничуть не похожа на овечку.

Девушка ткнула мать локтем в бок:

— Пойдем, мама, нам здесь нечего делать.

Мать поднялась и многозначительно произнесла:

— Все в этом мире вертится, умный, тот понимает жизнь. Никто тебя не принуждает, ты лучше знаешь, что тебе нужно, сынок... А мы пошли.

Дочь шла впереди матери, словно засыпая на ходу. Я вздохнул с облегчением, проглотил чашечку кофе, закурил и растянулся на кровати. Почему-то мне вспомнились в этот момент все женщины, с которыми меня когда-либо сводила судьба...

## 7

Я вышел из автобуса возле университета. Постоял, разглядывая старое здание. Здесь все по-прежнему: те же дома, деревья, железные решетки, та же бетонная стена. И так же толпятся студенты.

Я не спеша пошел дальше. Знакомая картина: баскетбольная площадка, больничные корпуса, машины, пронзительно визжащие на крутых поворотах, хорошенькие студентки в цветастых кофточках, плотно облегавших высокую грудь. Да, будь благословенна пора любви и молодости! Но для меня она, пожалуй, прошла. Ведь мне скоро тридцать. А я так нуждался в любви, в женской ласке. Я принялся тихонько напевать песенку народного египетского поэта:

Четыре ночи миновали,
А я никак не мог уснуть
Четыре ночи ждал я сна, чтобы красавица пришла.
Просил я солнце:
Не всходи, меня поутру не буди!

Может, завести знакомство с какой-нибудь красоткой, вздохнул я, и увлечь ее беседой. Нет, это несерьезно. Я усмехнулся и продолжал свой путь. Дошел до моста Виктории и остановился у книжного магазина «Дамаск». Здесь было выставлено много книг о любви, о сексе, о супружестве, роман «Крестный отец», а о народной борьбе, о партизанской войне почти ничего. В витрине, словно изображение некоего божества, красовался портрет Марлона Брандо. Времена Гевары и Хо Ши Мина прошли, сказал я себе, настало время Марлона Брандо. И

книг о любви. Тут мне на память пришли строки из стихотворения эпохи упадка. Был такой период в нашей истории:

Если вода окружает нас,
Встань, не сиди, иначе не выйдешь ты из нее.

Книги о языке любви, об искусстве любви и о любви по сходной цене. Роскошно одетая женщина из богатой буржуазной семьи держит во рту длинный мундштук с сигаретой, на лице самодовольство, она смотрит на вас так, словно готова хоть сейчас отдаться.

Она позирует, играет, что-то изображает. Совсем как некоторые деятели, о чьих боевых подвигах ходят легенды, чьи фотографии печатаются в газетах. Это в общем-то безвредно. Что же касается книг, то они должны быть еще доступнее и по цене, и по содержанию, как и фотографии полуголых женщин, чтобы легче было обучить сексу национальную арабскую буржуазию.

В кинотеатре «Аль-Ахрам» идет индийский фильм. На афише написано: «Впервые на экране. Один из лучших индийских фильмов «Сердце из камня». По просьбе народа демонстрируем еще одну, тринадцатую неделю».

Того самого народа, который давно уже называют темным.

Центральный банк во всем своем великолепии и величии с семью искусственными прудами. Снуют машины, словно крутится металлическая нория[1]; свистит полицейский, он сам регулирует движение, не обращая внимания на сигналы светофора.

Я направился к парку, расположенному за Центральным банком, и пошел вдоль здания сирийского информационного агентства. Окна открыты, видны головы служащих и какие-то аппараты. Сюда стекается информация со всего мира — мира, погрязшего в мелких, будничных делишках. Мира жалкого, однообразного. Прошел федаин без оружия в маскировочном костюме с куфией на голове. Я улыбнулся ему, поздоровался, он очень обрадовался, радушно ответил — видимо, с ним давно никто не здоровался. Снова промчались машины.

Здание бюро. Наконец-то! Я знаю, что им сказать: «Вы говорили, что я вор. Гали Бен Али ас-Сава — вор! Мой отец погиб за родину, когда вы еще и понятия не имели, что такое борьба. Сколько мы с матерью голодали! Но я всегда с любовью думал о родине. А вы хотите меня похоронить заживо».

Те, кто наверху, стали чем-то вроде родовых старейшин. Но держатся они лишь благодаря нам. Они великолепно используют противоречия. Прежде всего они думают о своей личной выгоде и всячески помогают своим многочисленным родичам.

В руководство нашей организации вошли два брата, другие их братья были женаты, оба на родных сестрах командира другой организации. Среди наших руководителей оказался офицер разведки одной из арабских стран. Но мы узнали об этом слишком поздно.

Я позвонил у двери.

Меня вызвали на допрос, но еще неизвестно, кому придется отвечать: мне или им? Впрочем, я на собственном опыте убедился, что один человек или даже группа людей ничего не могут сделать.

Мы должны превратиться в мощную силу, иначе придет день — и враги расправятся с нами.

Я был уверен, что не вечно будет царить ночь на нашей земле, наступит рассвет и взойдет солнце. И взойдет оно для нас. Готов в этом поклясться своей жизнью...

Я вошел. Ко мне подбежал Хисам, молодой парень, который прибирал помещение и готовил чай для сотрудников и для гостей.

Вспомнились слова матери: сынок, не мечтай о дереве без коры... Ты права, мама!

[1] Оросительное колесо *(арабск.)*.

Я обнял Хисама: недаром говорят, когда бедняк обнимает другого бедняка, ни один из них не почувствует запаха пота. Пожав руки собравшимся здесь бойцам, я громко, чтоб слышали все в соседних комнатах, сказал:

— Вот мы и вернулись, Хисам! И запомни, дружище, мы никогда не брали чужого, ни разу не предали никого из товарищей, ни разу не отдавали приказ сложить оружие, не оставляли боевых друзей погибать под огнем в лесах Джереша.

Хисам торжественно произнес:

— Чашку самого сладкого в мире кофе дорогому Гали!

Я засмеялся:

— Сладкого как раз и не хочется!

— Я знаю, ты любишь поароматней, ну что ж, друга надо уважать, сделаем, как ты велишь. Я рад, что ты вернулся, ты всегда был добр ко всем, никому не отказывал в помощи. Клянусь аллахом, никогда не забуду нашу встречу в Багдаде. Сколько ты хлопотал, чтобы я мог навестить брата в Кувейте. Хороший ты человек, Гали!

Я невольно улыбнулся:

— Потише, Хисам! Как бы они не обвинили тебя в том, что ты грешник, не веришь в аллаха и всякое такое...

— Хвастался...— начал было Хисам, но осекся и исчез на кухне.

Что же тут творится, подумал я, если даже Хисам боится, как бы его не услышали те, кто сменил автомат на перо и теперь строчит отчеты. Из нужных мне людей на месте никого не оказалось. Наверно, спят еще. Придется подождать. Уж я непременно дождусь чиновника, ведающего денежным фондом, офицера безопасности, прибывшего в Иорданию в шестьдесят седьмом году на частной машине. Сперва власти из самых лучших побуждений наградили его пистолетом «смит-вессон», а потом ни с того ни с сего арестовали и выслали из страны. Люди же, которые прибыли вместе с ним из Тель-Шихаба в Тарру, а затем в Ирбид, до сих пор в тюрьме.

Придется подождать, ничего не поделаешь!

## 8. ЗИЯД

Над Дамаском — бескрайнее голубое небо. Сердце мое переполнено радостью. Она согревает каждую клеточку моего тела. День нынче выдался светлый, веселый. Я пришел в оффис, когда еще не было девяти. До встречи с Фаджар оставалось добрых полчаса. Решил выпить кофе. Я занял столик под легким навесом, здесь летом всегда выставляют столики на улицу.

Вдыхая приятный аромат, я отхлебнул кофе и вынул записную книжку, с которой никогда не расставался.

Написал название своей новой пьесы, к работе над которой собирался приступить в ближайшем будущем. Я прочел уйму материала и мысленно видел всех своих героев. Они, как живые, стояли передо мной. Который уж месяц обдумывал я эту пьесу.

Итак, «Падение Иерихона». Простое, ничем не примечательное название — простое и всем понятное. Писателю вовсе не обязательно завлекать зрителя, какими-то выдумками возбуждать его интерес. «Падение Иерихона»— историческая драма. Почти сорок лет блуждают по пустыне иудеи, народ пастухов. За время странствий они сильно ожесточились. Умирает в Синае их предводитель Моисей. Новым вождем становится Иисус Навин. Его народу нужны земли, где можно было бы обосноваться. На их пути лежит палестинский город Иерихон, которым владеет царь — великан Голиаф. Город хорошо укреплен и обнесен со всех сторон каменными стенами. На вид это мощная крепость. Но среди его жителей нет единства. Задолго до того, как по приказу царя, прослывшего деспотом, были воздвигнуты

стены, бедняки собственными силами мужественно обороняли свой город от нашествий завоевателей.

Стены Иерихона были построены на костях, крови и слезах сотен несчастных. Царь и его приближенные решили, что за мощными стенами их богатства и дворцы в полной безопасности. В городе процветали пороки, разврат. И вот нашелся смельчак, который не побоялся призвать людей восстать против царской клики. Это был поэт. Не стены защитят нас, говорил он, а добрые отношения, дружба, любовь. Возлюбленная поэта Раав поддерживала его и всячески вдохновляла. Тогда царь Голиаф повелел явиться главному жрецу и, когда тот предстал перед ним, спросил, как лучше всего расправиться с поэтом. И жрец отвечал царю:

— В открытую нам с поэтом не совладать, он превратится в мученика, в героя, и простой люд тотчас встанет на его защиту. Надо попытаться очернить его в глазах простолюдинов, а там уж мы легко его одолеем.

Главный жрец решил заодно воспользоваться случаем и отомстить красавице Раав, которой долго и тщетно домогался. Раав презирала жреца, она не только не уступила ему, но даже открыто проявила неповиновение, перестав посещать храм и принимать из рук жреца благословение божие.

Жрец и царь принялись плести интриги, строить козни против поэта. По городу поползли слухи, будто Раав — распутница и всякий раз, выходя за городские ворота, она встречается не с поэтом, а с вражескими лазутчиками. Однажды стража схватила Раав, ее допросили с пристрастием и во всеуслышание объявили, будто она была поймана с поличным, когда встречалась с лазутчиками врага, и у нее нашли золото — плату за услуги, оказанные неприятелю. Самих же лазутчиков схватить не удалось, они скрылись не без помощи Раав.

И как раз в то время, когда над Раав собирались учинить суд, город окружили войска пастухов-иудеев.

Поэт призвал жителей Иерихона сразиться с врагом. Но никто не откликнулся на его призыв. Вскоре в Иерихоне начался голод, первыми стали погибать бедняки, некоторые из них в отчаянии бросались вниз с городских стен, не в силах видеть, как умирают голодной смертью их дети.

Недовольство в городе росло с каждым днем. Вскоре вспыхнул мятеж. Тогда Голиаф послал одного из своих приближенных для переговоров с иудеями, предлагая решить исход войны единоборством царей.

Царь Голиаф вышел из города, чтобы сразиться один на один с царем иудеев Давидом.

Великан Голиаф, закованный в панцирь, вооруженный громадным мечом и длинным копьем, был уверен в своем превосходстве. Он шел по полю, полный презрения к врагу, надеясь одним лишь видом своим посеять панику в рядах неприятеля. Но в это время прямо в лицо ему с лету угодил камень, выпущенный Давидом из пращи. Голиаф взвыл от боли, из носа и из глаз его хлынула кровь, и он рухнул наземь. Тут Давид выхватил у него меч и отсек ему голову. Защитников города охватило смятение, этим воспользовались иудеи и ворвались в город, сокрушая все на своем пути.

Раав и поэт покинули Иерихон и стали собирать простых людей по другим палестинским городам, чтобы с их помощью освободить родной город. Этой сценой и должна была кончаться пьеса.

Я залпом допил чашку. Рот наполнился кофейным осадком, похожим по вкусу на ил.

Еще издали я заметил ее, она шла с сумкой через плечо. Остановилась, пропуская машины. Посмотрела в мою сторону, и наши взгля-

ды встретились. Радостная улыбка озарила ее лицо. Она приближалась, подобная сияющей луне, которая плывет по чистому летнему небу.

Вот она села напротив меня. Ее распущенные светлые волосы волнами ниспадали на плечи. Вид у нее был счастливый. И я почувствовал себя счастливым.

Подошел официант, я попросил подать что-нибудь прохладительное. Он принес бутылку кока-колы. Я вытащил свою записную книжку.

Фаджар кокетливо спросила:

— Можно посмотреть?

— Тут нет никаких секретов,— ответил я.— Наброски пьесы. Делаю заметки, зарисовки, потом обрабатываю их. Не всегда, правда, получается...

Она внимательно выслушала меня и, помолчав, спросила:

— Почему ты выбрал героем для своей пьесы поэта?

— Поэт должен быть трибуном и борцом,— ответил я.— Должен вести людей за собой. Именно таким мне хотелось изобразить его в своей пьесе. Признаюсь, одно время я сам хотел стать поэтом, но быстро понял, что поэта из меня не получится, и оставил эту мысль. В нашей стране не так уж много поэтов. Свое геройство они демонстрируют перед микрофоном. Они пишут о мужестве и подвигах, а сами стремятся только к популярности и славе. Сбивают с толку людей, обманывают их, а случается, первыми пускаются наутек. Они, как звери, чуют приближенье землетрясения и с первыми подземными толчками исчезают.

— Ты не прав! — заявила Фаджар.

— Ну хорошо, назови мне хоть одного поэта, кроме Абдуррахима Махмуда, который пал бы на поле боя. Я, разумеется, имею в виду поэтов, взявших на себя смелость выступать от имени народа. А о тех, кто распускает свой павлиний хвост перед микрофоном, и говорить нечего. С ними все ясно.

— Не был ли ты когда-нибудь влюблен в поэтессу? — воскликнула Фаджар, смеясь.

— Нет, такого со мной не случалось. Думаешь, так можно говорить, лишь пережив неудачную любовь к поэтессе? Ничего подобного. Кстати, я не знаю ни одной поэтессы, о которой можно было бы сказать, что она мила и изящна. Знал я двух женщин, умевших рифмовать, но они быстро выдохлись, и теперь у них ни стихов, ни поклонников.

— Нам говорили, что Раав была распутной женщиной и Иерихон пал не без ее помощи.

— Что же это за город, если судьба его зависит от распутной женщины! Думать так еще наивней, чем верить, будто из-за одного солдата может потерпеть поражение целая армия. Я вовсе не стремлюсь в своей пьесе к исторической достоверности. Просто мне хочется выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня, и проникнуть... Впрочем, хватит об этом. Поговорим о чем-нибудь другом.

— Как у тебя дела?

— Лучше некуда!

Мы рассмеялись. Она взяла сумку и поднялась. Я оставил на столе сирийскую лиру, и мы покинули кафе. В лицо нам подул свежий ветерок.

— Кстати, что показал рентген? — спросила Фаджар.

— Врач сказал: ничего серьезного. Просто надо хорошенько отдохнуть.

Мы шли, держась за руки. Прохожие оглядывались на нас.

— Так в чем же дело, дорогой? Кто тебе мешает отдохнуть? Выбрось все из головы и отдыхай на здоровье.

— Мне что-то не по себе. Никак не могу решиться.

— Почему?

— Как бы это тебе объяснить? Я все время думаю о том, что будет с нами дальше, ведь должен же кто-то об этом думать.

Мы миновали ворота ас-Салихия и дальше пошли переулками. Мимо пробежала стайка детей, я заговорил с ними, они засмеялись и побежали своей дорогой. Затем нам повстречался мальчуган с мягкими длинными волосами, закрывавшими его лоб, уши и шею, и темными миндалевидными глазами. Я наклонился и поцеловал его. В это время в дверях ближайшего дома показалась женщина:

— Самир! Тебя мама зовет!

— Красивое имя — Самир,— сказала Фаджар.— Я хочу такого сына, бойкого, красивого. Только чтобы он не плакал. Не выношу слез.

Она замолчала.

— Фаджар, что с тобой? Тебя что-то мучает, я сразу заметил. Ради бога, скажи, что случилось?

— Видишь ли, я собиралась в Дамаск всего на несколько дней, а прожила месяц с лишним. Мне с тобой хорошо, не стану скрывать. А вот тебе со мной, кажется, скучно. Я тебе в тягость. И я сказала себе: Фаджар, зачем ты причиняешь страдание такому доброму, такому хорошему человеку? Не мешай ему, пусть живет как хочет. Ведь он почти забыл тебя. А ты снова вторглась в его жизнь!

— Ну что ты, Фаджар, разве я мог тебя забыть! Я тебя ждал, надеялся; я готов был поклясться чем угодно, что ты никогда не будешь принадлежать ему.

— Зияд, я хочу... хочу рассказать тебе одну ужасную историю. Знаю о ней только я и... еще... он. Но если тебе неприятно, не слушай, отпусти мою руку и иди дальше один...

— Говори.

Фаджар опустила голову.

— Зияд...— голос ее звучал глухо, будто издалека, и в нем слышалась грусть,— я... как бы это тебе сказать... видишь ли, я не девушка.

«Не девушка...» — я не сразу понял смысл этих слов, а когда понял, перед глазами у меня все поплыло и рука Фаджар показалась мне необыкновенно тяжелой, словно в нее влилась вся тяжесть ее тела.

— Я встретила его в Аммане возле Золотого базара примерно за месяц до сентябрьских событий с какой-то девушкой. Увидев меня, он быстро отвернулся, сделав вид, что не заметил. Но как-то так случилось, что наши взгляды встретились, и по едва уловимой растерянности в его лице, совершенно ему не присущей, я поняла, что он встревожен. Я пожала руку его спутнице и ему. Он представил меня: «Фаджар, наш иорданский товарищ, она очень нам помогает». «Как странно он себя ведет,— подумала я.— Ведь до нашей помолвки осталась всего неделя». И вдруг он говорит: «Это — моя невеста, Ханан Джавади». Я ничего не сказала, повернулась и ушла. Можешь не слушать, если тебе неприятно,— обратилась она ко мне. Голос ее звучал еще глуше.— Жалости мне не надо. Я сама виновата во всем.

Она зарыдала, выпустив мою руку. Я обнял ее.

— Успокойся, дорогая. Я никогда тебя не покину, и не из жалости, нет, клянусь тебе. Забудь все, что было. Он обманул не одну тебя. На его совести десятки жертв. Ведь он посылал за границу людей для террористических акций, на верную гибель, зная, что они обречены.

Мы замолчали, нам было грустно и тяжело, словно мы присутствовали на собственных похоронах.

Я заговорил первым:

— Брось даже думать об этом. У нас с тобой будет сын, такой же милый, как тот мальчуган, попавшийся нам навстречу.

Она силилась улыбнуться, но вместо улыбки вышла горькая гримаса.

— Я недостойна тебя, Зияд!

— Да, мне тяжело, не стану скрывать. И не только потому, что этот негодяй обесчестил тебя. У меня такое ощущение, будто он обесчестил и мою мать. Сколько мы перенесли унижений! Но всему приходит конец!

На узкой улочке в квартале Шаалян мы увидали ребятишек. Они пели и прыгали, то и дело налетая на нас. Один из них схватил Фаджар за руку и проскочил между нами. Другой, громко смеясь, стал его догонять, и голос его звучал звонко, будто у малой птахи, которая, сидя в листве, радуется солнцу и покою. Мы посмотрели друг другу в глаза, я крепко сжал ее руку. Сердца наши, жаждавшие нежности и ласки, взволнованно забились. Детский смех словно очистил нас, рождая в душе светлое чувство радости.

## 9

Нахxад вытащила из сумки пачку сигарет. Эта сумка через плечо и выцветший клетчатый жакет делали ее похожей на хиппи.

— Закажи мне кофе,— попросила она устало.

Выпустив дым через ноздри, девушка опустила глаза, постучала по столу спичечным коробком и спросила:

— Чему ты смеешься?

— Ты очень похожа на мальчишку. И походкой, и манерой курить. Порой я просто забываю, что ты девушка.

— Главное, запомни: я ушла от родных в Латакии и вместе с парнями обучалась военному делу. Я была там единственной девушкой, и мне пришлось нелегко. Поначалу ко мне относились как к женщине, но потом я заставила их об этом забыть, заставила уважать себя. Как-то в лагерь явился мой брат, полный решимости пырнуть меня ножом, с которым никогда не расставался. Но я уже кое-чему научилась и знала, как действовать в таких случаях. Я изо всех сил ударила его по руке, заломила ему за спину руки и прижала его к земле. Я наговорила ему много обидного. Посмотри, сказала я, на этих ребят. Они сюда добирались издалека, из разных арабских стран, чтобы принять участие в борьбе. А ты — что ты сделал? Только ненормальному взбредет в голову, будто я, находясь здесь и готовясь к борьбе, позорю нашу семью. Брат едва не заплакал. В тот же день он уехал обратно в Латакию, и я его больше не видела. Потом я узнала, что он вступил в другую организацию и погиб во время ливанских событий в шестьдесят девятом году. Закончив военную подготовку, я заняла второе место по лагерю. А первое место досталось Абуль Фурату, парню из Ирака. — Она вздохнула, закурила новую сигарету, отпила кофе. В глазах ее стояли слезы. — Да будет милостив к нему аллах! Абуль Фурат, или Салех Фурати, был лучшим пулеметчиком в отрядах сопротивления, ему даже удалось сбить израильский «мираж» над лагерем Аль-Карама в шестьдесят девятом. А третьего ноября того же года он погиб. День, который я запомнила на всю жизнь. Словно живой стоит этот парень у меня перед глазами.

Нахxад взглянула на меня в упор.

— Он был моим женихом. Мы вместе воевали в горах. В последний раз нам было поручено атаковать вражеский патруль на другом берегу реки. Абуль Фурат остался на восточном берегу, чтобы прикрыть огнем нашу атаку. Мы переправились через реку и ждали, пока не прибудет бронетранспортер с очередной сменой солдат. Как только солдаты вылезли из машины, мы открыли огонь. Засвистели пули, вздымая песок. Вскоре все было кончено, ни один израильский солдат не ушел оттуда живым. Но тут вокруг нас стали рваться снаряды. Командир дал команду сменить позицию и приготовиться к отходу и подал условный сигнал Абуль Фурату. Тот сразу открыл огонь. Выпустит очередь и помолчит. Потом застрочит опять. Мы стали поти-

хоньку отходить. Но враг не дремал. Ему удалось обойти нас, кольцо вот-вот могло сомкнуться. Вся надежда теперь была на Абуль Фурата.

Командир нашей группы был убит, меня ранило. Я никому об этом не рассказывала, тебе первому, на это у меня есть свои причины. О них потом.

Мне сделали три операции, последнюю в больнице ас-Солт. Во время сентябрьских событий я еще была в больнице, но очень скоро вышла оттуда, не дождавшись, пока заживут раны. Абуль Фурат погиб, когда выносил с поля боя убитого командира уже после того, как все бойцы переправились через реку. Не увидев ни командира, ни меня, Абуль Фурат бросился нас искать. Меня он нашел довольно быстро. Я была без сознания. Потом он вернулся за телом своего друга, командира, и тут его настигла пуля, так он и остался на том берегу.

После гибели брата я стала посылать деньги матери, отец ни за что не принял бы помощь от дочери, он сказал бы: «О аллах, до чего же я дожил — меня кормит дочь».

Я ушла в леса и собственными глазами видела кровавую бойню, когда уничтожали палестинские отряды. Абу Али Айяд, опираясь на палку, подбодрял молодежь. Он положил руку мне на плечо и сказал: держись, Наххад, воодушевляй своих братьев по оружию, ухаживай за ранеными. Что бы ни произошло, мы не сдадимся врагу. Он исчез за деревьями, но некоторое время я еще слышала его голос. Снаряды кромсали лес, вырывали с корнем деревья, дым заволок все небо. Ребята героически отбивались, ведь у нас были только автоматы и пулеметы.

Наххад тяжело вздохнула, вытерла слезы.

— В общем, мы потерпели поражение. Я слышала: некоторые из ребят проклинали жизнь, весь свет, даже близких своих, не решившихся вступить в бой.

Плечи Наххад вздрагивали от рыданий.

— А потом они направились к реке и сдались израильтянам. Нам же пришлось отойти к границе. Напрасно ждали мы подкрепления. Подъехала машина с громкоговорителем. «Сдавайтесь! Сдавайтесь!»— кричали нам. И мы сдались. Один офицер стал приставать ко мне, я плюнула ему в лицо, тогда он дал мне пощечину и завопил: «Проститутка!»

Ну, а сейчас я работаю с молодежью — записываю сводки последних известий и распространяю их по другим бюро. В общем, занимаюсь всякой ерундой, как и мы все, ты сам это знаешь... Ни борьбы, ни боев, ни настоящего дела. Вчера за мной прислал Абу Самир. Когда я пришла, он был занят: пил кофе, подписывал заявки на авансы, пристраивал кого-то на работу, добывал билеты для поездок и всякое другое.

Он взглянул на меня и произнес: «Здравствуй, здравствуй, сестра Наххад. Подожди минутку, я закончу дела, и мы пойдем ко мне домой, пообедаем вместе». Он куда-то ушел, и я снова ждала целых полчаса. Потом мы пошли к нему. К моему удивлению, жена его радушно меня встретила. А ведь обычно она ведет себя как супруга какого-нибудь эмира. Всех презирает, ни с кем не считается. А уж если кому окажет внимание, это надо считать великой милостью.

Стол ломился от разных яств. Заметив мое удивление, Абу Самир рассмеялся:

«Надо насытить плоть, дабы поддержать дух!»

Он закурил, предложил мне сигарету и весело сказал:

«Покурим, а потом продолжим трапезу, я еще не насытился. Вот что, Наххад, слушай меня внимательно, только никому не говори о нашем разговоре. Поняла? У тебя смуглая кожа, почти черная, это очень хорошо».

Такое начало меня поразило, даже насторожило. Я было подумала, что Абу Самир со мной заигрывает, но вспомнила — рядом его жена. Значит, здесь что-то другое.

«Мы подготовили тебе африканский паспорт на чужое имя,— продолжал он.— Поедешь с одним из наших товарищей в одну страну, куда именно, узнаешь позднее, и проведешь там операцию».

Я поперхнулась, вытерла губы и сказала:

«Теперь понятно, зачем ты пригласил меня в гости».

«Речь идет о важном патриотическом деле!»

«А почему бы тебе не послать на это важное патриотическое дело свою жену? Ты живешь в настоящем дворце, в роскоши, а за это надо платить. Нет, я не из тех, кто способен на подобные глупости. Вот бороться с врагом или с теми, кто тогда в лесу устроил нам побоище, я готова».

Я встала, взяла сумку. Он тоже поднялся и крикнул:

«Знаю я, какой пес тебя с толку сбивает!»

«Какой?»

«Зияд ас-Самуди... Пес! Не забывай, ты получаешь деньги, а фактически ничего не делаешь».

Тут я не выдержала:

«Вот как! Можно подумать, что вы со своей женой уже освободили Палестину. Но я, будьте уверены, не живу на ваш счет, это вы — вы наживаетесь на человеческом горе».

Выпалила все это единым духом, хлопнула дверью и выскочила на улицу. Вслед мне неслась брань.

Нахxад снова закурила.

— Я устала, Зияд. Ты не можешь себе представить, как я устала. Надеюсь, я не очень утомила тебя своим разговором. Видишь ли, сегодня я уезжаю в Латакию. Поживу у родителей, а если обстановка изменится, вернусь. Мне здесь стало невмоготу. Только ты не считай это дезертирством. И еще помни, что у тебя есть заклятый враг — Абу Самир. А теперь прощай!

Она протянула мне руку, резко поднялась и быстро зашагала прочь, слегка склонив голову набок. Сумка покачивалась в такт ее шагам. Вскоре она растворилась в толпе.

Я прислонился к стене, сидя на расшатанном стуле, и задумался.

— Зияд! К телефону! — Я вернулся к действительности, не спеша поднялся и спустился в подвал.

— Алло, Зияд! — кричал Гали.— Помнишь Абу Халиля?

— Как же, конечно, помню. Это твой друг, который был с нами в Аммане.

— Сегодня утром он покончил с собой. Похороны вечером. Придешь?

— М-м... приду! Приду непременно.

Я повесил трубку.

Какой ужасный день. Абу Халиль... подумать только. Я знал его, хорошо помню. Как же так? Почему он покончил с собой? О боже, началась пора бессмысленных смертей. Началась...

## 10

Мы шли за машиной «скорой помощи». Похороны были скромными. На «лендровере» установили динамик. Звучали песни шейха Имама:

Умер Гевара.
Какая утрата!

Впервые во время похорон исполнялись песни шейха Имама. Гали и Фаджар пели вместе со слепым шейхом:

О труженики, о отверженные,
О вы, закованные в цепи,
Закованные по рукам и ногам!

Спасение, спасение ваше
Только в оружии и пулях.
Помните это!

Скоро стали подпевать шейху и мы. По обеим сторонам улицы стояли люди. Они привыкли к другим песням, таким, как «Я выстою», часто звучавшим по радио Дераи.

О Палестина,— продолжали мы петь.—
О Палестина, винтовку не бросим мы...

Я услышал голос Гали:

— Дело не только в сионистах. У нас достаточно и своих тупоголовых. А тут еще в игру вступает нефть...

Он посмотрел на меня покрасневшими, воспаленными глазами. В них можно было прочесть растерянность и страх.

— Ты только представь себе, они не хотели давать нам машину «скорой помощи» перевезти его. Он, видите ли, погиб не в бою. Тогда я кинулся в лагерь и все рассказал товарищам, уж они-то на себе испытали, что такое настоящий бой. Они приехали к нам и где-то раздобыли машину.

— Не расстраивайся...— говорила грустным голосом Фаджар.— Что поделаешь... Тяжело, это верно. Но не надо отчаиваться.

Гали то и дело вздыхал. Потом закурил и передал пачку сигарет своей подруге. Они курили и вслушивались в слова песни:

Спасение, спасение ваше
Только в оружии и пулях.
Помните это!

На кладбище было много женщин и детей. Некоторые плакали.

— Не знаю, стоит ли им сообщать об истинной причине самоубийства Халиля,— сказал Гали.— Как ты думаешь?

Мать Абу Халиля в отчаянии рвала на себе волосы, била себя по щекам, посыпала голову песком. Отец тихо плакал и как мог утешал жену.

Абу Халиля похоронили. Над могилой его, разорвав тишину, прозвучал двадцать один выстрел.

— От нас ушел Абу Халиль,— сказал Гали.— Его убивали в горах. Его убивали в лесах, в Аммане, в сентябрьском сражении. Но не смогли убить в его сердце Палестину. И его самого никогда не убьют в наших сердцах. Он навсегда останется с нами. Сюда пришли товарищи, чтобы проводить Абу Халиля в последний путь. И я торжественно клянусь: мы, глотавшие пыль в лагере аль-Карама, мы, дышавшие воздухом лагеря Вахдат, никогда не забудем тебя, Абу Халиль! Мы будем бороться до победного конца!

Тишину вновь разорвали выстрелы.

— Прощай, Абу Халиль, прощай!

Вскоре уехали машины, оставив позади себя густое облако пыли. Люди стали расходиться.

Я пригласил Гали и Фаджар поехать ко мне.

— Завтра я уезжаю в Бейрут,— задумчиво произносит Фаджар.— Попробую поступить в университет.

— Но ведь учебный год уже начался,— замечаю я.

— Ну и что? Там есть союз студентов. Мне помогут.

Спасение, спасение ваше
Только в оружии и пулях...

— Прав, тысячу раз прав был этот поэт, загнанный судьбой в один из бедных кварталов Каира,— замечает Гали и, помолчав, добавляет: — У Абу Халиля есть старший брат, владелец лавки на рынке Хамидия. Так он даже не пришел на похороны. Как ты думаешь, почему?

Потому, видите ли, что его брат — самоубийца, а самоубийство — это великий грех. А бросить на произвол судьбы родителей — не грех! Этот лавочник ничем не помогает отцу с матерью — ты видел их на кладбище — и своим младшим братьям. Ложь, везде ложь! Когда же наконец мы очистим нашу землю от всякой скверны, от лжи и обмана?

Когда мы пришли ко мне, я сказал:

— Видите, я здесь совершенно один. Мне никто не мешает. Хозяева дома живут наверху. У меня даже есть кухня, так что, если бы мы захотели соблюсти древний арабский обычай, ты, Фаджар, как женщина, могла бы пойти на кухню и посидеть там отдельно от мужчин, а заодно показать нам, как ты умеешь пользоваться дарованной тебе свободой. Ну хотя бы сварить кофе и приготовить что-нибудь поесть.

Фаджар смерила нас взглядом, улыбнулась и ушла на кухню. Гали улегся на кровать и стал тихонько насвистывать какую-то грустную мелодию.

Фаджар вскоре вернулась, неся дымящийся кофе. Пар обволакивал ее лицо и таял в волосах... Грациозно изогнувшись, она поставила поднос на стол.

Не торопясь, мы принялись пить кофе. Говорить не хотелось. На сердце было тяжело. Мы закурили, комната постепенно наполнялась дымом, сквозь узкое оконце над дверью проникали солнечные лучи. Фаджар о чем-то задумалась.

Первым заговорил Гали:

— Хочешь знать, чем закончилась ревизия?

— Конечно, хочу.

— Я представил все отчеты, счета и ведомости и три дня без передышки разбирал их вместе с тем, кто ведает финансами. И что же ты думаешь? Оказалось, что я должен внести в казну всего три динара и семьдесят фильсов. Как раз ту сумму, которая значится в потерянном счете, я уверен. Затем мне предложили, если я хочу вернуться в организацию, отправиться на одну из баз, в каком-нибудь лагере в Ливане. Поработать там заведующим бюро. Я сразу заявил, что согласен. Тогда один из них говорит: «Видно, путешествие пошло тебе на пользу. Не иначе как ты приобрел себе где-то новый черепок. Да пойми, наконец, упрямая ты голова, куда бы ты ни поехал, все равно рано или поздно вернешься к нам...». Нет уж, на этот раз я не отступлю. Завтра же еду в Ливан, в лагерь Шатилла.

— Поедем все вместе,— предложила Фаджар.

— Завтра около десяти буду в гараже. Там и встретимся,— сказал Гали на прощание.

Мы остались вдвоем с Фаджар и стали готовить обед.

Скоро комнату наполнил острый запах лука. У Фаджар потекли слезы. Она подняла голову, и наши глаза встретились. Я обнял ее, ласково взял за подбородок. Наши губы слились в поцелуе, и мы забыли обо всем...

Солнце согревало нас своими лучами. Сердца наши бились в лад, мы были счастливы, как дети.

## 11. ЗИЯД

Весеннее утро, ласковое, благоуханное. Во всем чувствуется приближение лета. Небо удивительно голубое, где-то в вышине, крадучись, скользит солнце. А ниже в ореоле нежно-белых облаков гора Касьюн.

Маленький чистильщик обуви зазывает: «Пожалуйста, устаз». Продавец лотерейных билетов дергает меня за рукав: «Аллах пошлет

вам удачу». Старик-торговец раскладывает пачки журналов и газет. Но никто их не покупает в Дамаске — подойдут, посмотрят фотографии и крупные заголовки, покачают головой и идут себе дальше. В садах и скверах, как обычно, порхают птицы, играют дети. И так изо дня в день.

На этот раз я пошел в бюро другой дорогой. Перешел на противоположную сторону улицы, миновал ресторан «Шара» и направился к гостинице «Касьюн». Навстречу мне то и дело попадались девушки, веселые, жизнерадостные. Они оживленно болтали и улыбались. Парни с жвачкой во рту тихо переговаривались между собой, встряхивая головами, и длинные волосы их метались из стороны в сторону. Все куда-то спешили.

Я вдруг подумал, что надо бы написать роман о двух влюбленных, для которых весь смысл жизни в любви. Написать его просто, ясно, доступным языком, без всякой символики: любовь, поэзия, музыка, счастье — вот все его содержание.

Герой. Он много в жизни страдал. (Подробностей никаких.) Сидел в тюрьме (за что, сообщать вовсе не обязательно). Он ищет свое место в жизни. И вот однажды, в переулке одного города, именно города, а не деревни, встречает девушку. Они улыбаются друг другу и продолжают путь вместе, рука об руку, по улицам, где каждый камень — легенда. Он шепотом спрашивает, почему она так долго не приходила к нему. А она отвечает: я ждала, пока ты придешь, и вот наконец дождалась. Торопиться им некуда, и идут они медленно. Их шаги — как волшебная музыка, она заполняет всю улицу. В нее вливаются песни детворы. В воздухе носятся бабочки, из залитых солнцем чистых домов струится аромат роз. Юноша наклоняется к возлюбленной и говорит ей о том, как тяжко было ему жить в разлуке с нею.

Ну, а что дальше?

Пока сам не знаю. Ведь я еще не начал писать. Когда дойду до конца, что-нибудь придумаю.

Я встретился с Халидом, театральным режиссером. Теребя бороду, он спросил:

— Где пропадаешь, старик?

— Ты чем-то очень взволнован,— заметил я.— Что случилось?

— Я был в Ливане.

— Воевал с израильтянами?

— Нет, не пришлось.

— С местным правительством?

— Видишь ли, — начал Халид, — правительственные войска стали вести обстрел лагерей из орудий и пулеметов. Тогда наши боевые отряды решили перейти под начало единого палестинского командования и отправиться на юг, на наши базы. Нам позвонили из Бейрута, стали передавать распоряжения, но вдруг связь прервалась, так что приходится ждать, пока все решится окончательно.

Я спустился в подвал. Радио Дераи обращалось к арабам с громкими призывами, гремела музыка, гимны. Возле динамика собрались люди. Они молча курили.

Один в сердцах сплюнул:

— Пропади они пропадом, только и жди удара в спину — то в Аммане, а теперь уже и в Бейруте.

Вошел Халид, хлопнул в ладоши:

— Друзья, кто не хочет, пусть не едет, это личное дело каждого. Мы ведь не только артисты, прежде всего мы — воины. Наше оружие — искусство. Но обстановка сейчас изменилась. Об искусстве придется на время забыть. Мы будем сражаться вместе с нашими братьями и, если надо, умрем. Без победы не нужно искусство! Итак, кто готов сражаться, за мной!

Все ушли, бюро разом опустело. Только из динамика по-прежнему доносились то призывы, то музыка, то песни. Некоторые мне

довелось услышать в Аммане, еще тогда, в сентябре, а сейчас май и год другой... Май... сентябрь... июнь... май... сентябрь...

Будь проклято вероломство, будь проклято предательство!

Гибнут дети в лагере Таиак. Со свистом падают снаряды, уничтожая все вокруг.

— Бейрут в огне! О, совесть людская, содрогнись! — донесся из динамика гневный голос.

Я вспомнил, как в сентябре диктор «Голоса Палестины» говорил из Дамаска:

— Амман в огне! Совесть мира, содрогнись!

Да, Амман тогда тонул в огне и дыму. Я остановил свой «фольксваген» на горе Хусейн около бюро организации. Я буквально места себе не находил после того, что увидел во время поездки по некоторым районам. Мать я оставил в лагере ан-Наср. Проверив свой автомат и пистолет, я вышел из машины. На краю дороги сидели молодые бойцы и жевали лепешки с солью. Я сел рядом с ними и тоже принялся есть. Один из бойцов прошел немного вдоль улицы к пекарне и принес еще несколько лепешек. По кругу пустили кружки с чаем. Амман словно застыл в напряженной тишине, в любую секунду готовой взорваться. Шестнадцатого сентября военный губернатор и военное министерство несколько часов кряду издавали приказы, обращенные к бойцам милиции с требованием немедленно сдать оружие и прекратить борьбу.

Радист развернул свою рацию... «Хайфа, алло, Хайфа. Ты слышишь нас? Начался бой. Нас обстреливают из тяжелых орудий. Пехота при поддержке танков пытается занять господствующие позиции в городе. Как слышите меня? Прием».— «Бисан, я слышу вас. Да поможет вам бог. Держите с нами связь. Прием». — «Мы с вами, мы с вами».— «Как слышите? Прием».

До нас докатился грохот артиллерийской пальбы, доносившийся с разных концов Аммана.

«Алло, Бисан! Вы слышите грохот орудий? Прием!»

«Алло, Хайфа! Передаю нашим товарищам сообщение... Прием».

Я вошел в комнату, там спал один из командиров. Он сразу проснулся, уселся на кровати и с недоумением уставился на меня. Потом он поднялся, взял автомат и, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Взошло солнце и осветило окутанный дымом Амман.

Я взобрался на стену одного из строений. Дымом заволокло весь район Ашрафия, и я не мог определить расположение войск. Вот заквакал тяжелый пулемет. Стали рваться снаряды. Все явственнее доносился рев танков. Я сказал командиру:

— Они хотят одним ударом рассечь весь город и бить нас по частям.

Командир приказал мне взять группу бойцов и вступить в бой. Я заметил несколько обгорелых танков и бронемашин с разбитыми или сорванными башнями и разорванными гусеницами. Бой продолжался со все нарастающей силой. Не прекращалась пулеметная пальба в районе Табарбур и лагеря Абдали, где находилось командование. Поняв, что без тяжелого оружия нам не продержаться, я поставил у дороги несколько бойцов, вооруженных противотанковыми гранатометами, отдал им все необходимые распоряжения и вернулся. Бойцы стали перекрывать дороги, устраивая завалы из автомашин. Растерянность, возникшая вначале из-за сильного прицельного обстрела, прошла, особенно после того, как нам удалось подбить несколько вражеских танков и бронетранспортеров. Одна за другой поступали радиограммы из разных районов — Зарки, Ирбида, Джереша: «Мы подбили пять танков», «К нам присоединилось несколько солдат и полицейских»...

Наступил вечер. Мы ждали, что к нам на помощь придут отряды из лесов и ударят по королевским войскам с тыла. Но этого не случилось...

Ночью мы начали рыть ямки для мин, укреплять завалы и баррикады. Красные вспышки пулеметного огня разрывали зыбкую темноту ночи. Артиллерия молчала. У бойцов были смертельно усталые лица. Одни спали, привалившись к стенам домов или положив голову на плечо соседа. Другие курили, прикрыв сигарету рукой. Изредка раздавался тихий возглас: «Кто идет?» Слышались чьи-то шаги, и снова все замирало, лишь издалека доносились разрывы снарядов...

Я дремал, положив голову на стол, когда Халид дотронулся до моего плеча — по радио передавали известия о ходе боя.

— Ты спишь, а вокруг все горит.

— Да я не сплю, так, задремал.

Бойцы вокруг меня надевали армейские пятнистые комбинезоны.

— Обмундирования не хватает, оружия тоже, мы — как сироты за столом у скупых хозяев,— промолвил Хусейн.

Я быстро спустился в подвал и спросил:

— Вы, я вижу, надеваете военную форму. На юг собрались?

— Да,— ответил Халид,— нельзя сидеть сложа руки и слушать радиосводки.

Амина, единственная женщина в комнате (исполнительница главных ролей), заявила:

— И я пойду с вами. Вы же знаете, я больше года работала медсестрой в палестинском Красном Полумесяце.

С улицы кто-то позвал Халида.

— Пришла машина. Живее, ребята!

Из динамика доносился военный марш. Все ушли. Со мной остались только боец, обязанный присматривать за помещением, готовить кофе и чай, и еще двое часовых, родом из Газы, они по очереди несли охрану бюро.

Зазвонил телефон, я снял трубку:

— Алло... Да... нет... никаких известий... Ничего не знаем. Слушайте радио. Ребята из труппы ушли на юг.

Голос в телефонной трубке сказал:

— Мне сообщили об этом еще до того, как они ушли. Я дал согласие. А тебя прошу остаться до вечера, покуда я не доберусь до вас. Я сейчас в бюро номер сорок девять. У нас тоже никаких новостей. Я говорил по телефону с ребятами на южных базах. Столкновений там пока нет, но положение очень напряженное.

Закончив разговор с руководителем бюро, я вышел на улицу. Небо уже не было таким голубым, на него наползала грязно-желтая дымка. В кафе с зашторенными окнами сидело несколько посетителей. Некоторые прямо на улице пили пиво и арак. Один из них покачивал головой в такт песне, которую исполняла Умм Кольсум: «Мне все люди кажутся влюбленными», и тихонько ей подпевал. Передо мной между тем проносились картины одна страшнее другой. Лагерь Шатилла и бедные кварталы в дыму пожарищ; Фаджар и Гали извиваются на колосниках огромной печи. Запах арака, смех и голос Умм Кольсум... Сентябрь... Май... Леса... Все перемешалось у меня в голове. Голос радиостанции Сопротивления, находившейся в Дераи, звучит все громче, отчетливей, с ним спорит голос Умм Кольсум. Вот она рвет на части носовой платок, матери тоже рвут платки — им надо было перевязать раны своих детей. Я видел, как все рушится, распадается, пляшет перед моими глазами. Какие-то непонятные предметы сталкивались, а затем разлетались в разные стороны. В центре этого хаоса вдруг возникла голова мальчика — помню, я встретил его в лагере Хусейн. Вдруг голова стала разбухать, расти, покуда не заняла все пространство. Рядом с ней я заметил кусок мяса и руку без

пальцев. Голова ребенка будто вошла в мою голову и заполнила ее а его широко открытые глаза сливались с моими. Вокруг все стало желтым, безрадостным, как в пустыне, и не было той пустыне ни конца, ни края. Небо тоже казалось безжизненным — даже птица не пролетит,— нигде ни души.

## 12. ИЗ ДНЕВНИКА ФАДЖАР

*16 марта 1973 года*

Прибыв в Бейрут, мы поставили машины в гараж, взяли вещи и отправились в город.

— Куда ты сейчас? — спросил Гали.— У меня на примете есть место, где ты могла бы поселиться на несколько дней. Обычно там останавливаются мои родственники.

Я поблагодарила его и сказала:

— У меня здесь живет подруга Хана в студенческом общежитии около Арабского университета. Побуду у нее, пока улажу свои дела.

— Может, тебе нужна моя помощь?

— Спасибо, Гали! Спасибо за все!

Мы сели в такси.

— К университету! — сказал Гали шоферу и протянул мне листок с номером телефона того отделения, где он собирался работать.— Если тебе вдруг что-нибудь понадобится, не стесняйся, звони. Зияд для меня как брат, и ты можешь считать меня своим братом и другом. Но когда же сойдутся берега реки? — спросил он, улыбнувшись. Это означало: когда наконец мы с Зиядом поженимся.

— Когда-нибудь, наверно, и сойдутся, кто знает. По правде говоря, у нас и речи об этом не было.

Гали протянул мне сигарету. Я закурила и заметила, с каким удивлением посмотрел шофер на мое отражение в зеркале. Мы встретились взглядами, и он поспешил отвести глаза, насвистывая песню, которую передавали по радио.

У меня был ключ от комнаты Ханы. Я вошла в дом, поставила чемодан, свалилась в изнеможении на кровать и скоро заснула. Сколько проспала — не знаю. Но, открыв глаза, увидела Хану в ночной сорочке, она что-то писала, сидя ко мне спиной. В комнате было накурено.

— Эй, курильщица! — усмехнулась я.— Что ты там делаешь?

— Готовлюсь к лекции о восстании в Дофаре,— ответила Хана, повернувшись ко мне.

— А я думала, ты к стриптизу готовишься.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да так, ничего... А женихи у тебя есть?

Она снова закурила. Подошла ко мне и поцеловала.

— Знаешь, я очень соскучилась по тебе, очень! Почему ты так задержалась? Удалось тебе встретиться с тем парнем, про которого ты рассказывала?

— Я люблю его. Его одного! И больше никого мне не надо! Послушай, как бьется у меня сердце.

Я прижала ее голову к груди.

— В твоем сердце соловей поет о любви. В нем распустились весенние цветы. И мне хотелось бы испытать, что такое любовь!

— Ничего тебе не хочется. Одни слова. Тебе бы только покрасоваться. Нет, пора кончать со всеми твоими увлечениями. Выбери кого-нибудь одного. А то послушать тебя, так выходит, будто освобождение женщины — это распущенность.

— Хватит, Фаджар! В тебе пропадает великая проповедница. Какая уверенность в себе. И за словом в карман не полезешь, особенно если речь идет обо мне.

— Ты так и не ответила: есть у тебя жених или нет?

Она промолчала, заерзала на стуле, опять взяла сигарету. Потом начала говорить, запинаясь, с трудом подбирая слова:

— Я человек конченый, Фаджар. Я... как бы это тебе сказать, мало чем отличаюсь от проститутки, однажды даже думала, что заразилась. Сколько у меня их было! Кто же на мне после этого женится? Я утешаюсь мыслью о том, что женщина должна быть свободна. А теперь посмотри на меня и скажи: разве мое тело — это тело женщины? Я похожа на драную козу в дни засухи... Иногда в редакцию заходит кто-нибудь из них — заходит с женой — и ведет себя так, будто мы не знакомы, избегает встречаться со мной взглядом. Болтает о революции, о родине, о супружеской верности, о трудностях борьбы... Но стоит жене на минутку выйти, как он тут же становится зверем. Так мне тошно, так все опостылело — ты и представить себе не можешь. Напечатаю что-нибудь и в сердцах разорву, потом начинаю сначала... Тоска меня гложет.

Вдруг Хана бросилась к окну и распахнула его, того и гляди, выбросится вниз с шестого этажа. Насилу я удержала ее, стала успокаивать. Она долго не могла прийти в себя; потом утихла, из глаз полились слезы. Я уложила Хану в постель, накрыла одеялом. Вскоре она забылась глубоким сном.

*20 марта 1973 года*

Пошла в Союз студентов и там узнала от Кязыма, что могу быть зачислена в университет.

Мы поиграли с Ханой в пинг-понг, побродили возле университета, по набережной. В кафетерии «Дау» выпили чаю. Прошлись немного и увидели вывеску «Журнал «Аль-Хадаф». Хана стала рассказывать мне о гибели редактора этого журнала, известного писателя, которого она хорошо знала.

В глазах ее стояли слезы.

— Я прочитала все его книги,— сказала я Хане.— Жаль его. Но ты на себя посмотри: ты вся прозрачная, до того исхудала.

— Мне надо очиститься, Фаджар! Я ушла из редакции. Нет, не могу больше, хоть там и работают хорошие люди. Я должна покончить с прошлым, чтобы снова уважать себя.

Мы пошли домой.

*10 апреля 1973 года*

В почтовом отделении университета я увидела на доске извещение на мое имя и очень обрадовалась: мне — письмо от родных. Быстро вскрыла конверт.

«Дорогая наша доченька, Фаджар Салих Халяф!

(Отец всегда называет меня полным именем, считая это гарантией от всяких случайностей.)

Давно не получали от тебя писем. Надеемся, что у тебя все благополучно. У нас все по-прежнему. Здоровы. Твой брат Абд ас-Салям переехал к тете».

Я вздрогнула: это означало, что Абд ас-Салям в тюрьме. Старший лейтенант Абд ас-Салям Салих Халяф! О боже! Расстроенная, я вышла на улицу.

— Хэлло, Фаджар!

Появилась Хана.

— Что с тобой? Ты так побледнела, будто ангел смерти подал тебе знак с того света. Что нибудь случилось?

— Мой старший брат Абд ас-Салям, тот, что служил в королевской охране, арестован. Значит, раскрыта его связь с организацией. Ему грозит виселица. А ведь он — кормилец семьи, на нем весь дом держится.

Мы шли рядом, обе печальные, как на похоронах.

Я подумала о родителях. Лет сорок назад отец мой убил своего соседа. Убил из-за клочка земли и, скрываясь от суда, бежал в Палестину. Там он поселился неподалеку от Набулуса, женился. Вскоре у них родился сын, его назвали Абд ас-Салям. В Сольт родители возвратились лишь много лет спустя, когда враждебный нам род отказался от кровной мести. Отцу даже вернули землю, которую передали этому роду после его бегства. В Кираке в 1950 году родилась я, потом — братья Юсуф и Махмуд и сестра Хильва. Помню, мать иногда надевала иорданскую одежду, иногда палестинскую, расшитую ярким разноцветным шелком.

О господи! Как бедные родители перенесут это несчастье?! А я как перенесу? Надо держать себя в руках.

В кафе мы выпили кофе и вернулись домой.

Теперь придется помогать родителям.

О аллах, дай им силы выдержать это испытание!

— Знаешь, Хана, я несколько месяцев не получала жалованья. А потом мне выдали все сразу. Весьма приличная сумма. Много ли мне надо? Часть денег непременно пошлю родным. Братья и сестры еще учатся в школе, и за них надо платить.

Хана вскоре уснула и так громко храпела, что я даже читать не могла. Тяжело было у меня на душе. Поговорить бы сейчас с Зиядом, стало бы легче. Я уже раскаиваюсь в том, что старалась выбросить его из головы и из сердца.

*11 апреля 1973 года*

Встретила Гали возле Союза студентов. Он сказал, что из Дамаска звонил Зияд и просил передать: завтра в полдень он приедет.

Мы зашли в столовую и там долго беседовали. Гали вдруг сказал:

— Перед смертью Абу Халиль оставил записку: «Друзья! Все кончено. Я не в силах больше терпеть. Мы все погрязли во лжи. Простите, что ухожу от вас, не поминайте лихом. Не хотелось мне так умирать. Но другого выхода нет. Теперь уже ничего не исправишь».

— Кажется, ты его очень любил?

Он слегка покачал головой и застучал по столу длинными тонкими пальцами.

— Да, он был дорог мне. Абу Халиль был самоотверженным, стойким. Он храбро дрался в горах, на юге Ливана, на Голанских высотах, на Западном берегу. Но жизнь положила его на обе лопатки. Он был куда умнее всех нас, все видел, все понимал. Его хотели подкупить, а когда ничего не вышло, стали травить, обвинили в принадлежности к какой-то партии. Он все это вытерпел, но устал, смертельно устал. Еще бы — мы покинули поле боя, а он остался, остался там один-одинешенек!.. Нет больше с нами Абу Халиля, он ушел навсегда...

В глазах Гали стояли слезы. Он расплатился, мы вышли и долго бродили по улицам.

На прощанье Гали, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— Прости, Фаджар! Я хотел обрадовать тебя приятной вестью, а вместо этого нагнал на тебя тоску. Не забудь — завтра в полдень Зияд будет здесь. Фаджар,— после паузы произнес Гали,— если бы Абу Халиль погиб на родной земле... а так...

Мы пожали друг другу руки и разошлись.

*12 апреля 1973 года*

Через открытое окно я увидела на другой стороне улицы Зияда и Гали, они сидели на тротуаре возле закусочной. Зияд улыбался и махал мне рукой. Я едва удержалась, чтобы не крикнуть: Зияд, любимый мой! Быстро переоделась и вышла на улицу.

Мы долго стояли, глядя друг на друга. Мне хотелось прижаться к нему.

— Черт бы побрал эти старые порядки, дикие наши обычаи. Влюбленные даже не могут выразить радость при встрече! — в шутку возмущался Зияд.

— У нас все идет по заветам аллаха и его пророка,— иронизировал Гали,— в других странах влюбленные обнимаются у всех на глазах, а у нас — только попробуй! Словно мы не люди.

— Поехали к морю! — предложил Зияд.

Не прошло и четверти часа, как мы подкатили к ресторану «Аль-Галаини». Нашу встречу мы отметили жареной рыбой и несколькими чашечками кофе. Мы долго болтали, любуясь морем, лодками и большими кораблями.

Огромный медно-красный шар солнца медленно погружался в море. Последние лучи его пронзали голубизну неба, ложились на вершины скал, на ослепительно белую пену, разбегавшуюся за кормой быстроходных катеров.

Мы шли босиком по мягкому горячему песку. Это было так приятно! Ветер гнал пену к берегу, и она оседала на песке маленькими прозрачными пузырьками. Лицо и волосы были влажными от мелких соленых брызг.

Гали повернулся лицом к морю, раскинул руки:

— Как я люблю тебя, море!

А потом крикнул:

— Бруно... мой негритянский друг... ты слышишь меня?.. Отвечай! — Голос его унесся вдаль.

— Ему сейчас не до тебя,— сказала я.— Вот и не откликается.

— Помните,— произнес Зияд.— Наши матери называют это море Яффским [1], а не Средиземным.

Затем мы пошли на Хамру, знаменитую улицу Хамру. Выпили там кофе у стойки. Зияд воодушевился:

— Не сыграть ли нам во «флиппер»? Встряхнемся — раз уж мы в Бейруте.

Мы встали у аппаратов. Видя ожесточение, с которым Гали дергал ручку, мы невольно рассмеялись. Очень уж он напоминал дергающийся манекен.

— Да не так, Гали! — сказал ему Зияд.— Дай-ка я покажу, как надо. Эй, эй... Гали. Вот так.

Зияду вскоре надоело играть, он отошел от автоматов и, явно расстроенный, направился к выходу. Мы последовали за ним. Доехали до университета на такси и расположились возле кафе в плетеных креслах, стоявших прямо на улице. Зияд зашел в кафе, поставил пластинку Фейруз «Приезжайте ко мне каждый год» и сказал:

— Я от природы романтик и очень люблю эту песню! Но романтик я не простой,— добавил он,— а революционный, следовательно, реалист.

Бейрут не спит. Он не умеет спать. На его улицах всегда оживление. Стремительно мчатся машины, сигналят.

Пришла Хана и с ходу начала с Гали спор о политике.

Город манил, звал к себе. Не хотелось сидеть на месте.

И вскоре мы отправились бродить.

— Я забыл сигареты,— спохватился вдруг Гали.

— И я тоже,— сказала Хана. Они с Гали вернулись назад. Мы остались вдвоем.

— Фаджар,— сказал Зияд,— мы уже не маленькие, скажи, согласна ты стать моей женой?

---

[1] Яффа — город на территории Палестины.

— Клянусь аллахом, ты ненормальный, Зияд! Ты же прекрасно знаешь, что согласна. Тысячу раз согласна. Я даже написала об этом своим родным... Остались одни формальности.

— Слава аллаху, наконец-то мы поженимся!

— А может, подождем еще с полгода?

— Нет, это много. Месяц-другой — куда ни шло.

— Ладно, будь по-твоему.

Подошли Гали и Хана. Я слышала, как Хана сказала:

— Почему я не встретилась с тобой раньше?

— Все потому же, почему и я с тобой раньше не встретился,— ответил Гали, и оба рассмеялись.

— Берегись этой девушки, Гали,— в шутку сказала я,— она переменчивее погоды!

Он вскинул голову и не без вызова произнес:

— Ну и я не из тех рыбок, что сразу клюнет! Пусть попробует меня поймать!

Хана скрестила на груди руки:

— Непременно поймаю. В мою сеть идет самая лучшая рыба. И от меня-то уж ей не вырваться.

Зияд легонько сжал мою руку и с улыбкой взглянул на меня.

— Завтра я уезжаю,— сказал он,— но скоро вернусь, и начнем готовиться к свадьбе... А ты,— обратился он к Хане,— оставь моего друга в покое!

Мы погуляли еще немного, и Зияд с Гали ушли, растворившись в темноте ночи.

*29 апреля 1973 года*

Хана вернулась домой поздно ночью и долго рассказывала мне о Гали. Говорит, что по уши влюбилась в него.

— Весь мир для меня наполнен теперь соловьями, жасмином и розами,— голос Ханы звенит от радости и волнения.— Я готова умереть от любви, утонуть в ее бурных волнах.

— Клянусь аллахом,— воскликнула я,— ты, кажется, и впрямь влюбилась!

— Я хочу побыть одна,— сказала Хана,— разобраться во всем. Расстаться с ним для меня страшнее, чем умереть. Принеси, пожалуйста, кофе и оставь меня одну!

Я понимала, что ее мучает. Но пока все шло хорошо.

Она тихонько засмеялась и стала рассеянно смотреть в окно, устремив взгляд куда-то в пространство.

*4 мая 1973 года*

Второго и третьего мая ничего не писала — не было времени. В ночь со второго на третье мы легли очень поздно и вскоре проснулись от грохота и стрельбы. С трудом разомкнув веки, я увидела, как Хана распахнула окно.

— Фаджар! Фаджар, проснись,— с тревогой в голосе звала она.— Посмотри, что творится!

Солдаты, громыхая оружием, врывались в дома. Несколько бронетранспортеров и джипов с пулеметами заняли позиции возле магазина кока-колы, как раз напротив Палестинского телеграфного агентства у въезда на Университетскую улицу.

С восходом солнца стрельба усилилась.

— Придется пока оставаться здесь,— сказала Хана,— а при первой возможности уйти в Сабру или в лагерь Шатилла.

— Но мы окружены,— возразила я,— отрезаны со всех сторон.

— Это продлится недолго, не бойся. Они напали внезапно, но все равно своего не добьются.

Хана закурила, сделала одну затяжку и выбросила сигарету в окно.

— Проклятая привычка — курить натощак!

Я приготовила кофе; мы выпили его маленькими глотками. Потом закурили. Хана направилась было к окну, но я удержала ее:

— Не лезь на рожон, дорогая. Лучше пойдем в коридор.

Мы оделись, причесались наспех и вышли в коридор. Подошли еще несколько девушек. Все обменивались новостями, курили. Вдруг одна из девушек заплакала навзрыд.

— Она совсем не умеет владеть собой,— сказала Хана.— И мы, женщины, еще требуем равенства с мужчинами!

— Помолчи, женщины бывают разные,— возразила я.— В Амман я видела мужчин, огромных, с усами, они плакали, как женщины, бледнели от страха, хотя увешаны были оружием и их сопровождала охрана. Глаза бы мои не смотрели.

Как-то раз мы с Зиядом разговорились о мужестве, и он сказал:

— Мужество — это способность подавлять в себе страх. Смерти боится каждый. Но трус робеет перед опасностью, а смелый берет себя в руки и борется. В этом и разница между ними.

Мы долго простояли в коридоре. Взрывы громыхали то рядом, то где-то вдалеке, не умолкая строчили пулеметы. Мы устали, проголодались. Кое-кто улегся прямо на пол, другие дремали стоя, положив голову на плечо подружки. Несколько девушек, озябнув, завернулись в одеяла. Другие ходили взад-вперед и нервно курили.

— Спущусь-ка я вниз,— сказала вдруг Хана,— посмотрю, что там делается.

Она пошла к лифту, а я вернулась в комнату и легла на кровать, но как ни старалась, уснуть не могла. В сентябре, бывало, приходилось бодрствовать по трое суток. Я где-то читала, что невозможно не спать больше трех суток, а я вот смогла. Это было в Джебель Луибде. Шли тяжелые бои. Мы отступали от дома к дому, взбирались на стены. По ночам ребята ходили в боевые дозоры, боролись с армейскими засадами, так что мы продержались там до последнего дня сражения.

Вошла Хана.

— Горит кафе на углу,— сообщила она.— У магазина — разбитая машина. Пока нет солдат, можно перебраться в Сабру. Давай, Фаджар, давай, дорогая, собирайся быстрей.

— Ты отчаянная,— сказала я Хане.

Мы жались к стенам домов и, озираясь по сторонам, перебежками продвигались вперед. Вдруг мы заметили двух убитых солдат и валявшийся посреди улицы автомат. Хана схватила его, оттянула затвор, поставила на боевой взвод и торжествующе посмотрела на меня:

— Ты только взгляни — магазин полон. Не повезло бедняге, даже выстрелить не успел...

Впереди все заволокло дымом. Стрельба не прекращалась.

У входа в Сабру мы увидели Гали с группой бойцов, он отдавал приказания:

— На выстрелы снайперов не отвечать. Заметьте только место, откуда ведется огонь. Они хотят втянуть нас в братоубийственную войну. Через час я вернусь и проверю, как вы тут разместились. Мне надо договориться о взаимодействии с другими группами.

Хана повесила автомат на плечо.

Гали взял ее за руку:

— Как всегда, непонятно, что делать. От нас требуют выдержки, будто мы люди без нервов. Ребята просто в отчаянии. Без конца какие-то соглашения. Потом снова стычки, нас бьют то с тыла, то с фланга; и опять перемирие. Представляешь, те, что оказались тогда, в сентябре, трусами, теперь заправляют всем и в лагерях, и в городских кварталах. О боже, спаси нас от них! К нам являются предста-

вители национально-патриотических сил, хотят скоординировать свои действия с нашими. А ведь это мы должны идти к ним; должны вместе думать, решать сообща, как помочь друг другу. А нас всегда можно застичь врасплох. Попадем в окружение, а потом начинаем рассуждать, как надо было действовать, чтобы этого не случилось...

Прибежал боец из отряда милиции:

— Гали, в Спортивном городке гибнут люди. Нас просто задавили пулеметами. Положение — хуже некуда. Надо что-то предпринимать.

— Минометами там ничего не сделаешь. Может, атаковать их? Но прежде следует нащупать слабые точки в их позициях.

Боец убежал, но вскоре вернулся снова:

— Гали, одна из групп другой организации собирается атаковать Спортивный городок.

— Сумасшедшие! — воскликнул Гали, вне себя от гнева.

Он сорвался с места, побежал и исчез в одном из переулков. Мы бросились следом и вскоре увидели его рядом с командиром группы, собравшейся атаковать Спортивный городок.

— Братья,— говорил Гали,— вы погибнете ни за что. Я отдаю должное вашему мужеству, энтузиазму. Но вас слишком мало. Давайте разработаем план и ударим вместе.

Бойцы согласились с Гали и решили вернуться на прежние позиции. Лишь гранатометчик сказал:

— Вот выпущу один снаряд, а там видно будет.

Он взял гранатомет и укрылся за углом дома.

Едва он прицелился, как мы услышали его крик. Он упал навзничь, прижимая к себе гранатомет. Из груди его хлынула кровь. Над нашими головами засвистели пули. Мы бросились на землю. Начался интенсивный обстрел.

Гали закричал:

— Быстрее отходите! Фаджар, Хана, прячьтесь вон за тот дом!

Хана мотнула головой и упрямо заявила:

— Никуда я не уйду, останусь здесь, с Гали. А ты поступай как знаешь.

— Не гневи аллаха,— рассердилась я.— Если мы хоть немного задержимся, нас убьют! Пошли скорее!

Я поползла за угол дома, на который указал Гали. Хана приподнялась с земли, крикнула:

— Гали, иди сюда! Чего ты ждешь?

— Ложись, глупая! — приказал Гали.— Мне надо выяснить, где у них тяжелые пулеметы и минометы. А ты уходи быстрее!

— Никуда я не уйду,— повторила Хана.— Хоть убей, останусь с тобой!

Вдруг она упала, выронив автомат. Гали бросился к ней:

— Хана!.. Хана! Хана!

...Вместе с другими погибшими ее положили в одном из домов, наскоро оборудованном под пункт первой помощи.

Гали был одержим одной мыслью: ворваться в Спортивный городок.

— Надо немедленно его очистить. Надо атаковать их. Мы не на матче! Пусть знают — и их может настигнуть пуля.

Потом он куда-то исчез, больше я его не видела. На другой день я спросила одного из бойцов — он был вместе с Гали в тот день,— вот что он мне рассказал:

— Гали возглавил штурмовую группу, первым спрыгнул со стены и остался в городке. Я слышал, как он крикнул: бросайте оружие, убийцы, и выходите! Но первым стрелять не стал.— Боец вытер слезы.— Гали погиб, и бой тут же прекратился. Так всегда и бывает.

## 13

Я получил письмо от матери.

«Дорогой сынок,— писала она,— не могу навестить тебя — к нам приехал из Кувейта твой брат с семьей. Да и здоровье у меня стало хуже.

Береги себя. Если встретишь хорошую девушку, женись, я приеду на свадьбу».

Вместе с Фаджар мы вышли из почтового отделения.

— Хана погибла! — сказала Фаджар и замолчала. Потом заплакала.

— Кто еще?! — воскликнул я.

— Гали... Гали тоже погиб...

...Машины выскакивали на тротуары, давя прохожих. Люди гибли без стонов, раздавленные, точно кожура апельсинов, на тротуаре. Деревья горели, деревья тлели, деревья стояли, объятые черным пламенем. С неба падали мертвые птицы. Я видел, как рушились здания, как трескались и рассыпались камни; видел, как надвое раскололся величественный Касьюн и расплавился, растекся и исчезла с лица земли речка Барада!

Откуда-то издалека до меня донесся голос Фаджар:

— Вытри слезы, на тебя люди смотрят.

Она взяла меня за руку и с силой прижала к себе. Мы шли и шли, пока не оказались в лагере перед домом матери Гали. Фаджар постучала. Дверь приоткрылась, и показалась голова его матери. Она не заметила Фаджар, только меня, и обрадовалась:

— Здравствуй, сынок. Заходи.

— Гали уехал,— сказал я женщине.— И, наверно, не скоро вернется.

— Как же так, сынок! Я ведь купила ему тахту и кухонную посуду. Приготовила все к свадьбе.

— Он вернется. Непременно вернется. Не беспокойтесь.

— Мне страшно, сынок,— грустно промолвила мать Гали.— Страшно, вдруг я умру, так и не повидав его. Так страшно: некому будет меня хоронить, никто и не узнает о моей смерти, черви меня сгложут.

Мы попрощались и ушли. Я оглянулся, она смотрела нам вслед. И казалось, будет вечно вот так стоять, в тревоге и ожидании.

Фаджар стиснула мою руку. Мы пошли домой, в лагерь Ярмук. Там мальчишки играли в войну.

Подул ветерок, прядь волос упала Фаджар на лоб.

— Фаджар, мы всегда будем вместе!

— Мы всегда будем вместе, Зияд!

— Я познакомлю тебя со своей матерью.

— А мне кажется, я давно ее знаю. Ты так много о ней рассказывал.

— Если у нас будет сын, мы назовем его Гали.

— А если девочка — Ханой.

У моего дома я обнял Фаджар. От ее волос пахло свежестью. Я поцеловал ее, она подняла на меня глаза:

— Ты плачешь?

Я спрятал голову у нее на груди, и все, что было вокруг, перестало для меня существовать.

■

---

**ШАГАЛЬ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ** (род. в 1925 г.)
Советский переводчик, филолог-арабист, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по проблемам арабского языка, литературы и культуры. Переводил с арабского произведения Нагиба Махфуза, Юсуфа Идриса, Абд-ар-Рахмана аш-Шаркави (Египет), Ханны Мины, Гады ас-Самман, Закарии Тамера (Сирия), Ат-Тайиба Салиха (Судан), Михаила Нуайме (Ливан), Зун Нун Айюба (Ирак) и др.

# МАКС ФРИШ

# *Человек появляется в эпоху голоцена*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ*

*Посвящается Марианне*

Что, если попробовать возвести пагоду из хрустящих хлебцев, ни о чем не думать, не слышать грома, и дождя, и плеска струй из водосточной трубы, бульканья вокруг дома. Пагода наверняка не получится, но ночь пройдет.

Где-то колотят по жести.

С четвертого этажа она всегда начинает шататься; то рука задрожит, пристраивая очередной хлебец, то кашлянешь, когда фронтон уже, собственно, стоит, и все снова рушится...

Господину Гайзеру спешить некуда.

Слухи в деревне ходят самые противоречивые, кое-кто говорит, никакой склон вообще не сдвинулся, просто рухнула старая опорная стена и преградила дорогу, а объезд здесь невозможен. Служащая с почты, которой вроде бы положено это знать, лишь подтверждает, что почтовый автобус не ходит, сама же она со своим всегдашним унылым

© Suhrkamp Verlag, 1979.

**МАКС ФРИШ — MAX FRISCH** (род. в 1911 г.).

Швейцарский писатель, драматург. Его первые литературные публикации относятся к тридцатым годам. С 1944 г. Макс Фриш стал писать для театра. Его пьесы ставились на сценах многих стран мира, в том числе на советской сцене.

«Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством Макса Фриша — драматурга и романиста, опубликовав его пьесу «Бидерман и поджигатели» (№ 5, 1965), романы «Homo Faber» (№ 4, 1966), «Назову себя Гантенбайн» (№ 4, 5, 6, 1975). На русский язык переведены также роман «Штиллер» и выдержки из «Дневника 1946—1949» («Вопросы литературы» № 5, 1971, с. 144—183).

В семидесятые годы М. Фриш опубликовал автобиографическую повесть «Монток» («Montauk», 1978), пьесу «Триптих» («Triptichon», 1975), дневники и предлагаемую читателям повесть «Человек появляется в эпоху голоцена» («Der Mensch erscheint im Holozän», Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1979).

видом сидит за своим окошком в обычные часы и продает марки, принимает пакеты, неторопливо кладет их на весы и штемпелюет. Предполагают, что федерация и кантон делают все возможное, чтобы восстановить дорогу. В случае необходимости сюда направят вертолеты, если не будет тумана. В деревне никто не верит, что средь бела дня или как-нибудь ночью целая гора сдвинется и навсегда погребет под собой деревню.

Где-то колотят по жести.

Пагоды не получилось, зато настала полночь.

Началось это на прошлой неделе в четверг, еще можно было сидеть на воздухе, душном, как перед грозой, комары кусали даже через носки, зарницы не сверкали, но вдруг стало как-то неуютно. Исчезли птицы. Гости, молодые супруги, остановившиеся по пути в Италию, внезапно решили уехать, хотя могли ночевать в доме. Туч, в сущности, не было, только желтая дымка, как перед песчаной бурей в пустыне; никакого ветра. Лица тоже казались желтыми. Гости вдруг так заторопились, что даже не допили вина из бокалов, хотя грома еще и не слышно было. Ни одна капля не упала. Лишь на следующее утро зарокотало за окнами, зашумела листва каштана.

И уже ни одна ночь не проходит без грозы и ливня.

Время от времени пропадает электричество — дело привычное в этой долине; только найдешь свечу или нашаришь наконец спички, как электричество снова появляется, вспыхивает свет в доме, а гром все грохочет.

Страшна не гроза...

Двенадцатитомная энциклопедия, «Большой Брокгауз», объясняет происхождение молнии и различие между молнией линейной, шаровой, жемчужной и т. д., в то время как о громе там не много чего узнаешь; между тем, если не спишь, в течение ночи можно различить по меньшей мере девять видов грома:

1. просто гремящий гром;

2. заикающийся, или клохчущий, гром; как правило, он раздается после продолжительной тишины над всей долиной и может длиться несколько минут;

3. перекликающийся гром, пронзительный, как удар молотком по листовой жести; он распространяет дрожащее, вибрирующее эхо, более громкое, чем сам удар;

4. раскатистый, или громыхающий, гром; он сравнительно приятен, напоминает катящиеся бочки, которые стукаются одна о другую;

5. барабанный гром;

6. шуршащий, или гравийный, гром; он начинается с шуршания, словно вагонетка вываливает кучу мокрого гравия, и кончается глухим стуком;

7. кегельный гром; словно катящийся шар попадает в кеглю и швыряет ее на другие кегли, раскидывая их в разные стороны; по всей долине разносится короткое сумбурное эхо;

8. нерешительный, робкий гром (без вспышек молний за окном) указывает на то, что гроза перемещается в сторону гор;

9. взрывной гром (сразу же после вспышки молнии за окном) наводит на мысль не о столкновении твердых масс, напротив: огромная масса разламывается пополам и распадается на обе стороны, дробясь на много частей; после этого дождь превращается в ливень.

Время от времени снова пропадает электричество.

Потерять память — вот что было бы страшно...

Например, чего господин Гайзер не забыл: теорему Пифагора. Ему даже незачем тащить из-за нее на стол энциклопедию. А вот как с помощью циркуля и угольника получить золотое сечение (А относится к В, как А+В к А,— это мы знаем), он вспомнить не может. Конечно, когда-то он это знал.

Нет памяти — нет и знаний.

Сигнального гудка из долины все еще нет.

От полевого бинокля в эти дни никакого толку, крутишь наводку туда-сюда, но четкого контура так и не находишь; бинокль лишь сгущает туман. Простым же глазом видишь только водосточную трубу, ближайшую ель на дворе, два уходящих в туман провода, медленно скользящие по проводам капли. Если взять зонт и потащиться во двор, чтобы оглядеться сквозь дождь и туман, то за сотню шагов уже не видишь собственного дома, только кусты ежевики в тумане, ручейки, папоротник в тумане. В нижнем саду рухнула небольшая стена (сухой кладки) — обломки засыпали салат, глиняные лепешки валяются под кустами томатов. Возможно, это случилось несколько дней назад.

Томаты бывают и в банках.

Лаванда цветет и в туман: без запаха, как в цветном кинофильме. Спрашивается, что делают пчелы в такое лето.

Запасов в доме достаточно:
три яйца
суповые концентраты
чай
уксус и растительное масло
мука
лук
банка маринованных огурцов
тертый сыр
сардины, одна коробка
хрустящие хлебцы, пять пакетов
чеснок
малиновый сироп для внуков
анчоусы
лавровый лист
манка
соленый миндаль
спагетти, один пакет
оливки
один лимон
мясо в морозильнике

Днем опять ударил гром, вслед за ним пошел град. Белые крупинки, иные величиной с лесной орех, танцуют на гранитном столе, газон в несколько минут побелел, господин Гайзер стоит у окна и беспо-

мощно смотрит, как изрешечиваются виноградные листья, как гибнут розы...

Ничего другого не остается, кроме как читать.

(Романы в эти дни вообще не годятся: там речь идет о людях и их отношении к себе и к другим, об отцах и матерях и дочках или сыновьях и возлюбленных и т. д., о душах, главным образом несчастных, и об обществе и т. д., словно почва для этого раз и навсегда обеспечена, высота уровня моря раз и навсегда отрегулирована, земля остается землей.)

Сигнального гудка из долины нет.

По-видимому, дорога все еще перекрыта.

Когда дождь временами ослабевает — не перестает полностью, но редеет, неслышно падает на крышу, идет, будто беззвучно штрихует темноту перед ближайшей елью,— тогда тишина все равно не наступает, напротив, только теперь и становится слышно, как журчат ручьи в долине; должно быть, там повсюду ручьи, много ручьев, раньше столько не было. Во всей долине беспрерывное журчание.

**Сотворение неба и земли**
**(гл. 1; 1 Пс. 88, 12—13)**

*В* начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.

Господин Гайзер задается вопросом: будет ли бог, когда не будет больше человеческого мозга, который не мыслит себе творения без творца.

Сегодня среда.

(Или четверг?)

То, что находится в распоряжении господина Гайзера в эти дни, когда работать в саду невозможно, библиотекой не назовешь; Эльзбет читала главным образом романы — классические и всякие другие, господин Гайзер предпочитал специальную литературу («Ярче тысячи солнц»); он много раз перечитывал судовой журнал Роберта Скотта, замерзшего на Южном полюсе, до Библии же давно не дотрагивался. Кроме двенадцатитомной энциклопедии здесь имеются: пособия по садоводству, книга о змеях, история кантона Тессин, швейцарская энциклопедия, иллюстрированные издания для внуков («Мир, в котором мы живем»), словарь иностранных слов Дудена и книга об Исландии, где господин Гайзер побывал тридцать лет назад, местные географические карты, туристские справочники с геологическими, климатическими, историческими и т. п. сведениями о местности.

## I ГЛАВА

### Тессинская местность в древние времена. Первые жители

**В стародавние эпохи геологической древности и средневековья территория нынешнего кантона Тессин время от времени затоплялась глубоким морем, раскинувшимся между двумя древними континентами на Севере и**

Юге. В этом океане образовались мощные пласты осадочной породы, которые наслоились на кристаллические отложения морского дна.

Как только эти части земной коры поднялись над уровнем моря, в действие вступили природные силы выветривания и эрозии и начали свою работу по сносу и формовке. В то время как морозы и ветры обрабатывали каменистые массы, превращая их в горные гребни, вода и глетчеры врывались в складки и выкраивали первые долины. Но эти процессы происходили не одновременно, а в разные, отдаленные друг от друга периоды. Это мы без труда узнаем по бесчисленным, параллельно бегущим вдоль склонов долины террасам, которые когда-то, по всей вероятности, образовывали более высоко расположенное дно долины.

Глетчеры были гораздо более мощными в центральных долинах, чем в **боковых**, и русла рек там глубже, чем русла притоков. Поэтому подошвы боковых долин лежат выше, чем подошвы центральных долин, а боковые притоки вливаются в центральные реки через крутой ярус. Этим объясняется наличие множества **водопадов**, которые придают, например, Тессинской долине первобытно-романтический характер.

Зато о людях, населявших страну в **железный век** (примерно 800 — 58 д. р. Хр.), мы знаем больше. Предметы, найденные при раскопках могильников самого раннего железного века, так. наз. лигурийского периода, с одной стороны, и названия местностей, рек, лесов — с другой стороны, указывают на то, что в те времена Тессинскую территорию населяли лигурийцы. Из истории мы знаем, что **лигурийцы** в глубокой древности обитали не только в сегодняшней Лигурии, но и в долинах Западных Альп, где расположена и территория сегодняшнего Тессина.

Наконец, необходимо упомянуть еще о многочисленных **обвалах** в горах, которые происходили после отступления глетчеров, ибо они в немалой степени определили нынешний облик многих местностей Тессинского кантона.

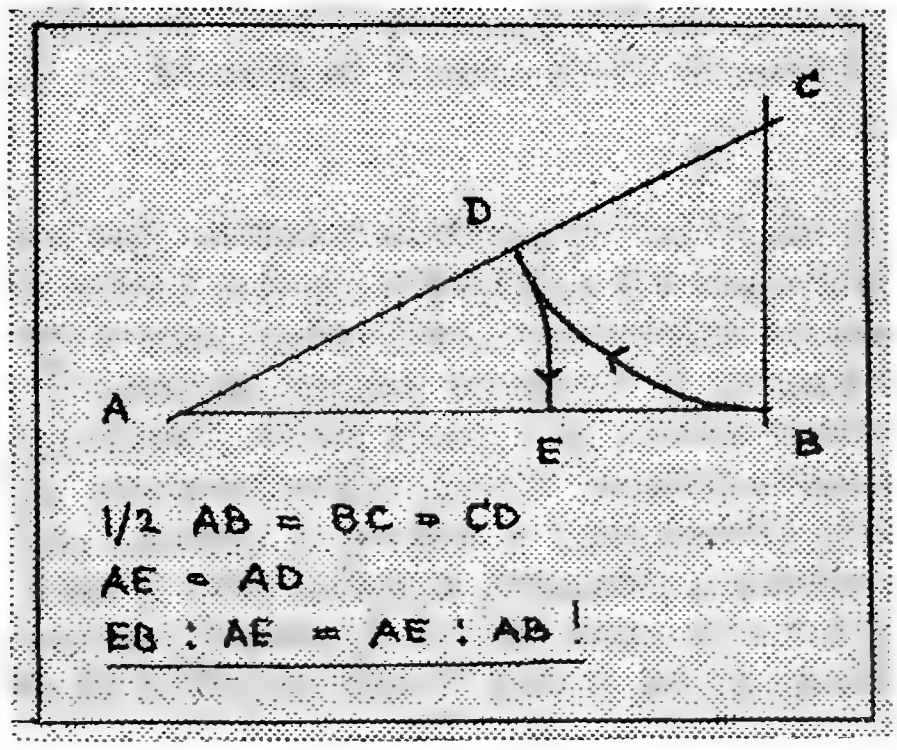
Согласно преданию, Геркулес повел народ через Альпы в Испанию и затем в Африку. При переходе через покрытые толстым слоем снега альпийские перевалы арьергард отстал. Многие воины замерзли, а остальные не смогли догнать продвинувшийся вперед главный отряд. Поэтому они не стали двигаться дальше, а осели в местностях, прилегающих к Альпам. Название «лепонтийцы» и означает «отставшие». Из совершенно достоверных источников, а именно — от римского естествоиспытателя Плиния Старшего (23—79 п. р. Хр.) и от Юлия Цезаря (100—44 д. р. Хр.), мы знаем, что лепонтийцы, чье название со временем распространилось на целый ряд других племен, действительно заселили оба склона Сен-Готарда.

Впрочем, нельзя сказать, что из долины не слышно сигнальных гудков; просто не приходит почтовый автобус, и потому не хватает его трехкратного гудка; шумные грузовики, которые обычно возят квадры и плиты гранита, тоже не ездят; но дальше по дороге, за тем местом, где она перекрыта, грохочут мотоциклы.

Только что был слышен сигнал.

В энциклопедии поясняется, как с помощью циркуля и угольника получить золотое сечение, но даже если бы в доме и не было циркуля и угольника, господин Гайзер знает, как выйти из положения: берется канцелярская кнопка, к ней прикрепляется шпагат, к другому концу шпагата привязывается карандаш — на худой конец и это циркуль.

в настоящий момент господину Гайзеру золотое сечение ни к чему, но самый факт, что он это знает, успокаивает.




Небольшой оползень в саду (обломки в грядках салата) за ночь не расширился. Насколько господин Гайзер может рассмотреть в предрассветных сумерках, ничто больше не оползло, во всяком случае в его саду. Серая глина под еще несозревшими томатами вязкими комьями налипает на лопату. Впрочем, салат все равно уже не спасти, хотя господин Гайзер и пытается без лопаты, на коленях, голыми руками убрать из него обломки; заделывать же небольшую стену сейчас не время. Это потребует нескольких дней работы. Уже через час вымокаешь до нитки, несмотря на плащ и шляпу.

Вертолета не слышно.

Если обвалилась небольшая стена сухой кладки, собственноручно возведенная пенсионером, который за свою жизнь сделал и немало чего другого, это еще вовсе не означает, что сразу поползет и весь склон. Возможно, кое-где и появились ручейки и комья глины, так всегда бывает при многодневных дождях. Возможно, на том или ином крутом склоне с корнем вырвало дерево, старую ель или трухлявый каштан, и ствол его свисает с растерзанной кроной, черные корни торчат, растопыренные в воздухе, и обнажилась скальная порода, гнейс или сланец, а то и нагельфлю.

**В ночь с 30 сентября 1512 года (как раз в то время, когда герцог Миланский вел переговоры со швейцарцами об уступке Лугано и Локарно) совершенно неожиданно на Понтиронскую долину двинулась лежащая над Биаской вершина Монте Кренона, и оползающие скальные лавины погребли множество домов вместе с их жителями, а с противоположных склонов гор тоже обрушились мощные пласты земли и засыпали деревню Кампо Баргиньо в Бал Каланке.**

**Лишь спустя три столетия (с 1812 до 1815 г.) был заново построен снесенный во время той катастрофы мост Тичино. Не без изумления видишь из уголка «бюццы» под Биаской вздымающуюся над скалами и зарослями дрока колокольню церкви в Лодерио. Эта диковинная руина вызывает воспоминание о другом великом несчастье, которое еще живо в памяти нынешнего поколения, а именно наводнении 1868 года, которое затопило церковь в Лодерио, разрушило все мосты и посеяло ужас и смерть в Мальвалье, Семионе, Донжо и особенно в Корцонезо. В ночь с 27 сентября на Кумиаску, часть общины Корцонезо, совершенно неожиданно низвергся стремительный поток, который полностью разрушил селение и унес**

**восемнадцать человеческих жизней. Следует заметить, к чести рода человеческого, что вся Европа потрясенно внимала сообщениям о тяжких бедствиях, причиненных наводнениями в Бленио, в Левентине, в Верцаске и Валлемаджи. В помощь пострадавшим было собрано два миллиона франков. Папа Пий пожертвовал многие тысячи лир, император Наполеон — двадцать тысяч франков, великий герцог Баденский — десять тысяч.**

**23 марта 1851 года, после не прекращавшегося три дня снегопада, огромные лавины с неслыханной стремительностью ринулись с вершин окружающих гор и, избрав совершенно необычные направления, обрушились на злополучную местность и погребли девять жилищ. При этом погибли двадцать три человека и свыше 300 голов скота. Лавиццари пишет: «Едва лишь растаяли роковые снежные массы, уничтожившие их стада, жилища и родственников, как оставшиеся в живых с новыми силами принялись отстраивать свои хижины в Коццере, подобно тем, у кого пламя Везувия разорило родной край и кто, едва только чудовище закрыло огнедышащую пасть, опять уже думает о том, чтобы заново возвести на еще не остывшей лаве свое жилье».**

Вчера ночью были видны звезды, правда немного, на несколько минут даже показалась луна посреди плывущих туч, в нижней долине повисли облака белесого тумана, мокрые скалы наверху местами блестели как фольга, и луна над черным лесом казалась как никогда ясной...

Сегодня вокруг дома опять булькает.

Но по крайней мере нет снегопада.

Рюкзак стоит в прихожей, кожаный водонепроницаемый рюкзак,— господин Гайзер купил его в свое время в Исландии; господин Гайзер подумал обо всем: там паспорт, перевязочный материал, карманный фонарь, смена нижнего белья, смена носков, йод, маленькая чековая книжка, аспирин, миротон (против сердечной слабости), компас и лупа, чтобы удобнее было читать географическую карту, Carta Nazionale della Svizzera 1 : 25000, Foglio 1312 и 1311, хотя господин Гайзер прекрасно понимает, что бегство через горы (в Италию) было бы чистейшим безумием. Будь он молод, еще можно было бы отважиться на подобное. Горная тропа в долину, которой господин Гайзер ходил много лет назад, сейчас, наверное, размыта ручьями с наносами, опасна для жизни — уж это господин Гайзер знает.

Сегодня среда.

Немецкий отпускник, профессор астрономии, много знает о солнце, и если задавать ему вопросы, он не без удовольствия беседует и с дилетантом. Потом убираешь чашки, благодарный за короткое посещение; господин Гайзер примерно понял, что такое протуберанцы, которые, кстати говоря, не имеют никакого отношения к погоде на земле, а супруга астронома привезла с собой полную кастрюлю супа, рисового супа с овощами по-итальянски,— его разогревают и едят. После таких визитов по крайней мере знаешь, что ты не сошел с ума: оказывается, не ты один считаешь, что дождь льет без конца.

**17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. 18 Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле; и ковчег плавал по поверхности вод. 19 И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. 20 На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. 21 И лишилась**

**жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, 22 Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 23 Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли: остался только Ной, и что́ было с ним в ковчеге. 24 Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. Гл. 7.**

Господин Гайзер не верит во всемирный потоп.

Цюрихский пастор Х. Р. Шинц с сентября 1770 года до сентября 1771 года провел интересные наблюдения: ясных дней в Локарно — 204, в Цюрихе — 61; дождливых дней в Локарно — 60, в Цюрихе — 109.

**«Таким образом, преимущества, свойственные прекрасным климатам дальних стран, соединяются здесь в такое гармоническое целое, какого не найдешь нигде больше в нашей части света».**

Как уже отмечалось, Локарно обладает превосходным **климатом.** По своей среднегодовой температуре (11,6°) Локарно самая теплая из всех швейцарских метеорологических станций.

Еще недавно, в июне, было безоблачно, трава высохла и пожелтела; когда господин Гайзер однажды взялся в шесть часов утра за косу, солнца не было видно, только на вершинах и гребнях гор лежал его свет, долину же покрывала синяя тень; но в начале восьмого на косе вдруг сверкнул солнечный луч, стало жарко, откуда ни возьмись появились комары, ящерицы, бабочки — лето как лето, с вечерними зарницами, никакого дождя, разве что несколько капель, следующее утро снова голубое и жаркое, белые кучевые облака сухие, как вата. Целые недели запрещено было пользоваться садовым шлангом, земля посерела и потрескалась. Небольшой ручей за церковью высох, обнажив каменное ложе.

**Необычайные наводнения с наивысшим уровнем воды, вызванные непрекращающимися дождями, имели место в 1764 году (6,20 м над нулевой точкой), в 1807, 1812, 1817, 1824, 1829, 1834, 1840, 1855, 1868 и 1907 гг.; наиболее катастрофические в XIX веке пришлись на годы 1807, 1829, 1834, 1840 и особенно на 1868 год (3—4 октября, 7 м над нулевой точкой).**

**Историограф Рауль сообщает о произошедшем в XII веке (в 1177 году) наводнении, при котором уровень воды превысил нормальный на 10,8 м.**

Прежде господин Гайзер знал, как возникают приливы и отливы, вулканы, горные кряжи и т. д. А вот когда появились первые млекопитающие? Всякую всячину знаешь: сколько литров вмещает бак для жидкого топлива и когда отправляется первый почтовый автобус, если дорога не перекрыта, и когда последний. А вот когда и каким образом возник человек? Триасовый период, юрский период, меловой и т. д.— ни малейшего представления, сколько миллионов лет длились те или иные эры земли.

Из животных в **триасовый** период широкое распространение получили аммониты и белемниты, амфибии и особенно рептилии, в т. ч. крупных форм, как, напр., давно вымершие динозавры. Из малых форм сюда относятся млекопитающие (см. Триасовая формация) и птицы (см. Юрская формация). Со времен **юрского** периода обнаруживается явственное разделение на климатические зоны. Растительный мир, опережая в своем развитии животный мир, обнаружил уже в верхнепермский период мезозойские признаки. В **меловой** период (см. Меловая формация) он обогатился за счет лиственных деревьев. В верхнемеловой период начали образовы-

ваться нынешние материки; а в мезозойские геосинклинали началось альпийское горообразование, достигшее своей высшей точки в начинающуюся **кайнозойскую** эру (**неолит;** см. Кайнозойская формация). В **третичный** период (см. Третичная формация) класс млекопитающих достиг большого многообразия видов, в то время как многие рептилии, аммониты и др. исчезли. В верхнетретичный период условия, в том числе и климатические, уже больше приблизились к нынешним; однако **четвертичный** период (ледниковый) наложил свой отпечаток на значительные части земной поверхности. Согласно прежним воззрениям во времена плейстоцена появился человек (палеолит); геологич. история современности развертывается в **голоцене.**

Господин Гайзер отчеркивает своей шариковой ручкой то или иное заслуживающее внимания место в книгах, но этого недостаточно; уже через час оно с трудом вспоминается; в особенности имена и даты вылетают из головы: господину Гайзеру приходится собственноручно выписывать на листках то, чего он не хотел бы забыть, и прикреплять эти листки на стену, благо кнопок в доме достаточно.

| | | |
|---|---|---|
| КЕМБРИЙ | 100.000.000 | ЛЕТ |
| СИЛУР | 70.000.000 | |
| ДЕВОН | 80.000.000 | |
| КАРБОН | 75.000.000 | |
| ПЕРМ | 75.000.000 | |
| ТРИАС | 80.000.000 | |
| ЮРА | 70.000.000 | |
| МЕЛ | 20.000.000 | |
| ТРЕТИЧНЫЙ | 60.000.000 | |
| ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ | 1.000.000 | |

Из тех писем, что господин Гайзер написал с воскресенья, два уже устарели, ибо сообщение о том, что склон сдвинулся, оказалось ложным, а третье письмо, письмо к дочери в Базель, окажется нелепым, если завтра или послезавтра снова начнет курсировать почтовый автобус; там есть фразы наподобие тех, которые Роберт Скотт записал на своем последнем биваке.

Между тем всего-навсего идет дождь.

Можно включить телевизор — Televisione Svizzera Italiana, хотя прием неважный; в Лондоне разыгрывается теннисный матч, четко видны тени игроков на газоне, потом вдруг экран начинает рябить, а когда господин Гайзер принимается крутить ручки, изображение вдруг пропадает, звук остается, гремят аплодисменты, а изображение то медленно, то быстро скользит вверх или вниз, пока наконец его не сменяют судорожно мелькающие черные и белые полосы.

В Лондоне светит солнце.

Собственно говоря, ничего страшного не может случиться, даже если дождь будет идти в течение недель, месяцев; деревня лежит у подножия горы, вода стекает, слышно, как она булькает вокруг дома.

Сегодня по крайней мере нет тумана...

Долину, похоже, не затопило.

Плита не нагревается...

Озеро, рыжее от глины озеро, мало-помалу заполняет долину... По мере того как уровень воды в нем изо дня в день поднимается, это безымянное озеро сливается с вздымающимися озерами других долин, пока Альпы не превращаются всего лишь в архипелаг — группу островов из скал и глетчеров, нависающих над морем... Нет, такое невозможно себе представить.

В Лондоне светит солнце.

Собственно говоря, господин Гайзер не испытывает голода, и потому не так уж важно, что суп, рисовый суп с овощами по-итальянски, который привезла на днях супруга астронома, нельзя разогреть...

Вероятно, во всей деревне нет электричества.

В холодильнике еще не воняет, но масло растаяло и потекло — по-видимому, тока нет уже довольно давно. Сыр запотел. Хоть есть и не хочется, одним глотком проглатываешь последнее сырое яйцо — не без отвращения, поскольку оно теплое.

Все предохранители в порядке.

Когда дождь идет долго, вода в погребе неизбежна; выложенный щебенкой пол отсыревает, потому что снизу напирает вода, сбегающая со склона.

Бойлер тоже вышел из строя.

Дров в доме достаточно.

Когда дорога не перекрыта из-за непогоды, до Базеля можно добраться за пять часов, до Милана — за три, ближайшая аптека в получасе ходьбы...

Не на краю света живем!

(— как обычно говорила Эльзбет.)

К счастью, в вышедшем из строя морозильнике не так уж много продуктов: три шницеля, фарш для начинки, одна отбивная, шпинат в пачках, рулет для жарки на случай приезда гостей, малина в пачках, две форели, пять колбасок для жарения. Пачки уже сочатся зеленоватой и красноватой жижей. Мясо, обычно звонко-твердое, одрябло, форели осклизли, колбаски размякли, как улитки. Как известно, оттаявшие продукты нельзя вторично замораживать, это знает и господин Гайзер,— раздумывать тут нечего: надо уложить все в сумку и раздарить в деревне, чем скорее, тем лучше.

На беду дождь опять льет как из ведра.

Местные жители тоже сидят без электричества, но они уверены, что это ненадолго, что в любой момент оно может появиться...

Башенные часы стоят.

Даже старик Этторе, каменщик-поденщик, всю жизнь работавший на укладке опорных стен — как общественных, так и частных,— не верит всерьез, что когда-нибудь вся гора может сместиться; он лишь ухмыляется сквозь свою белую щетину. В деревне все очень любезны и благодарят за мясо; всякого, кто родился не в их долине, они, в сущности, считают богачом или чокнутым.

Il Professore di Basilea [1],

— так они называют господина Гайзера, потому что он всегда, выходя из дома, надевает галстук; при этом они точно знают, что господин Гайзер никакой не профессор, а кем он был раньше — обозначено в налоговой квитанции.

Che tempo, che tempo ! [2]

Вот и все, что они могут сказать.

Когда солнце сияет на ее гранитных крышах, когда вода не хлещет из водосточных труб, когда старая каменная стена не мокра, когда нет луж и повсюду не капает и не булькает и подсолнухи не стоят с поникшими головами, когда ее колокольня высится в голубом небе, когда журчит только родник, когда ходишь не по прорытым дождем канавам, когда горы вокруг не серы — деревня очень живописна.

Сегодня ни одна собака не лает.

Только вернувшись домой с пустой сумкой, поставив мокрый зонт в прихожей, сняв промокшие ботинки, господин Гайзер спохватывается: он ведь и сам мог бы поджарить мясо в камине, по крайней мере рулет, который можно есть и холодным.

Ну и дурак же!..

Даже в обычное время ночью не много видно огней: два уличных фонаря (зимой пять, ибо их не закрывает листва) и несколько светящихся окошек в деревне, да в ясную погоду слабый свет одинокого крестьянского двора у склона напротив; теперь же во всей долине ни единого огонька.

В КОНЦЕ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА УРОВЕНЬ
МОРЯ БЫЛ НИЖЕ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ
НА 100 МЕТРОВ

БЫТЬ ГОТОВЫМ — ВОТ ЧТО ВАЖНО

СКОРОСТЬ МОЛНИИ:
100.000 КМ В СЕКУНДУ
СИЛА ТОКА В МОЛНИИ:
ОТ 20 ДО 180.000 АМПЕР

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ЖИВОТНЫХ,
ДЕРЕВЬЯ, КАМНИ И Т.Д.
СМ. МЕТАМОРФОЗА (МИФОЛ.)

КАМЕННЫЙ ВЕК: 6000 - 4000 Д.Р. ХР.
НЕОЛИТ: ДО 1800 Д.Р. ХР.

---

[1] Базельский профессор *(итал.)*.
[2] Ну и времена, ну и времена! *(итал.)*

Дальнейшие виды грома:
10. кряхтящий, или реечный, гром; короткий и четкий треск, словно ломают деревянную рейку, затем протяжное или короткое крякание; с реечного грома, как правило, начинается гроза;
11. тараторящий гром;
12. подушечный гром, у него точно такой же звук, как если бы хозяйка ладонью хлопала по подушкам;
13. ползучий гром; начало его заставляет ожидать громыхающего или барабанного грома, но еще до того, как задрожат окна, его рокот сползает на другую сторону долины, где он, так сказать, закашливается;
14. трещащий гром;
15. визжащий, или бутылочный, гром, часто он нагоняет больше страху, чем взрывной гром, хотя не заставляет дрожать окна, он относится к неожиданным громам: молнии ты не видел, но внезапно раздается пронзительный звон, словно кто-то сбросил с лестницы ящик с пустыми бутылками;
16. шепчущий гром
и т. д.

Дело еще не дошло до того, чтобы господин Гайзер разговаривал с кошкой, когда она трется об его штанины. Она уже получила последние сардины и последнее консервированное молоко; но оно-то ей и не понравилось, и вот она уселась посреди комнаты и ждет, прищурив глаза. Видимо, она ничего не нашла во дворе — ни птички, ни даже ящерицы. Анчоусы для нее слишком солены. Если господин Гайзер берет ее за шкирку (кошкам это не больно) и сажает в погреб, чтобы половила там мышей, она до тех пор мяукает за закрытой дверью, пока господин Гайзер ее не выпустит. И она сразу же начинает опять тереться об его штанины. Она просто не может понять, что мяса больше нет.

Конечно, телевизор тоже не работает.

Никакого представления о том, что происходит в мире.

Последние известия, которые господин Гайзер успел услышать, были плохими: как обычно, о покушениях, безработице, время от времени об отставке какого-нибудь министра, но надеяться на то, что сегодня известия были бы хорошими, собственно, не приходится; тем не менее чувствуешь себя спокойнее, когда изо дня в день знаешь, что творится в мире.

Работать в саду невозможно.

Нельзя же целый день читать.

Церковный колокол, который звонит в семь часов утра и в шесть вечера, можно привести в движение ручным способом, что, как всегда, и делает старый Феличе; чем старше он становится, тем короче звон...

А вот часы, напротив, перестали бить.

Ничего другого не остается, кроме как читать.

Собственно говоря, господин Гайзер никого не ждет; тем не менее кто-то ведь может подойти к двери дома. Без электричества звонок, конечно, не работает, и следует прикрепить к двери записку, а еще лучше — кусок твердого картона:

Sono in casa![1]

А может быть, правильнее —

Sono a casa.

(Эльзбет наверняка бы правильно написала.)

Пожалуйста, стучите!

Я дома!

Или деловито:

Campanello non funziona[2].

Ну, вот и это сделано.

А полдень все еще не наступил...

Вообще-то господин Гайзер не принадлежит к той породе людей, которые скучают, если перестают руководить фирмой, если целый день не звонит телефон; когда живешь один, всегда найдется что делать и о чем подумать.

Энциклопедия тоже не всегда все знает.

**Наилучшую защиту от удара молнии людям предоставляют дома, снабженные громоотводом. На открытом воздухе рекомендуется сторониться деревьев (всех видов!), заборов и металлических ограждений. Верную защиту от ударов молнии (опасная зона — до 40 м) вследствие проводимого землей тока дают плашмя лежащие на земле или врытые в землю металлические сетки или металлические предметы.**

Голод не предвидится. Правда, запасы маленького продуктового магазина в деревне невелики: соль, разрыхлитель теста, лук, лимонад, стиральный порошок, чай, крендельки и т. д.; масла больше нет, яиц тоже, молока нет даже консервированного. По-видимому, люди начали запасаться продуктами. К счастью, спички есть. По одной коробке на покупателя! Мяса в лавчонке никогда не бывало, за исключением копченого сала, а его уже раскупили Мясо в консервных банках, которое господин Гайзер вообще-то не любит, тоже распродано. Кошек в этих местах едят очень редко.

Che tempo, che tempo!

Маленькая столярная мастерская за деревней еще работает, мокрые опилки вокруг нее похожи на чаинки; здесь никогда не бывает особенно оживленно, пила слышна далеко не каждый день.

Сейчас почти нет дождя.

Там и сям на асфальте лепешки глины, ручейки, но осколков камня нет. Желтый снегоочиститель на том же месте, где он всегда стоит летом. В асфальте трещин нет — это успокаивает господина Гайзера. По дороге он встречает голландскую семью в голубоватых непромо-

[1] Я дома! *(итал.)*.

[2] Звонок не работает *(итал.)*

каемых накидках, лица бледные, но веселые. Они не здороваются. У них здесь свой летний дом, четыре недели реет голландский флаг, даже в дождь. На собаке тоже голубоватая непромокаемая накидка. Больше никто не встречается по дороге. На строительной площадке работа прекращена, поскольку рабочие из Новары не явились; в подвале плавают доски; мешки с цементом валяются в луже; парусину, которая укрывала их от дождя, ветер унес.

А вот у господина Гайзера с собой зонт.

Жаль только, бинокль забыл.

Такое уже было однажды: в 1970 году часть дороги за деревней сместилась, на следующее утро над ущельем повисли согнутые железные перила, и все лето из-за ремонта движение было нарушено, но не прекращено. Подобного рода сдвиги в этой местности не редкость...

Встретил по дороге трех промокших овец.

Почему господин Гайзер, гражданин города Базель, поселился в этой долине — вопрос праздный; господин Гайзер сделал это — и все.

Стареешь-то всюду.

Иной раз господин Гайзер останавливается как вкопанный: этот мрачный рокот из ущелья — но железные перила рядом. Когда можно идти без раскрытого зонта, когда нет этих луж на каждом шагу, когда не капает с каждой ели, и деревья на противоположном склоне не черны, и горы не затянуты тучами, когда можно работать в саду, и летают бабочки, и жужжат пчелы, и кричит сыч, когда можно стоять с удилищем над ручьем, и ты здоров, то есть доволен, хотя за весь день ничего не поймал, и когда дорога не перекрыта, так что трижды в день можно покидать долину,— долина очень живописна; иначе сюда не приезжали бы из лета в лето немцы и голландцы.

Соседняя деревня тоже цела.

И здесь тоже лужи...

На улице ни одной собаки...

Почта открыта, но господину Гайзеру не нужно отправлять писем, и у мужчины за окошком нет новых сведений, только лишь надежда; при этом он смеется.

Ristorante della Posta: [1]

красные столики перед ним блестят от влаги; грузовик, которому отрезан путь в долину, тоже блестит, с него капает; он целую неделю стоит, нагруженный пустыми бутылками:

Birra Bellinzona [2].

Башенные часы здесь тоже остановились.

Лавка, где господин Гайзер хотел купить спички, закрыта, звонок не работает, но спички можно купить и в трактире; чтобы опрокинуть

---

[1] Ресторан у почты *(итал.)*.
[2] Пиво Беллинцоны *(итал.)*.

рюмку шнапса и, расплачиваясь, справиться, какой сегодня день недели, садиться незачем.

Почему хозяин так приветлив?

Значит, сегодня суббота —

только это и хотел знать господин Гайзер.

Когда сидишь на воздухе, еще ничего, а в помещении совсем тоска; за столиками — несколько человек, они разговаривают, но ничего нового. Неудачный год для винограда, даже для грибов лето слишком сырое. Никто не ждет всемирного потопа. Местные парни, которые не могут ездить на работу в долину, видимо, целый день щелкают на автомате. За второй рюмкой шнапса — поднес хозяин! — вечера тоже не скоротаешь. Парни шумно забавляются: их совершенно не волнует эрозия, делающая свое дело за стенами трактира.

В ГОДЫ С 1890 ДО 1926 МАДЖА СНОСИЛА В ДЕЛЬТУ В СРЕДНЕМ 550 000 КУБОМЕТРОВ ОБЛОМКОВ ПОРОДЫ, ЭТО ЗАПОЛНИЛО БЫ 55 000 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ! (См. Эрозия.)

Настругать корзину щепок, отнести ее в гостиную, разжечь огонь в камине, ведро за ведром наносить горячую воду в ванну, не споткнувшись на лестнице, ведро за ведром вылить ее в ванну, которую и за полчаса не наполнить даже наполовину, вода все время остывает, и когда, наконец, ее наберется достаточно, чтобы принять ванну, она едва теплая. Да и другие неприятности...

Небольшая квартира в Базеле была бы удобней.

Зачем господин Гайзер пошел в соседнюю деревню? Ведь не шнапсу же выпить, а спички купить, спички про запас, и вот просидел в трактире, а спичек не купил.

По-видимому, мозговые клетки отказывают.

Опаснее, чем обвал стены, была бы трещина в почве, поначалу узкая трещина, шириной в ладонь, но трещина...

(Так начинаются оползни, причем такие трещины возникают беззвучно и могут неделями не расширяться или расширяться лишь чуть-чуть, а потом внезапно, когда ничего не ждешь, весь склон под трещиной смещается и увлекает за собой лес и все, что не относится к скале.)

Нужно быть готовым ко всему.

Какое-то мгновение из окна действительно казалось, будто через весь двор проходит трещина шириной в ладонь...

Бинокль тоже может обмануть.

Когда господин Гайзер вышел на мокрый двор, чтобы узнать, к чему надо быть готовым, оказалось, что в высокой траве пролегал след кошки шириной в ладонь.

Август — а уже появились безвременники.

Огромная трещина в скале, почти вертикально вздымающейся за деревней в серые облака, возникла не сегодня и не вчера; в ней растут ели. Это трещина времен седой старины. На человеческой памяти в этой долине не бывало такого, чтобы засыпало деревню, а там, где когда-то обвалились скалы и засыпали несколько хлевов, там больше ничего не строили. Местные жители знают свою долину.

А что показывает бинокль?

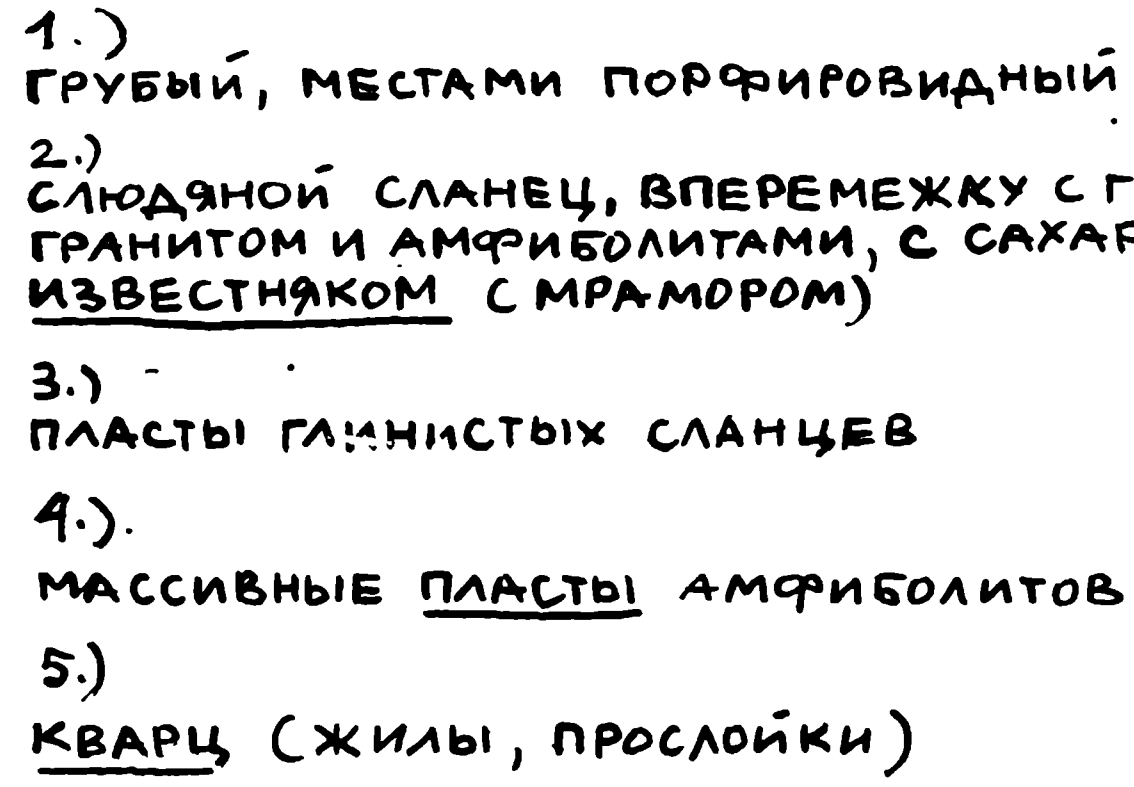
Отвесные скалы, неколебимые с незапамятных времен...

Не все, что господин Гайзер называл гранитом — называл в первую очередь жене, но также и гостям из города, не разбирающимся в горных породах,— не все является гранитом. Теперь господину Гайзеру это уже известно, причем известно не только благодаря зятю, который все всегда лучше всех знает.

Итак, значит, отвесные скалы, камень...

(Отчасти это все-таки и гранит.)

Достаточно лишь час покрутить бинокль, чтобы убедиться: на высокой, почти вертикально стоящей скале, которая одна могла бы засыпать всю деревню, не появилось ни единой новой расселины; свежие изломы были бы светлее, серыми, а не выцветшими, как вся скала. То, что на первый взгляд представляется расселиной, в бинокле оказывается черной бороздой на гладкой стене, древними следами ручья, возможно водорослями. Верхний хребет, правда, закрыт облаками, но господин Гайзер знает его наизусть: это острый хребет, зазубренный тысячелетиями, горный кряж, устоявший перед глетчерами ледникового периода,— надежный камень.




Глупо переписывать от руки (вечером, при свече) то, что уже напечатано. Почему бы не вырезать ножницами то, что следует знать и иметь перед собой на стене. Господин Гайзер удивляется, что это не пришло ему в голову раньше. Ножницы в доме есть, надо их только найти. Не

говоря уже о том, что печатный текст более удобочитаем, чем старческий почерк,— даже если господин Гайзер не пожалеет времени на печатные буквы, у человека вовсе не так много времени.

**Геологические формации** — последовательные напластования, толщи которых четко отличаются благодаря окаменевшим в них животным и растениям (см. Руководящие окаменелости) от лежащих под или над ними свит пластов и представляют собой **(стратиграфическое)** единство. К ним относятся также возникшие одновременно с ними вулканические породы. Следующие друг за другом родственные Г.ф. объединяются в **группы формаций.** Формации и группы формаций отражают в своем составе определенные этапы истории земли и поэтому используются также для временных обозначений, Г. ф. в смысле периодов, группы формаций в смысле **эпох** или **эр.**

Глетчеры ледникового периода видоизменили по новым законам ступенчатые горы на хребтах и в долинах. В верхних концах долин, ущелий, ниш и впадин кары въедались в виде котловин и еще больше заострили уже превратившиеся в гребни хребты. Мощные потоки льда, достигавшие, например, во внутренней долине 1600 м, сформировали из самих долин расширенные U-образные долины — троги. Крупные глетчеры совершали бóльшую работу, чем маленькие, так что центральные долины, как правило, более углублены, чем боковые, последние упираются в горные ступени, как бы повисая (висячие долины). В частности, Альпы во многих местах несут свойственные всем некогда подвергшимся обледенению горам следы не только шлифующей и полирующей, но и расщепляющей и дробящей глациальной эрозии: выположенные склоны, лежащие ниже зазубренных, острых, неоледенелых гребней, в более плоских местностях—наполненные стоячей водой впадины, явно выраженные «курчавые скалы» с блестящими ледниковыми шрамами, тут и там валообразные морены, чаще — устланные моренами склоны долины.

Подобная сложная структура есть результат долгого созидания. Как и у всех сформировавшихся в то время гор — то есть гор альпийской складчатости,— оно растянулось на целый ряд геолог, эпох, разделенных серией фаз складчатости. Формирование горных пород началось еще в верхнетриасовом периоде и в лейасе. Образование складчатости относится к среднемеловому периоду. Несколько фаз последовательно сменяются в верхнемеловой и в третичный периоды, а благодаря отложениям четвертичного периода сдвиги продолжаются до настоящего времени. В качестве гор, строение которых в основном оформилось в меловой и третичный периоды, Альпы являются молодыми складчато-покровными горами.

Четвертичная сеть ледяного потока, которая покрыла и более глубокие теснины, тем самым загородив заполненные льдом долины и оставив свободными в виде островов верхние гребни, стала отступать уже в теплый межледниковый и особенно в послеледниковый период. Она превратилась в нынешние долинные глетчеры, висячие глетчеры на более высоких склонах, карные глетчеры; образовалось также несколько плоскогорных глетчеров. Это недавнее, в настоящее время силь-

но сокращающееся оледенение вместе с многообразными контурами вершин, с террасовидными устьями и другими выступами в долинах, перерезанных узкими ущельями и каньонами, вместе с многочисленными, свободно падающими с трог водопадами и с озерами образует один из прекраснейших альпийских ландшафтов. Исчезновение глетчерных опор вызвало глациальное скашивание склонов, что привело ко многим горным обвалам. Интенсивный снос высокогорных массивов и соответствующие ему отложения в углублениях затушевали котловинный характер троговых долин. В более обширных долинах вырастают мощные конусы выноса, часто обрушивающие на деревни селевые потоки.

Излишний вопрос — что сказала бы Эльзбет по поводу этих листков на стене, число которых с каждым днем растет, и вообще разрешила ли бы она втыкать кнопки в облицовку...

Господин Гайзер вдовец.

Не каждая стена в доме годится для кнопок. В штукатурке они еще кое-как держатся, но очень ненадежно; если же пристукнешь молотком, острие сразу подгибается и кнопка отпадает, остаются только дырки в белой штукатурке, что тоже не привело бы Эльзбет в восторг,— и весь труд насмарку: ни один листок не держится на стене. Удобнее всего панели, достаточно одной кнопки, но панели только в гостиной...

Эльзбет покачала бы головой.

А ведь это все еще только начало; стен гостиной не хватит, тем более что листки не должны висеть ни слишком высоко, ни слишком низко; иначе каждый раз, когда господин Гайзер снова забудет то, что он час назад заботливо вырезал, ему придется вставать на кресло или опускаться на корточки, чтобы прочитать свои листки. Это не только утомительно, но и мешает получить общее представление, а один раз кресло вообще чуть не опрокинулось. Где, например, висит листок с данными о предполагаемом мозге неандертальцев? Вместо него лезет в глаза чертеж с золотым сечением. Где сведения о мутациях, хромосомах и т. д.? С ума можно сойти. Господин Гайзер точно знает, что был листок о квантовой теории (это и так достаточно утомительно — переписывать тексты, полные научных иностранных слов, иной раз их дважды, трижды перепишешь, прежде чем избавишься от ошибок). Где что искать? Некоторые листки, повисев немного на стене, начинают сворачиваться, вместо того чтобы висеть ровно. Этого еще не хватало. Чтобы прочесть их, приходится придерживать края руками. Одни листки сворачиваются снизу, другие с обоих краев. С этим ничего не поделаешь. С каждым днем сворачивается все больше и больше листков (вероятно, это связано с влажностью воздуха), а клея в доме нет, иначе господин Гайзер мог бы наклеивать их на стену, что тоже неудобно, ибо, находя новые и более важные сведения, господин Гайзер не смог бы заменить ими прежние листки. Например, золотое сечение не столь важно, а сколько жителей в кантоне Тессин, или какова высота Маттерхорна (4505 м над уровнем моря), или когда викинги высадились в Исландии — это господин Гайзер может и так запомнить. Не такой уж он склеротик. Прямо листки висят лишь тогда, когда для каждого из них в ход пускаешь четыре кнопки, но тогда кнопок не хватит. И вот они сворачиваются, его листки, а когда открываешь окно и возникает сквозняк, вся стена шелестит и реет.

Это уже и на гостиную не похоже.

До сегодняшнего дня господин Гайзер не решался снять со стены портрет Эльзбет (масло), чтобы освободить место для новых листков. Но другого выхода нет.

**Ослабление памяти** есть уменьшение способности вспоминать прежние события. В психопатологии ослабление памятн отличают от **ослабления запоминания,** т. е. уменьшения способности включать новые впечатления в прежнюю память. Ослабление памяти и ослабление запоминания различаются только по степени. При возрастных болезнях мозга (старческий маразм, артериосклероз мозга) и других мозговых болезнях сперва слабеет способность запоминания, а затем и память.

Иногда господин Гайзер записывает на листки и то, что, как ему кажется, он знает, но чему тоже надлежит быть на стене, дабы он не забыл этого:

КЛЕТКИ, ОБРАЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ВКЛЮЧАЯ И МОЗГОВЫЕ, СОСТОЯТ В ОСНОВНОМ ИЗ ВОДЫ

ЗЕМЛЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВЕРШЕННОГО ШАРА

ВУЛКАНОВ В ТЕССИНЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО

РЫБЫ НИКОГДА НЕ СПЯТ

СУММА ЭНЕРГИИ КОНСТАНТНА

ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОМУ ПРИСУЩА ОПРЕДЕЛЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

У ЗМЕЙ НЕТ СЛУХА

3/4 ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ВОДА

ЕВРОПА И АМЕРИКА КАЖДЫЙ ГОД ОТОДВИГАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА НА ДВА САНТИМЕТРА, С ТЕХ ПОР КАК ПОГИБЛИ ЦЕЛЫЕ КОНТИНЕНТЫ (АТЛАНТИДА)

С КАКИХ ПОР СУЩЕСТВУЮТ СЛОВА?

ВСЕЛЕННАЯ РАСШИРЯЕТСЯ.

Воскресенье:

10.00
дождь словно паутина над всей местностью.

10.40
дождь словно жемчужины на стекле.

11.30
дождь словно сама тишина; птицы не чирикают, в деревне не тявкают собаки, беззвучно прыгают кузнечики в лужах, медленно скользят капли на проводах.

11.50
дождя нет.

13.00
дождя не видно, его чувствуешь только кожей, когда высовываешь руку из окна.

15.10
дождь словно шипение в листве каштана.

15.20
дождь словно паутина.

16.00
дождя нет, только с плюща капает.

17.30
дождь с ветром стучит в окно, брызги на гранитном столе во дворе, стол почернел, брызги словно белые нарциссы.

18.00
снова вокруг дома булькает.

19.30
дождя нет, зато туман.

23.00
дождь словно блестки в свете карманного фонаря.

По крайней мере нет снегопада.

Зимой, когда идет снег, долина черна. Черен асфальт между кучами снега, отметенного в сторону. Черны следы на тающем мокром снегу, и черен мокрый гранит. Снег шлепается с проводов, провода черны. Снег в лесах, снег на земле и на ветвях, но стволы черны. На крышах тоже снег, но черны дымовые трубы. Лишь почтовый автобус неизменно желт; он едет с гусеничными лентами, и следы их черны. Кое-где красноватые пятна пастбищ, огненно-рыжие, папоротник словно заржавел, и если ручьи не покрыты льдом, между заснеженными камнями чернеет вода. Небо словно пепел или свинец; заснеженные горы над черным лесом кажутся не белыми, а белесыми. Черны в полете птицы. Черно от капель под водосточными трубами. Зелены ветви елей, но черны на снегу еловые шишки. Черны кресты на кладбище. Даже овцы на участке не белы, а грязно-серы. На черном мху слепленный для внуков белый снеговик с морковкой вместо носа. Почернели мокрые ботинки, их ставишь у отопления. Когда нет снега, после полудня так тепло, что можно ходить без пальто; небо словно над Средиземным морем; листвы нет, скала видна лучше, чем летом, а когда сухо, она серебристо-серая. Голы виноградные лозы, склоны коричневы от засохшего папоротника, из него выступают белые стволы берез. Ночи холодны, под шуршащей осенней листвой земля днем не прогревается, но бывает, что в рождество можно пить кофе на солнце

во дворе. Глетчеры, некогда простиравшиеся до Милана, повсюду отступают; последние лоскуты грязного снега, оставшиеся в затененных местах, даже и на высоте тают не позднее мая. Лишь в одном ущелье, куда едва проникает солнце, остатки лавин держатся дольше, но и они постепенно исчезают. В общем, зеленая долина. Когда кантон пускает в дело желтые бульдозеры, чтобы местами расширить дорогу, обнаруживаются морены, обломки исполинских глетчеров ледникового периода; морены так тверды, что приходится их взрывать. Трижды трубит рожок, выбрасывается красный флаг, и вслед за этим с шумом взлетает в воздух щебень и гравий ледниковой поры.

**Деревня расположена на узкой, покрытой основной мореной, нагорной террасе, которая осталась от прежнего дна долины и тянется вверх до спруги.**

Сегодня утром господину Гайзеру казалось, будто под большой елью появилась тень, и сразу же во дворе защебетали две или три птички; посверкивают лишь редкие снежные крупинки, но не исключено, что внезапно пробьется солнце. Облака, не отступающие с верхних склонов, не отступающие даже и после полудня, пышны и, собственно, не серы, а местами даже голубоваты. Одна только ель по-прежнему черна от влаги. И все-таки можно догадаться, где оно, солнце, сейчас находится за облаками, и впервые за последнюю неделю можно представить себе, что завтра или послезавтра (один день не имеет значения) засияет солнце...

А ущелье все еще рокочет.

Лишь вечером, когда господин Гайзер еще раз подошел к окну, чтобы высмотреть луну, из нижней долины снова поднялись серые облака. Дождь не пошел, вот только опять эти облака; некоторые разлохматились над склоном и исчезли, но не все. Четверть часа спустя ели уже не видно.

ПОЕЗДА (ШФЖД[1]) С ПЕРЕСАДКОЙ В БЕЛЛИНЦОНЕ

| ЛОКАРНО | БАЗЕЛЬ |
|---|---|
| 09.43 | 14.26 |
| 11.57 | 16.16 |
| 15.48 | 20.19 |
| 18.06 | 22.27 |
| 23.29 | 04.12 |

Долина имеет одну-единственную дорогу, она очень извилиста, но почти всюду обнесена железными перилами; узкая, но вполне надежная дорога, которая пугает только иностранцев, в особенности голландцев. Аварий со смертельным исходом куда меньше, чем можно ожидать на первый взгляд. Когда по одну сторону все время видишь пропасти, по другую — ощетинившуюся скалу, когда опасаешься, что железные перила не удержат машины, тогда водителю поневоле приходится быть начеку и ехать осторожно. Там, где двум машинам не разъехаться, едущий сверху водитель должен дать задний ход, чтобы уступить проезд. Из года в год за дорогой следит старый рабочий, скашивает на склоне разрастающийся папоротник, убирает упавшие на асфальт каменные осколки, осенью сметает мокрую листву. Федерация и кантон делают все, чтобы долина не вымерла; трижды в день курсирует почтовый автобус.

[1] Швейцарская федеральная железная дорога.

В общем, долина вовсе не мертвая.

Иной раз встречаются безвредные змеи, ужи обыкновенные, и разные виды гадюк, в том числе очковая змея, но может пройти все лето — и не увидишь ни одного ужа, а только слышно, как они шуршат в крапиве. Полно ящериц, тоже безвредных; они греются на солнце на каменном подоконнике и шмыгают вверх и вниз по стене. Медведи перевелись, дикие кабаны тоже, даже лисы стали редкостью, а волков нет даже и в помине. Туристов из города, которые якобы видели во время прогулок орла, не стоит принимать всерьез; последний орел, летавший в этой долине, висит со времен первой мировой войны в одном прокуренном трактире. Говорят, будто в горах есть сурки. Коров мало, поскольку склоны слишком круты,— это скорее долина для овец и коз и кур.

В последнее время наладили вывоз мусора.

Еще недавно они просто сбрасывали отходы с откоса около церкви: бутылки, тряпки, консервные банки, старую обувь, коробки, черепки, чулки и т. д., и кое-что повисало на кустах.

Население — сплошь католики.

Едва ли есть свидетельства того, что в долине жили древние римляне. Никакой римской мостовой, не говоря уже об остатках арены, нет. Средневековых властелинов тоже не привлекали лес и камни, они охотнее укреплялись на равнинах и у моря, где владычествовать имело смысл. Никакой Висконти или Сфорца никогда не вступал в эту долину. Даже из рыцарей-разбойников ни один не оставил здесь башни. Ни одно селение не напоминает своим названием о победе или поражении, здесь не проходили ни Ганнибал, ни Суворов.

Транзитного движения в долине нет.

Время от времени слышен вибрирующий шум вертолета, перевозящего строительный материал,— где-то еще что-то строят.

А в остальном здесь мало что происходит.

Раньше люди тут жили за счет всяких поделок из соломы — кустарная промышленность с применением детского труда,— пока на миланском рынке не появились дешевые японские изделия.

Молодежь покидает долину.

Никакой плотины строить не собираются.

Местных жителей теперь не допросишься подстричь пенсионеру газон. Да и газон уже ни к чему. Тем не менее цены на землю растут и здесь; тот, кто владеет землей, даже в невыгодных местах, чувствует себя уверенней. Инжир здесь не созревает, зато зреет виноград. Много каштанов поражено раком. Осенью за работу принимаются лесорубы, целыми днями слышен визг мотопил, хотя самих лесорубов в роще не видно.

В общем, тихая долина.

Особенно господин Гайзер ценил здесь воздух, отсутствие всякой промышленности. Да и вода в ручьях здесь не загрязнена — как в средневековье. Разве что гниет где-нибудь матрац в неприступном ущелье— это случается; но, как правило, вода пригодна для питья.

Bandita di caccia—

охота регламентируется законом.

Cadutta di massi/Камнепад

имеются в виду небольшие осколки, иной раз валяющиеся на асфальте дороги; никаких обвалов в горах; покатость склонов устойчива, а гребни в вышине неколебимы. Глетчеры уже столетиями отступают. Последние лоскуты грязного снега в затененных местах тают не позднее июля или августа. У ручьев постоянные русла — тоже с незапамятных времен, они выдерживают и сильные грозы. Сооруженный внуками очаг у ручья смыло на следующий год половодьем, но желоба и шлифы на скале, из которых вода бьет ключом, и большие плиты, заливаемые только половодьем, так же как и острые края каменных глыб из года в год,— все это остается неизменным, вот только круглая гладкая пестрая галька в ручье как будто каждый год меняется.

Эрозия — процесс медленный.

Летом иногда появляются палатки, желтые или голубые, и там, где этого совсем не ждешь, стоит под деревьями машина с немецким номером, и люди купаются в ручье — туристы. А выше, в горах, уже никаких современников не встретишь; зато найдешь развалины каменных хлевов, балки рухнули, но стены еще стоят четырехугольником, внутри под открытым небом буйно разрослась крапива, и ничто не шевелится. Не лают собаки. Есть и уцелевшие хлева, они стоят открытыми; если войти, то в них как будто еще ощущаешь легкий запах сена, козий навоз засох, почти окаменел. На останки обитателей не наткнешься. Гранитные колодцы пусты и высохли, водопроводные краны навеки заржавели, виды кругом изумительные, как и тысячелетия назад. Кое-где маленькие часовни; за ржавой решеткой — потускневшая богоматерь и перед нею ржавая банка с засохшими цветами; фрески наверху частично уничтожены, ибо козы слизывают со стен селитру.

Эта долина не отмечена звездочкой в путеводителе Бедекера.

За долиной, где кончается дорога, стоят итальянские пограничники в своих униформах, парни из Палермо и Мессины, руки в карманах; они рады, если лесоруб или рыболов заговаривает с ними. Ныне контрабанда через непроходимые горы невыгодна. За долиной есть каменоломни, время от времени раздаются взрывы, серия взрывов, и над лесом встает облако пыли; потом в долину съезжают грузовики с квадрами или плитами. Промывка золота в ручьях никогда не была рентабельной. Летом есть брусника, грибы. Когда нет дождя, над горами, высоко в голубом небе виден белый след от пассажирских самолетов, но гула моторов не слышно. Последнее убийство в долине, известное лишь по слухам, случилось несколько десятилетий назад. Сожительство между близкими родственниками. равно как и содомия, тоже идут на убыль — с тех пор как парни обзавелись мотоциклами.

С 1971 года женщины имеют право голоса.

Однажды летом дятлам пришла, так сказать, идея в голову: они вдруг стали стучать клювами не по коре старого каштана, а по оконным стеклам, их прилетало все больше, и все были словно одержимы стеклом. Полоски блестящего станиоля отпугнули их лишь ненадолго. Это стало истинным бедствием. Отгонишь их от одного окна, а они перелетают к другому, но нельзя же стоять у всех окон одновременно и

бить в ладоши. Большего эффекта господин Гайзер достигал, когда хлопал планкой по гранитному столу — словно выстрел грохал, они сразу разлетались и усаживались в ожидании на ветвях кругом. Потом снова раздавался стук в окно. Подлетев, они не могли держаться за гладкое стекло и потому, порхая, стучали только два-три раза, иногда четыре. На следующее лето они об этом забыли. Дважды в неделю светловолосая хозяйка мясной лавки, немка по происхождению, ставшая тессинкой в замужестве, объезжает на своем «фольксвагене» всю долину, продавая мясные продукты. Рыбный промысел не прибылен. Много каштанов поражено раком, но в общем это зеленая долина, лесистая, как в каменный век. Папоротники достигают почти человеческого роста. В августе, когда нет дождя, видны падающие звезды или слышен крик сыча. В туман, если над ним светит луна, нижняя долина выглядит словно озеро с зазубренными бухтами, словно фьорд, не хватает только корабля, стоящего за деревней на якоре, черного куттера, китобойного судна.

**Горная тропа, проложенная в 1768 году на собственные средства братьями Ремонда из Комолоньо, осуществляла до постройки дороги в 1896 году связь Валле Онзерноне с внешним миром.**

**Несмотря на изначальную бедность почвы, на нерадивое хозяйничание ландфохта, на непрестанные разделы и грабежи в ущерб тессинским общинам со стороны французских, австрийских и русских армий во времена французской революции и Наполеона Первого, тессинцы сотворили настоящие чудеса, проложив удобные и красивые дороги из Чиассо в Аироло, из Брисаго в Лукманьеˊ, даже во все боковые долины и вдоль склонов самых отвесных гор, вверх к самым захолустным альпийским деревням, чтобы приобщить последние к культуре.**

В Исландии встречаются морены, оставшиеся от последнего ледникового периода, еще и сейчас не покрытые растительностью, целые долины, полные камней, они так всегда и будут пустынями. Без «ровера» там пропадешь. Есть глетчеры, свисающие в море. Один из них, Ватнайёкудль, по размерам больше всех альпийских глетчеров, вместе взятых. Вулканы расположены рядами — конусы из пепла; на них можно взобраться, и тогда открывается вид на другого рода пустыню, в которой и «ровер» не поможет, пустыню с черной, коричневой и фиолетовой лавой. Ни деревца. То, что издали кажется зеленым оазисом, большей частью попросту болото. Можно ехать целыми днями, не встретив ни одного двора; изредка лишь несколько овец — для целой отары не хватит пробивающейся между камнями зелени. Если выйти ночью из палатки, на всей земле ни огонька. Ни звука. Днем летают птицы, много птиц. Когда светит солнце, вдали сверкают плоские вершины бесконечных глетчеров. Чаще всего видны только облака, под ними равнина, усеянная щебнем. Кое-где большие камни, круглые и гладкие, их отшлифовали глетчеры ледникового периода, и здесь они и остались. Погода ежечасно меняется, а пустыня неизменна, она только меняет краски, и нет такой краски, которую бы вы в течение длинного дня не увидели в пустыне. След собственной машины в щебне или тине — часто единственный признак того, что на этой планете есть люди. Растут цветы, маленькие, как в Альпах, все разновидности мха и лишайника. В другом месте из земли с шипением вырывается пар, он клокочет или бьет зеленоватым ключом между желтыми струпьями и пахнет серой. Целые котловины и ущелья окрашены серой, а равнина полна хвостов белого пара; шумят водопады. Широкий поток ледниковой воды низвергается в глубины через базальтовую платформу или через ряд платформ, ревущая лавина темной

воды; мокрый базальт блестит, как бронза, и облако пены, расцвеченное радугой, видно на расстоянии нескольких миль. Дождь обычно идет недолго. Небо лишь изредка голубое. Над нагорьем низко висят облака, они скользят по глетчерам, окрашивая их, глетчеры, в серый цвет, а небо узкой полоской желтеет, как янтарь или лимон, на горизонте, лиловея к полуночи. Вскоре наступает утро, вдали взвихривается красноватая пыль — песчаная буря. В другом месте равнина сверкает густо переплетенными реками. Есть фьорды без единого корабля, без единой живой души, если не считать одинокого тюленeнка. Ни одного двора, даже заброшенного, ни одного творения рук человеческих. О вулканическую башню бьется прибой. Туфовый конус размыт. Вокруг фьордов — отвесные скалы и неизменные базальтовые платформы. Даже забегая в море, зеленеют откосы. Мир словно до сотворения человека. По иному месту и не определишь, какая сейчас эра, но чайки уже сотворены; они, словно белые хлопья, кружат между фиолетово-синими облаками и белесым или свинцовым морем. Айсбергов, как правило, не видно, но море во льдах. Несмотря на Гольфстрим. Полосы старого снега лежат не только на северных откосах; лета не хватает, чтобы их растопить. Несмотря на удлиненные дни. Если растает лед Арктики, Нью-Йорк окажется под водой. Мир уже сотворен, об этом свидетельствует маяк, в другом месте — американская радарная станция. Тут и там — сплавной лес из Сибири. Под низкими тучами море кажется черным, с переменчивыми ртутными пятнами, целый час оно синее, как Средиземное море, в полночь — перламутровое. Есть вулканы, покрытые глетчерами,— Гекла, например, единственный вулкан, который в настоящее время дымится. Другой, новый, вулкан возник в море, остров из пепла и базальта; когда лава остывает, ее первым делом обживают птицы, питающиеся рыбами; их экскременты закладывают начало оазису, в котором могут жить люди, пока следующая лава все не задушит. Вероятно, именно рыбы нас переживут да еще птицы.

**Человек**, лат. **homo**, греч. **anthropos** (см. Рисунки, стр. 685 и Таблицы, стр. 676 и 684).

1) Особое положение Ч. Как можно судить по преданиям, человек воспринимал себя и свои условия существования как загадку; благодаря способностям противопоставлять себя (в качестве «субъекта») миру, в котором он живет («объектам») — см. Философия,— он сам для себя неисчерпаемая тема. Это обособление от мира являет предпосылку к тому, чтобы овладеть им и тем самым обусловить исключительное место Ч. во вселенной.

Поскольку Ч. не может понять себя только через себя самого, он с древних времен пытается постичь себя через божество (см. Религия) или через иное нечеловеческое существо, отождествляя себя с ним или поднимаясь над ним, будь то животные (см. Тотемизм), духи предков (см. Портреты предков, Культ предков) или др. alter ego (см. Маска), будь то — в рационалист. эпохи — машины (Lametrie, L'homme machine).

То обстоятельство, что Ч. является историч. существом и его способности передаются из поколения в поколение, содействует формированию искусств, наук, обычаев, законодательства, меры ценностей, которые он воспринимает критично, дополняет их, обогащает, упрощает, усложняет, преобразовывает и видоизменяет.

К этому добавляется способность представлять себе другие состояния и сознательно их планировать, ставить перед собой цели и задачи,— продуктивная фантазия и воля. Животным более высокой организации присущи, по наблюдениям, надежды и опасения, но только у Ч. «есть будущее».

Этим способностям содействует отмирание тех застывших врожденных целесообразных поведенческих схем, которые мы у животных называем «инстинктами». Ч. живет, не приноравливаясь к особого рода природному окружающему миру (см.), в котором он мог бы инстинктивно ориентироваться,— он спо-

собен к созданию и изменению любых природных условий благодаря своему уму, своим действиям и своему труду. Тем самым ему, с одной стороны, даны бесчисленные возможности неадекватных (противоречащих инстинкту самосохранения) действий, заблуждений, ошибочных планов и решений; с другой же стороны, Ч. как биологический вид смог распространиться на всей земле и сам определить свой уклад жизни. Он преобразовал широкие пространства земной поверхности для своих жизненных потребностей; размеры культурных ландшафтов постоянно увеличиваются.



Склоны как будто бы действительно сдвинулись, но не здесь, а внизу, в долине. Все разорено. Устье ручья куда-то переместилось, березняк исчез, просто исчез, все дно долины усеяно камнями — господину Гайзеру знакома эта местность по прогулкам с внуками,— ее прямо-таки не узнать; железный мост к лесопильне исчез, да он и ни к чему теперь, поскольку ручей течет в другом месте. От дороги ничего не осталось. Лесопильня, на треть разрушенная, теперь не справа от ручья, а слева, первый этаж, где стоят машины, полон щебня и песка, ручей забит бревнами, с которых камни содрали кору, и гофрированной жестью. Образовалась просека, склон лишился леса и земли, сверху донизу нет ничего, кроме голой скалы,— ужасный вид.

Человеческих жертв нет.

Сообщить обо всем этом мог только Франческо, секретарь общины, который вчера заходил, чтобы одолжить бинокль; больше никого господин Гайзер не видел в последние дни.

Che tempo, che tempo!

Старый мост внизу на Изорно как будто бы тоже снесло, так что прежняя горная тропа прервана,— сводчатый мост между двумя скалами, высотой по меньшей мере десять метров над ручьем, сооружение, которое держалось несколько столетий; наверное, узкое ущелье забито бревнами, которые запрудили воду.

Кстати, дождь опять идет.

Немецкий астроном больше не приехал — господин Гайзер его понимает: ученому неинтересны вопросы дилетанта, который не может себе представить пространственную кривую и который тем не менее задает вопросы; да, собственно говоря, господину Гайзеру и не хотелось бы, чтобы кто-нибудь вошел в дом и увидел эти листки на стене.

БЫТЬ ГОТОВЫМ — ВОТ ЧТО ВАЖНО

СКОРОСТЬ МОЛНИИ: 100.000 КМ В СЕКУНДУ.
СИЛА ТОКА МОЛНИИ: ОТ 20 ДО 180.000 АМПЕР

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ В ЖИВОТНЫХ, ДЕРЕВЬЯ, КАМНИ И Т.Д.
СМ. МЕТАМОРФОЗА (МИФОЛ.)

КАМЕННЫЙ ВЕК: 6000 - 4000 Д.Р. ХР.
НЕОЛИТ: ДО 1800 Д.Р. ХР.

Электричество опять появилось, господин Гайзер стоит со свечой в руке и не может вспомнить, почему он в шляпе.

Плита раскалилась.

В погребе тоже есть свет.

Господин Гайзер не забыл, что морозильник, в котором опять зашумел мотор, пуст, он вспомнил также, почему у него шляпа на голове: он хотел пойти на почту. Шляпа не нужна; господин Гайзер забыл, что дорога перекрыта и почтовый автобус не курсирует. Свеча не нужна — электричество опять появилось.

Что-нибудь всегда забываешь.

Кто же все-таки рассказал о катастрофе?

Пока господин Гайзер пытается припомнить, куда он положил свечу на тот случай, если тока опять не будет, плита накаляется все больше; к сожалению, суп, рисовый суп с овощами по-итальянски, прокис, плита не нужна.

Склоны оползли...

Господин Гайзер вспомнил, что́ он хотел поискать в ящиках стола — сургуч; а выключив плиту, вспомнил также, почему он, вместо того чтобы порыться в ящиках, пошел на кухню: господин Гайзер увидел раскаленную плиту — по-видимому, электричество появилось уже некоторое время тому назад.

Господин Гайзер все еще в шляпе.

Часы опять бьют.

Три часа пополудни.

Удивляясь, зачем ему среди бела дня понадобилась свеча, господин Гайзер вспоминает: он хотел запечатать бумагу с распоряжениями на всякий случай. Ища ковшик, господин Гайзер твердо решает раз навсегда навести порядок в ящиках стола. А ковшик, маленький ковшик, тем временем стоит уже на плите, вода кипит, хотя плита больше не раскалена, и господин Гайзер забыл, что, размышляя о беспорядке в ящиках и о наследниках, он свой чай уже выпил; пустая чашка еще теплая, пакетик с чаем темный и мокрый.

В ящиках господин Гайзер чего только не нашел: документы для налогового управления, поземельный план участка, квитанции, ключи от «фиата», которого давно нет и в помине, диплом об окончании техникума, разные письма, до которых наследникам нет дела, старый рентгеновский снимок его позвоночника, его серых ребер, его белых бедренных костей, затем сургуч, но печатки нет; не нашел он также своего паспорта.

Четыре часа пополудни.

Паспорт сейчас господину Гайзеру не нужен, зато нужен саридон от головной боли, она не мучительна, но докучлива; пора навести порядок и в аптечке, выбросить все, о чем господин Гайзер уже не знает — от зуда это или от подагры, от боли в сердце или от запора, от комариных укусов или от солнечного ожога и т. д.

в ванне — пятнистая саламандра...

Увидев мельком в зеркале, что он все еще в шляпе, господин Гайзер вспоминает, где его паспорт.

Головная боль медленно проходит.

Должно быть, пятнистая саламандра упала через открытое окно, и поскольку она не может взобраться наверх по гладкому кафелю, она лежит здесь неподвижно, черная, с желтыми пятнышками. До нее противно дотронуться, хотя пятнистые саламандры безвредны. Лишь когда господин Гайзер дотрагивается до нее носком туфли, она дрыгает всеми четырьмя лапками. Словно отмахиваясь. Потом снова застывает в своем черном с желтыми пятнышками склизком панцире. Китти, кошка, тоже не трогает саламандры, вместо этого она опять трется о штанины господина Гайзера, когда он идет в кухню.

Плита выключена.

Кошки всегда падают на все четыре лапы, тем не менее она жалобно мяукает за дверью; возможно, господин Гайзер и сказал ей «убирайся» — и снова в доме ни звука.

На дворе дождь.

Чего в доме не хватает: стремянки.

Эта серая паутина наверняка давно уже висит на потолке; увидев ее, уже не успокоишься; обычный веник не годится — потолок над лестницей слишком высок, а стул на ступеньку не поставишь.

Читать господину Гайзеру совершенно некогда.

Днем пятнистая саламандра оказывается в гостиной на ковре, это противно. Господин Гайзер подбирает ее совком и выбрасывает в сад, но паутина над лестницей все еще висит. Есть только одна возможность снять ее: отвинтить длинный поручень с лестничных перил, затем проволокой прикрепить к нему веник...

Китти все еще жалобно мяукает за дверью.

Паутина снята.

Господин Гайзер спустился в погреб вовсе не для того, чтобы посмотреть, есть ли там вода,— он и так это знал. Плоскогубцы — вот они в руке, но для чего же он искал их час назад? Зато господин Гайзер теперь вспомнил мужчин в синих комбинезонах и чаевые. которые он им дал, а наполнен ли бак жидким топливом, ему смотреть незачем.

В сентябре может уже похолодать.

Попозже, увидев в стене кривой гвоздь, господин Гайзер начинает ломать голову, куда дел плоскогубцы.

Надо вытащить кривой гвоздь.

Ну вот, ножницы сломал.

Все ломается: вчера термометр, сегодня лестничные перила; старые винты не полезли обратно в ржавчину, и теперь на лестнице стоят одни столбики без поручней.

Человек всегда остается дилетантом.

Должно быть, в гостиной на ковре была другая пятнистая саламандра; первая все еще лежит в ванне, черная, с желтыми пятнышками и склизкая.

Лупа в рюкзаке.

Собственно говоря, после напрасных хлопот с лестничными перилами господин Гайзер хотел принять ванну, поскольку появилась горячая вода; он вспотел, руки испачканы ржавчиной от винтов.

Надо бы послушать последние известия.

Если рассматривать пятнистую саламандру под лупой, она кажется чудовищем: словно ящер. Огромная голова, черные неглядящие глаза. Вдруг она задвигалась. Неуклюжая поступь — будто опирается полулежа, а хвост при этом неподвижен. Упорно карабкается в одном направлении, в котором ей никогда не продвинуться вперед. Внезапно останавливается, вытянув голову вверх. Видно, как бьется пульс. Все конечности цепенеют.

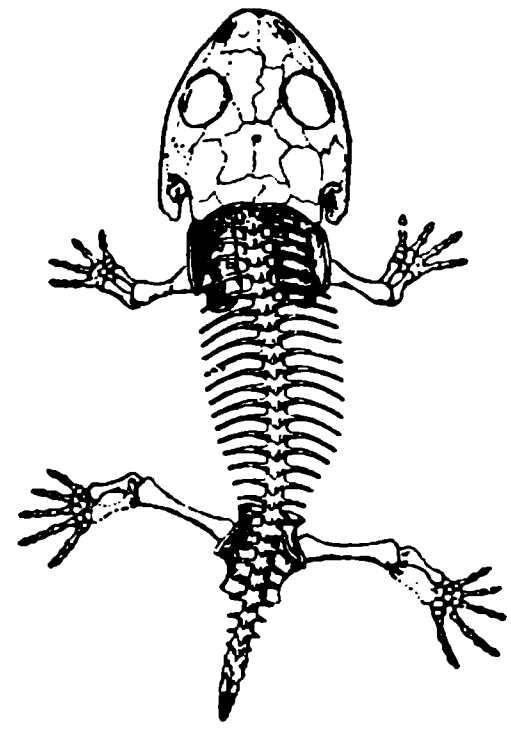
**Саламандры** (Salamandridae; тритоны), хвостатые земноводные: 1) Сухопутные С.— см. Пятнистая С. (Salamandra maculosa) и Альпийская С. (S. atra). 2) Водяные С. — см. Тритоны.

**Молассы** (швейц.), третичные конгломераты (конгломераты нагельфлю), песчаник и мергель на северной стороне Альп, в качестве нижних морских, нижних пресных, верхних морских и верхних пресных водных молассов относятся к периодам олигоцен и миоцен.

**Тритоны и саламандры,** *Salamandroidea* (группа хвостатых земноводных) (см. табл. Земноводные). Своим сплющенным по бокам хвостом тритоны отличаются от саламандр, у которых хвост круглый; однако это не может служить основанием для системат. разделения на две группы. Настоящие Т. и С. (сем. *Salamandridae*) встречаются главным образом в Европе, их нёбные зубы расположены двумя продольными рядами. Почти исключительно североамер. **безлегочные** Т. и С. (сем. *Plethodontidae*) характеризуются двумя поперечно расположенными нёбными зубами и кожным и ротовым дыханием. В Герм. живет **пятнистая саламандра** (*Salamandra salamandra*) светящейся черно-желтой окраски в виде пятен или полос, а также одноцветные черные **альпийские саламандры** (*Salamandra atra*). Самец гребенчатого тритона (*Triturus cristatus*), достигающий длины в 18 см, в период размножения имеет высокий спинной гребень, который в более слабом выражении характерен и для часто встречающегося **обыкновенного тритона** (*Triturus vulgaris*); у краснопузого **альпийского, или горного, тритона** (*Triturus alpestris*), **нитевидного тритона** (*Triturus helveticus*), самцы которого снабжены хвостовой нитью, вместо гребня на спине выпуклая продольная полоса.

**Амфибии** (земноводные)

1. В *зоологии:* холоднокровные позвоночные. Большинство претерпевает метаморфоз (см): личинки (напр., головастики лягушек) живут в воде и дышат жабрами; преобразованные животные живут на земле и дышат легкими. Отряды: хвостатые земноводные (уроделы), бесхвостые земноводные (ануры) и тропические безногие земноводные или ползучие земноводные (гимнофионы). Размножаются, откладывая яйца, чаще всего со слизистой оболочкой (напр., лягушачья икра). Самые крупные из живущих А.: африк. лягушка — голиаф и гигантская саламандра (больше 1 м длины). 2. В *палеонтологии:* в исторической геологии нет свидетельств существования гимнофионов. В периоды от каменноугольного до триасового существовали стегоцефалы, частично достигающие длины в несколько метров, иные из них еще очень близки рептилиям. В верхнеюрский период — старейшие лягушачьи.— *Яды амфибий:* многие А. содержат в своих кожных выделениях сильные яды (пятнистые и альпийские саламандры, жабы и др.)



*Амфибии*

Скелет, вид сверху, нижний среднетриасовый период

В энциклопедии не сказано, следует ли рассматривать нынешних пятнистых или альпийских саламандр как потомков или предшественников динозавров.

ЯЩЕРЫ:
ПО-ГРЕЧЕСКИ: SAUROS - ЯЩЕРИЦА
ДИНОЗАВРЫ:
ПО-ГРЕЧЕСКИ: DEINOS - СТРАШНЫЕ

С тех пор как ножницы, обычные ножницы, сломались, господин Гайзер работает с маникюрными ножницами, а когда кончатся кнопки, у него есть клейкая лента, magic tape, целая катушка, а лента держится и на штукатурке.

## ЭРА ДИНОЗАВРОВ

Как ни причудливы и велики были ящеры раннего мезозоя — золотой век динозавров был еще впереди. В течение юрского и мелового периодов теплые моря переполнились и затопили большую часть Европы и почти половину Северной Америки. Кораллы построили свои рифы дальше на север до 3000 км от своих нынешних форпостов. Инжир и хлебное дерево росли в Гренландии, пальмы в Аляске. И холоднокровные страшилища-ящеры ворочались с боку на бок тоже на севере и удивительнейшим образом повсюду процветали.

В пышно разросшихся болотах и заводях, между могучими хвощами и папоротниками обитали гигантские травоядные ящеры. «Ватага, царства низвергая, // Идет, закованная в сталь. Под ней дрожит земля сырая. // И гулом отвечает даль»[1]. Кажется, будто этими словами из «Фауста» Гёте хотел охарактеризовать эти чудовища. Ибо под шагами колоссов, вес которых в десять-одиннадцать раз превышал вес сегодняшних слонов, земля в самом деле должна была дрожать и гудеть. Чтобы нести свой собственный огромный вес, они снова опустились на передние конечности; их четыре ноги были настоящими колоннами огромной толщины и си-

[1] Перевод Б. Пастернака.

лы. Долго спорили о том, каким образом эти бродячие горы мяса переставляли свои неуклюжие конечности — скоком, растопырив и полусогнув их, волоча живот по земле и лишь слегка поднимая его, как крокодилы, или наподобие нынешних копытных, но только гигантских размеров, сосредоточивая, как слоны, всю тяжесть туловища на массивных колоннах задних конечностей, в то время как передние конечности согнуты в коленном суставе немного наружу, как у бульдога. Все говорит за то, что правильно второе толкование. Эти великаны были так тяжелы, что они могли жить, лишь наполовину погрузившись в мелководье и болота, где вода помогала нести тяжесть их гигантского тела. Прообраз этого исполинского рода — бронтозавр, «гремучая ящерица», весом около 30 тонн и длиной более 20 метров. В ее маленькой головке — это всего лишь утолщение переднего конца змеиной шеи — несколько некрепких зубов ложкообразной формы и маленький убогий мозг, которому едва ли приходилось совершать бóльшую работу, чем двигать челюстями и переваривать ограниченные впечатления, воспринимаемые крайне слабо развитыми органами чувств этого чудовища. Задние конечности монстра управлялись огромным нервным узлом, расположенным в конце поясничного позвоночника и во много раз превышавшим размер крохотного головного мозга.

Однако самых поразительных результатов развитие динозавров достигло с возникновением Tyranhosaurus rex, самого огромного и страшного плотоядного животного, которое когда-либо терроризировало землю. 15 м длины, почти 6 м высоты, гигант по размерам и силе, это страшилище передвигалось на могучих трехпалых, вооруженных ужасными когтями задних лапах. Главным орудием нападения была его чудовищная челюсть с 15-сантиметровыми саблевидными зубами. Хотя этому истинному тирану совершенно нечего было бояться на земле, его господство длилось лишь короткое время. Он появился только в поздний меловой период и исчез— а вместе с ним и весь род динозавров — уже к концу этого периода, когда ящеров унес повальный, внезапный и таинственный мор.

К счастью, на кухонный пол упали и разбились очки для чтения, а не другие, к счастью. Иначе дело было бы совсем плохо. Если смотреть на все через очки для чтения, начинает кружиться голова. А читать в крайнем случае можно и с лупой.

**Плезиозавры** (искусств. греч.), вымерший ящер с маленьким черепом, длинной шеей (напр. эласмозавр), коротким хвостом и лопастеобразными конечностями. Полные скелеты найдены особ. в лейасовых отложениях в Швабии, Франконии и Англии.

**Ихтиориис**

(примерно 1/6 натуральн. величины)

**Ихтиозавры**

(искусств. греч.), рыбоящеры, вымерший вид рептилий, населявший моря от триасового до мелового периодов, но особ. в юрский. Оголенное туловище было рыбообразной формы и имело высокий, покрытый кожей спинной плавник; позвоночник, образуя изгиб, продолжался в нижней доле большого хвостового плавника. Голова переходила в длинную заостренную пасть; челюсти были усажены многочисленными однородными коническими зубами; большие глазные впадины были обнесены костяным кругом. Лопастеобраз. конечности служили рулевыми органами. И, достигали 15 м длины и были живородящими. Питались они преимущественно рыбой и головоногими моллюсками.

Совершенно бессмысленно снова и снова смотреть на ручные часы, чтобы убедиться, что время идет. Время еще никогда не останавливалось только потому, что какой-то человек скучает, стоит у окна и не помнит, о чем думает. Когда господин Гайзер последний раз смотрел на свои ручные часы, было шесть часов, точнее—без трех минут шесть.

А теперь?

— без одной минуты шесть.

Всегда найдется что делать.

Следовало бы так считать.

Портрету Эльзбет, который господин Гайзер недавно снял со стены и поставил в прихожую, не место в прихожей. А где ему место? Значит, когда господин Гайзер последний раз смотрел на свои часы, он был в прихожей; иначе портрет не был бы у него в руках. А теперь господин Гайзер стоит в спальне.

По-видимому, ручные часы остановились.

Портрету Эльзбет, который был нарисован с девятнадцатилетней дочери члена правления химического предприятия местным художником, ставшим тем временем знаменитым, не место и в спальне; на нем лицо, которого господин Гайзер никогда не знал и которое ни на кого не смотрит, ему место скорее в каком-нибудь выставочном зале, где сейчас такие вещи в цене.

— вот о чем думал господин Гайзер.

Выставочный зал в Базеле очень знаменит.

Пока что портрет стоит за шкафом.

Когда господин Гайзер подошел к окну, чтобы по медленно стекающим каплям убедиться, что время не остановилось — такого никогда не бывало в истории земли! — и когда он не удержался и снова посмотрел на свои часы, они показывали семь минут седьмого.

Где-то опять колотят по жести.

Другого рода шум:

шаги в доме, собственные шаги...

В корзине есть еще щепки для камина, надо только скомкать старую газету, засунуть ее под щепки, затем положить полено побольше, потом еще одно и напоследок тяжелую развилину с корой...

Ну, вот и это сделано.

Что человек может встать на стул, закрепить свои подтяжки на потолочной балке и повеситься, лишь бы не слышать больше собственных шагов,— такое господин Гайзер вполне может себе представить.

И все-таки уже не шесть часов.

Пройдет и этот вечер.

В данный момент господин Гайзер стоит перед увешанной листками стеной, руки в карманах; в камине потрескивает огонек.

Такая развилина тлеет часами...

Насколько господин Гайзер знает, еще неизвестно, существуют ли люди на Марсе; по-видимому, есть целые Галактики, где нет и малейшего намека на мозг.

Ночь без дождя...

Тем не менее господин Гайзер не может спать. Рюкзак упакован, карманный фонарь снова в рюкзаке, там же лупа, которая, правда, опять нужна господину Гайзеру. Чтобы читать. Господин Гайзер не лег спать, хотя уже полночь. Колотить по жести перестали. Если задержать дыхание, вообще ничего не слышно, ничего, кроме собственного пульса. В камине еще тлеет. Господин Гайзер не хочет спать; у человека вовсе не так много времени...

**История земли** (в геологич. смысле) — это чередование периодов со времени образования земной коры, которое охватывает 2, а по новым данным 5 миллиардов лет (см. Хронология). Продолжительность периодов очень различна, напр., палеозой насчитывает 340 миллионов лет, мезозой — 140 млн. и кайнозой — 60 млн. лет. История земли — это история литосферы (материков и морей), вулканич. явлений, животного и растительного мира. Характерно многократное повторение процесса, вследствие которого оседающие пространства с сильной седиментацией (геосинклинали) благодаря образованию гор превращаются в застывшие массы, которые затем остаются преимущественно сушей и подвергаются сносу. Движущие причины этого процесса — эндогенные и экзогенные силы. Органическая жизнь, возникшая примерно 1,5 миллиарда лет назад, но подтверждаемая лишь горными породами, насчитывающими примерно 1 миллиард лет, стремится к более высоким ступеням развития, к большему многообразию форм и к более высокому качеству. Определенную роль при этом играет преобразование облика земли; оно вынуждает растения и животных приспосабливаться к новым условиям жизни, к миграции или к гибели.

На рассвете, еще до короткого церковного звона, господин Гайзер взял с собой упакованный рюкзак, шляпу, плащ и зонт — рюкзак не тяжелый, и как только господин Гайзер вошел в лес, сердцебиение прекратилось; никто в деревне не видел его и не спросил, куда это господин Гайзер направляется со своим рюкзаком, да еще в гору, да еще в такую погоду.

Господин Гайзер знает, что делает.

Наивысшая точка перевала расположена на высоте 1076 метров над уровнем моря, а дорогу до нее господин Гайзер знает по прежним годам, к тому же есть карта; он знает, что там, где дорога раздваивается, надо пойти налево и что по пути есть хлева, где в случае сильной грозы можно укрыться, на перевале тоже есть хлева...

Дорога — она и в туман дорога.

По крайней мере гром не гремит.

В начале дорога не крутая; склон крутой, но дорога почти горизонтальная, часть ее выложена плитами — надежная дорога даже в туман, когда водопад не виден, а только слышен.

Потом дорога становится круче.

Господин Гайзер перестал высматривать часовню — если память ему не изменяет, она должна стоять внизу, справа от дороги,— возможно, ее не видно из-за тумана.

Должен же лес когда-нибудь поредеть.

Господин Гайзер не помнит, надо ли пройти через два моста или три, прежде чем выйдешь из леса. Ручей шумит очень близко, поэтому, несмотря на туман, должны были бы сразу выступить перила моста, даже если самого ручья господин Гайзер внизу и не видит,— а может быть, он уже перешел мост, не обратив на него внимания?..

У высокого моста есть перила.

(если их не снесло!)

Болтающийся на груди бинокль не бог весть какая тяжесть, просто он не нужен; в тумане видны только ближайшие стволы деревьев, верхушки же тонут в нем, затем папоротник, несколько метров дороги, одинокая красная скамейка, скалы, предвещающие ущелье, и вдруг — перила.

Прутья перил изогнуты.

Ровно через час господин Гайзер сделал первую остановку, не снимая рюкзака и не присаживаясь. Конечно, подъем дается труднее, чем в прежние годы, но сердцебиение уменьшилось.

Спешить господину Гайзеру некуда.

Дорогу частично образуют тяжелые плиты; найти эти плиты, притащить на место, уложить их, причем так, чтобы никакая непогода не могла разрушить дорогу,— вот это была работа, не сравнить с усилиями, которые прилагает господин Гайзер, чтобы продвигаться шаг за шагом, ступенька за ступенькой; иной раз ступеньки слишком высоки, так что начинаешь задыхаться и терять мужество.

Зонт тоже обременителен.

Время от времени дорога разветвляется, но это не та развилка, что отмечена на карте, и господину Гайзеру незачем доставать свою карту: нужная развилка, где господин Гайзер должен пойти налево, сразу же за первыми хлевами, а хлевов он до сих пор не видел. На какое-то время возникает сомнение — может быть, господин Гайзер не увидел их из-за тумана,— а потом обнаруживается, что это был просто сокращенный путь: обе дороги, более крутая и другая, опять сходятся, и напрасно господин Гайзер вернулся — выбрал в результате более крутую дорогу.

Все еще раннее утро.

Даже если из-за тумана не знаешь, где ты в данный момент находишься, дорога во всяком случае поднимается вверх, поворот за поворотом; важно только идти не спеша, шаг за шагом, равномерно и не спеша, чтобы не задыхаться.

Наконец-то эти хлева...

Какая-то глупая собака тявкает.

Уже через полчаса, раньше намеченного срока, господин Гайзер снова делает короткую остановку, не отстегивая рюкзака; овомальтин пока не нужен; но все же он садится на мшистую скалу, промокший до нитки, несмотря на зонт, зато в полной уверенности:

его план осуществим.

После развилки (другая дорога ведет к летнему пастбищу в горах, к группе домов на другой стороне долины, где, судя по карте, дорога кончается) господин Гайзер пошел правильным путем, так же как и после второй развилки, не обозначенной на карте. Это подтвердила метка на скале — бело-красно-белая. Потом дорога сузилась, перешла в тропинку без плит.

Господин Гайзер принял два решения:

1. никуда не сворачивать с тропинки;
2. если возникнут перебои в сердце, прервать задуманное, ни в коем случае не шагать до изнеможения.

Господин Гайзер споткнулся о корневище; немножко крови, перемешавшейся с дождевыми каплями на коже, ссадина на правой руке, держащей зонт,— это все пустяки, он не будет развязывать рюкзак, чтобы достать перевязочный материал. Между прочим, трость была бы куда более кстати, чем зонт, непромокаемая накидка — лучше, чем габардиновый плащ, отяжелевший от влаги.

Дождь не уменьшился.

Много времени отнял переход через ручей,— собственно говоря, не ручей, а один из тех потоков, которые образуются после долгого дождя и которых нет на карте, широкий поток над камнями, стремнина, не настолько бурная, чтобы в ней нельзя было стоять в сапогах по колено, но на господине Гайзере обычные туристские ботинки. Не меньше получаса потерял. Пришлось пройти и вверх и вниз, чтобы найти место с надежными камнями, приблизительно на расстоянии шага друг от друга, по возможности большими, чтобы не перевернулись и не покатились, когда поставишь на них ногу. Течение всюду примерно одинаковое. В конце концов господину Гайзеру пришлось просто рискнуть. Один из камней, на который он после долгого созерцания особенно понадеялся, все-таки перевернулся; господин Гайзер не упал, а только зачерпнул полный ботинок воды. Это произошло в девять часов, то есть было еще утро.

Поближе к перевалу дорога ровнее...

Десять лет назад (господину Гайзеру скоро семьдесят четыре) при солнечной погоде это была бы всего лишь хорошая прогулка, поход на два с половиной часа туда и обратно.

Память его не подвела:

обширный перевал, пастбища, четырехугольники стен сухой кладки и лес с полянами, главным образом лиственный (но это буки, а не березы), несколько разбросанных домов (не хлева, а покинутые летние дома), и на открытой поляне дорога, как обычно, теряется.

Пора бы передохнуть.

Господин Гайзер наслаждается сознанием, что никто не знает, где он сейчас.

Ни единого животного...

ни птицы...

ни звука...

Только чтобы заглянуть вперед и, прежде чем устраивать передышку, узнать, что ждет его на другой стороне,— карта указывает тропинку, около нее густая штриховка, что означает скалы,— господин Гайзер пошел дальше. Без тропинки. Но никакой другой долины впереди не видно, лишь лес, все более отвесный, между замшелыми камнями подлесок, то и дело спотыкаешься и в конце концов уже не знаешь, куда ступить дальше, чтобы не поскользнуться. Трудно дышать, а тут еще страх, торопливость, недовольство самим собой и пот, а там, где чаща редеет, склон еще круче; идти распрямившись почти невозможно. Приходится карабкаться на четвереньках, один час такого передвижения отнимает больше сил, чем три часа ходьбы по тропе, от корневища к корневищу, и вдруг — скальные стены...

Один неверный шаг — и конец.

Господин Гайзер был бы не первым.

Но пока все идет на удивление удачно.

Когда господин Гайзер, довольный, что никто его не видел, достиг открытого пастбища на перевале, был уже полдень. Серый полдень. Под большой елью, где земля почти сухая, зато кишит муравьями, господин Гайзер сменил пропотевшую рубашку и стал ждать, не вернется ли уверенность, вера в свои силы, чувство, что ты не потерян.

Голода он не ощущал.

Год назад в течение трех недель не могли найти сбившуюся с дороги молодую пару, даже вертолет не смог; нашли их только тогда, когда кто-то обратил внимание, что в одном месте над лесом кружит множество птиц.

Господин Гайзер забыл термос.

Красных муравьев погода, кажется, вообще не интересует; они бесшумно хлопочут в холмике из еловых иголок.

Самое время для послеобеденного сна.

Если не идешь, познабливает; промокшие носки господин Гайзер сменил, но мокрые штанины на нем как холодные компрессы.

Карту местности господин Гайзер не забыл.

Тропа, которая по другую сторону перевала ведет на семьсот метров вниз — согласно карте, справа от ущелья,— довольно крута, ничего не скажешь, и когда господин Гайзер снова встал на ноги, чтобы прикрепить рюкзак, он почувствовал, что колени у него дрожат. Но дождь перестал. Уже идя по открытому пастбищу, господин Гайзер все еще не знал, какое он примет решение.

## Aurigeno/Valle Maggia[1]

[1] Ауригено — долина реки Маджа *(итал.)*.

— это написано белой краской на скале недалеко от того места, где три часа назад господин Гайзер начал свое блуждание по чаще; стрела указывает тропу, ведущую направо через буковый лес. Тропа узкая, местами каменистая, потом снова выходишь на лесную почву, здесь колени уже не так подгибаются, и, если не наступаешь на скользкие от сырости корни, тропа совсем удобная. В лесу не видно серых облаков, буковая листва зелена, папоротник зелен, и было бы глупо поворачивать обратно, как чуть было не решил господин Гайзер во время передышки.

Его план осуществим.

Принимая во внимание свой возраст, господин Гайзер рассчитывал на пять-шесть часов (зять говорит, что он потратил ровно два с половиной часа).

Первая промоина безобидна.

Вторая выглядит хуже, крутая канава, полная наносов, груды скальных обломков и расщепленных стволов, ручейки, но хоть не грохочущий поток, идешь, утопая в гравии и тине, ухватившись рукой за трухлявую ветку или за камень, не без сердцебиения, зато потом снова выходишь на тропу. Предупреждение путеводителя («Спуск через Валле Лареччио: будьте осторожны при плохой погоде!») на месте кажется преувеличением, хотя склон все круче. Не надо заглядывать в ущелье. Зигзаг с добротными ступенями. Штриховка на карте — не преувеличение; на другой стороне ущелья отвесные скалы и водопад, рассыпающийся водяной пылью.

Третья промоина хлопот не доставляет.

Когда господин Гайзер думает о том, что в доме, который он оставил на рассвете, в доме, который находится теперь в другой долине, он прожил четырнадцать лет,— этот дом как будто уже не относится к настоящему времени.

На ходу чаще всего ни о чем не думаешь.

Важен следующий шаг и еще один, чтобы не вывихнуть ногу, чтобы не подогнулись колени, чтобы вдруг не поскользнуться. Зонт вместо трости — плохая опора, он часто соскальзывает с камней, и на него не обопрешься, когда шаг неуверенный. Тропинка хорошая, лишь временами ступеньки в камнях слишком высоки, в особенности если у тебя дрожат колени.

Порой господин Гайзер все же думает...

Вдруг забастовали икры; при каждом шаге боль, будто иголками колют. Правда, долина Маджи, ее зеленая равнина, уже видна, но дома еще кажутся маленькими, словно игрушки, и лучше смотреть только на тропу.

Опять она ведет вверх...

На скамью под навесом часовни господину Гайзеру пришлось присесть, чтобы унять судороги в икрах; часовня обозначена на карте; хорошо, когда ты видишь по карте, где находишься,— это всегда успокаивает. Меньше чем за час господин Гайзер спустился на четыреста метров с лишним, и теперь уже недалеко:

разница в высоте еще 313 метров.

Муравьи в рюкзаке ему не мешают; господин Гайзер позволил себе здесь глоток коньяку, потом глянул в ущелье, в котором, говорят, ни один человек еще не побывал, и вверх: зубцы и гребни, склоны такие крутые, что удивляешься, как тут можно было спуститься. Какая-то сумасшедшая долина.

Было около двух часов.

О чем поразмышлять?

— EB : AE=AE : AB...

— то, что бог пребудет, даже когда не останется людей, которые не могут мыслить себе творения без творца,— это не доказано ни Библией, ни вот этой фреской с изображением богоматери; Библия сочинена людьми...

— Альпы по происхождению — складчатые образования...

— муравьи живут государством...

— арки придуманы римлянами...

— если растает лед Арктики, Нью-Йорк окажется под водой, равно как и Европа, за исключением Альп...

— многие каштаны заражены раком...

— только человеку ведомы катастрофы, поскольку он их переживает; природе катастрофы неведомы...

— человек появляется в эпоху голоцена.

Было около четырех часов, когда господин Гайзер проснулся. Он услышал только последние раскаты грома, по-видимому прошел небольшой дождь. Горные кряжи окутаны облаками, но облака легкие, сквозь них проглядывает свет, чуть ли не солнце. Еще немного — и покажется голубое небо. Капает с листвы, она сверкает, и в сверкающей листве щебечут птицы.

Судороги в икрах прекратились.

Церковь в Ауригено (откуда идет автобус в Локарно) еще не видна, но господин Гайзер слышал, отчетливо слышал башенный бой: жесткие и хриплые удары колокола почти без отзвука.

Муравьи исчезли.

Допив коньяк (маленькая бутылочка флахмана), засунув в рюкзак бинокль и медленно завязав рюкзак, господин Гайзер еще немного посидел, не отдавая себе отчета, о чем думает, какие решения принимает. Потом господин Гайзер встал, пристегнул рюкзак и посмотрел, не осталась ли бумажка от овомальтина на земле или на скамейке перед часовней, которая, кстати, вовсе и не часовня. Это только фреска с изображением богоматери, укрытая навесом.

Господин Гайзер чуть не забыл зонт.

Как и следовало ожидать, подъем оказался трудным, а господин Гайзер знает: до перевала четыреста метров. Сознание того, что три промоины вовсе не так уж непреодолимы, что в общем-то тропа вполне

прилична и безопасна при дневном свете и что предстоящий зигзаг не бесконечен,— это сознание ободрило господина Гайзера, даже если знакомую по спуску тропу и не узнать при подъеме. Теперь бастуют не икры, а бедра. Когда господин Гайзер дойдет до второй, большей промоины? Некоторых участков пути господин Гайзер не припоминает; однако вот они, перед ним, и довольно крутые, и чтобы одолеть высокую ступень, господин Гайзер иной раз помогает своим бедрам, упираясь правой рукой в колено; левая рука использует зонт как трость. Все чаще господину Гайзеру приходится присаживаться на ближайший уступ, чтобы перевести дух, положив ладони на ручку зонта и опершись подбородком на руки.

Чего не видал господин Гайзер в Базеле?

Когда он снова достиг перевала, было около семи часов вечера, наступили сумерки; на перевале опять дождь.

Какой длинный выдался день.

Снова открытая луговина, где тропа теряется, где господин Гайзер утром наслаждался тем, что никто не знает, где он сейчас находится... Теперь этого тоже никто не знает.

— и опять широкий поток без моста:

течение над камнями не стало более стремительным, оно лишь потемнело, а в дождь карманный фонарь, даже самый лучший, отбрасывает свет недалеко. Он освещает главным образом сверкающие нити. Если ближайший камень вызывал сомнение, господин Гайзер поворачивал назад. Иной раз достаточно было бы ловкого прыжка, но господин Гайзер не полагался больше на свои ноги. Раз никто не должен знать об этом походе, надо избегать любого несчастного случая, будь то даже просто перелом руки. Один раз он попробовал подняться вверх, потом — спуститься вниз. Господин Гайзер не торопится — дома никто не ждет и не считает часов,— он запретил себе всякую спешку. Всюду тот же поток. Как и утром; только при свете дня лучше видно, где вода глубже или мельче. Когда господин Гайзер стоит посреди потока на камне, а вокруг в свете карманного фонаря бурлит вода, мысль о том, что сейчас можно было бы сидеть в поезде или гостинице, если бы он, поразмыслив около богоматери с навесом, не решил вернуться,— эта мысль мало чем помогает, к тому же теперь назад не очень-то повернешь; камень, на который он под конец ступил, видимо, сдвинулся и теперь залит водой. Что дальше? В конце концов ему это надоело; господин Гайзер закрыл зонт, ему нужны свободные руки, чтобы сохранять равновесие. Вдруг вода поднялась до колен. После того как господин Гайзер потерял свой зонт, которым он простукивал камни, даже стоять в текущей воде стало трудно. Но господин Гайзер выбрался, не потеряв карманного фонаря, а карманный фонарь теперь важнее, чем зонт.

Дорога — она и ночью дорога.

Пока идешь, усталость даже почти приятна — господин Гайзер знает, что садиться больше нельзя, иначе потом не встанешь на ноги.

Почва — она и ночью почва.

Света фонаря большей частью хватало, чтобы различать самое необходимое: плиты (а стало быть, дорогу), следующую ступень, лесную почву с корнями, стволы справа и слева (но направо — или налево — нельзя, там обрыв), снова плиты среди папоротника, осыпь, поросшая

чертополохом, омертвевшее корневище, а дальше уже одни сверкающие нити дождя — ночь без почвы под ногами, так что идешь не столько вперед, сколько назад, но вот вдруг опять дорога и ясно виден поворот, который господин Гайзер просмотрел. Иногда господину Гайзеру казалось, что теперь он примерно знает, где находится, и вот-вот придет на пастбище, где стоят хлева. Вместо этого снова лес. Может быть, господин Гайзер не увидел, как ожидал, хлевов, потому что они не попали в поле света его фонаря? Даже когда дождь льет ручьями, в конце концов перестаешь его ощущать. Последние два часа господин Гайзер просто шел и шел, не желая знать, где он находится. Колени то и дело подгибались, но упал господин Гайзер всего лишь еще один раз. Ничего страшного, только руки теперь все в грязи и в еловых иголках. Дорога идет вниз — это главное. А вот и хлева, которые господин Гайзер ожидал увидеть час назад. Здесь можно было бы укрыться, но какой смысл, раз все равно дрожишь от холода в мокрой одежде. Темнее, чем сейчас, уже не станет. Господин Гайзер знал, что сейчас будет: зигзаг через лес (не пропустить бы там поворот), а затем мост с изогнутыми прутьями перил; потом дорога станет ровнее, вполне приличная дорога, не пропустить бы ее, пока батарейка в фонаре не села...

О его походе никто не узнает.

Каждый раз, когда возникала необходимость остановиться и переждать, пока сердцебиение не утихнет немного, господин Гайзер выключал фонарь, чтобы сэкономить батарейку.

Чего не видал господин Гайзер в Базеле!

Когда господин Гайзер, никем не замеченный, пришел домой, деревня спала, было за полночь.

**Во время ледникового периода над Пассо делла Гарина (1076 м) рукав глетчера Маджи продвинулся на юг, причем вершина Салмоне едва выступала над ледяным покровом.**

Рисовый суп с овощами по-итальянски, который господин Гайзер выплеснул в сад еще несколько дней назад, опять тут как тут, полная кастрюля, рядом с ней оттиск из научного журнала с карандашной припиской — приветом от немецкого профессора; видимо, днем, когда господин Гайзер спал, кто-то здесь побывал и, конечно, звонил в дверь.

Чем снимают боль в мышцах?

Идет ли все еще (или опять уже) дождь, косой или прямой, видна ли сейчас деревня и вся долина или только ближайшая ель в тумане, только медленно скользящие по проводам капли да плющ, который блестит и тоже роняет капли,— ничего этого господин Гайзер не хочет знать.

Ссадина на руке безопасна.

Пятнистая саламандра в ванне...

Господин Гайзер хотел было взять совок, чтобы выкинуть эту склизкую гадину на двор, но забыл по дороге.

Лестничные перила без поручней...

Кто бы ни принес в дом суп — астроном собственной персоной, его супруга или их дочь,— кто-то видел листки на стенах; это неприятнее, чем боль в мускулах (особенно в бедрах); и куда важнее, чем достать совок для пятнистой саламандры, совсем другое: запереть двери дома.

Господин Гайзер не покинет долины.

(А ведь мог бы!)

Статья астронома — его доклад на международном конгрессе — кое в чем понятна и дилетанту, если прибегнуть к помощи дуденовского словаря иностранных слов; во всяком случае до тех пор, пока не появляются математические формулы. Первые из них господин Гайзер пропустил. Но, к сожалению, таких формул появляется все больше и больше, плюс химические, так что господин Гайзер вынужден бросить чтение.

(Сколько всего недоучил в своей жизни!)

Плита нагревается...

На каком-то аэродроме два государственных деятеля приветствуют друг друга — подобные вещи все еще происходят! Еще раз глянул на экран — разные виды рекламного спорта; кому это нужно?

Двери дома заперты.

Плита раскалилась.

Если в этой долине загорается дом, пожарники приезжают из соседних деревень, все сплошь пожилые мужчины; пока они доставляют на место и свинчивают шланги, балки под тяжелыми гранитными плитами крыши сгорают, и плиты с треском рушатся, пробивают своей тяжестью потолок, а то и пол и лежат потом грудой обломков в погребе.

Плита выключена.

В данный момент господин Гайзер стоит перед увешанной листками стеной.

**18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим себе помощника, соответственного ему. 19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.**

ПЛЕЗИОЗАВР
ДИПЛОДОК
ДИМЕТРОДОН
ДИНОТЕР
ЛАБИРИНТОДОНТ
ТИРАНОЗАВР
РАМФОРИНХ
МАМОНТ
ЦЕРАТОПС
ИХТИОЗАВР
ТРИЦЕРАТОПС

БАЛАХИТЕР
АРХЕОПТЕРИКС
СТЕГОЗАВР
НОСОРОГ
ПАЛЕОМАСТОДОНТ
ДИПЛОКАУЛ
СИНДИОТЕР
ЕВРИПТЕРИД
МАХАЙРОД
ЭНДОТИОДОН
ГЕСПЕРОРНИС
ПТЕРОДАКТИЛЬ
ГЛИПТОДОН
ЭХИППУС
МАСТОДОНОЗАВР
ПТЕРИХТИС
И Т. Д.

На жизненные процессы в человеч. и живот. организме Гроза влияет постольку, поскольку неустойчивость погоды (см. Погода) вызывает повышенную возбудимость вегетативной нервной системы. У человека наблюдается нарушение кровоснабжения в капиллярах кожи, вследствие чего наступает временное обострение некоторых кожных болезней (экземы «грозовой Pruritus»), в дни Г. могут также усиливаться эмболии. Закономерность увеличения при Г. приступов глаукомы, эпилепсии и эклампсии, как иногда сообщают,— психич. не доказана точно. Вообще Г., по-видимому, оказывает значительно большее влияние на психич. состояние человека и животного (появление страха или своеобразного возбуждения), чем на физическое состояние организма (возникновение или усугубление заболевания).



Работа с ножницами имеет не только то преимущество, что господин Гайзер больше успевает сделать: клейкая лента держится и на штукатурке, так что теперь можно использовать все стены; новый способ, кроме того, позволяет господину Гайзеру наклеивать на стены и иллюстрации — правда, при этом книги погибают.

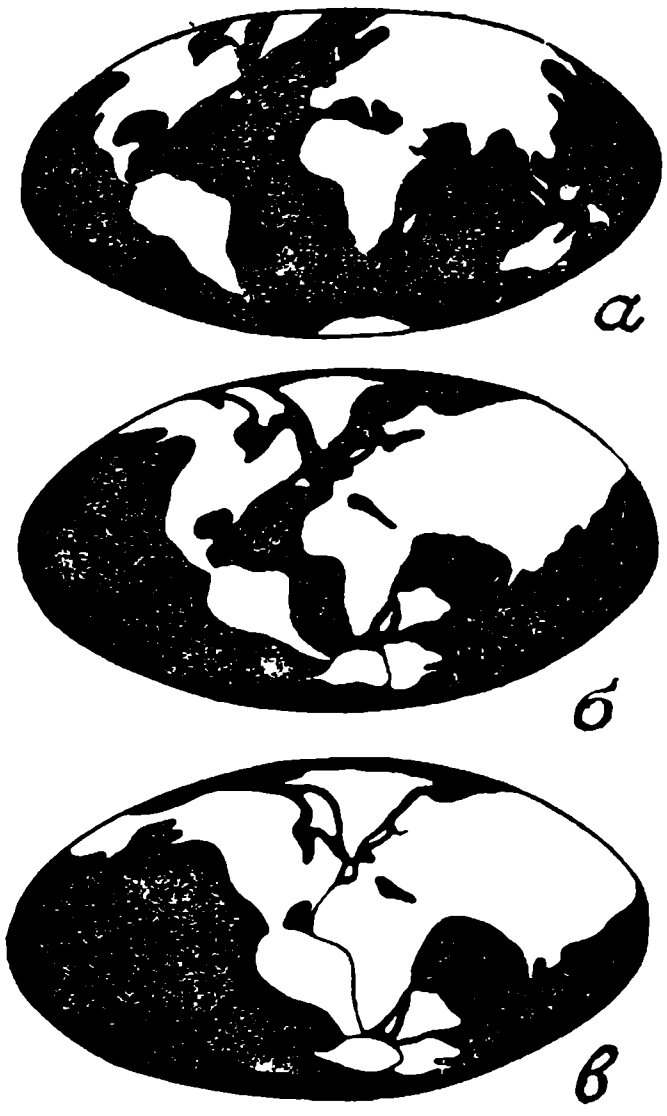



Рис. 68. Теория континентального дрейфа В е г е н е р а. Облик земли в современную эпоху (а), в верхнемеловой период (б), в юрский период (в). Рис. Р. Ш т е е л а, 1968.

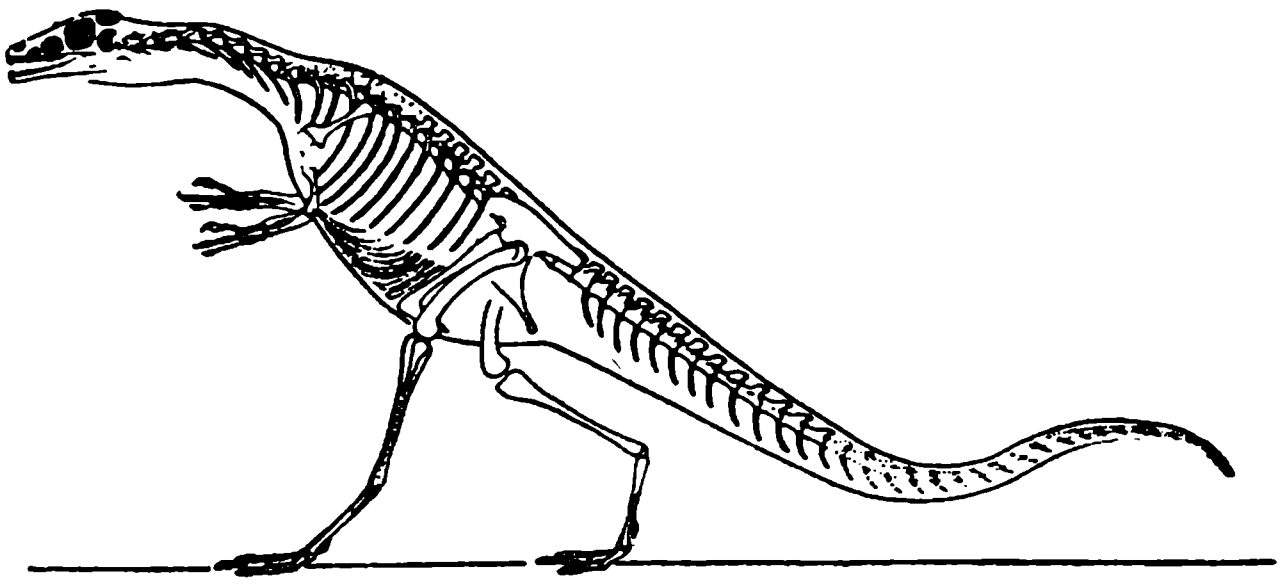


Рис. 11. Compsognathus, колурозавр, Золнхофский сланец, Яхенхаузен (Вост. Бавария), размером примерно с кошку. По Ф. фон Хюне.

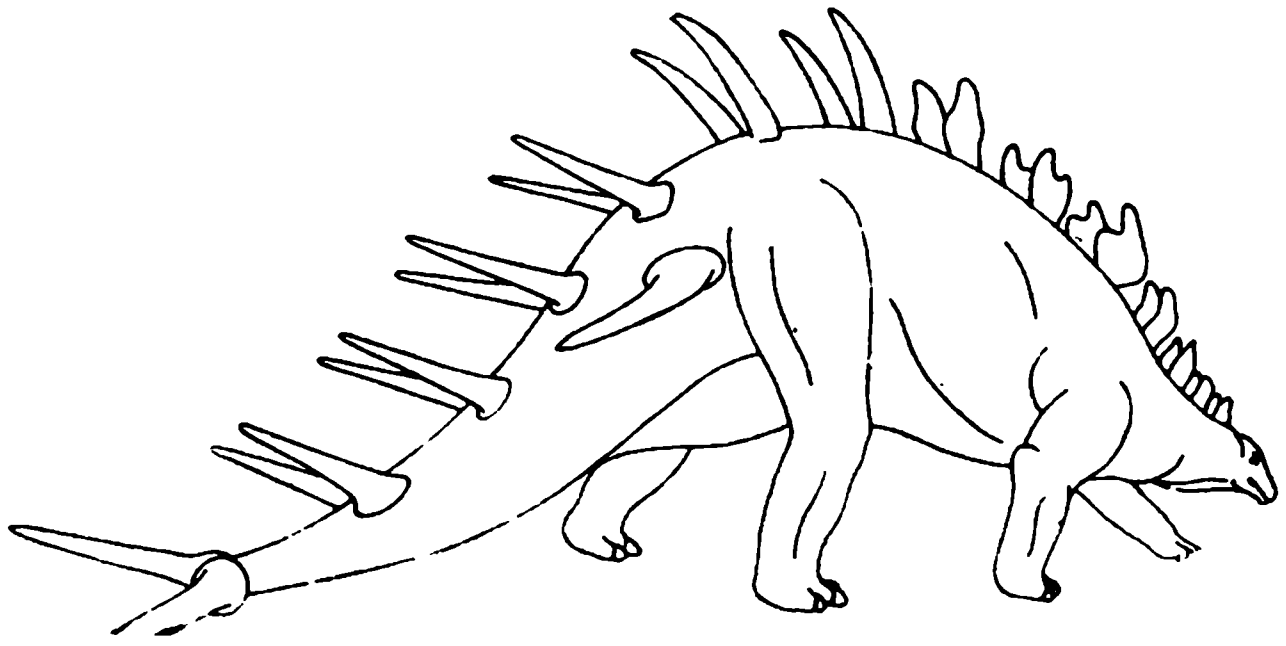


Рис. 34. Kentrosaurus aephiopicus, стегозавр верхнеюрского периода, Восточная Африка, длина ок. 5 м. Рис. Р. Штеела, 1968.

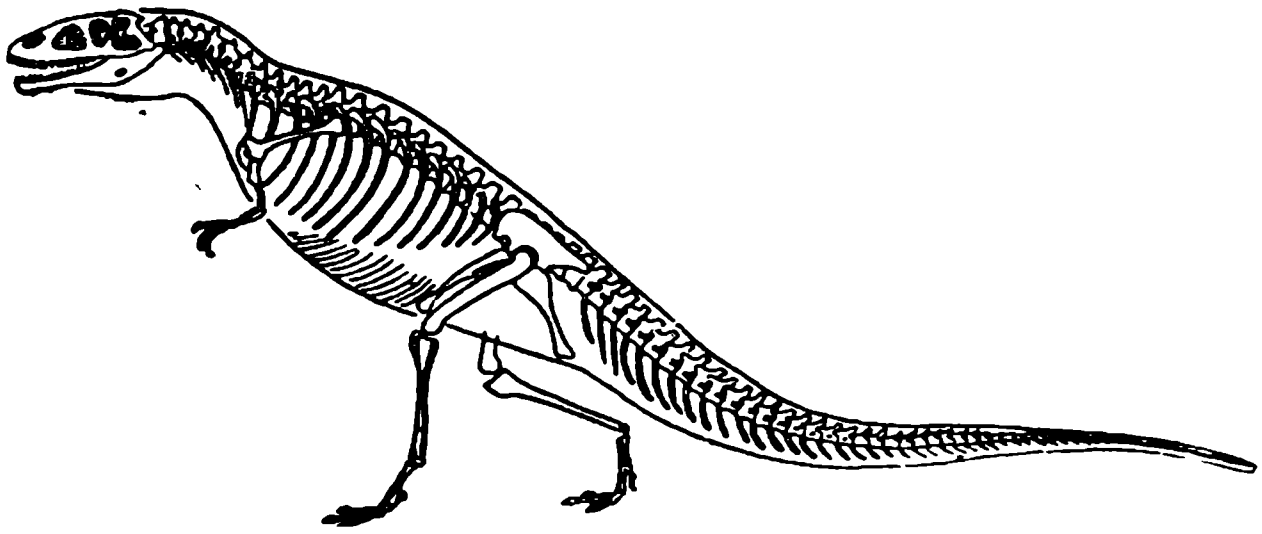


Рис 23 Megalosaurus bucklandi, Мейер, Доггер (среднеюрский период), Англия, длина ок. 7,3 м. По Хюне, 1956.

Господин Гайзер и не подумал: текст на оборотной стороне, который он заметил только после того, как тщательно вырезал иллюстрации, может быть, был бы не менее интересен; теперь же этот текст искромсан, непригоден для наклеивания.

Рис. 26. Tyrannosaurus rex, один из самых крупных карнозавров, длина ок. 15 м. Подлин. рис. Р. Ш т е е л а, 1968.

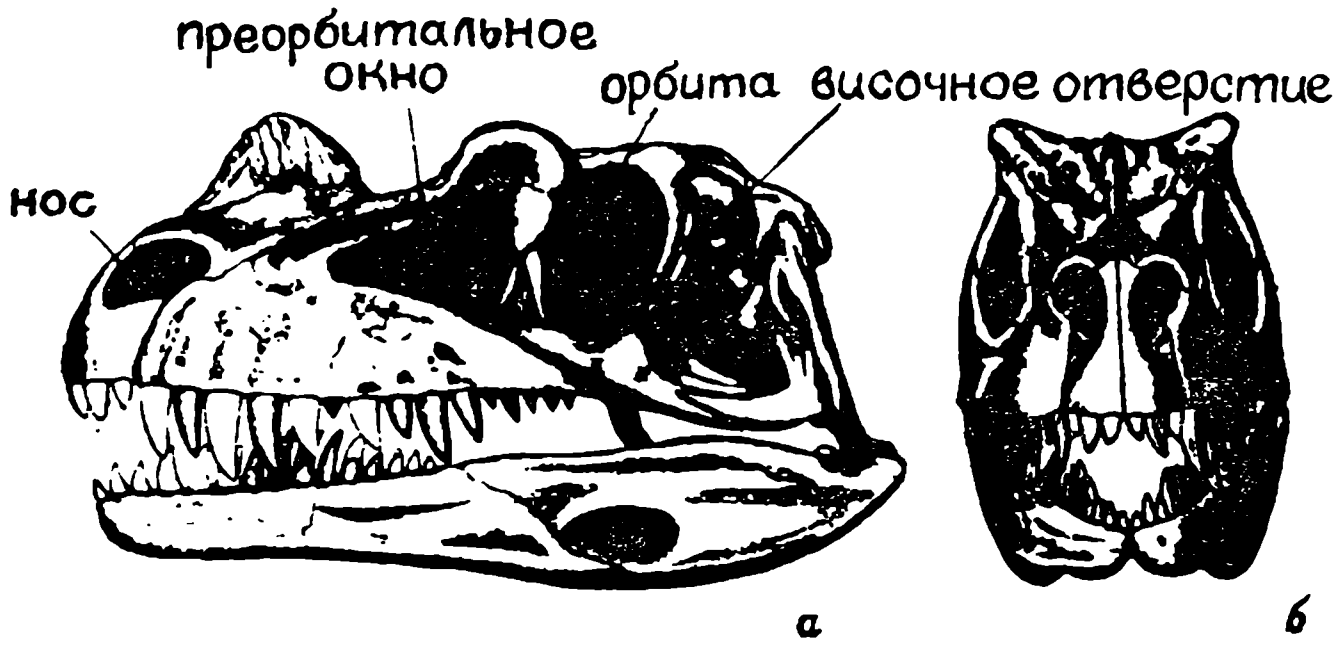



Рис. 24. Ceratosaurus nasicornis, М а р ч, череп, длина 63 см. верхнеюрский период. Колорадо. По О. К. М а р ч у.

Порой господин Гайзер задается вопросом, что он, собственно, хочет знать, чего он вообще ждет от знания.

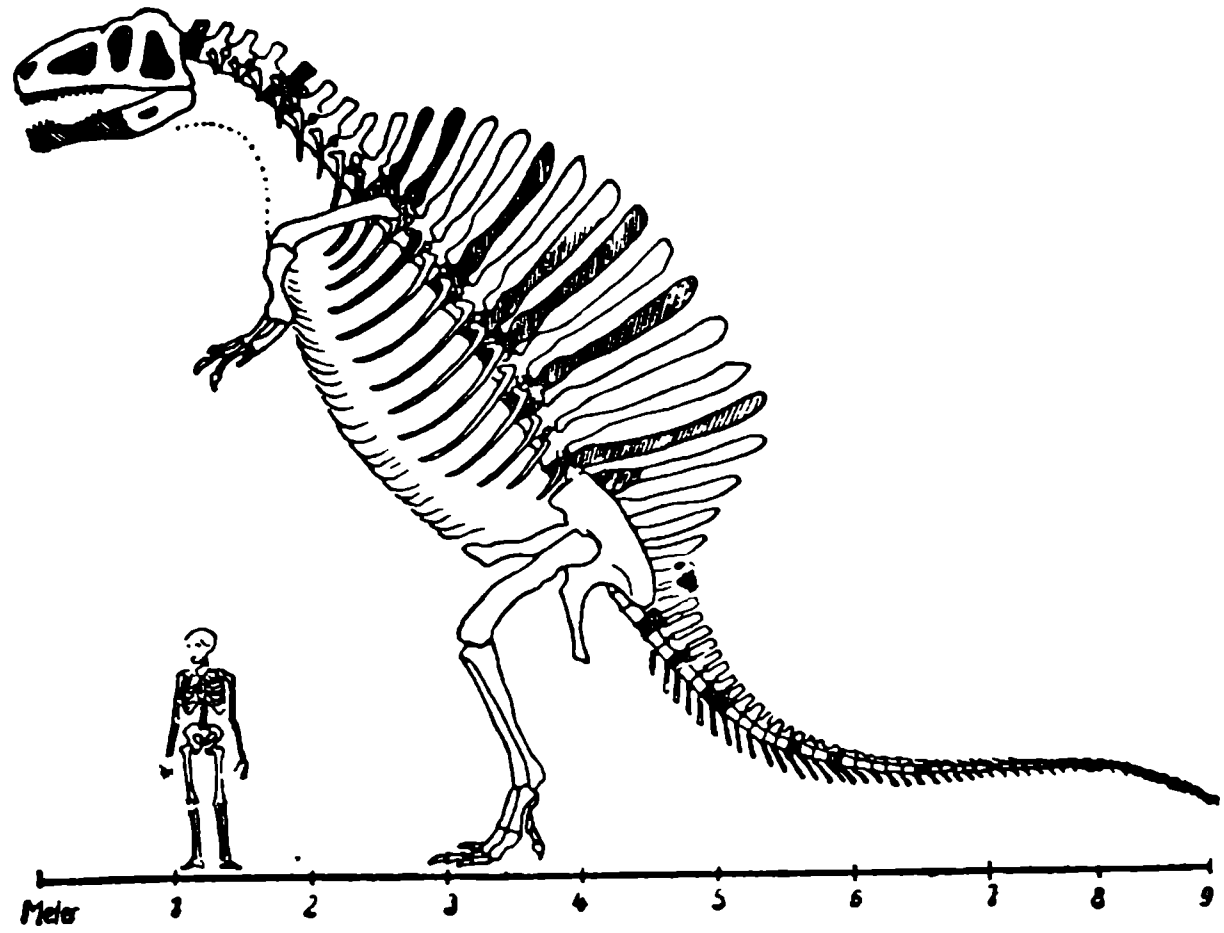



Рис. 27. Spinnosaurus, конструкция скелета, рядом скелет человека, меловой период, Египет. По Ш т р о м е р у.

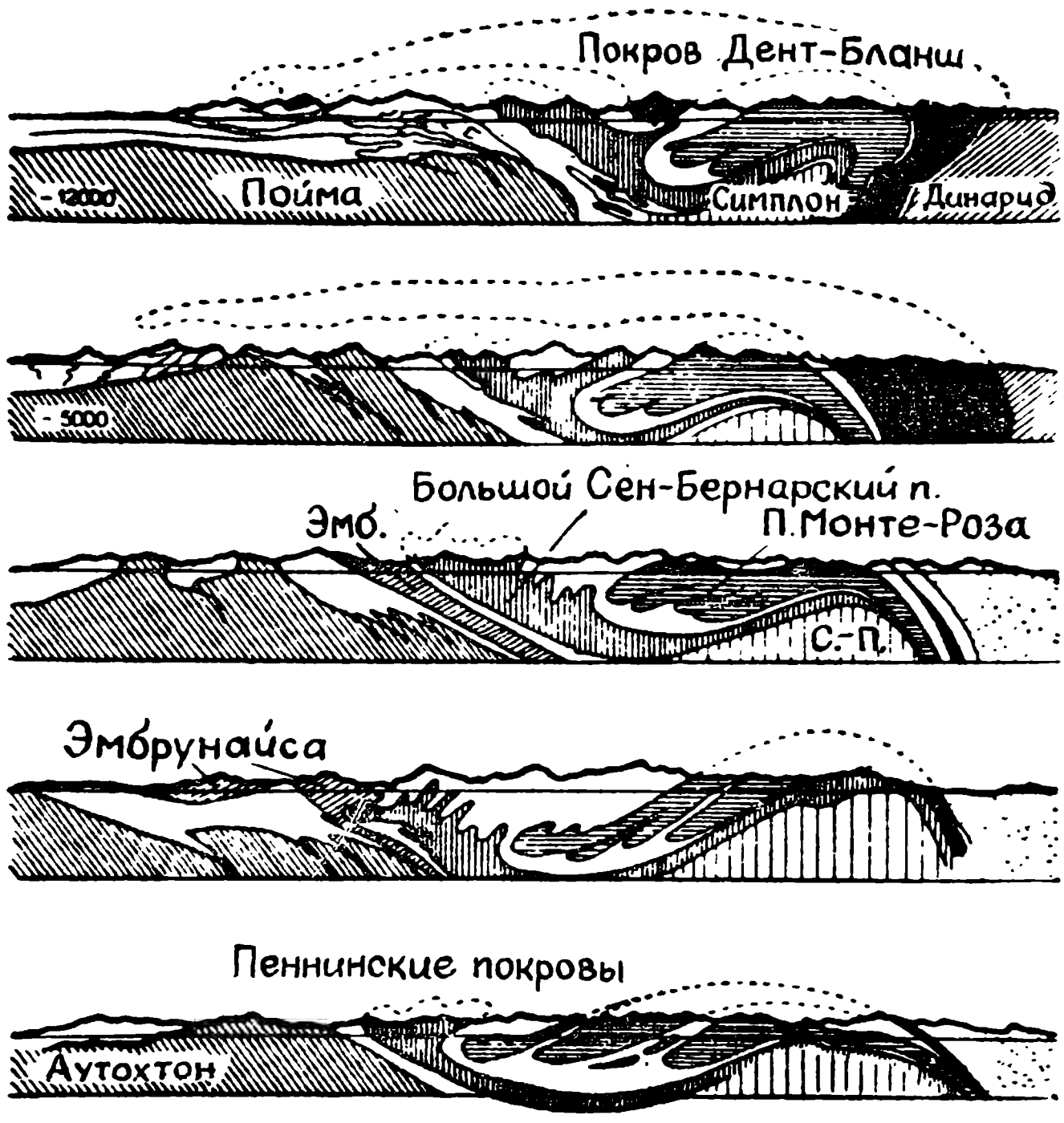



**Схема глубинных складок Пеннинских покровов в Валлисе** (по Арганду). Поперечные разрезы западнее Симплона обозначают горные разработки глубиной до 12 км, ответвление которых лучше всего видно в покрове Монте-Роза. Верхний покров (Дент-Бланш, к которому относится и Маттерхорн) образует связующее звено между Западными Альпами (Валлис), Граубюнденом (покров Марmира) и Восточными Альпами (Гроссглокнер).

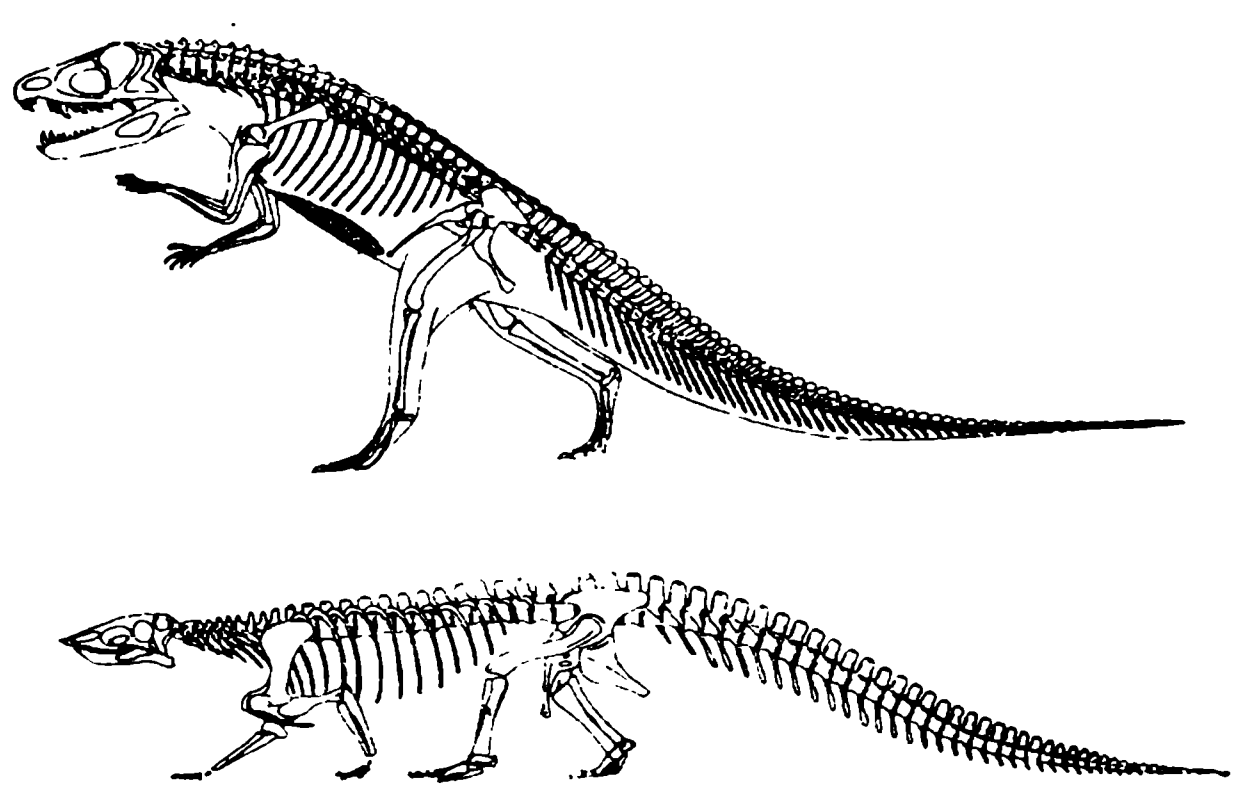


Рис. 2. Скелет карнозавра *Ornithosuchus*, триасовый период, длина ок. 4 м (вверху), и псевдозухия (*Stagonolepis*), триасовый период, представитель группы предков динозавра. По Валькеру. По Кребсу (1969). *Ornithosuchus* благодаря своему строению конечностей относится к псевдозухиям.

Очевидно, господин Гайзер был в шляпе. Иначе шляпа не лежала бы на полу около него. День. Почему горит свет во всем доме? В камине еще тлеют головешки. Сесть господин Гайзер в силах. Кости не переломаны; во всяком случае нигде не болит. Только голова кружится, поэтому господину Гайзеру приходится подождать немного, прежде чем отважиться встать на ноги, как и подобает человеку.

Очки на полу, но не разбиты.

По-видимому — господин Гайзер не помнит этого,— он упал с лестницы, потому что на перилах нет привычных поручней.

Дом невредим.

Со вчерашнего дня — господин Гайзер это помнит — снова курсирует почтовый автобус. Из долины слышен его трехкратный сигнал: первый раз громко, потом тише, потому что дорога уходит в боковое ущелье, а после следующего поворота снова громче; некоторое время слышен еще шум автобусного мотора, затем наступает внезапная тишина, потому что автобус скрылся за поворотом, и только через пять минут издалека снова доносится слабый гудок...

Это господин Гайзер слышит.

В ванной висит зеркало, можно было бы посмотреть, есть ли шрам на лице. Но это не к спеху. Носовой платок, который господин Гайзер прижал к лицу, чист, крови нет, ни одной капли.

Двери дома заперты.

Господин Гайзер находится, собственно, не у лестницы, а на полу возле стола; рядом опрокинутый стул...

В зеркале шрама на лице не видно.

Пятнистая саламандра все еще в ванне.

Что-то с левым веком. Нет, боли нет. Когда дотрагиваешься до века пальцем, веко вообще ничего не чувствует. Звонят в дверь. Электричество опять появилось, и господин Гайзер не глухой. Снова и снова звонят.

Но господину Гайзеру не нужны никакие гости.

В кухне есть еще: миндаль, банка маринованных огурцов, мед, лук, маслины в банке, томаты в банке, мука, манная крупа, овсяные хлопья в большом количестве; господину Гайзеру незачем выходить из дому.

Тем не менее у него шляпа на голове.

Бывает, что большое полено (каштан) тлеет еще и на следующее утро. Могло пройти часов семь или восемь с тех пор, как господин Гайзер упал...

Наверное, опрокинулся стул.

На столе лежат двенадцать томов энциклопедии, лупа, маникюрные ножницы и несколько листков, сплошь печатный текст, то, что господин Гайзер вырезал, но еще не наклеил на стену.

Столько еще дел...

А может быть, это звонит дочь по телефону, она, наверное, пыталась дозвониться все эти дни, когда линия не работала, и теперь пытается снова и снова.

Звонок слышен все утро.

Да какие уж тут новости:

— обломки в грядках салата, но почтовый автобус снова ходит, подсолнечники все сломаны, осыпалось много орехов, в августе уже появились безвременники...

Господин Гайзер ищет клейкую ленту.

— внизу в долине сплошные разрушения...

Клейкая лента нашлась.

Стоя у заклеенной листками стены, господин Гайзер не может вспомнить, почему ему пришло в голову вырезать и наклеить на стену изображения ящеров и земноводных...

Ящеров в Тессине никогда не бывало.

Около полудня звонки прекратились.

Вероятно, астроном уехал, поскольку дорога восстановлена, и, наверное, это он звонил утром в дверь, чтобы попрощаться.

— склоны оползли...

Хуже было бы, если бы появилась трещина в штукатурке, тончайшая трещина, которой вчера еще не было, или трещина в плитах кухонного пола; это означало бы, что, хотя не весь склон оползает, дом постепенно поддается давлению горной воды.

(вот так однажды рухнула церковь).

Это всего лишь бечевка, а вовсе не трещина — то, что господин Гайзер увидел в кухне на полу. Если прикрепить к бечевке какой-нибудь груз, например пустую бутылку, и подержать бечевку у стены, непременно отвесно, господин Гайзер увидит, что стены и весь дом в полном порядке.

Веко, левое, все еще парализовано.

В остальном ничего не случилось.

Глядя в зеркало, чтобы увидеть свое лицо, господин Гайзер все припоминает: дочь в Базеле зовут Коринной, а фирма в Базеле, которой управляет зять и которая при нем утроила свой оборот, носит имя господина Гайзера, пусть даже он и похож сейчас на амфибию. Пятнистой саламандры нет больше в ванне.

Господин Гайзер бросил ее в камин.

Под пеплом беззвучно тлеют угли, жар без пламени, а если положить сверху сухое полено, выскакивает голубоватый язычок, вслед за ним пламя, сперва оно громко трещит, а потом опять долго беззвучно тлеет; когда большое полено, обуглившись, внезапно распадается на тлеющие куски, слышен тихий шорох...

Господин Гайзер не оглох.

Господин Гайзер знает свой год рождения, и имена своих родителей, и девичью фамилию матери, и название улицы в Базеле, на которой он родился, и номер дома...

(чего только не знает амфибия!)

Господин Гайзер не амфибия.

В Базеле тоже был сильный дождь, два дня железнодорожное сообщение с Сен-Готардом было прервано, в Верхней Италии были наводнения, погибло много людей.

Тяжесть в левом виске не проходит.

Господин Гайзер не может вспомнить, о чем разговаривал с Коринной, она все знает из газет; а о чем он, господин Гайзер, рассказывал, он понятия не имеет.

На дворе бродячая собака...

Со вчерашнего дня, после того как он зажарил в камине кошку и не смог ее есть, господину Гайзеру тошно смотреть даже на суп, потому что в нем сало.

Об этом господин Гайзер не рассказал.

Собачонка не из деревни, и это не пес голландцев — они, вероятно, уехали; обнюхивает весь двор в поисках собачьих следов, но ничего не находит.

Китти зарыта возле роз.

Дождя нет.

Рисовый суп с овощами по-итальянски, который он и видеть не может, господин Гайзер вылил в крапиву.

Бродячая собака убежала.

Потом пришли трое мужчин: Франческо — секретарь общины, старый Этторе — каменщик-поденщик, который всю жизнь строил опорные стены и не может поверить, что когда-нибудь вся гора сдвинется с места, и еще один; они звонили, и звонили, будто господин Гайзер глухой, и звали, и стучали кулаками в двери, напоследок обошли вокруг дома, светя карманными фонарями в окна нижнего этажа; лишь после того, как господин Гайзер запустил в них чашкой, они убрались.

Но это было не сегодня.

Это было прошлой ночью, иначе они не светили бы карманными фонарями, а сейчас сияет солнце.

Сразу же зачирикали птицы.

Господин Гайзер и ставни закрыл; чужим людям не полагается глазеть в окна только потому, что им не открывают двери.

Господин Гайзер знает, как он выглядит.

(амфибия даже этого не знает).

Господин Гайзер знает, например:

— при восхождении на гребень, в два часа ночи, не нужен фонарь, настолько светла ночь над глетчерами, даже когда не светит луна; скала бледна, как кость, не сера и не черна, а именно, как кость, бледна, и поскольку не видно теней, она даже и вблизи кажется нереальной, хотя вот она, тут, перед тобой, на ощупь холодна, как лед, и тверда до звона; но на самом деле ненадежная скала — она то и дело крошится под рукой, когда шаришь в поисках уступа, чтобы ухватиться, и тогда вниз с грохотом летят осколки. Ни звука, вызванного не тобой; время от времени звонко ударяется о скалу ледоруб; и опять тишина, как на Луне. Когда глядишь наверх ночью, зубцы и башни кажутся призрачными, позднее, в первых лучах солнца, когда долина Церматта еще покрыта тенью, они в синем утреннем небе желты, как янтарь.

Это было пятьдесят лет назад.

Его маттерхорнская история всем известна, господин Гайзер достаточно часто ее рассказывал, даже внукам надоело.

Как зовут его трех внуков?

Два часа на отвесной скале, не имея возможности сдвинуться с места, слева и справа вечный снег, плиты гладкого сланца с ручейками талой воды, оба без какой бы то ни было страховки, два часа...

Все это было давно.

Как и желтая песчаная буря под Багдадом.

Появилось опять электричество, не колотят по жести, ничто не журчит, не булькает вокруг дома, гром не гремит...

Клаус похоронен в Багдаде.

До вершины считается восемь часов, и хотя они никогда не карабкались одновременно или без обязательной страховки натянутой веревкой, они споро продвигались вперед, беря одну длину веревки за другой. До горной хижины Сольвай (4003 метра над уровнем моря) они обогнали две другие группы альпинистов, одну из них с проводником. Лишь после этого кое-где стал попадаться свежевыпавший снег на скале, пушистый, легко сметаемый рукой; а если местами приходилось идти по вечному снегу, Клаус, его брат, протаптывал или продалбливал ледорубом хороший след. Вид Маттерхорна известен по многочисленным изображениям. Вблизи, когда стоишь на скале и отдыхаешь, закрепив веревку за надежный выступ, и осматриваешься кругом, ничего этого не видно. Кругом только зубцы, и крутые утесы, и каменные громады, причем кое-где не вертикальные, а нависающие — удивительно, как это они давно не откололись и не рухнули вниз. В минуты страха, скрываемого друг от друга, выручало молчание, трезвое хладнокровие, пока другой искал уступ или трещину в камне, где нога могла бы найти более устойчивую опору. Погода была идеальная, только над вершиной висели легкие облака. Временами все шло очень легко и незачем было смотреть ни вверх, ни вниз, Клаус нес рюкзак. Вскоре после десяти они внезапно оказались возле железного креста на вершине, гордые и немного разочарованные. Вот оно и все: съедаешь холодное яблоко на Маттерхорне, и тут же приходит следующая группа, не та, что они обогнали: двое мужчин и молодая японка. С вершины мало что видно. Порой сквозь дыру в облаках открываются то пустынные моренны или грязный язык глетчера, то зеленый альпийский луг, залитый солнцем, то белые прожилки ручьев, а однажды они разглядели

небольшое озеро Шварцзее, где они оставили свою палатку — но ее они не смогли различить,— маленькое чернильное озеро в солнечных бликах, рядом что-то вроде белых червячков, вероятно коровы...

Имена внуков:

Соня

(фамилия: Креттли)

Ганс-Йорг

— а как зовут младшую?

Зато господин Гайзер помнит:

Проводник, которого они обогнали, на вершине не ответил на их приветствие, он угощал своих немецких клиентов горячим чаем, и лишь позднее (а тем временем подул такой сильный ветер, что почти все — и с чашками, и без чашек — повернулись в одну сторону, штаны и куртки у них вздулись спереди, а у тех, у кого не было на голове вязаной шерстяной шапки, волосы взметались, вставали дыбом) — лишь позднее, когда Клаус что-то спросил у него, проводник заметил им, что, обгоняя, они сталкивали камни, причем неоднократно. По словам проводника, погода не предвещала ничего дурного. Временами сквозь летучий туман просвечивало голубое небо. Вначале при спуске им было не по себе, потому что все время приходилось посматривать вниз, а видны были только самые ближние, выступающие из пустоты скалы, под ними же — раздолье для птиц. Они уже знали: гребень длинный. Клаус шел теперь позади, он страховал веревкой, закрепляя ее на выступах скалы, так что с идущим впереди не могло ничего случиться, даже если он поскользнется. Клаусу было труднее. Поскольку, идя сзади, он сам себя не всегда мог страховать, они не всегда могли брать одну длину веревки за другой. Спуск шел медленнее, чем подъем. Не всюду путь пролегал по гребню; в одном месте нужно было обойти скальную башню («Жандарм»), в другом — крутое русло («Кулуар») уводило в стену направо или налево, так что снова на гребень они попали лишь далеко внизу. И вдруг они очутились у Восточной стены, без какой бы то ни было страховки, на высоте примерно семисот метров над бергшрундом. Непонятно, как они очутились перед этим барьером; рядом с ними отвесный вечный снег, плиты гладкого сланца с ручейками талой воды. Полдень. Вернуться невозможно. Один раз они услышали: на ближнем гребне — голоса, звонкий стук ледоруба о скалу, но группы не видно. Они не позвали на помощь. Прошел час, на стену легли тени, между тем как гребень, выступы которого они видели глубоко внизу, был освещен солнцем. Потом, когда они стали кричать, приложив рупором руки ко рту, на гребне никого уже не было, во всяком случае на этой высоте. У них не было ни шипов, ни ледовых крюков, которые помогли бы спуститься на веревке; подальше внизу, они знали, полоса вечного снега, ведущая к гребню. Оба стояли довольно устойчиво, но ухватиться было не за что. Казалось, будто стена тебя выталкивает. Хорошо хоть, что, если не двигаться, камни не сыпались Было бы ошибкой отступить здесь к стене только потому, что на гребень надо долго карабкаться; все остальные группы остались на гребне. То, что они сейчас предприняли, оказавшись в полном одиночестве, было чистым идиотизмом: чтобы добраться до нижней полосы вечного снега, Клаус должен был обойтись крошечными трещинами в скале, между тем как веревка, которую брат пропускал через его плечо, ни за что не смогла бы удержать его; они бы оба сорвались. Это они знали. Надо было одолеть всего

лишь десять или двенадцать метров, но длилось это бесконечно. Неизвестно еще, можно ли будет пройти по полосе вечного снега. Вернуться было невозможно, достаточно того, что Клаус, ухватившись обеими руками за трещину, уже дважды вытягиваясь во всю длину тела, едва-едва нашел опору для ног; таким способом больше не поднимешься. Последняя надежда выбраться — полоса вечного снега, узкая, но не слишком отвесная. Конечно, теперь, когда ни один из них ничем не мог подстраховать другого, оставаться в связке было совершенной бессмыслицей. Узкая полоса вечного снега, очевидно, была слишком тонкой (Клаус не мог даже забить ледоруб, чтобы самого себя хоть немного подстраховать веревочной петлей), зато обмякла хотя с полчаса уже и не прогревалась солнцем, — ступать еще было можно. Они решили, что, как только Клаус доберется до скалы и найдет надежную опору, младший брат освободится от веревки, чтобы он, Клаус, мог карабкаться дальше. Последние метры ему пришлось передвигаться на руках, не имея опоры для ног. Тогда-то и появился знак. Выпущенный из рук конец веревки болтался далеко внизу, но Клаус держал другой конец. Он медленно подтянул длинную веревку к себе наверх, обвязал ее вокруг плеча. И исчез из поля зрения. Он, как старший, хотел попытаться достичь гребня один и вскарабкаться еще раз на гребень, чтобы опустить вниз закрепленную там веревку. Если же это не удастся, он, Клаус, один спустится за помощью, которая может поспеть примерно к полуночи. Так они договорились. Стоять одному в стене (обеими ногами в трещине, так что нельзя шевельнуться) и глядеть вниз на глетчер — этого до полуночи не выдержишь. Полчаса и то покажутся вечностью. Тем временем похолодало; ветра не было, но холод такой, что все становится безразличным. Крика не услышать. Он не знал, пытается ли все еще брат спустить сверху веревку, или, если это почему-либо не удалось, он сам уже спускается. Один раз по стене покатились небольшие осколки; веревки все не было.

Такое не забывается.

Клаус был хорошим братом.

А Коринна заботливая дочь...

Маттерхорн—это было пятьдесят лет назад, и Коринну это не интересует — она пришла, чтобы узнать о том, что происходит сейчас.

Оползли склоны.

Но дорога опять открыта...

Иначе Коринны не было бы здесь.

Наконец-то со скалы медленно поползла веревка, аршин за аршином; но ее не хватило. К счастью они все обговорили; ровно через пять минут Клаус снова аршин за аршином потянул пустую веревку вверх, и снова залязгали обломки вечного снега, осколки льда, мимо проскочили два или три камня, стукнулись внизу о скалу и, описав большую дугу, беззвучно исчезли в пустоте. Через полчаса веревка опять спустилась, теперь достаточно длинная; но она качалась на метр или два от стены, и надо было исхитриться поймать ее, что в конце концов с помощью ледоруба и удалось...

Это все было давно.

Коринну интересует, почему закрыты ставни, зачем такое множество листков на стене, почему шляпа на голове.

Это сегодня.

Очевидно, мужчины опять ушли, они не взламывали двери дома — не понадобилось, у Коринны есть ключ.

Почему она разговаривает с ним, как с ребенком?

Надо бы еще многое наклеить на стену, только это бесполезно, потому что клейкая лента, magic tape, никуда не годится; малейший сквозняк (когда Коринна открывает ставни) — и листки все летят на пол, сплошная неразбериха, бессмыслица.

Сахар кончился.

Не снимая пальто, Коринна кипятит чай. Зять из Базеля, который всегда все лучше всех знает, передавал привет.

Пагода так и не получится...

Это господин Гайзер знает.

Но сухие хлебцы еще есть.

Рухнула стена сухой кладки, в грядках салата обломки, дорога была перекрыта — все это Коринна уже слышала.

Говорить не о чем.

Веко парализовано, угол рта тоже, господин Гайзер это знает, от этого никакая шляпа на голове не поможет.

Сегодня светит солнце.

Что делать с листками?

Коринна приносит чай, у нее мокрые глаза, о чем она, по-видимому, не знает, она улыбается, как медицинская сестра, и говорит с отцом, как с ребенком.

Перила без поручней...

Искромсанные книги...

Муравьям, за которыми господин Гайзер недавно наблюдал под мокрой елью, нет дела до того, знают ли про них что-нибудь, равно как и ящерам, которые вымерли прежде, чем человек их увидел. Все эти листки, со стены или с ковра, можно уничтожить. Какой еще там голоцен! Природе не нужны названия. Это господин Гайзер знает. Камням не нужна его память.

Э́розия (от лат. erodere — обгладывать), в широком смысле — процессы, ведущие к формированию рельефа (морская, ветровая, ледниковая Э.); в более узком смысле — размывающая деятельность текучей воды. Сила Э. зависит от напора воды, сопротивляемости горных пород и рельефа местности. Путем глубинного проникновения (глубинная Э.) и расширения (боковая Э.) первонач. речного русла Э. ведет к образованию долин. Базис Э. — уровень, до которого распространяется действие Э.; обычн. базис Э. помимо бессточных водоемов — уровень моря. Чрезмерная Э. из-за разрушения обрабатываемой почвы (превращение в степь, например, на западе США) отрицательно сказывается на экономике. Увеличивающаяся Э. может стать вредной также и из-за изменения растительного покрова вследствие вырубки леса, повышенной эксплуатации и др.

За 500 лет до рождества Христова люди пересадили благородный каштан из Малой Азии в Грецию и немного позднее в Италию. Римляне посадили у подножия Альп первые каштановые деревья. Они вырастают до 20—30 м и 70—140 лет стоят во всем великолепии. Потом они большей частью становятся дуплистыми.

Эсхатология (...ch; гр. — лат.) — учение о «конце мира», т. е. о конечной судьбе отдельного человека и мира.

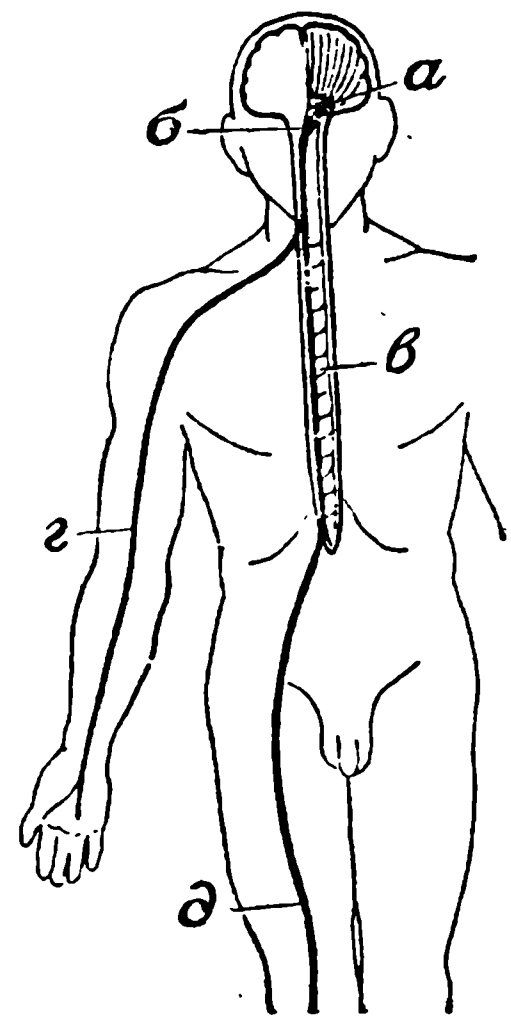
**Когерентный** (лат.) — связанный; когерентный свет (физ.) — пучок лучей одинаковой длины волны и частоты. **Когеренция:** 1. связь. 2. (физ.) свойство пучка лучей, имеющих одинаковую длину волны и частоту. **Когерентный фактор** (психол.) — вызванное пространственной близостью, сходством, симметрией или подоб. факторами соединение отдельных ощущений в единый связный облик. **Когерентный принцип** (филос.) — аксиома о связи всего сущего.

Каштановый рак был впервые обнаружен в 1904 году под Нью-Йорком. Через шесть лет после его появления высохли 2% деревьев, через 8 лет даже 95%. После войны эта болезнь появилась сперва в Италии. В 1948 году аналогичная болезнь впервые обнаружилась в Тессине на Монт-Ченери. Высыхание дерева вызывает гриб, который назван учеными «endothia parasitica». Ведутся поиски средства уничтожения его. Но с этой эпидемией, которая так же упорно распространяется, как чума в средневековье, трудно справиться. Неизбежна ли гибель всех каштановых лесов в Тессине?

В период своего мирового господства Рим основал и в этих местах военные колонии. Судя по остаткам римских поселений, заключенным в локарнской почве, колония в Локарно была очень значительной. Различные признаки свидетельствуют о том, что она состояла из отставных воинов, из когорт, чья бранная слава была уже позади.

**АПОПЛЕКСИЯ,** апоплексический удар, кровоизлияние в мозг, Apoplexie, внезапно наступающее, большей частью сопровождающееся беспамятством и параличами, часто потерей речи (Aphasie), выключение более или менее обширных участков мозга. А. большей частью наступает из-за разрыва мозгового сосуда (кровоизлияние) вследствие артериосклеротического повреждения его стенки. Иногда это приводит к более медленно протекающим «диапедезным кровоизлияниям».

Симптомы А. развиваются вследствие давления излившейся крови на мозговые ткани. Если не затронуты жизненно важные области (дыхательные и сосудистые центры) или не поражены слишком боль-
шие участки мозга, параличи часто и в большой степени обратимы. Внезапная закупорка сосудов (Embolia) тоже может вызвать аналогичные симптомы. Параличи большей частью поражают только одну половину тела (Hemiplegie): при кровоизлияниях в левое полушарие головного мозга — правая сторона, при правостороннем поражении — левая. Парализованные конечности поначалу вялы; лишь позднее наступает судорожная (спастическая) стадия.




Апоплексия: схематическое изображение кровоизлияния в

Деревня стоит невредимой. Над горами, высоко в голубом небе тянется белый след пассажирских самолетов, которых не слышно. Воздух полон ароматом лаванды и жужжанием пчел, днем почти жарко, лето как лето. Освещенные солнцем стены кишат ящерицами — они греются на каменном подоконнике или беззвучно шмыгают вверх и вниз по стене дома. Порой слышна мотопила — пронзительный визг вгрызающихся в ствол зубьев — и вслед за этим внезапный треск и глухой удар упавшего ствола, потом снова гудение холостого хода. Многие каштаны заражены раком. Инжир не созревает, зато зреет виноград. В эту пору каштаны с громким стуком падают на землю, и человек вздрагивает от неожиданности. В общем, тихая долина. Время от времени слышен, а то и виден вертолет; связка балок качается под ним на проволочном канате — где-то в долине строят. С полминуты он яростно шумит над деревней и исчезает за лесом. И снова тишина. Как в средневековье. Через несколько минут он опять стрекочет, возвращаясь за новым грузом — бочкой цемента. В остальном мало что происходит. Дважды в неделю светловолосая хозяйка мясной лавки объезжает на своем «фольксвагене» всю долину, продавая мясо и колбасы. В общем, не мертвая долина; есть бабочки, есть гадюки, но они редко попадаются на глаза, а там, где живут люди, есть куры. Башенные часы отбивают время дважды — на тот случай, если кто-то не успел посчитать удары. Бывает, на вершинах в октябре вдруг выпадет первый снег; когда светит солнце, он тает за два-три дня. Глетчеры, которые когда-то тянулись до Милана, отступают. Есть ущелья, куда солнце зимой не проникает; там бывают сосульки, как органные трубы. Зимой в солнечные дни можно ходить без пальто, если не идет снег,— такая теплынь стоит в полдень, хотя земля мерзлая. Весной цветут камелии, а летом там и сям видны палатки, люди купаются в холодном ручье или лежат на освещенных солнцем скалах. Федерация и кантон делают все, чтобы долина не вымерла; почтовый автобус курсирует трижды в день. Промывка золота в ручьях никогда не была рентабельной. В общем, зеленая долина, лесистая, как в каменный век. Искусственное озеро строить не собираются. В августе и сентябре, ночью, видны падающие звезды или слышен крик сыча.

*Книги Священного писания Ветхого и Нового завета.* Цюрих, 1955, с. 17, 25, 26, 113.
*Джулио Росси, Элиджо Пометта.* История кантона Тессин. Берн, 1944, с. 18—20.
*Джованни Анастази.* Тессинская жизнь. Цюрих, с. 22, 23, 67.
*Пьеро Бьянкони.* Локарно. Цюрих, 1972, с. 26.
*И. Хардмейер.* Локарно и его долины. Цюрих, 1923, с. 26, 140.
*Лаго Маджоре и его долины.* Лейпциг, 1910, с. 27.
*Большой Брокгауз, в двенадцати томах,* 16-е, полностью переработанное издание. Висбаден, 1953, т. I, с. 49, 50, 118; т. II, с. 39; т. IV, с. 28, 49, 53, 89, 114; т. V, с. 85; т. VII, с. 70, 71; т. VIII, с. 81, 82; т. IX, с. 85; с. X, с. 141.
*Локарно.* Швейцарский туристский справочник. 23. Берн, 1969, с. 58, 67, 110, 139.
*Швейцарская энциклопедия в двух томах.* Цюрих, 1949, с. 81, 82.
*Мир, в котором мы живем.* Цюрих, 1956, с. 83, 84.
*Родней Стил.* Динозавры. Виттенберг, 1970, с. 115—119.
*Конрад Бехингер.* Тессин. Пособие для преподавания швейцарской географии. Сант-Галлен, 1970, с. 139, 140.
*Большой Дуден.* Словарь иностранных слов. Маннгейм, 1974, т. 5, с. 139. 140.

■

**КАЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.**

Советский переводчик, специалист по немецкой литературе. Переводила произведения Иоганнеса Р. Бехера, Бертольта Брехта, Гюнтера де Бройна, Франца Кафки, Роберта Музиля, Фридриха Дюрренматта, Макса Фриша, Дитера Веллерсхофа и др.

# Послесловие

Творчество Макса Фриша знает достаточно широкий круг советских читателей и зрителей. Пьесы его шли на сцене наших театров и выходили отдельными сборниками. Романы — в частности, «Homo Faber» и «Назову себя Гантенбайн» — привлекли пристальное внимание критики.

Много справедливого было сказано о национальных швейцарских чертах мировоззрения, отраженных в творчестве художника, о литературных традициях — от Готфрида Келлера до Музиля, о философских взглядах автора и т. д. Мне кажется только, что исследователи несколько поторопились, устанавливая извечное равноправие Фриша-художника и Фриша-мыслителя. Я думаю, что художник в его произведениях всегда идет впереди мыслителя и даже более того — мыслитель в его творчестве порою мешает художнику. Помогает же ему не философское осмысление общей сложности современной эпохи, а честность и острота, с какой он фиксирует конкретные черты этой сложности, отраженные в характерах и судьбах преимущественно рядовых граждан капиталистического мира, заброшенных, расколотых на множество двойников, находящихся во власти страшного феномена, именуемого отчуждением, живущих под постоянной и непонятной или, вернее, непонятой угрозой. То, что подстерегает и настигает человека, порой не названо по имени. Но «оно» в родстве с метелью и мраком, «оно» (вернее, постоянная мысль об его присутствии) деформирует человеческие отношения и человеческий характер, делает возможным «сосуществование» в человеке противоположных свойств и качеств.

И вместе с тем как художник Макс Фриш отнюдь не переходит на позиции релятивизма. Фриш — «тайный моралист» — не снимает с человека ответственности за политическую слепоту и попустительство («Бидерман и поджигатели») или за уступку обстоятельствам («Опять они поют»).

Во всех произведениях Макса Фриша всегда так или иначе просвечивает порой не названная по имени или условно намеченная историческая реальность. Но герой последней его повести — господин Гайзер — вообще изъят из истории, оставлен один на один не с современностью, не с эпохой даже, а с последней, послеледниковой эрой, лишь в конце которой возникло историческое время.

Повесть Фриша — экспериментальная. Хотя действие ее происходит в наши дни, герой ее — человек, так сказать, «внеисторический», не совершивший ни одного поступка, отражающего его позицию в нашем «сегодня». Из причудливой россыпи сведений о делах, мнениях, вкусах, мыслях господина Гайзера — героя повести «Человек появляется в эпоху голоцена» — можно извлечь не без некоторого напряжения его «анкетные данные». Он — бывший глава фирмы в Базеле (сейчас его заменил зять, который «всегда все лучше всех знает»). Гайзеру 74 года, он не так давно овдовел. Портрет Эльзбет, жены, написанный местным художником, впоследствии ставшим знаменитым, висит на стене его кабинета. У него есть дочь Коринна, трое внуков разного возраста. Очевидно, родные иногда навещают его (это явствует из того, что в холодильнике наряду с другими продуктами есть и малиновый сироп для внуков). Сам Гайзер, уйдя от дел, живет далеко от семьи — в кантоне Тессин, на границе Италии, в одной из узких долин между отрогами Тессинских Альп. Комфортабельный двухэтажный особняк стоит неподалеку от деревни, где есть лавка и трактир. Долина, заросшая рощами каштанов,— тихая, живописная; инжир, правда, не вызревает, но виноград великолепен. Три раза в день «из-за гор» приходит почтовый автобус. В доме есть книги. Можно читать, можно работать в саду и на огороде. Да и человеку «всегда найдется что делать». В общем, старость господина Гайзера могла бы носить вполне идиллический характер — если бы только... человек не появился в эпоху голоцена и если бы эту бесспорную научную истину не взял на вооружение Макс Фриш, исследуя «душу» современного среднего, внешне благополучного буржуа. Голоцен — послеледниковая, или современная, эпоха — включает в себя, как известно, ряд «времен». В них постепенно изменялось лицо земли «геологически» и «биологически»: появлялись все новые и новые растения, все новые и новые твари, пока в последнее из времен, противопоставив себя малым, большим, гигантским рептилиям, не стал расселяться по земле человек, объективно пытаясь действиями своими «заглянуть» в последнее «время голоцена», именуемое в науке историческим.

Макс Фриш в повести своей проводит эксперимент обратного порядка, стремясь тщательно проследить те черты «доисторического», которые могут проявиться в сознании и судьбе среднего исторического человека мира капитализма. Но каждый эксперимент надо «поставить», создать условия, при которых он станет доказательным.

Не прибегая к научной или иной фантастике, Макс Фриш такие — вполне реальные — условия создал.

Горы, окружающие узкую и глубокую долину, при всей своей прочности «нестабильны». Внутри них происходят сдвиги. Оползни, запрудившие горные речки, рухнувший склон, треснувшая стена могут перекрыть дороги, отрезать ту или иную местность от «большой земли», частично или совсем лишить ее жителей благ цивилизации, а иногда попросту смести с лица земли все построенное людьми и самих строителей.

В «случае» господина Гайзера дело так далеко не зашло. Но все же нескончаемый дождь где-то что-то размыл, и дорога на «большую землю» перекрыта обвалом, почтовый автобус не ходит, свет почти все время выключается, холодильник и электроплита на кухне вышли из строя. Весь быт как-то угрожающе сместился. Обмякшее в холодильнике мясо и колбаски пришлось отдать крестьянам в соседнее селение.

кошку кормить нечем, и она — голодная — трется о брюки хозяина. В лавке распроданы все продукты, в доме нет горячей воды, и в ванне почему-то лежит саламандра. И тут начинается попытка господина Гайзера сохранить привычный распорядок быта и жизни в этом несколько покосившемся мире. Однако железная логика среднего буржуа, определявшая и скреплявшая этот распорядок, тоже покосилась. «Всегда найдется что делать»? Надо — согласно распорядку — убирать комнаты в доме. Логично и необходимо. Но при создавшихся условиях уборка сводится к тому, что господин Гайзер снимает паутинку с высокого потолка над лестницей, выломав перила и привязав к ним половую щетку. Работать на огороде? Тоже необходимо и входит в распорядок. Но сад и огород залиты водой, и когда, промокнув до нитки, господин Гайзер снимает несколько комьев глины с томатов и салата, рухнувшая от дождя стенка тут же подкладывает ему новые комья. Беречь продукты? Тоже правильно. Однако самый «бесспорный», непортящийся из них, хрустящие хлебцы, он употребляет на постройку пагоды — некий пародийный гибрид карточного домика и пасьянса.

Другой вид умственной деятельности — чтение? — но горы информации, полученной за долгую жизнь и якобы необходимой для культурного человека, никак не удержать в памяти,— хотя господин Гайзер снова и снова натыкается на них, раскрывая книги, справочники, имеющиеся в доме. Покосившееся в покосившемся мире сознание подсказывает ему выход. Надо вырезать из книг маникюрными ножницами (другие потерялись) самые необходимые и бесспорные сведения, например: Альпы возникли из складчатости; муравьи живут государством; своды придуманы римлянами; если растопить снега Арктики, Нью-Йорк окажется под водой, равно как и Европа, кроме Альп. Истины эти надлежит с помощью канцелярских кнопок или клейкой ленты развесить по стенам комнаты — не слишком высоко, чтобы их можно было прочесть стоя, и не слишком низко, чтобы не приходилось, читая, приседать на корточки. «Разум — бедный мой воитель» изнемогает в борьбе с «потенциальным» наступлением хаоса, более того, он пытается вопреки очевидности отрицать саму возможность этого наступления. Но инстинкт, свойственный человеку,— так же как и ящерам, его ровесникам по голоцену,— помогает господину Гайзеру ощутить надвигающуюся опасность, фиксировать ее приметы; так входит в повествование тема «трещины» — некой приоткрытой двери даже не в «доисторический», а как бы во внеисторический холод и мрак. Трещину на склоне ближайшей горы господин Гайзер пытается найти с помощью бинокля, «трещиной» кажется ему след, проложенный в мокрой траве кошкой Китти, трещиной в полу — брошенная бечевка. Однако отношение господина Гайзера к сигналу бедствия двойственное. Разум заставляет его упаковать рюкзак, чтобы в случае чего бежать через горы на «большую землю». Но чувства — свойственные детищу голоцена, особи, изъятой из истории, из этого последнего исторического времени,— заставляют господина Гайзера тайно тяготеть к хаосу, к неподвластному разуму «беспорядку».

Тридцать лет тому назад господин Гайзер побывал в Исландии. И сейчас — отрешенный, замкнутый в четырех стенах дома — он с любовью вспоминает эту страну именно потому, что, говоря словами русского поэта, «тут природа вся валялась в страшно диком беспорядке» и там есть фьорды «без единого корабля, без единой живой души», «ни одного двора, даже заброшенного, ни одного творения рук человеческих. О вулканическую башню бьется прибой... Мир словно до сотворения человека».

Какие-то приметы доисторического и даже ледникового периода сквозят для господина Гайзера и в мирной (хотя сейчас и залитой ливнями) долине, в которой он живет. И для героя произведения (только ли для него?) наше «сегодня» недалеко ушло от ледникового периода и всемирного потопа. Селенье, отрезанное дождями, становится «моделью» современного мира, над которым нависает угроза «голоцена». И все, что приобретено на историческом пути человека, вдруг оказывается тоненькой пленочкой, натянутой на «доисторическое», пленочкой, которая прорывается (тема трещины!), и оттуда лезет глубинное — мрак и гибель.

Семнадцать лет тому назад на встрече писателей Европы в Ленинграде Леонид Леонов поднял в своей речи вопрос об этой угрозе существованию человечества и самой планеты Земля. Аудитория была отнюдь не «монолитной», и далеко не все собравшиеся литераторы Европы были склонны сочувствовать тому, что прозвучало в речи советского художника слова. И вместе с тем весь зал слушал не шевелясь, в настороженном и, я бы сказала, несколько испуганном молчании. «Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в мире, как стелется горелый газ от перегретых под ногами, перенапряженных проводов, как обжигает лицо не в меру раскаленный воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения материков или зарождения новаторских идей, но и еще от чего-то. Нечто подобное испытываешь во сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытое, затаившееся дыхание какого-то неописуемого существа, которое только и ждет вставить колено, чуть приоткроется малая щелка, и ворваться к тебе в теплое, обжитое жилье». И тогда, как призрак, рассеются все блага цивилизации, вся, пусть относительная, стабильность образа жизни — «все это возьмет да и хлынет прочь, и на поверку останется одна пещера нижнего палеолита, в которую и ступит то самое, одетое в метель и мрак, что в продолжение ста тысяч лет человеческого существования пристально и враждебно следит за каждым нашим движением из недр космоса».

Леонид Леонов в своей речи и Макс Фриш в повести о страданиях господина Гайзера как будто говорят об одном и том же, но на деле угрозу они видят и ощущают по-разному.

Да, существует, так сказать, «стихийная стихия» — землетрясения, извержения вулканов, тайфуны, сметающие на своем пути целые города и сотни тысяч человеческих жизней. Вероятно, не исключена и возможность того, что когда-нибудь «лицо земли опять покроют воды и божий лик отобразится в них».

Изменить все это человек не может. Но он может снова и снова восстанавливать разрушенное, воздвигать плотины на пути наводнений, утверждать д е л а м и свое звание человека — свое право на бытие как деяние.

И не случайно «моментальному снимку» с «неописуемого существа» предшествовал в речи Леонова краткий и символический перечень тех примет, которые свидетельствуют — в сфере духовной и материальной жизни капиталистического мира — о самоистребительных тенденциях, о безумных попытках распахнуть двери навстречу гибели и мраку.

«Стихийному злу» может открыть дверь прежде всего зло социальное, злая воля реакционных сил современности,— вот смысл «апокалипсической» речи Леонова, речи-предупреждения, полной вместе с тем веры в разум и высокое предназначение человека: «Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы так запросто и по-собачьи дать ему сдохнуть на земле».

Я отнюдь не собираюсь ставить автору повести в вину то, что кругозор его иной, чем у советского художника. Я также не отождествляю мировосприятия автора с мировосприятием его героя. И все же не случайно повествование идет где-то «посередине» между этими двумя мировосприятиями. И в «безумных» поступках господина Гайзера есть своя система, родственно связанная со столь модными сейчас попытками под флагом борьбы с рационализмом и волюнтаризмом опорочить человеческий разум и волю.

Все поступки господина Гайзера — это некая пародия на «бытие как деяние», цепь смешных и бессмысленных попыток удержать ту в и д и м о с т ь порядка, «образа жизни» и «образа мыслей», которых на самом-то деле нет. Семья? Но он не помнит даже имени младшей внучки. Человеческое общение? Но единственный знакомый, который навещал его,— отпускник, немецкий ученый, мог лишь подарить господину Гайзеру книгу, состоящую из одних непонятных математических формул. Попытка бежать через горы туда, где идет нормальная, «непокосившаяся» жизнь? Но когда господин Гайзер, промокший до костей, измученный, растерявший все содержимое рюкзака, доходит до перевала, откуда уже видны огни города, он с еще большими мучениями тащится обратно, в свою «пещеру нижнего палеолита», где его, разбитого инсультом, сутки (или больше?) спустя найдет дочь Коринна.

Защищать что-либо от «неописуемого существа» господин Гайзер не может по той простой причине, что у него ничего нет. Нет даже «теплого и обжитого жилья», хотя потрескивает огонь в камине (там он изжарил кошку Китти — но есть не стал, а зарыл ее труп в розарии).

В современной литературе капиталистических стран художники, даже оценивающие современную жизнь не столько разумом, сколько чувством (и предчувствием), объективно становятся если не судьями, то, во всяком случае, свидетелями обвинения, выдвинутого историей против «безумного, безумного, безумного мира».

Рощи каштанов, пораженных раком, в мирной как будто долине, где, однако, сквозь каждую трещинку в доме, саду, горных отрогах готов вылезти «голоцен»,— все это «метафорическая» модель неблагополучнейшего мира, населенного людьми отрешенными, одинокими до предела, находящимися во власти диких и ложных представлений, воплощающих в своей судьбе и своих действиях страшный феномен, имя которому Отчуждение. Этот феномен давно отмечают или анализируют многие художники стран капитализма по-разному — и с отчаянием, и со злорадством, и с фаталистическим смирением: «Так было, так будет».

Д. Затонский в своей работе о театре Фриша говорит о том, что Фриш при всей своей ироничности — «тайный моралист», подчас даже слегка наивный. Думаю, что определение это верное.

Но моральный пафос Фриша лишен малейшего злорадства, а также и малейшей тени «соглашательства»: мерзость для него всегда неестественна. И страшен в его изображении, объективно страшен мир, где человек с трудом вспоминает о тех своих свойствах, которые отличают его от доисторических рептилий, где он — в своей пещере нижнего палеолита — слышит лишь собственные шаги: что «человек может встать на стул, закрепить свои подтяжки на потолочной балке и повеситься, лишь бы не слышать больше собственных шагов,— такое господин Гайзер вполне может себе представить».

Вывод? Но ведь приговор не дело свидетеля. Даже в том случае, если он — объективно — свидетель обвинения, как автор «Штиллера», «Homo Faber»'а, «Гантенбайна», «Дон Жуана» и «Бидермана».

**Е. КНИПОВИЧ**

■

## СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

# Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

### Беседа в редакции

*Столетняя годовщина со дня кончины Федора Михайловича Достоевского (1821—1881) отмечена во всем мире неослабевающим интересом к творчеству этого великого гуманиста и борца за социальную справедливость Советская литературоведческая наука и критика, прежде всего в трудах А. В. Луначарского, В. В. Виноградова, М. М. Бахтина, М. Б. Храпченко, Л. П. Гроссмана, А. С. Долинина, В. Я Кирпотина, Б. Л. Сучкова, Г. М. Фридлендера и других раскрыли в главных чертах значение его художественного и публицистического наследия.*

*Осваивая новые стороны этого наследия, мы в то же время не можем не учитывать того обстоятельства, что в течение минувших ста лет творчество Ф. М. Достоевского находится в центре споров, что споры эти продолжаются и сегодня. На Западе оно нередко подвергается превратным истолкованиям и даже прямым искажениям. Одни пытаются выдать Достоевского за предвестника литературы модернизма и противопоставить его реалистической традиции; другие, спекулируя на противоречиях мировоззрения писателя, хотят столкнуть его с миром социализма. Советские наука и критика последовательно противостоят этим попыткам. Не закрывая глаза на реальные сложности творческого пути писателя и его общественно-философских воззрений, мы выделяем в этом наследии главное, перспективное, объединяющее Достоевского с лучшими традициями русской и мировой классической литературы и культуры.*

*С течением времени идеи и образы Достоевского поворачиваются новыми сторонами, обогащая представление о жизни; эти образы и идеи снова и снова вступают с нами в диалог.*

*Наибольший интерес, имея в виду профиль журнала «Иностранная литература», составляет для нас участие наследия Ф. М. Достоевского в процессе развития мировой литературы и мысли, его созвучность многим проблемам XX века.*

*Редакция обратилась с просьбой к видным советским литературоведам и критикам встретиться и поделиться своими размышлениями на тему «Ф. М. Достоевский и мировая литература».*

*Состоявшаяся в стенах редакции беседа, разумеется, не претендует на то, чтобы быть «последним словом» о творчестве великого русского писателя. Возможно, некоторые мнения, высказанные на дискуссии, будут оспорены; и это в порядке вещей, если учесть, что творчество Достоевского — одно из сложнейших явлений в культуре и литературе XIX и XX веков; наука о Достоевском находится в движении.*

*В беседе приняли участие: Б. И Бурсов, В Е Ветловская, Д. В Затонский, Ю. Ф. Карякин, В. Я. Кирпотин, В. В. Кожинов, В Я Лакшин, Т. Л. Мотылева, П. В. Палиевский, Ю. И. Селезнев, Г. М. Фридлендер. Открыл встречу член редколлегии журнала, заместитель директора Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР П. В. Палиевский.*

**П. Палиевский.** Мы собрались, чтобы почтить Достоевского, и, кажется, независимо от круглых дат, нет более подходящей фигуры к общению; то есть к общению современному, где столько разных мнений. Я имею в виду способность Достоевского признавать правду, где бы она ни была. Это очень располагает к пониманию и, может быть, более всего его способ полемики, которым он добивался столь многого и к которому есть все основания присмотреться в наши дни,— когда он вдруг начинал сражаться не против, а за идею, которую ему противопоставляли, приводя в замешательство и своих противников, и друзей.

Вспомним только его отношения с ближайшим, кажется, сподвижником Н. Н. Страховым. То он начинает ему доказывать, что нигилистический свист полезен, и, отодвигая потрясенного в сторону, сам берется «свистать», то уверяет, что «Добролюбов правее Григорьева в своем взгляде на Островского»[1], то есть более прав и т. п. Среди его единомышленников это значило почти что попирать все самое священное, и мы знаем, что для него лично это ничем хорошим кончиться не могло. Как будто принимая у Достоевского эту черту и в своих первоначальных воспоминаниях даже называя ее «широкостью... сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды» — но и оговариваясь, что «он слишком для меня близок и непонятен»,— Страхов в конце концов все-таки не выдержал: разъяснил для себя эту непонятность изначальной порочностью Достоевского, стал убеждать Толстого, какой это был низкий человек, и выпустил слух о совершенном им преступлении, на целый век дав пищу любителям сочетать «гений и злодейство». Тем временем истина, освобожденная Достоевским, ушла вперед.

Или пример обратных отношений, с Добролюбовым. При явном противостоянии, какое движение навстречу! Вся сила статьи «Г.-бов и вопрос об искусстве» в том, что Достоевский неожиданно переходит на точку зрения оппонента, чуть не полностью ее принимает. Он соглашается, присоединяется, дает свои подтверждения и говорит: пойдем дальше, дальше! Куда — другое дело. Подтягивать Достоевского к революционным демократам у нас нет никаких оснований. Но его способность понимать во взаимодействии с ними истину, раскрывать и расследовать ее в непредвиденном объеме сейчас не вызывает сомнений. Присутствующий среди нас Валерий Яковлевич Кирпотин показал, какой источник понимания открывается для нас, например, в теме «Достоевский и Белинский», когда мы глядим на этих мыслителей вместе, нисколько их не соединяя и не поступаясь принципами. Картина их спора, где эти столь, кажется, похожие, но разнозаряженные натуры, словно меняясь местами, развивали фундаментальные ценности жизни, позволяет теперь эти ценности намного глубже понять; а главное, снимая частности, видеть их перспективу сегодня.

Очевидно, что участие Достоевского в решении больших и насущных проблем современности растет. Оно благотворно касается даже тех, кто ищет в нем нечто иное. Достоевский обладает колоссальной затягивающей силой в сторону правды. Благодаря картинности и разнообразию раскрытых им аргументов зла распад, часто ошибаясь, видит в нем союзника или предтечу; но, приблизившись, попав в притяжение его мысли, уже не может вырваться, выглядя в ее составе совсем не таким, каким хотел бы.

Иначе говоря, этот страстный полемист, «настоящий огонь», как замечали за ним еще родители, предлагает какие-то неизведанные по сей день возможности движения правды в споре. На симпозиуме Общества Достоевского в Бергамо в августе прошлого года был обозначен доклад «Достоевский — новый Сократ». Мне не довелось его слышать, но если судить по теме, интересно поставленной, аналогия эта не может быть полной. Сократ прославился диалектикой в споре — это правда; но, насколько это видно из Ксенофонта или Платона, путем вскрытия ошибок и нелепостей в первоначальной мысли собеседника и приведения его к своей, пока тот, изумленный, не воскликнет: «Клянусь Зевсом, Сократ, ты прав!» Метод Достоевского едва ли не противоположен. Он исходит из того, насколько его собеседник был прав, причем не какой-нибудь плоской правдой, а новой и важной для Достоевского самого, и оттуда старается двинуться дальше вместе, сообща, предостерегая от нелепостей. К этому движению приглашаются все; принцип «суди, дружок, не выше сапога» отпадает и заменяется чем-то подобным «суди, дружок, но — и выше; ты прав,— но подними голову». Наверное, это один из самых демократичных в мировой литературе способов общения.

Итак, на чьей стороне Достоевский в социальном развитии современности, сомнений у нас нет. Но в его идеях, откликах, их роли в литературе многое предстоит еще понять. Попробуем же прояснить это сегодня — насколько в наших силах и насколько позволяет беседа, не связанная формой или законченностью выводов. И, мне кажется, будет только справедливым, если мы дадим первое слово тому, кто за последние годы сделал так много для распространения и марксистского понимания идей Достоевского,— автору недавней монографии «Достоевский и мировая литература», Георгию Михайловичу Фридлендеру.

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, СПб., 1883, раздел «Письма», с. 278.

---

**ПАЛИЕВСКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ.**

Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор исследований по советской и зарубежной литературе, книги «Литература и теория» (3-е издание — 1979).

**Г. Фридлендер.** В. И. Ленин писал, что мировое значение Толстого как художника «отражает, по-своему, мировое значение русской революции» [1]. Слова эти можно с полным правом отнести и к Достоевскому.

Французская революция XVIII века была в идейном отношении подготовлена французскими просветителями. В Германии предвестницей революции 1848 года и одним из источников марксизма была классическая немецкая философия. В России в духовной подготовке и революции 1905 года и Великой Октябрьской социалистической революции громадную, поистине исключительную роль сыграла великая русская литература.

Достоевский глубоко ненавидел буржуазный, собственнический мир, мир «мещанина во фраке», мир посредственности, корысти и чистогана. И он страстно искал для России и человечества возможностей развития по иному, антибуржуазному пути. Достоевский был уверен, подобно Герцену, что Россия не примет буржуазный порядок как порядок высший и окончательный, что она сможет указать человечеству путь, ведущий к более высокому общественному строю, чем буржуазный строй Запада.

На Западе мы встречаемся сегодня с многочисленными трудами, где Достоевский рассматривается как певец хаоса, родоначальник литературы абсурда. Между тем Достоевский меньше всего был пессимистом. Он смотрел на будущее человечества и на будущее России с великой надеждой и страстно стремился отыскать пути, ведущие к грядущей «мировой гармонии», к братству людей и народов.

Если говорить об основном смысле творчества Достоевского, то смысл этот состоит в утверждении «живой жизни», ее красоты, в утверждении достоинства человека, его больших внутренних возможностей. Достоевский противопоставил злу и насилию человеческий дух и совесть, человеческое сопротивление злу И этот пафос неприятия зла и уродства буржуазной цивилизации, утверждение страстного искания правды неотделимы от облика Достоевского-художника.

Основные причины, которые порождают неизменный, постоянно увеличивающийся интерес к Достоевскому людей XX века,— та исключительная острота и внутренняя напряженность мысли, особая насыщенность действием, которые свойственны его романам и повестям. Они созвучны громадной внутренней напряженности жизни нашего времени.

Достоевский никогда не изображал жизнь в ее эпически спокойном, размеренном течении. Ему был свойствен особый, повышенный интерес к кризисным состояниям и общества и отдельного человека, к тем подземным силам, которые до поры до времени могут таиться глубоко под покровом повседневности, как и на дне души отдельного человека, но которые в определенную минуту могут вырваться наружу и тогда превратиться в грозную опасность для человечества, если они не будут побеждены совестью и разумом и не станут благодаря этому основой для нового созидания.

К этому следует прибавить, что Достоевский едва ли не болезненнее всех великих художников слова ощутил то зло, которое несет общественное разъединение и «обособление». Он был горячо уверен в возможности земного (а не отвлеченного, потустороннего) братства людей и считал, что движение к этому братству уже началось, реально происходит в его эпоху. И точно так же Достоевский мучительнее, чем кто-либо из великих художников прошлого, ощущал, какую огромную трагедию несет каждой развитой личности потеря прочного нравственного центра. Без него личность — согласно диагнозу писателя — превращается в механический агрегат внутренне разъединенных, органически не связанных между собою, дробящих ее на части и влекущих в противоположные стороны помыслов, страстей и побуждений. Отсюда такие, новые не только для искусства, но и для науки того времени формы социальной патологии, впервые открытые и бесстрашно исследованные Достоевским, как социально-психологическое «двойничество», или мрачное и разрушительное «подполье», которое может таиться в глубинах души даже высоконравственной личности.

Художественный мир Достоевского — мир, который, так же как и сам его творец,— «весь борьба», говоря словами Толстого. Это мир мысли и напряженных исканий. Те же социальные обстоятельства, которые в эпоху буржуазной цивилизации разъединяют людей и порождают зло в их душах, активизируют, согласно диагнозу писателя, их сознание, толкают его героев на путь сопротивления, рождают у них стремление всесторонне осмыслить не только противоречия современной им эпохи, но и итоги и перспективы всей истории человечества, пробуждают их разум и совесть.

Отсюда — острый интеллектуализм романов Достоевского, их насыщенность неуспокоенной, пытливой философской мыслью, столь близкие людям нашего времени и родственные лучшим образцам литературы XX века. Традиционному семейному роману

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.



**ФРИДЛЕНДЕР ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Литературовед, критик, доктор филологических наук, зам главного редактора академического полного собрания сочинений Ф. М Достоевского Автор книг «Реализм Достоевского» (1964), «Карл Маркс и Фридрих Энгельс и вопросы литературы» (2-е издание — 1968), «Поэтика русского романа» (1971), «Достоевский и мировая литература» (1979).

или роману карьеры Достоевский противопоставил роман о герое-скитальце, герое-идеологе, которому надо «жизнь разрешить» и которому больше и прежде всего свойственно духовное бескорыстие.

При этом Достоевский сознавал, что повседневная будничная жизнь общества его эпохи рождала не только материальную нищету и бесправие. Она вызывала к жизни также, в качестве их необходимого духовного дополнения, различного рода фантастические «идеи» и идеологические иллюзии — «идеалы содомские» — в мозгу людей, не менее гнетущие, давящие и кошмарные, чем внешняя сторона их жизни. Индивидуалистическая цивилизация, трагически разобщающая людей и отрывающая их друг от друга, порождает, согласно диагнозу автора «Братьев Карамазовых», свой, потенциально враждебный живому человеку, холодный и отвлеченный, формально-логический тип мышления, который является ее духовным выражением и дополнением. Внимание Достоевского, художника и мыслителя, к этой сложной, «фантастической» стороне жизни большого города позволило ему соединить в своих повестях и романах скупые и точные картины повседневной будничной действительности с таким глубоким ощущением ее социального трагизма, такой философской масштабностью образов и силой проникновения в глубины души человеческой, какие лишь редко встречаются в мировой литературе.

Достоевский необычайно чутко, во многом пророчески, если учесть время, когда писались его романы, выразил выросшую уже в его время и еще больше возросшую сегодня роль идей в общественной жизни. С идеями — по Достоевскому — нельзя шутить. Идеи — тоже своего рода живые существа, наделенные кровью и плотью. Они могут быть благотворны, но могут стать и ядовитыми трихинами, разрушительной силой в жизни и отдельного человека, и общества в целом.

В своих романах Достоевский постоянно испытывал на прочность не только различные типы людей, но и распространенные в его время или рождавшиеся на его глазах системы идей. Любые абстрактные идеи Достоевский всегда стремится проверить практикой жизни живого человека и больших человеческих масс. В его романах испытываются на прочность различные социальные и философские идеи прошлого и настоящего, раскрываются не только их явные, но и скрытые потенции, их благотворность или их способность служить орудием зла и разрушения.

В этой связи следует особо остановиться на романе Достоевского «Бесы». Роман этот долгое время воспринимался критикой — и в России, и на Западе — как произведение антиреволюционное, направленное против освободительного движения. История нашего века показала, что дело обстоит гораздо сложнее. Достоевский в «Бесах» выразил ту мысль, что революционное движение не развивается в безвоздушном пространстве. Оно не отгорожено непроницаемой, глухой стеной от окружающего общества и его идей. А это означает, что в среду участников революционного движения могут проникать — и на деле проникали уже в XIX веке—свои Петры Верховенские и Шигалевы, скрывавшие под маской ультралевых, мнимореволюционных или псевдосоциалистических фраз свое истинное лицо честолюбивых и нечистоплотных представителей деклассированной мелкобуржуазной богемы, людей для которых призыв к «прямому действию» означал всего лишь призыв к удовлетворению собственного тщеславия и аморализма. До поры и времени они нередко действовали рядом с самоотверженными и честными, готовыми пожертвовать жизнью за счастье народа борцами за революцию и социализм.

Наш век обнаружил, что Достоевский не ошибся. Достаточно вспомнить, что Муссолини в молодости был близок к социалистическому движению, что одним из идеологов «прямого действия» во Франции был анархист Сорель, что гитлеровцы именовали себя «национал-социалистами», не говоря уже о тех деструктивных, разрушительных, опасных для судеб человеческой культуры началах, которые обнаружились в наши дни маоизм и другие левоэкстремистские течения различного рода, глубоко враждебные гуманизму и подлинному, реальному социализму. Недаром Маркс и Энгельс сошлись с Достоевским в непримиримо резкой оценке нечаевщины, хотя они и подходили к ее оценке с иных позиций, чем Достоевский. Однако заслуга писателя, художника, как заметил еще Чехов, состоит прежде всего в том, чтобы правильно поставить вопрос, а не в том, чтобы обязательно верно его решить. И в этом отношении заслуга Достоевского в «Бесах» не может быть оспорена. Исследуя критически духовный, нравственный облик современных потомков Ставрогина, Петра Верховенского, капитана Лебядкина, Шигалева, прогрессивная мировая литература XX века в борьбе с реакцией уже не раз обращалась и еще не раз будет обращаться к опыту Достоевского-художника.

Одной из главных проблем, мучивших Достоевского, была идея синтеза, идея воссоединения народа, общества, человечества. И вместе с тем он мечтал об обретении каждым сознательно мыслящим человеком внутреннего единства и гармонии. Достоевский мучительно сознавал, что в мире, где он жил, необходимые людям единство и гармония нарушены — и во взаимоотношениях людей с природой, и во взаимоотношениях их внутри общественного и государственного целого, и в каждом отдельном человеке.

Эти вопросы, занимавшие центральное место в кругу размышлений Достоевского—художника и мыслителя, приобрели особое значение в наши дни. Ибо современная научно-техническая революция во много раз, по сравнению с прошлыми эпохами исторического развития человечества, усилила внимание людей к вопросам жизни Вселенной. И вместе с тем наша эпоха — эпоха социализма — особенно остро поставила и ежедневно продолжает ставить вопрос о путях трансформации веками слагавшихся межчеловеческих связей, о создании нового, гармонического строя общественных и нравственных отношений и о

воспитании полноценного, всесторонне развитого человека, здорового духовно и телесно.

Вера Достоевского в высокое предназначение России, в то, что она не примет буржуазный порядок, но поможет другим народам найти пути к межнациональному и межчеловеческому братству, как и мысль его о том, что интеллигенция в отрыве от народа обречена на отвлеченные, книжные идеалы и мечтания, а нередко становится благоприятной почвой для зловещих идей, ведущих к распаду и разложению личности, также оказались во многом современными и пророческими. Они приобрели особую актуальность в наши дни, когда на Западе стали весьма популярны идеи презрения к массе, к народу, возвышение отдельной «сверхинтеллектуальной» личности над народом, отношение к народу как к стаду и толпе. Все эти популярные среди представителей современного мещанства больших городов идеи были особенно враждебны Достоевскому. И у нас не может не вызывать чувство гордости то, что Достоевский отвергал эти идеи, столь соблазнительные и столь пагубные, как показала история нашего века.

Достоевский отнюдь не считал себя писателем для «немногих», как это стало модно на Западе в эпоху модерна. Наоборот, он ощущал себя плебеем, выразителем жизни и чаяний обойденного «помещичьей литературой» демократического большинства русского общества, проводником интересов не «одной десятой» части его членов, но его «девяти десятых». Этот демократизм получил отражение не только в страстном преклонении Достоевского перед народной Россией, но и во внутренних, глубинных эстетических основах его творчества.

Достоевский неисчерпаем, ибо его творчество впитало в себя всю мировую литературу. Оно уходит своими глубочайшими корнями в русскую культуру прошлого, вплоть до самых отдаленных веков, и в мировую культуру, начиная с греческой и римской древности. И в то же время оно тесно связано со всей современной ему культурой, философией, литературой и искусством. Писатели всех стран и веков были его литературными собеседниками. Ибо он понимал, что это были не просто люди, писавшие книги, но люди, отразившие великую драму человеческой истории, ту драму, последующие акты которой продолжали разыгрываться на его глазах. Поэтому Достоевский относился к творчеству писателей и прошлых веков, и своего времени страстно, заинтересованно.

Достоевский умел воспринимать созданные ими образы, умел видеть смысл их творения в широкой всемирно-исторической перспективе. Так, картина Клода Лоррена, которую он истолковал как изображение «золотого века», была для него не обычным идеализированным ландшафтом в духе классицизма, а тесно связывалась в его сознании с вопросами о прошлом и будущем человечества — о том искомом гармоническом будущем, к которому оно движется сложным путем в своем историческом развитии. И такой же глубокий всемирно-исторический смысл обретали в его понимании «Божественная комедия» Данте или образ Дон Кихота, Алексей человек божий или Мария Египетская, так же как Клеопатра или Наполеон оказывались для него символами судеб и переживаний человека его эпохи с их муками, борениями и исканиями. И так же он смотрел на Книгу Иова или на Евангелие, в которых видел отражение борений человека и духовных исканий не только прошлой, но и своей эпохи. Даже в маленьком стихотворении Фета Достоевский стремился раскрыть выражение глубокой тоски человечества по идеалу, его стремление к будущей гармонии. Вот почему у Достоевского так много цитат и упоминаний «вечных образов»: с его точки зрения, поэты и мыслители всех времен были его союзниками в борьбе за овладение истиной, в его стремлении глубоко проникнуть в смысл человеческой истории, нащупать в ней путь движения к будущему.

Все это делает творчество Достоевского особенно значительным, глубоким и масштабным для нас сегодня. Он умел увидеть в мировой литературе ее глубочайшую современность, смог эту современность творчески прочувствовать и пережить. И сам он, в свою очередь, изображая самую текущую, злободневную современность, умел поднять ее до высот трагедии.

Поэтому романы Достоевского явились новым словом в истории романа. Можно сказать, что Достоевский-романист как равный с равным вступил в состязание с Шекспиром. Подобно Льву Толстому, он поднял роман до таких высот, которых в прошлом достигали лишь другие — стихотворные или драматические — жанры, такие, как эпос или трагедия.

Очень важна и поучительна история посмертной оценки Достоевского. Мы знаем, что современники Достоевского, так же как и первое поколение его посмертных ценителей, не могли по достоинству оценить его величие как художника, подобно тому как просветители XVIII века не умели оценить искусство Шекспира. Писателям и критикам конца XIX и начала XX века часто казалось, что искусство Достоевского хаотично, что он нарушает все привычные для традиционной «хорошей литературы» нормы и каноны. И характеры Достоевского представлялись им изображением всего лишь особых свойств «славянской» души. Тем самым их общечеловечность и мировое значение отвергались.

Позднее наступила новая эпоха. И сейчас, пожалуй, никто в мире не отвергает общечеловечности образов и художественного новаторства Достоевского. Истории мировой славы Достоевского, как и его мировому значению, посвящена моя последняя книга «Достоевский и мировая литература».

Многие основные черты эстетики Достоевского — напряженное вглядывание в неустановившуюся живую реальность, устремленность к будущему, предпочтение не законченных, установившихся форм, а свободного, широкого разлива жизни со

свойственными ей падениями и взлетами, нравственный максимализм, интерес Достоевского к человеческим характерам, к суровой борьбе с собой преломились в эстетике социалистического искусства — у Блока, Маяковского, Шолохова, Леонова, Федина. Большое методологическое значение в современных спорах о Достоевском имеют труды Храпченко и Лихачева.

Остро стоявший перед Достоевским вопрос об объединении разума и морали сознательной личности и большой человеческой массы с ее нравственным миром, хранящим в себе опыт поколений, их совесть и мудрость, приобрел громадное значение сегодня. Причем, как выяснили Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин, дав ответ на вопрос, мучивший сто лет тому назад также и Достоевского, единение личности и массы без ущерба для их самостоятельности и духовной свободы становится реально возможным лишь в процессе их совместного творческого участия в революционном преобразовании жизни.

Свое выступление мне хочется закончить приведением дневниковой записи Томаса Манна от 26 декабря 1918 года. Вот эта короткая запись: «Что эта (то есть первая мировая.—Г. Ф.) война будет означать конец буржуазного общества, предвидел Достоевский. По-видимому, все зависит от того, сможет ли пролетариат выдвинуть людей, которым удастся добиться стабилизации нового общественного порядка. Если же они не отыщутся, то вполне мыслима самая ожесточенная реакция» [1].

В этих словах, как мне представляется, соединены те самые главные вопросы, над которыми Достоевский побуждал думать величайших писателей XX века и над которыми он постоянно побуждает мыслить нас сегодня: конец буржуазного общества, революция, пролетариат, как та единственная сила, которая способна совершить социалистическую революцию и построить новое общество. И глубокое предвидение того, что, если капитализм не будет уничтожен, возможна самая ожесточенная реакция.

Да, Достоевский предвидел конец буржуазного общества. И в этом его великая историческая заслуга. Достоевский поставил этот вопрос перед мыслящими современниками и потомством. И мы сегодня своей жизнью и работой решаем труднейшую и величайшую задачу построения того нового общества «мировой гармонии» и братства людей, о котором он мечтал.

**В. Ветловская.** Всемирное значение творчества Достоевского — реальный факт. Его не нужно доказывать, его невозможно опровергать, и потому вопрос не в том, существует этот факт или не существует, а в том, что из него следует.

Восприятие творчества одного художника другими и в принципе — всеми, кто его читает и усваивает, ставит исследователя перед общей и далеко не простой проблемой — проблемой интерпретации художественного текста. Ведь сколько читателей, столько и прочтений, и чем бóльшее число людей знакомится с творчеством писателя, тем больше возникает различных толкований. Одни из них никак не согласуются с другими, и если бы все они в равной степени были справедливыми и передавали мысль и точку зрения автора, то следовало бы признать, что этот автор противоречит себе и оступается на каждом шагу. Но если оставить это следствие в стороне и утвердиться на мысли, что любой художественный текст независимо от авторской воли и намерения сам собою говорит с читателем любой страны и любой эпохи, то и в этом случае мы оказываемся перед той же проблемой: безбрежны границы интерпретации художественного произведения или нет?

Истолкования, которые я назвала бы импрессионистическими (они могут идти как от лица других художников или просто читателей, так и от лица исследователей-специалистов), молчаливо и часто бессознательно предполагают, что границы интерпретации произведения произвольно растяжимы, что, в сущности, у толкования художественного произведения вообще нет границ. Интерпретаторы такого рода учитывают одно свойство, действительно принадлежащее художественному тексту,— его многозначность, но не учитывают другого, менее очевидного, но не менее важного — свойства относительности этой многозначности. Ведь многозначность художественного высказывания не абсолютна, она каждый раз заключена то в узкие, то в широкие пределы. В тенденциозных произведениях они более ощутимы, в нетенденциозных — менее, но в любом случае они присутствуют в самом тексте.

Произведение искусства (и такова вообще его природа) лишь относительно многозначно. Вот почему, кстати сказать, литература воспитывает и поучает даже тогда, когда художник, казалось бы, совсем не озабочен задачей назидания и творит необдуманно и бесцельно, повинуясь наитию или особому инстинкту точно так же, как поет птица. Границы значений, а не их ничем не сдерживаемая бесчисленность, выполняют назидательную функцию, органически присущую искусству. Если бы нам действительно было позволено толковать художественный текст как нам заблагорассудится, в соответствии с собственным желанием, опытом и умонастроением, ни о каком воспитании литературой не могло бы быть и речи, и мы, озна-

[1] Mann T. Tagebücher, 1918—1921. Herausg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt a/Main, S. Fischer, 1979, S. 116.

---

**ВЕТЛОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА**

Кандидат филологических наук, автор книги «Поэтика романа «Братья Карамазовы» (1977) и ряда исследований, посвященных связям творчества Достоевского с древнерусской литературой и русским народным творчеством.

комившись с прекрасным зданием, выходили бы из него с ничуть не более тяжелой ношей, чем та, с которой мы вошли. Вникая в смысл его пропорций, мы замечали бы лишь то, что уже запечатлено у нас в душе, и, может быть, вместо восприятия чужой гармонии мы бы вошли и вышли с собственной ахинеей. Вот почему, вообще говоря, представляются довольно сомнительными поспешные соображения о противоречивости того или иного художника. Очень часто внимательному взгляду видно, что эта противоречивость лежит не на совести автора, но читателя и свидетельствует о его личной ущербности, идущей и от простодушной самоуверенности, и от неумения вдуматься в более сложные, чем ему привычны, способы выражения мысли.

Интерпретаторов, отдающихся потоку более или менее случайных впечатлений, опасность «собственной ахинеи», как кажется, не беспокоит. А между тем, при том что количество трактовок художественного произведения, в сущности, бесконечно (новый читатель — новая трактовка), те из них, которые передают реальное содержание текста и приближаются к точке зрения автора, ограничены в своем числе. Именно поэтому во множестве объяснений творчества Достоевского одни и впрямь говорят о Достоевском, другие остаются вне его. И хотя все толкователи упоминают имя художника, рассуждая о нем и его идеях, немалая часть их толкований упоминает это имя всуе.

Поскольку мои профессиональные интересы связаны с историей русской литературы в бо́льшей степени, чем с психологией и логикой ее восприятия кем бы то ни было, меня, естественно, привлекают интерпретации первого рода. Достоевский сам по себе мне представляется настолько сложной, настолько загадочной фигурой, что желание идти путями его прихотливой мысли в меру отпущенных мне сил требует, в сущности, их всех. И я сочла бы великим благом, если бы мне удалось, пусть отставая и останавливаясь (так как тут немудрено обессилеть и при первых порывах), в целом придерживаться его пути. Ведь те, кто, отталкиваясь от Достоевского, пускаются чуждой ему дорогой, незаметно для себя становятся в соперни́ческие отношения с писателем. А такое соперничество позволительно лишь художнику (Льву Толстому, Томасу Манну), но не тому, кто посвящает Достоевскому теоретическую или историко-литературную статью.

Объективное и строго научное осмысление творчества Достоевского, учитывающее всю сумму сведений относящихся к этому художнику, и не пренебрегающее ни одной деталью, мне кажется единственно возможным способом проверки любых иных толкований, включая те, которые переводят литературные произведения Достоевского на язык других искусств (театр, кино). Необходимость такой проверки разумеется сама собой; она становится все настоятельнее по мере расширения влияния писателя, получившего мировое признание, поскольку это признание в такой же степени допускает возможность все большего проникновения в дух и мысль произведения художника, в какой допускает и все большее уклонение от того и другого. И истории русской литературы, и истории мировой литературы не может быть безразлично, с чем она каждый раз имеет дело: с личностью и творчеством Достоевского или с личностью и творчеством его истолкователя, потому что вряд ли они всегда равновелики, а перепутать одного с другим здесь значило бы обеднить себя. Ведь мировое значение писателя заключается не в известности его имени всем и каждому, а в том богатстве принадлежащих ему идей, без которых мировая культура, назначенная формировать и животворить людские души, заметно бы оскудела.

Мне кажется, что значение индивидуального художественного творчества в конечном счете определяется точно так же, как это происходит с произведениями фольклора: только то, что выдерживает испытание веков, может претендовать на смысл, не ограниченный одной страной и определенным историческим этапом ее судьбы. При ближайшем рассмотрении оказывается, что в памяти людей сохраняется лишь то, без чего они не могут жить, что им так же важно, как воздух, как хлеб. Мировое значение художника решается в конце концов степенью необходимости его творчества всем людям. Вот почему великие писатели (и Достоевский здесь не отличается от прочих) всегда тяготели к фольклору: им хотелось почерпнуть из его источников ту мудрость, которая, в сущности, бессмертна, поскольку жива до тех пор, пока жив хранящий ее народ.

Показательно, например, что в тех случаях, когда Достоевский, проводя свои идеи, мог опереться одновременно и на литературный (книжный) и на фольклорный материал (скажем: Житие Алексея человека божия и народный стих о нем; канонические тексты о конечных судьбах мира и апокрифы, представляющие народную обработку этой темы и так далее), писатель обычно предпочитал фольклорную трактовку. Он вообще был внимателен к чужой мысли. Не только фольклор, но и вся мировая литература от древности до новых дней помогали Достоевскому в его работе. Ведь оригинальность художника далеко не всегда бесспорное достоинство. Существуют такие ее размеры, благодаря которым она уже никому не делается внятной. И может быть, художник тем более говорит своим потомкам, чем более его творчество питается мудростью людей, давно ушедших.

---

**Д. Затонский.** Я не специалист по Достоевскому. Но, занимаясь западным романом и вообще современными зарубежными литературами, я постоянно наталкиваюсь на его след. Достоевского интерпретируют, о Достоевском спорят, Достоевскому подражают; он оказывает непосредственное и опосредованное влияние на литературный процесс. И прежде всего возникает вопрос, почему именно Достоевский — несомненно великий, несомненно гениальный, однако специфически русский писатель, возможно, если не считать Лескова, самый русский из наших прозаиков второй половины XIX века? Он не может, не должен быть Западу вполне понятен. Так оно и есть: миф о «загадочности», о «непостижимости» русской души во многом сложился из непонимания героев Достоевского, из удивления, из растерянности перед их искательством, их упорством, их душевной смятенностью, перед алогичностью и непредсказуемостью их поступков. И все-таки Достоевский зачем-то нужен столь чуждому ему, столь дурно его понимающему Западу; есть в нем что-то общезначимое, поучительное для литератур, для писателей всего мира, всем им необходимое.

Что же это такое?

Существует один из аспектов проблемы, когда мыслители самого разного толка на Западе берут Достоевского себе в союзники и считают, что писатель этот легко (хоть и только по видимости) поддается «плюралистским» толкованиям. Это — аспект, так сказать, негативный. Мне хотелось бы обратиться к позитивному, разумеется не тщa себя надеждой (да и не ставя себе цели) исчерпать все многообразие проблемы.

Постичь место человека в мире, посреди ему подобных, в его отношении с неким сообществом всегда было устремлением литературы, искусства. Пока истинные законы этих отношений не были познаны, искусство колебалось между крайностями: утверждением полной зависимости (от фатума, от христианского бога и т. д.) и мечтой о полной индивидуальной свободе. Значительные художники, однако, всегда догадывались, что правда лежит где-то посредине; на то они и были значительными. Некоторые из них — немногие, появлявшиеся спорадически — сложность партнерства личности и окружающего вещного мира облекали в форму великих трагикомических утопий или затевали «игру», нащупывая возможности, ипостаси не укладывающегося в предуготованные границы индивида. Достаточно назвать в этой связи «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Дон Кихота» Сервантеса, «Тристрама Шенди» Стерна.

Достоевский — из этого ряда; он — их наследник. Недаром для него не было книги лучше «Дон Кихота»: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого с о ч и н е н и я. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если бы кончилась земля и спросили там, где-нибудь людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать Дон Кихота: «Вот мое заключение о жизни и можете ли вы за него осудить меня» [1].

Однако Достоевский появился в другое время, когда то, что он делал, следуя за Сервантесом, приобретало особое значение, я бы даже сказал, особую художественную актуальность. Французская революция и наполеоновские войны встряхнули и изменили мир; он предстал глазу писателя как некая противоречивая, подвижная цельность, все слагаемые которой взаимообусловлены. Возник классический реализм XIX века. Он сделал общество главным предметом своего исследования. Человек был осмыслен, уловлен как социальный продукт, и он прежде всего так и подавался: в его социальной функции. Это было величайшее достижение Бальзака и его последователей, ставшее (по крайней мере в Западной Европе) своего рода эстетической нормой реализма чуть ли не на все столетие.

Нередко утверждают, что Достоевский — тоже последователь Бальзака. В самом общем смысле это, без сомнения, верно: бытие его героев, как и героев всякого реалиста, социально обусловлено. Однако если ограничиться этим принципиальным сходством, если заключить Достоевского в «эстетическую норму» минувшего столетия, боюсь, не удастся понять некоторые причины сегодняшней его популярности, сегодняшней притягательной силы. Далеко не все новейшие западные писатели, которые воюют с Бальзаком и опираются при этом на Достоевского, просто враги реализма и просто фальсификаторы автора «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Игрока».

Достоевский принадлежит к несколько иной, нежели Бальзак, линии реалистического развития. Она, как я уже сказал, в определенной мере тянется еще от Рабле и Сервантеса, но ее зачинателем в реализме XIX века был Стендаль, которого привлекала непростая работа человеческого сознания, интересовала психология и который писал Бальзаку касательно своей «Пармской обители»: «Я хочу говорить о том, что происходит в глубине души у Моска, герцогини, Клелии»[2].

---

[1] Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Полн. собр. соч., т. X, ч. I СПб., 1895, с. 114.

[2] С т е н д а л ь. Собр. соч. в 15-ти тт.. М., 1959, т. 15, с. 320.

---

**ЗАТОНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Литературовед, критик, член-корреспондент Академии наук УССР, доктор филологических наук, член МАЛК. Автор книг «Век XX. Заметки о литературной форме на Западе» (1961), «Франц Кафка и проблемы модернизма» (1963), «В поисках смысла жизни. Взгляд на современную литературу на Западе» (1966), «Искусство романа и XX век» (1973), «Зеркала искусства» (1975), «В наше время. Книга о зарубежной литературе XX века» (1979).

Казалось бы, что может быть общего между суховатым, насквозь логизированным приверженцем просветителей Стендалем и неприкаянным, постоянно себя опровергающим, живущим на пределе, «барочным» Достоевским? Ежели присмотреться — не так уж и мало. Как и Достоевский, Стендаль видел в стиле средство донести мысль и не выносил никаких «красивостей»; напротив, даже лучше, если слог неровен, небрежен. Как и Достоевский, Стендаль больше всего сокрушался над атомизацией, разрушением, усыханием в буржуазную эпоху природного человеческого характера; он искал для себя образцы среди непосредственных, буйных, всегда ставивших страсть выше корысти итальянцев времен Возрождения. Что же до логики Стендаля, то, по свидетельству Мериме, «его логика не была похожа на обычную» [1].

Сближают Стендаля и Достоевского (причем именно в противопоставлении Бальзаку) и некоторые западные исследователи. Для них и тот и другой — романисты «политические», «идеологические». А в их глазах быть таким романистом — значит скользить по поверхности, ибо политика, идеология, даже психология лежат наверху, а в глуби — только экономика. Поэтому они высоко ценят Бальзака и низко — Стендаля и Достоевского.

Вывод этот остается на их совести. Однако нельзя не заметить, что Бальзак действительно ставил экономику во главу угла; а Стендаль и Достоевский в том смысле «идеологи», что предпочитают наблюдать реальность, уже преломленную сознанием. Но это никак не значит, будто они отказываются считаться с социальными закономерностями развития буржуазного общества. Просто они не желают видеть в жажде владения, в стремлении к деньгам единственный или даже ведущий фактор, определяющий и формирующий личность. Человеческая ситуация, в конечном счете всегда обусловленная социально, выглядит в их книгах противоречивой, иногда запутанной, чреватой множеством самых разных решений. Ибо помимо того, что индивидуальность и сама по себе существенна, она в каждый данный момент оказывается точкой пересечения нескольких причинно-следственных рядов; и ее реакция на внешний мир — как бы «равнодействующая» всех влияющих на нее обстоятельств.

Разумеется, это понимал и Бальзак. Но во имя того, что считал основным (да оно таковым и являлось в его время, в его условиях), он бывал склонен не то чтобы к упрощению, нет, к некоей генерализации образов своих героев и возникающих вокруг них ситуаций. Растиньяк прямо шел к своей карьеристской цели, когда нанося удары, когда применяясь к подлости; Люсьен Шардон потерпел поражение, потому что был слаб, скроен из иного, менее прочного вещества, и так далее. А вот в стендалевском Жюльене Сореле отсутствует одна доминанта Он — не только результат столкновения эпох: той революционной, наполеоновской, что его породила, высвободила его плебейскую жизненную энергию, и той ничтожной, прозаической, в которую ему довелось жить. В самом Жюльене схлестнулись эпохи. И в этом секрет противоречивости, непоследовательности, «непостижимости» его характера.

У Достоевского все еще сложнее. Его творчество — своего рода апофеоз той линии в мировом реализме, которую я стараюсь здесь проследить. Лучшее в русской литературе XIX века так или иначе связано с этой линией: наши «бальзаки» скорее напоминают Золя (что, впрочем, присуще литературам всех тех стран, где развитие капитализма отставало; например, литературе итальянской). И Толстой, и Достоевский, и даже, по-своему, Гоголь — сами некоторым образом Жюльены Сорели. В их душах сосуществуют, одна на другую накладываются две эпохи — та, добуржуазная, от которой сохранилась память о человеческой цельности и надежда на нее, и та, современная им, грозящая личности распадом, что дозревает на Западе и кажется им неизбежным завтрашним днем России.

Оттого Гоголь, Толстой, Достоевский не только яснее видели угрозу и не только, имея точку опоры (пусть она и консервативно-утопична!), успешнее с угрозой сражались — видели они и непростоту происходящего, искривленность его проекций, болезненность, зигзагообразность развития. Ибо в такой своей кризисности империя Романовых как бы опередила в середине прошлого века еще упорядоченный, духовно чуть ли не благополучный, пошловато-прозаический Запад — тот, что был объектом флоберовской критики.

В «Идиоте» Ганя Иволгин готов жениться на Настасье Филипповне, то есть готов продать себя за те 75 000 рублей, которые дает в приданое бывшей своей содержанке Тоцкий. Но 100 000 рублей, полученных Настасьей Филипповной от Рогожина и брошенных ею в камин Гане на посрамление, этот на все ради денег готовый Ганя не берет.

У Бальзака он бы их обязательно взял: Не из камина, конечно, потому что Бальзак никогда не создавал таких исключительных, таких предельных ситуаций, в которых откровенный стяжатель вынужден вести себя вроде бы противоестественно, самому себе наступая на горло. Бальзак, как я уже говорил, предпочитал ситуации генерализованные: ростовщик разоряет светских вертопрахов, дочери пускают по миру больного и дряхлого отца, жена в поисках завещания обшаривает комнату скончавшегося супруга, даже его остывший труп... Но вряд ли их следует рассматривать как более типичные. Ганина ситуация тоже типична, хотя и в ином смысле. Не своей повторяемостью, не массовидностью, а именно тем, что она не очищена от усложняющей полноты привходящих обстоятельств и потому обнажает реальную немыслимость происходящего.

Когда Маркс говорит о деньгах, что «они превращают верность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель

[1] P. Mérimé. Portraits historiques et littéraires. Paris, 1928, p. 155.

в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость» [1], он говорит об извращающей их власти, и это, как ни странно, точнее схвачено Достоевским, нежели Бальзаком.

«Выгода! — медитирует повествователь «Записок из подполья», — что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода и н о й раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?.. Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли?..

...И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья?» [2]

Если это и защита своего права на любую, пусть и дурную, неповторимость, так, во всяком случае, не в первую очередь. Такое ведь мог сказать и Ганя Иволгин, когда отказался вытащить пакет с деньгами из огня, отошел в сторону и потерял сознание. Это — свидетельство наблюдателя и обитателя странного мира, в котором все поменялось местами, который безнадежно болен.

Между экономическим базисом и человеческим поведением лежит толща идеологических надстроек. По мере развития и упадка капитализма их роль непрерывно возрастает. Противоречия углубляются, а потому разного рода промежуточные стадии и ступени, всякие опосредования, отклонения от заданной орбиты приобретают все больший социальный вес. Возникает какая-то «вывихнутая» цивилизация, движимая за счет эфемернейших мутаций и самое себя отравляющая продуктами распада.

Стендаль полагал, что его книги начнут читать и понимать не ранее 1880 года. В 1881 году скончался Достоевский, и лишь после этого началась его великая посмертная слава. Та линия в мировой литературе, которую я пытаюсь прочертить, обогнала свое время. Но творчество ее зачинателей становится все более важным для времени нашего; оно — органическая часть мироощущения XX века.

О том, чтобы показать это в сколько-нибудь широком объеме, нечего и думать. Поэтому ограничусь здесь одним, как мне кажется рельефным, наглядным примером. В индивидуалистическом XIX столетии, да еще на заре буржуазных побед обладатель или делатель миллионного состояния виделся всесильным и ни от чего не зависимым. Он и в самом деле диктовал тогда законы, ибо деятельность его в сути своей и в своем ритме совпадала с господствующими общественными устремлениями. И нужна была недюжинная зоркость, чтобы разглядеть, что делатель миллионов и сам не более как шестеренка некоей тотальной системы — ведь и само слово «система» тогда еще не выявилось, не обрело социального значения.

Стендаль, однако, разглядел. Думая о своей службе в уланском полку, заглавный герой романа «Люсьен Левен» восклицает: «И все это для того, чтобы зарабатывать девяносто девять франков в месяц!.. Что же должны были вытерпеть люди, обладающие миллионами?» [1] А в романе «Ламьель» доктор Санфен рассуждает так: «...Предположим, я стал супругом этой герцогини и ворочаю по своему усмотрению состоянием в двести с лишним тысяч ливров дохода,— разве изменится от этого мое положение? Я только позолочу его, вот и все. Я по-прежнему останусь существом подчиненным, заискивающим перед людьми более могущественными, чем я...» [2].

Однако это пока не более чем догадка. Достоевский пошел много дальше, когда нарисовал Ганю Иволгина, который в сложившейся обстановке лишен возможности взять у Настасьи Филипповны предлагаемые и вожделенные деньги, и когда заставил «подпольного человека» рассуждать о невыгодности выгоды. Но все художественное и философское значение таких «неправильностей» по-настоящему обнаружилось лишь в эпоху буржуазного одряхления.

В 20-е годы нашего века Яноух записал высказывание Кафки об известном рисунке Георга Гросса, символически изображающем капитализм в виде толстяка, сидящего на деньгах бедняков. «Он (рисунок.— *Д. З.)* и правдив и ложен...— сказал Кафка.— Толстяк обладает властью над бедняком в границах определенной системы. Сам он, однако, не является этой системой. Он даже не властитель. Напротив, толстяк тоже носит цепи, которые не изображены на рисунке. Рисунок неполон. Поэтому он плох. Капитализм — это система зависимостей, тянущихся изнутри наружу и снаружи внутрь, сверху вниз и снизу вверх. Все зависимо, все в цепях. Капитализм — это состояние мира и души». С одной стороны, сказанное Кафкой — заблуждение: он как бы пытается снять экономическую сторону проблемы и видит в капитализме только аномальное внутреннее существование личности. Но есть и другая сторона. В новейшей своей фазе капитализм во все большей мере оказывается во власти им же порождаемого отчуждения. Это — воистину безумное «состояние мира и души».

Кафка не реалист и потому во многом стоит вне рассматриваемой мною линии развития мирового романа. Однако привести здесь это его высказывание заманчиво прежде всего по той причине, что книга, о которой я намерен говорить ниже, почти сочинение на заданную им тему. Аб-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М., 1974, с. 150.

[2] Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти тт., М., 1956, т. 4, с. 149, 153.

[1] Стендаль. Собр. соч., т. 2, с. 61.

[2] Там же, т. 4, с. 238.

стракция высказывания Кафки обретает в ней живую и осязаемую плоть. И в то же время устанавливается ее — как бы опосредованная кафковской мыслью — связь с Достоевским.

Речь идет об опубликованном в 1979 году романе Генриха Бёля «Заботливая осада».

В позиции Бёля последних лет многое для нас неприемлемо. Однако примечательно, что человек, который отвергает реальный социализм, вместе с тем вкладывает в уста своего героя слова о социалистической перспективе развития общества. Именно поэтому о новом его романе стоит поговорить.

В центре «Заботливой осады» фигура стареющего газетного магната Фрица Тольма, которого только что избрали куда-то президентом: по-видимому, в Союз Промышленников или, как это теперь стыдливо называется в Западной Германии, в Союз Работодателей. Итак, он — человек, стоящий на вершине иерархической лестницы. Родом занятий и некоторыми биографическими подробностями Тольм напоминает Цезаря Акселя Шпрингера: как и Шпрингер, он в 1945 году получил от английских оккупационных властей лицензию на издание газеты, потому что не был связан с нацистами; и из скромного провинциального листка вырос необъятный концерн. Однако характер и личная судьба у Тольма совсем иные. Он не стремился ко всему этому и, будучи по образованию искусствоведом, охотнее всего стал бы директором музея. Издательская империя разрасталась помимо его воли, повинуясь каким-то собственным законам, а в последние годы и против его воли: империя, например, недавно проглотила последнюю независимую газету в Рейнланде, которую Тольму не было противно брать в руки, и теперь он вообще не читает прессу.

Симпатичным капиталистом был еще Фрэнк Каупервуд у Драйзера. Но он импонировал читателю своей активностью, своей энергией, своей мощью. А у Бёля активные как раз несимпатичны, даже отвратительны. Это зять Тольма Фишер, его правая рука Амплангер, его коллега из другой отрасли Блайбл. Сам же Тольм пассивен, слаб, терпим, добр; он — пленник собственного богатства, собственной призрачной власти, игрушка в руках собственных директоров, референтов, секретарей. Однако не сочувствие, не жалость к бедному богачу Тольму хочет вызвать Бёль. Цель его совершенно иная — показать обреченность и Тольма, и Фишера, и Амплангера, и Блайбла, и капитализма вообще. Для этого и понадобился такой Тольм: чтобы через его насмешливое, скептическое и в то же время стоическое сознание высветить всю аномалию, всю безнадежную анахроничность системы.

Оба сына Тольма подались в левые экстремисты. Один из них, Рольф, даже сидел в тюрьме и теперь, попав под действие закона о запрете на профессии, живет в деревне с молодой коммунисткой Катариной. Его жена Вероника, захватив ребенка, уехала с неким Беверло, некогда другом Рольфа, почти приемным сыном старого Тольма. Этот Беверло подавал большие надежды в банковском деле, все, особенно финансовый пират Блайбл, прочили ему блестящую карьеру, а он стал террористом и открыто угрожает уничтожить, взорвать Тольма, Блайбла и других, даже сделал в этом смысле некоторые попытки. И все семейство Тольма тщательно охраняет полиция: стража вокруг замка, в котором он проживает, машины с воем сирен и вертолеты, сопровождающие его лимузин, тотальная проверка всех посетителей, тщательное прослушивание всех телефонов. Это и охрана, и слежка — ведь потенциальные убийцы Тольма сами так или иначе принадлежат к его семье. Но Тольм не протестует. Он испытывает страх, боится даже собственных слуг, не доверяет им, ежеминутно ждет с их стороны удара. И это обостряет взгляд. Тольм видит, что новейший капитализм — это Кронос, пожирающий собственных детей, значит, он у самого края пропасти. И Тольм шепчет своей жене Кете: «— Ты знаешь, что я всегда тебя любил. И ты должна еще кое-что узнать.

— Да, что же именно?

— Что социализм должен прийти, должен победить...» [1].

Спору нет, роман «Заботливая осада» — результат наблюдения и художественного осмысления буржуазной действительности второй половины XX века. Но его связь с рассматриваемой линией в мировом романном развитии и прежде всего с Достоевским не вызывает сомнений. Капиталистический мир, взятый как «отклонение», как «неправильность», как «болезнь», человек, понятый как непрямая функция обстоятельств, его поступки, показанные как сложение множества социальных факторов, а порой и как бунт против «выгоды»,— все это от Достоевского, от осознанного или неосознанного у него ученичества. Не противоречит этому ученичеству и вывод Тольма о неизбежности победы социализма.

Я уже упоминал, что Достоевский исходил из буржуазной утопии цельной и гармонической личности; в современной ему России утопия эта еще не была забыта, утрачена, что не только внушало надежду, но и создавало фундамент для построения прочного нравственного постулата. Опираясь на него, Достоевский и судил окружающую жизнь. Старый, в представлении самого Достоевского, евангелический идеал открывал перспективу в будущее.

Отсюда берет начало та сторона ученичества современных западных писателей у Достоевского, вообще у классиков и прежде всего русских, которая связана не с отрицанием, а с утверждением. Эти писатели — и особенно много стало их в 70-е годы — отказываются стоять на зыбкой почве чисто отрицательного взгляда, даже если это критика загнивающего строя, и ищут каких-то позитивных жизненных основ. Я уже не имею возможности оста-

[1] Heinrich Böll. Fürsorgliche Belagerung. Köln, 1979, S. 414.

новиться и на этом вопросе. И я упомяну лишь одно имя — австрийского писателя Петера Хандке, который в 60-е годы начинал как эпатирующий публику авангардистский драматург, а сейчас, не переставая изобличать «вывихнутую» цивилизацию, занят осторожными поисками того, что именует «счастливым человеком». Он, по собственному признанию, идет от русской классики и в немалой мере от Достоевского.

**П. Палиевский.** Дмитрий Владимирович, насколько я понял, вы говорите о том, как новый реализм разбил узкую зависимость между характером и социальным положением, которая была у Бальзака, открыл, как на самом деле «широк человек». Все это кажется очень верным; в свое время интересно писал об этом С. Бочаров. Но Кафка? Принадлежит ли он к этой линии? У него, напротив, как будто предел самососредоточения. Кажется, двух строчек Достоевского довольно, чтобы его, еще не явившегося, предусмотреть и преодолеть; например, как говорит «человек из подполья»: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился». То есть Достоевский сразу сообщает, что есть нечто пострашнее «превращений», объясняет почему, но и на этом его «подпольный» не останавливается: «Вру, потому что сам знаю, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»

И второе — Хандке. Его поворот, о котором вы говорите, наверное, заслуживает внимания. Но сам он как будто называет ориентиром Чехова?

**Д. Затонский.** Что касается Кафки, то я уже говорил: он не реалист и пробовал объяснить, почему мне казалось возможным тем не менее включить его в рассматриваемый мною ряд писателей. К сказанному выше стоит, наверное, добавить следующее: и модернист (если он, разумеется, большой художник, а я думаю, Петр Васильевич согласен с тем, что Кафка является таковым) способен порой узреть и выразить правду о некоем отдельном явлении действительности. Я не считаю, что Кафка относится к линии Рабле — Сервантес — Стендаль — Достоевский — реалисты XX века. Я использую его высказывание лишь в границах конкретного примера, имеющего отношение к восприятию и критике капитализма как системы, тотально подавляющей личность.

Теперь о Хандке. Верно, что он в настоящее время считает главным для себя образцом творчество Чехова. Однако, мне кажется, это не исключает возможности его ученичества у Достоевского, тем более что он и сам неоднократно называл последнего среди своих учителей. Мне представляется даже, что писать, как Чехов,— это пока еще нереализованное желание Хандке. В «Страхе вратаря при одиннадцатиметровом», в «Коротком письме к долгому прощанию», в «Часе истинных ощущений» и сами герои, и их видение мира тяготеют скорее к сложности и смятенности Достоевского, чем к простоте и ясности Чехова. Впрочем, мнения на этот счет могут быть разными.

**Ю. Селезнев.** Вопрос о мировом значении Достоевского — это в конечном счете и вопрос, говоря словами В. И. Ленина, «о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература»[1] в целом. Эту проблему нельзя сводить к частным вопросам о влияниях, заимствованиях, о разработке или развитии тех или иных образов, тем, идей Достоевского. Речь может и должна идти о Достоевском как явлении всемирной литературы, открывшем новый этап ее истории и во многом определившем ее лицо, пути и формы ее дальнейшего развития.

Нужно сказать, что Достоевский не просто как великий писатель, но именно как огромной важности событие в истории духовного развития человечества был воспринят впервые не в России, а на Западе. Ничего странного или обидного в таком признании нет, иначе, видимо, не могло и быть, ибо для русского читателя, воспитанного на отечественной литературе, Достоевский был лишь одним из ее представителей; его особость была для соотечественников как бы только индивидуально его, Достоевского, особостью. Особость же отечественной литературы, отразившаяся и в творчестве Достоевского, не осознавалась и не могла осознаваться в самосознании русского читателя именно как явление, качественно отличное от литературы западной.

Для сознания же, сформировавшегося в традициях западноевропейской культуры, эта особость русской литературы и должна была прежде всего броситься в глаза. Тем не менее и на Западе такое осознание пришло далеко не сразу. Русская литература XIX века впервые вышла на мировую арену в лице Тургенева. Затем уже — Толстого и Достоевского, чуть позже — Чехова, Горького и так далее. Конечно, несколько огрубляя, суммируя этот процесс, мы все-таки можем представить его в следующей последовательности: познакомившись с творчеством Тургенева, изумленная Европа вынуждена была признать, что русская литература и культура находятся на уровне лучших образцов западноевропей-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, с. 25.

---

**СЕЛЕЗНЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ**

Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Занимается проблемами русской классической и современной литературы. Автор книг «Вечное движение» (1976), «Созидающая память» (1978), «В мире Достоевского» (1980),

ских литератур. Благодаря Тургеневу Россия в качестве культурной державы была признана вполне равноценной и равноправной среди литературных держав Европы. Однако уже творчество Льва Толстого заставило взглянуть на русскую литературу несколько иначе: признать, что в Европе нет ему равных и, вспоминая о поэмах Гомера, в конце концов осмыслить его творчество как утраченный секрет, секрет подлинного могущества, которое способно обрести художественное слово, но который утрачен самой западноевропейской литературой.

Достоевский переживается все-таки совершенно особо, и прежде всего как «явление невиданное», «источник новой силы», пророк нового мира и нового человека.

В данном случае даже неважно, насколько восприятие именно Достоевского в таком качестве справедливо или несправедливо в отношении к другим русским писателям. Важно, во-первых, то, что это особое качество русской литературы было воспринято западной культурой прежде всего через Достоевского, а во-вторых, важно выяснить самое природу этой особости русской литературы, которая и была благодаря Достоевскому осознана на Западе как источник новой силы.

Вне выяснения этого вопроса, убежден, сегодня мы уже не можем рассчитывать и на истинное понимание проблемы мирового значения Достоевского.

Мы помним, что едва ли не вся мировая культура присутствует суммированно в его творчестве, в его образах, в его художественном мышлении. И не просто присутствует: она нашла в Достоевском своего гениального преобразователя, открывшего собой новый этап художественного сознания в мировой истории литературы. Именно мировой, а не отечественной, родоначальником которой безусловно явился Пушкин. И никакого парадокса здесь нет.

Особое восприятие Достоевского на Западе в немалой степени обусловлено тем, что осознание его явления (конец XIX — начало XX века) пришлось на эпоху кризиса и даже «крушения» старых, классических форм гуманистического сознания. Одним из наглядных проявлений этого процесса антигуманизации в области литературы, искусства, философии были различные школы декадентства, упадничества культуры. Не случайно «имморалист» Ницше становится в это время «властителем дум» буржуазной интеллигенции, не случайно и создание таких документов эпохи, в которых уже русские писатели стремились осмыслить названный процесс, как «Разрушение личности» Горького (1909), «Крушение гуманизма» Блока (1919) и так далее.

Попытки понимания и истолкования духа и смысла могучего дарования Достоевского сквозь призму «разрушения» и приводили к подобным формулам: «певец хаоса и дисгармонии». «проповедник относительности добра и зла», «предтеча Ницше» и так далее.

Вместе с тем даже и подобные воззрения не смогли освободить сознание западного читателя от гуманистического восприятия, видевшего в Достоевском певца «униженных и оскорбленных», провозгласившего писателя величайшим гуманистом. К не меньшим противоречиям приводили и попытки вульгарно-социологического истолкования Достоевского: от «пророка революции» до «махрового реакционера». Так или иначе, но любые попытки толкования Достоевского сквозь привычные Европе формы сознания не давали сколько-нибудь удовлетворительных ответов на вопрос об источнике явного ощущения Достоевского именно как новой силы.

Что же это все-таки за новая сила? Во-первых, думается, речь должна идти не об отдельных, сколь бы то ни было привлекательных мыслях, образах, идеях, «пророчествах и указаниях» Достоевского — их куда легче осмыслить, подтвердить или опровергнуть реалиями самой эпохи, прошедшей со дня смерти писателя-мыслителя. Речь, повторяю, может и должна идти прежде всего о мироотношении Достоевского, о Достоевском как целостном явлении. Во-вторых, убежден, что хотя бы предположительно мы можем сказать: ни гуманизм писателя, ни тем более пресловутый, навязывавший ему антигуманизм не могут определять лицо Достоевского в целом. И уж во всяком случае они не могли ощущаться как нечто новое: как раз в традициях западноевропейского сознания; гуманизм прежде всего и был для него именно традиционной, привычной формой мироотношения, пережитой и преодолеваемой реальностью антигуманистических и, ко времени явления Достоевского, тоже вполне уже привычных для Европы форм сознания.

Между тем закономерное преодоление (и до сих пор еще неполное) антигуманистических истолкований Достоевского приводит исследователей как бы к неизбежной и единственно возможной альтернативе — к определению его понятием «великий гуманист».

Однако какое же содержание вкладывается в это понятие? Очевидно, гуманизм Достоевского никак не родствен классическому, ренессансному гуманизму. Думаю, с той же очевидностью природу идейно-художественного мироотношения писателя не могут определять и такие понятия, как «просветительский», «буржуазный» гуманизм, как и, скажем, гуманизм пролетарский. Нужно признать, что само понятие «гуманизм» по отношению к русским писателям XIX века звучит абстрактно. Впрочем, именно этим словом нередко сегодня и обозначают наши исследователи природу мироотношения Достоевского: «абстрактный гуманизм» , то есть человеколюбие вообще.

Да, Достоевский действительно один из величайших человеколюбцев. Однако убежден, любой гений по природе своей человеколюбив и, следовательно, в этом смысле гуманистичен. Во всяком случае, история не знает примеров, когда бы гений

вырастал на почве человеконенавистничества.

Итак, вполне разделяя мнение о Достоевском как великом гуманисте, мы в то же время понимаем: творчество писателя в целом определяется иным центром.

Уже первый идеолог новой русской литературы Виссарион Григорьевич Белинский утверждал, что альфой и омегой того этапа, в который она вступила, является *народность*. Думается, мы до сих пор еще нередко употребляем и это понятие столь же абстрактно, как и понятие «гуманизм»: русская литература XIX века — великая народолюбица, однако народность ее отнюдь невозможно свести к любви к крестьянину как «меньшему брату». Идея: крестьянин — тоже человек, идея действительно гуманистическая, однако это еще далеко не идея народности.

Совокупность социально-исторических и духовно-нравственных причин (Отечественная война 1812 года, движение декабристов, проблема крепостничества, осознание народа как главной деятельной силы истории, в том числе и истории культуры, а его творчества — в качестве своей, отечественной, античности и так далее) делает народ центральным понятием русского национального самосознания и, естественно, самосознания русской литературы XIX века. Уже не самоценность *личности* — центральной категории гуманистического сознания — определяет его «космос», но понятие *народ*. Напротив, значимость самой личности, в том числе и творческой, определяется теперь ее отношением к народу. Народность не отрицает гуманизма, но включает его в новую, более широкую систему общественно-исторических и духовно-нравственных ценностей. Именно в народности и через народность гуманизм получает реальный выход из кризиса буржуазного сознания, закономерно совершившего путь от идеи ренессансного антропоцентризма «человек есть мера всех вещей» к формуле буржуазного эгосознания «я есть мера всех вещей», четко сформулированной уже в философии «Единственного и его собственности» Штирнера.

Народность русской классической литературы выполнила по отношению к ней, по существу, ту же роль, что и гуманизм по отношению к литературе Ренессанса. Этот «коперниковский переворот» совершился впервые и прежде всего в Пушкине и через Пушкина стал общественным достоянием.

Но так же как рожденный в недрах духовной жизни Италии гуманизм не был по природе своей узконациональным и постепенно стал явлением общеевропейским, а в известном смысле и общемировым, так, думается, и народность — прежде всего через творчество Достоевского — получила выход на мировую арену и была осмыслена как источник *новой* силы, как указание на возможность и путь преодоления кризиса гуманизма, прямо связанного с кризисом буржуазного сознания.

Как и почему такой выход оказался возможным именно благодаря Достоевскому? — думается, этот вопрос один из центральных при решении общей проблемы мирового значения писателя-мыслителя.

Другой аспект той же проблемы: пожалуй, ни в ком другом не воплотилась с такой силой существеннейшая черта русской литературы — ее устремленность в будущее,— как в Достоевском.

«По глубине замысла, по широте задач нравственного мира, разрабатываемых им,— писал о нем Салтыков-Щедрин,— этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества»[1] Конечно, художественный мир гения — это всегда мир вечно длящегося настоящего. Мир Достоевского, принципиально ориентированный на будущее, и сегодня осознается не столько как голос из прошлого, не потерявший значимости и сегодня, сколько как слово нашего живого современника, что и делает писателя постоянно идеологически злободневным.

Эта существенная особенность Достоевского, рассмотренная в непосредственной соотнесенности с его народностью как источником новой силы, могла бы открыть нам многое в понимании причин, форм, путей, направленности влияния творчества русского гения на общемировые процессы культуры. Хотя это творчество в целом сегодня уже вряд ли кто способен определить как реакционное или даже консервативное (если отбросить отдельные вспышки вульгарно-социологических толкований), все же многие из тех идей писателя, которые представляются, во всяком случае, сомнительными и неприемлемыми для нас, охотно подхватываются на Западе и выдаются за «основное» в Достоевском сегодня. А вместе с тем даже и те идеи, что в силу своего утопизма воспринимались по отношению к реалиям своей эпохи как реакционные или консервативные, даже такие идеи в живом, устремленном в будущее мире писателя — отнюдь не мертвые, застывшие идеи, но движущиеся, развивающиеся, открывающие в новых условиях подчас неожиданные стороны.

Думается, при решении вопроса о мировом значении Достоевского мы обязаны видеть именно такого, современного нам Достоевского, уметь улавливать новое звучание его движущихся идей, тогда, и только тогда, мы сможем понять и смысл его влияния на духовные, нравственные и собственно литературные процессы общемирового характера.

Мы ясно отдаем себе отчет в значении Достоевского, хотя, убежден, и до сих пор еще не осознали вполне значимость, масштабность этого явления. В частности, и по сей день мы «с легкостью необыкновенной» ставим и решаем массу вопросов типа: Достоевский и Ницше, Кафка, Фрейд, Эйнштейн, Камю и так далее, как будто даже и не замечая несопоставимость этих величин. Пока мы не осознаем той простой истины, что, ставя, например, проблему «Достоевский и Ницше», мы в конечном счете решаем вопрос: Ницше и, скажем,

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти т., М., 1970, т. 9, с. 412.

теория Раскольникова, — мы будем отвечать на вопрос не о мировом значении самого Достоевского в целом, а о влиянии тех или иных его образов, идей, теорий, принадлежащих его героям, и так далее.

Однако и сопоставляя вполне сопоставимые явления: Достоевский и Кант, Достоевский и Гегель и так далее, мы, как мне кажется, делаем это далеко не всегда методически обоснованно: берется цельная, законченная философская система того или иного из великих философов и накладывается на выжатую из целостного художественного мира писателя систему взглядов, нередко умозрительную, по существу принадлежащую не столько Достоевскому, сколько его истолкованию тем или иным интерпретатором.

Конечно, такие сопоставления могут открыть, да и открывают нам многие, подчас новые, неожиданные источники «философии» Достоевского (хотя нередко опять же не самого Достоевского, но его героев), однако мы не вправе полагать, будто они отвечают на вопрос об истинном соотношении философии Канта или Гегеля с «философией» Достоевского.

Достоевский как автор завершенной и всеобъемлющей, теоретически обоснованной системы взглядов на мир несопоставим с творцами немецкой классической философии. В этом смысле он настолько же малая величина по отношению к Канту или Гегелю, насколько и теории мироздаций того и другого — лишь частные случаи философского образа мира Достоевского.

Дело, наконец, и в том, чтобы методически верно поставить вопрос не просто о равноценности художника и философа, Достоевского и, к примеру, Гегеля, а и в том, чтобы осознать, что именно через Достоевского художественная мысль становится новой формой именно философского познания мира. И в этом плане мировое значение русского мыслителя далеко еще не понято и не осмыслено. И не только в плане познания мира. В «Тезисах о Людвиге Фейербахе» К. Маркс писал: «Философы лишь разным образом объяснили мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[1]. Философия Достоевского, хотя и не имеет в виду социально-экономические, революционные преобразования мира, направлена не столько на его объяснение, сколько именно на его изменение, исправление: Достоевский как художник-мыслитель — сплошное пророчество о возможности преобразования мира силою слова и проповедь необходимости такого преобразования.

Имея в виду, что одно из важнейших проявлений народности Достоевского — его ярко выраженная, непримиримая антибуржуазность, сама проблема мирового значения Достоевского сегодня обретает не только теоретически, но и практически важное идеологическое значение: наша задача — перевести этот «источник новой силы» из области мирового предчувствования, ощущения в сферу осмысления Достоевского как могучей силы преодоления буржуазного сознания.

И в этом плане проблема мирового значения Достоевского открывается еще в одном, быть может центральном, аспекте: Достоевский как нравственная категория в системе современного общемирового диалога идей.

**Д. Затонский.** То, что говорил здесь Юрий Иванович Селезнев, слушать мне было интересно, хотя в его концепции содержится нечто парадоксальное и, по моему разумению, неожиданное. Конечно, я понимаю, что за неимением времени он представляет лишь квинтэссенцию, даже схему своей концепции. Однако и принимая это во внимание, а также оговорки, сделанные в ходе самого изложения мысли, мне трудно отделаться от впечатления, что «народность» Достоевского отрывается от гуманизма и ему противопоставляется. Я всегда считал Достоевского гуманистом (независимо от того, выводить ли его гуманизм непосредственно из секуляризированного Возрождения или считать разбавленным значительной долей христианства), ибо пекся он не только о народе вообще, но и о человеке, об отдельной личности, вовсе не погружая ее в анонимность некоего нерасчлененного сообщества.

Излагая собственный свой взгляд на Достоевского, я уже говорил, что его критика современного ему мира имела отправной точкой представление о цельности и ценности человека, так сказать, добуржуазного, потому что в буржуазной действительности его более всего отвращала как раз атомизация индивида, его распад, его обезличивание. Разве это в конечном счете не гуманистическая критика, не критика с позиции человечности?

То же можно сказать и о Толстом, да и вообще о русской классике, о «святой русской литературе», как называл ее Томас Манн. Тогдашняя Россия была еще не капиталистической страной в условиях уже достаточно развитого на Западе капитализма. Вот это смещение, столкновение эпох и порождало гуманистическую специфику русской литературы.

Впрочем, нечто подобное можно найти и в других литературах. Например, в скандинавской и, в частности, у Ибсена, чей ни на что не похожий «Пер Гюнт» просто не может быть правильно понят вне исторического контекста отсталой Норвегии: ее романтический дух противостоял обесчеловеченному прозаизму высокоразвитых европейских держав. Один из последних по времени феноменов подобного рода — творчество Фолкнера, изобличающее «долларовую» Америку с позиций ее консервативного, неистового, самобытного, более естественного и потому более человечного Юга.

**Ю. Селезнев.** Менее всего мне хочется быть понятым превратно, «парадоксально» и «неожиданно» в том смысле, что народность Достоевского (а вернее, русской ли-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, с. 4.

тературы XIX века,— потому что я говорил здесь о Достоевском только как о ее представителе, помогшем Европе «прорубить окно» в Россию), что эта народность «отрывается от гуманизма и ему противопоставляется» и так далее.

В этом плане мне вполне понятна тревога, прозвучавшая в ответном слове Дмитрия Владимировича Затонского, а потому прошу буквально несколько, по необходимости кратких, уточнений. Народность не отрицает и не отменяет гуманизм, но включает его в более широкую систему общественно-исторического сознания; идея классического гуманизма — «идея человека,— по справедливому определению Белинского,— существа индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом себе...» [1].

Центр мироздания, созданного русской литературой XIX века,— не человек как индивид, как существо автономное, но народ; личность в этой новой системе ценностей представляет интерес уже не сама по себе, но в ее отношении к народу; естественно, что такая переакцентировка в сознании вырабатывала и новый тип личности, и новые же формы гуманизма.

Статья Горького, посвященная проблеме «народ и личность» («Разрушение личности») не случайно открывается словами, которые вполне могут стать определением существа того явления, которое стало центром самосознания русской литературы:

«Народ — не только сила, созидающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый во времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры ..»[2].

Нам стоило бы подумать о народности как о новом шаге в духовном развитии человечества, новом этапе истории его самосознания, рожденного, выработанного в недрах русской классической литературы.

**В. Лакшин.** Влияние Достоевского на отечественную и мировую культуру столь неоспоримо признанный факт, что порой кажется: какое крупное явление литературы XX века ни возьми, в нем непременно будут присутствовать — в восхищенном ли признании незаметном усвоении или полемической борьбе — идеи, образы сам способ понимания, открытый этим писателем.

Имя Достоевского вспоминаешь, читая «Волшебную гору» Томаса Манна и «Процесс» Кафки, горьковскую «Жизнь Клима Самгина» и роман Булгакова «Мастер и Маргарита».

Не обойти в этой теме и Альбера Камю. В его повести «Падение» тайная природа человека исследуется с искренностью и бесстрашием, завещанными Достоевским. Здесь, как и в «Постороннем», и в «Чуме», форма притчи не является данью моде. Перед нами попытка о б р а з человека в литературе поднять до ф и л о с о ф и и человека. Гуманизм — это не благодушие, а боль, Достоевский разбил самодовольство гуманистического сознания. И герой Камю — «кающийся судья» — переживает кризис самодовольного человеколюбия.

Современный буржуа-интеллигент, он будет уважать себя, лелеять свою чистоту и добропорядочность, пока случай не поставит зеркало перед его совестью. Поздним вечером человек гибнет, упав или бросившись за парапет Сены, а герой, считавший себя гуманистом, ускоряет шаг, чтобы не отозваться на крик о помощи. Но самое поразительное у Камю происходит дальше: «кающийся судья» исповедуется в недобрых мыслях, бичует свои несовершенства и душевные слабости, а кончает тем, что с отчаянием и надрывом судит весь мир. Личный душевный дискомфорт приводит его гуманизм к катастрофе. Все в мире ему не нравится, потому что не нравится себе он сам.

Навеяно Достоевским? А может быть, предугадано им в людях XX века, которых мог наблюдать Камю?

Или романы Уильяма Голдинга, и, может быть, лучшая его книга «Повелитель мух». В ней тоже воссоздана ситуация в духе Достоевского. Мальчики Голдинга, попавшие на необитаемый остров (за словом «мальчики» — и для Достоевского целая проблема), пытались создать счастливую колонию, лишенную опеки и авторитета взрослых, своего рода идеальный свободный мир. Но вскоре они отдали свою свободу и охотно перешли под власть наиболее сильного и жестокого мальчика, «диктатора». В сущности, они вновь обрели покой и счастье, лишь когда с этой свободой расстались, а непокорные, вроде мальчика Хрюши, были обречены на безжалостный самосуд... Тоже проблема Достоевского, им впервые так обнаженно поставленная и, может быть, казавшаяся умозрительной, пока не была болезненно проверена новым веком: Голдинг писал свою книгу по следам трагического опыта искушения масс национал-социализмом.

При жизни Достоевский многими воспринимался как талантливый беллетрист, который изображает людей необычно, по-своему, ведет действие занимательно, но все же остается в ряду других незаурядных писателей-современников, таких как Григорович, Гончаров, Тургенев. Современники плохо угадывали, что откроется за типами и конфликтами романов Достоевского в будущем. То, что говорил Достоевский, часто казалось преувеличением, ду-

[1] В Г Б е л и н с к и й Полн. собр соч. т. I. М., 1953, с. 265.
[2] М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в 30-ти тт. т. 24, М., 1953, с. 24, 50.

---

**ЛАКШИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ.**

Литературовед, критик. Автор книг «Толстой и Чехов» (1963 и 1975 — 2-е издание). «Островский» (1976), «Биография книги» (1979) и ряда работ в области советской и зарубежной литературы.

шевным самотерзанием, нервным вывертом. Сам Лев Толстой относился настороженно, если не сказать критически, к способу изображения Достоевским людей, хотя испытывал тяготение к его духовной силе. Герои у Достоевского были изображены страстно, но каким-то особым «духовидческим» способом, «антипластически», и это разочаровывало Толстого.

Мучительные духовные поединки, страстные исповеди, когда герои точно с горы летят, обнажая изнанку души,— все это не было привычно. Можно допустить, что в XIX веке люди более откровенно говорили друг с другом, чем в XX (хотя писали менее откровенно). Но то, что происходило в романах Достоевского, далеко не всегда отвечало будничному опыту.

Методом Достоевского-художника было: вывести сферу подсознания, полусознания, «недосознания», где правят смутные эмоции и инстинкты, ждущие себе осознанного выражения, в мир жизненного действия. Это и есть «фантастический реализм». Реализм — оттого, что это верно глубинной психологии бытия человека. «Фантастический» — оттого, что в текущей жизни являлись лишь блики, отражения, скользящие тени того, что Достоевский вообразил и представил как натуральнейшую явь Петербурга или Скотопригоньевска.

В жизни люди обычно не говорят и не поступают так, как говорят и поступают они в романах Достоевского. Но они так думают наедине с собой или так инстинктивно чувствуют, и этот мир тайных и темных эмоций Достоевский выводит на свет как неоспоримую реальность. Тут будто не люди разговаривают: общаются их души и идеи. В перспективе будущего оказалось, что разговоры эти не были такой уж условностью. Еще не до конца проявившие себя в XIX веке идеи, мысли, инстинкты и эмоции стали все нагляднее и острее отзываться в действительности нашего века— в образе жизни, отношениях полов, социальных конфликтах и эксцессах уголовной хроники.

Известно, что Толстой возразил на апологетическое письмо Страхова: «...нельзя же полагать в образец человека, который весь борьба». Достоевский сам, верно, был смущен, если б узнал о тех своих нынешних почитателях, которые думают, что он все решил за них и во всяком случае нашел ответы тем вопросам, которые сам поставил: свободы и человеческого «муравейника», веры в бессмертье и безверия, христианства и «хрустального дворца» будущего. Эти и другие коренные духовные заботы человечества — для него самого часто нечто больное и нерешенное. И, может быть, завещанное новым векам. И до конца не решенное нашим веком.

Конечно, идеи и романы Достоевского возникли на вполне конкретной социально-исторической почве. Но масштаб духовной личности Достоевского — это не масштаб десятилетия или нескольких десятилетий, когда он писал и печатался. Это масштаб какой-то гигантской эпохи. Чтобы верно понять явление, о котором мы говорим, я думаю, надо вести отсчет от Великой французской революции 1789 года, вернее, от всей эпохи, ею открытой и обозначенной. Георгий Михайлович Фридлендер выразил в своей книге ту же мысль, напоминая, что революция была кровавой, жестокой и заставила усомниться во многих прежних понятиях бытия. Но важно и то, что как предтечи и спутники революции буржуазной возникли французские просветители, возникли и в немецкой философии такие огромные имена, как Кант, Гегель. Кант создал свои главные работы в 1780-е годы и рождался заодно с просветительством и как ответ на него. Гегель попытался дать всеобщую картину мира после совершившейся революции и возврата к «цезаризму». Это гигантская философская эпоха в осознании того, что произошло или происходит с человечеством.

Существует интересная работа Голосовкера «Достоевский и Кант», ценная остроумием и конкретностью наблюдений. Автор открыл взаимосвязь между идеями Достоевского и Канта. Под его пером совпадения антиномий «чистого разума» и идей романов Достоевского поражают своей наглядностью. Слабость Голосовкера в том, что он искал не только соответствия, но и зависимости: Достоевский как бы заимствовал у Канта его «антиномии» и воплотил в творчестве. Между тем Достоевский Канта не читал (или читал совсем мало). Единственным указанием на интерес Достоевского к Канту, которым не пренебрег Голосовкер, оказалось письмо Достоевского 1854 года к брату из ссылки, когда он еще подумывал об ученой карьере в Петербурге. Он просил брата прислать ему некоторые научные и философские книги для возможного экзамена и в самом конце длинного перечня — «Критику чистого разума». Неизвестно, послал ли брат ему эту книгу и читал ли он ее. Да ведь не в том и суть. Дело не в зависимости, а в том, что «великие умы сходятся».

Немецкая философия как мировое явление, накануне и после революции 1789 года, призвана была по-новому сознать мир, и она дала двух гениев: строгого и скорбного Канта, который показал неразрешимую антиномичность идей и мира и превыше всего поставил нравственный закон. И оптимистического Гегеля, который взял в центр своих мыслей идею движения, бесконечного развития природы и духа.

Русская литература второй половины XIX века тоже была своего рода ответом на то, что совершилось в мире или только еще ожидалось в нем. Идеи и идеалы французской революции XVIII века отголоском прошли в русском освободительном движении. Борясь за освобождение крестьян, за свободу личности, яростно споря вокруг проблемы общины и народной грамотности, русское общество по-своему реагировало на лозунги «свободы, равенства и братства», открывшие новую эпоху европейской истории.

Немцы ответили на совершившиеся и ожидаемые в мире перемены философией, русские — литературой. И как у немцев были два великих философа, воплощавших две тенденции, два понимания перспектив

человека и человечества — Кант и Гегель, так у русских были два писателя, это выразившие: Толстой и Достоевский.

К слову сказать, Толстой читал Гегеля так же мало, как Достоевский Канта, а то, что читал, не увлекало его. Но не во влияниях тут дело. Подобно Гегелю Толстой видел мир бодрым, противоречивым, логично движущимся, разрушаемым и созидаемым вновь. Это движение, развитие бросало свет радости на лица, сообщало человеку чувство устойчивости в качающейся ладье бытия. Более принято сопоставлять Толстого с Шопенгауэром (которым он одно время увлекался), так же как Достоевского — с Ницше. (Неправоту такого сравнения хорошо показал Фридлендер.) В действительности же гениев русской культуры справедливее мерить в каком-то ином масштабе, и я думаю, что это масштаб имен Гегеля и Канта.

В сущности вся гениальная серия романов Достоевского, от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых», также как «Война и мир» и «Анна Каренина» Толстого, даже хронологически относятся к эпохе 60—70-х годов, эпохе отмены крепостного права в России. И все вопросы, связанные с владением людьми, «живыми душами», как и ответственность за выбор страной новых путей,— все это больные «русские» вопросы. Достоевский мог недобро отзываться о революции 1789 года как кровавой и передавшей власть буржуа. Но лозунг «свободы, равенства и братства», по-особому читавшийся в русских условиях, всегда был для него главным средоточием горячо разделяемых или яростно опровергаемых им идей. Достоевский, как и Толстой, хотел сознать русский путь в свете мирового развития, а вопросы своей души как часть извечных вопросов человечества.

Что и говорить, Достоевский был величайшим защитником идеала с в о б о д ы, понимаемого им прежде всего как беспрепятственная свобода личности. В пору реформы 1861 года это отнюдь не было отвлеченной теорией. Но он подверг этот идеал свободы мучительному экзамену, угадав в нем диалектику добра и зла. Да захочет ли человек до конца испить кубок свободы, будет ли счастлив, если свободу получит, и чем эта свобода для него обернется? Вот лишь часть ядовитых вопросов, адресованных Достоевским человеку, который желал бы, хоть и вопреки всему на свете, «по своей волюшке» пожить. Раскольников хочет быть свободным и доказать, что он не «тварь дрожащая» и «власть имеет». Но эта власть — свобода для себя при несвободе для других, она и есть путь к преступлению.

И той же проверке подвергает Достоевский идеал р а в е н с т в а. В социальном равенстве его отпугивает призрак «шигалевщины» покушение на индивидуальность, личность, погибель для разнообразия, яркого цветения жизни. Если в вымечтанном будущем все сильные умы будут «погашены в зародыше», а таланты приведены к общему знаменателю, то нужно ли людям такое равенство? Идеалы свободы и равенства может быть впервые рассматриваются так пристально и с опасением: а что, как равенство вообще несовместимо со свободой, поскольку все неравно в природе? И все же Достоевский, можно быть уверенным, вовсе не враг социальному равенству, сколь мучительному и жестокому испытанию ни подвергался бы для него этот идеал.

Но что влечет Достоевского неоспоримее всего и как бы разрешает для него противоречия свободы и равенства — это б р а т с т в о. Братья Карамазовы все смотрят в разные стороны, как разные воплощения и возможности национального характера. Однако не заключена ли и тут расколовшаяся в антагонизмах, не вызревшая, но еще не погубленная в надежде идея братства?

Достоевский не дает ответов конечных, он «весь борьба», и оттого, быть может, так влиятельна в изучении писателя идея «полифонии». Огромна заслуга Бахтина, который замечательно писал о Достоевском, обогатил литературоведение понятием «многоголосья» и «полифонического романа». Вообще говоря, равноправие спорящих голосов, воссоздание внутренней логики, внутреннего мира каждого персонажа — черта глубокого реализма вообще, и в этом смысле «полифоничны» и Пушкин, и Толстой, и Чехов. Но в 20-е годы, когда писалась книга Бахтина, его идеи были открытием уже потому, что противостояли узкому, вульгарно-социологическому пониманию Достоевского как идеолога городского мещанства.

Сейчас о полифонии Достоевского не пишет только ленивый. Однако есть опасность в понимании «многоголосья» как власти безоценочности, а «равноправия голосов» как безразличия к смыслу. Внимательное и уважительное чтение трудов Бахтина с несомненностью откроет, что и для него «многоголосье» — вовсе не путь к равнодушию, холодному умствованию и эстетизму. В сущности, Достоевский очень тенденциозен, и страстный, полемический, тысячестраничный м о н о л о г «Дневника писателя» — лишнее тому подтверждение. Да и в прославленных романах «равноправие голосов» — способ, прием рассказа, а за ними внятно слышен глуховатый, завораживающий голос Достоевского. Как и у Канта, «антиномии» в мире идей несомненны, но несомненен и нравственный закон, и «звездное небо над головой».

Достоевского как мировое явление, во всей оригинальности его дара, обычно начинают числить с «Записок из подполья». Идея «двойника», в ранних произведениях лишь намеченная, сознание, готовое спровоцировать зло и способное к самоуничтожению, «подпольность», и многоликость человека признаны крупнейшим открытием писателя. Все последующие идеи его больших романов, легенды о Великом инквизиторе, Василий Васильевич Розанов возводил к «Запискам из подполья». Однако чуть раньше этих «Записок», но уже позже повести «Двойник», где впервые рельефно объявилась эта тема, написаны другие «записки» — «Записки из Мертвого дома». Принято считать, что эта автобиографическая проза завершает ранний, как бы более традиционный этап творчества До-

стоевского. Но не всегда верно оценивают значение, какое эта книга и отраженный в ней опыт имеют для дальнейшего пути писателя. И те и другие «Записки» важны для понимания пафоса мысли Достоевского, и еще неизвестно, какие важнее.

Великий вывод «Записок из Мертвого дома» — среда виновата, но человек ответствен — противостоит не только демократическим теориям «среды». Другой враг автора — зыбкость, релятивность нравственного суда. В художественном репортаже с каторги показано, что делается с человеком, когда он преступает порог совести, заглушает в себе голос справедливости и добра, какой есть от природы в каждом. Убийцами и палачами становятся, а не рождаются. Несмотря на незавидную судьбу добра в мире, велика ответственность всякого человека за себя. Обуздать в себе злые силы природы, а они тоже дремлют в каждом, немалый душевный труд и духовная задача.

И эта мысль, или скорее мысль-чувство, развиваясь в «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых», парит над всяким «полифонизмом», над многоголосьем «равноправных голосов» как авторский голос Достоевского, хотя автор почти нигде однозначно не представляет себя. И лишь внимательный исследователь, вроде Валентины Евгеньевны Ветловской, по-новому прочитавшей «Братьев Карамазовых», определит закон авторского «голосоведения».

Кто не помнит вдохновенной, парадоксально счастливой картины каторжного театра в «Записках из Мертвого дома»? Мгновение чистой радости объединяет вдруг этих сеченых, мученых, озлобленных людей — и как секундной молнией осветит возможность б р а т с т в а. Эта вещь сравнительно ранняя. Но ведь и последний свой роман Достоевский кончил речью Алеши у камушка — замечательными словами о воспоминании, которым спасен будет человек. Это воспоминание о святых минутах, когда так хорошо было всем вместе, «соединенным одним братским чувством». Дугою обняла эта мысль о братстве все творчество Достоевского.

Так что не «равноправие» голосов как частных правд определяет главный его пафос, а вера в возможность через все «бездны» человеческой натуры, выведенные наружу «низы» подсознания и психологии прийти к братской соединяющей людей правде. «Бу́ди! Бу́ди!»

Тенденциозность Достоевского можно проверить на примере высказывания о Достоевском Владимира Набокова. В третьем томе своего комментированного издания «Евгения Онегина», вскользь и весьма иронически отозвавшись о Пушкинской речи Достоевского 1880 года («трескучая, рассчитанная на дешевый эффект политико-патриотическая речь»), Набоков дает Достоевскому такую характеристику: «Сильно переоцененный сентиментальный и «готический» романист своего времени». Известна самолюбивая задиристость Набокова, его стремление к эпатажу в характеристиках многих писателей. Но его слова о Достоевском заслуживают быть оцененными и по существу. «Сентиментальный романист» — это человек определенного отношения к другим людям. И как бы ни была сомнительна в применении к Достоевскому такая характеристика, она кое-что скажет и о самом Набокове. Он считает принципиальную «безоценочность», отсутствие выраженного нравственного отношения достоинством и заслугой литературы. Достоевский сердит его как слишком «чувствительный» и тенденциозный писатель.

Достоевский как явление мировой литературы, обладающее огромной идейной и нравственной силой, до сих пор освоен нами лишь частично и понят не до конца. Но то, что его наследие уже вошло в плоть и кровь современной мировой культуры, это несомненно. И борьба вокруг этого наследия, давно начатый спор о нем не сегодня будут кончены.

**В. Кожинов.** Мне представляется немаловажным обратить внимание на самый девиз данного обсуждения — «Достоевский и мировая литература». Термин «мировая литература» в этом его употреблении нельзя, очевидно, понимать как обозначение всей совокупности литератур всего мира.

В «мировую литературу» входят только те представители национальных литератур, творчество которых в силу конкретно-исторических причин воплощало в данную эпоху стержневое движение мирового искусства слова.

Есть все основания утверждать, скажем, что в творчестве Данте, Шекспира или Гёте как раз и осуществлялось развитие мировой литературы на определенных исторических этапах этого развития. Точно так же творчество Достоевского и есть мировая литература на данной стадии ее развития. Именно поэтому элементы формулы «Достоевский и мировая литература» можно поменять местами: «Мировая литература и Достоевский»; такая перестановка вполне уместна и плодотворна. И в рамки

---

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

---

**КОЖИНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ.**

Литературовед, критик. Автор книг по общим проблемам теории литературы и искусства: «Виды искусства» (1960), «Основы теории литературы» (1962), «Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк» (1963), «Сюжет, фабула, композиция» и «К проблеме литературных родов и жанров» (в кн. «Теория литературы», т. 2, 1964), а также по истории русской литературы и по вопросам классической и современной поэзии: «Как пишут стихи» (1970), «Роман Достоевского «Преступление и наказание» (1971), «Николай Рубцов» (1975), «Книга об истории русской поэзии XIX века» (1978), «Стихи и поэзия» (1980) и др.

«мировой литературы» входят, строго говоря, лишь те писатели, в отношении которых подобная перестановка законна и естественна.

Что это за писатели? Дело не в том, что они лично более гениальны, чем все остальные. Дело в том, что они были гениями тех национальных литератур, в русле которых в данное время протекало основное, стержневое течение мировой литературы. Во второй половине XIX века такой литературой была русская литература.

И едва ли имеет смысл решать проблему «Достоевский и мировая литература» путем сопоставления творчества Достоевского с наследием его западноевропейских современников — будь то Бальзак, Диккенс, Теккерей, Гюго, Флобер, Мопассан и так далее. Достоевского можно и должно сопоставлять с Данте, Шекспиром, Сервантесом, Гёте, но серьезное, ответственное сопоставление его с западными современниками способно лишь привести к выводу, что все они с точки зрения мировых проблем несопоставимы с Достоевским.

Укажу одно, но очень существенное и несомненное отличие наследия Достоевского от наследия любого западного писателя его эпохи. Творения Достоевского и сегодня остаются глубоко и жгуче современными, чего никак нельзя сказать, к примеру, о книгах Флобера или Диккенса, которые предстают перед нами как художественные воплощения прошлого. Мало того, Достоевский и сейчас более современен, чем такие западные кумиры XX века, как Пруст, Джойс, Кафка. Достоевский и сегодня заставляет говорить не столько о себе, сколько с собой — отчаянно споря или же превращаясь в единомышленника.

Не будет преувеличением сказать, что в той области, в той сфере художественного творчества, которую «разрабатывал» Достоевский, он и поныне еще представляет собой мировую литературу.

И, скажем, столь широко распространенное сопоставление Достоевского с Камю или Сартром, выражаясь модным определением, некорректно и просто-таки неинтересно. В недавней статье Юрия Давыдова («Вопросы литературы», 1980, № 4) со всей убедительностью раскрыт сугубо поверхностный и легковесный характер этики и эстетики экзистенциалистской беллетристики этих очень популярных в 1950—1960-х годах писателей. Между тем Достоевского пытаются подчас сопоставлять с еще менее значительными западными авторами вроде Голдинга...

Искусство Достоевского представляет собой мировую литературу в силу того, что оно пребывает, по определению Бахтина, в «большом времени» (смысл этого глубоко и конкретно раскрыт в давно приобретшей всемирную известность книге исследователя).

Достоевский мыслил и творил в свете тысячелетней истории. Он был способен воспринять каждый факт, каждое явление жизни и мысли как новое звено в тысячелетней цепи бытия и сознания — и русского и мирового бытия и сознания.

Предельная погруженность в это тысячелетнее историческое бытие, между прочим, объясняет сугубую современность, даже «злободневность» повествований Достоевского. Это мое утверждение может быть понято как парадокс, но стоит только вдуматься в суть дела, чтобы увидеть естественность такого хода мысли. Ведь если любое, даже «малое» сегодняшнее событие или слово воспринимается как звено в грандиозном движении Истории (практическом и духовном движении), это событие и это слово приобретают абсолютное значение и становятся всецело достойным предметом творчества.

Достоевский захватывающе и остро ощущал давление тысячелетнего потока бытия и сознания в каждой струйке сегодняшней жизни. И действительно, осмыслить его творчество можно лишь в «большом времени» — в том числе «большом времени» отечественного, русского бытия. Интересный опыт такого осмысления искусства Достоевского представляют работы Валентины Евгеньевны Ветловской, которая стремится «укоренить» это искусство в тысячелетней истории русской культуры.

При этом необходимо иметь в виду, что наследие Достоевского входит в мировую литературу не в качестве некоего искусства вообще, но как явление художественной и духовной истории России, как одна из высочайших вершин этой истории.

Проблема «Достоевский и мировая литература» — это часть проблемы «Россия и мировая литература». Между тем творчество Достоевского нередко рассматривается только как своего рода промежуточная ступень между Бальзаком, Диккенсом и так далее и, с другой стороны, Томасом Манном, Андре Жидом и так далее. Достоевский при этом предстает как художник, который по-новому решал «вопросы», уже поставленные его западными предшественниками.

На самом же деле Достоевский, обобщая и продолжая тысячелетнюю духовную историю России, ставил совершенно новые «вопросы», более того, его искусство осваивало принципиально иной «предмет».

Юрий Иванович Селезнев говорил здесь о том, что Достоевский, опираясь на искания русской культуры в целом, осваивал стихию народа. И это действительно так. Но к этому, как мне представляется, необходимо добавить, что открытие стихии народа связано с коренным преобразованием и другой основной категории искусства.

Коротко говоря, западная литература осваивала феномены, которые находят четкое выражение в понятиях «индивид» и «нация». Между тем в творчестве Достоевского перед нами предстают реальности, схватываемые понятиями «личность» и «народ».

В кратком выступлении невозможно раскрыть глубокое различие между понятиями «нация» и «народ» и, с другой стороны, «индивид» и «личность» (отмечу, что различение этих понятий произведено, в частности, в работах Бахтина и Аверинцева). Если попытаться дать самое общее пояснение, следует сказать, что понятия «нация» и «индивид» несут в себе прежде всего смысл отграничения, выделения определенных феноменов — то есть имеют фор-

мальное и «негативное» значение (данный индивид и нация — это *не* то, что другие индивиды и нации). Между тем «народ» и «личность» — это прежде всего *содержательные* и *позитивные* понятия; в народе и личности существенна не столько их обособленность, отграниченность, сколько внутренняя глубина, которая, отнюдь не исключая самобытности, несет в себе всеобщую ценность. Толстой, как известно, говорил, что Достоевский, создавая своих героев, так «глубоко зачерпнул», что «даже иностранцы» узнают в этих героях себя.

При этом подлинная полнота художественного воплощения *личности* возможна лишь в соотнесении ее с *народом* (разумеется, не обязательно открытом, прямолинейном соотнесении). Народность и «личностность» (ничего общего не имеющая с индивидуализмом) искусства Достоевского нераздельно взаимосвязаны.

Творческое углубление «через» индивида в личность совершалось в единстве с углублением «через» нацию в народ.

Это всемирно значимое открытие Достоевского привело к глубочайшему преобразованию той направленности искусства, которая связана с понятием «гуманизм». Строго говоря, едва ли не все произведения Достоевского заострены против гуманизма в его предшествующем значении. Этот гуманизм обращен по сути дела к индивиду, а не к личности — уже хотя бы потому, что гуманизм подразумевает определенный *объект* гуманистического отношения. Личность же принципиально не принимает отношения к себе как к объекту.

И многие герои Достоевского непримиримо бунтуют именно против «объективного» гуманистического отношения к себе — в чем бы оно ни выражалось, даже в сострадании...

Разумеется, все это требует пространных пояснений и конкретного анализа; но моя задача здесь лишь в том, чтобы обратить внимание на проблему, которая со всей силой воплотилась в творчестве Достоевского и остается поныне остросовременной.

И последнее — но не последнее по возможности. Достоевского сплошь и рядом сопоставляют со множеством западных писателей XX века, которые открыто утверждали себя в качестве «продолжателей» Достоевского. Значительная часть этих писателей принадлежит к той линии литературы, которую связывают с понятием «мифотворчества» (те же Камю и Сартр, Ануй, Апдайк, Воннегут, Энценсбергер и другие). Вполне понятно, что и образы Достоевского при этом рассматриваются в плане «мифов»

Но если даже принять эту трактовку, необходимо видеть глубочайшее, коренное различие между «мифотворчеством» Достоевского и тех новейших и современных писателей, которые считают себя последователями Достоевского.

То, что называют «мифотворчеством» Достоевского, совершалось в процессе органического, естественного созидания художественного мира. К тому же Достоевский не просто сочинял романы, а каждый раз решал жизненную, бытийственную задачу национального и мирового значения: здесь уже говорилось о том, что он глубоко и остро чувствовал давление тысячелетней Истории. Потому его образы по сути своей *онтологичны*, а не чисто *гносеологичны* — как у подавляющего большинства его последователей.

Современные «конструкторы мифов», если угодно, работают не на той глубине творчества, на которой действительно можно продолжить Достоевского. И потому привлечение их к уяснению проблемы «Достоевский и мировая литература» бессмысленно. Я, конечно, не имею здесь в виду таких органических художников, как Гарсиа Маркес, но в данном случае дело идет о традиции, которая как раз весьма далека от Достоевского.

Проблема «Достоевский и мировая литература» еще ждет подлинного уяснения. Более того, именно в наше время складываются условия для ее глубокого решения. Но тем важнее выявить плодотворные и заведомо бесплодные пути этого решения.

**В. Лакшин.** Мне показалась бесспорной мысль Вадима Валерьяновича Кожинова, что Достоевский составляет часть эпохи, еще не изжитой современной мировой литературой, то есть ее живое явление.

Однако вряд ли Кожинов прав, когда заранее отвергает возможность сопоставления философии идей и образов Достоевского с такими его западными современниками, как Бальзак и Диккенс, или с такими писателями XX века, как Альбер Камю и Уильям Голдинг («еще менее значительный западный автор»).

Не будем высокомерны. Ведь речь идет не о раздаче чинов и званий в согласии с литературной табелью о рангах: один — великий, другой — значительный, третий — менее значительный. Не важнее ли жизнь идей Достоевского в современности и то, как отражается в литературе действительность нашего века?

Неправдой было бы сказать, что вся мировая литература в XX веке, не прошедшая мимо опыта Достоевского, занималась лишь эпигонством по отношению к нему. И тот же Альбер Камю, о котором пренебрежительно отозвался Кожинов, не обойдя традиции Достоевского, ставил и свои, диктовавшиеся его временем, мучительные проблемы.

Хорошо, разумеется, когда творчество Достоевского мы пытаемся понять на уровне высокой теории: «гуманизм» или «народность», «народ» или «нация», «личность» или «индивид»... Но оставаясь в пределах абстракций, очищенных в наших рассуждениях, с одной стороны, от истории, с другой — от конкретности художественного творчества, не переводим ли мы разговор в неопределенное наклонение, не напускаем ли избытка туману?

Не будет плодотворен спор в рамках метафизического мышления: «всемирен» —

так уж не национален, «народен» — так уж не гуманист, «личность» — так уж не «индивид» и тому подобное. Конечно, важно расчленить понятия, но, расчленяя, не забыть, что при внесении даже самых скромных элементов диалектики (кстати, столь близкой духу Достоевского) национальное в глубоком и лучшем смысле предстает как часть «всемирности», «народность» неизбежно включает в себя гуманизм, индивидуальность становится неотъемлемой стороной «личности».

И уж во всяком случае не стоит противопоставлять Достоевского, верного «позитивным» понятиям «личность» и «народ», западной литературе (какой? Диккенсу и Бёрнсу? Бальзаку и Гюго?), будто бы обремененной «негативными понятиями» — «индивид» и «нация».

Сам Достоевский, противившийся личной и национальной «исключительности», на склоне лет громко произнес слова о «всемирной отзывчивости» русской литературы, и отзывчивость мировой литературы на его творческие идеи тоже не может быть безразлична для нас.

**В. Кирпотин.** Достоевского очень часто именуют и художником и мыслителем, и не только потому, что он писал наряду с художественной прозой теоретико-публицистические статьи. Его образная система насыщена необыкновенно богатым мировоззренческим содержанием, в ней слышится в трансформированном виде «музыка», знакомая нам по истории философских систем.

Достоевского называют художником идей (Энгельгардт, Бердяев). Бердяев пояснял: «Идеи совершенно имманентны его художеству, он художественно раскрывает жизнь идей». Все герои Достоевского — идеи, «герой из подполья» — идея, Раскольников — идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, Петр Верховенский — идеи, Иван Карамазов — идея». Сведение Вячеславом Ивановым, Бахтиным персонажей Достоевского к «чистому голосу» не слиянных между собой сознаний по сути дела обозначает то же самое. Голосовкер считает действующие лица «Братьев Карамазовых» переодетыми категориями «Критики чистого разума» Канта.

Однако Достоевский никогда не превращал искусство в служанку философии, подобно тому как в средние века сама философия становилась служанкой теологии. Достоевский считал идеи, идеалы такой же неотделимой частью действительности, как и все другие ее проявления. Достоевский был прежде всего художником, творчество его подчиняется законам искусства, а не является средством для выражения независимого от эстетики содержания. Образы Достоевского синтетичны, основная формирующая сила принадлежит в них, как и у других больших художников, прежде всего интересам, страстям, характеру типизму. Он и сам об этом говорил, и много раз. Однако в формировании образа у Достоевского в самом деле идея, философская мысль играет роль сильнодействующего фермента.

«Все позволено»,— говорит Родион Раскольников. «Все позволено»,— говорит Иван Карамазов. Слова одинаковые, но философский смысл их различен, и различие это «строит» качественную специфичность и определяет качественную разницу между обоими героями.

Раскольников считает, что «все позволено» «для цели», для одной-единственной признаваемой им цели. Он должен собрать всех людей в одну горсть и насильственно повести их, не считаясь ни с чем,— к счастью. Цель — поставленный себе Раскольниковым идеал — охватывает все его существо, его разум, его эмоциональную сферу, его волю и толкает его к немедленному, нарушающему все нормы действованию.

У Ивана Карамазова вывод «все позволено», даже убийство, носит абстрактно-теоретический характер. Он знаменует парадокс, создающийся у человека, не могущего сделать выбор между двумя мировоззрениями, между двумя взаимоисключающими друг друга системами философских и нравственных убеждений. Если нельзя окончательно установить, где истина — в религии или в атеизме, если нельзя провести границу между добром и злом, то мыслящему человеку «позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «все позволено» («Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).

Все существо Ивана оказывается раздвоенным, он не любит ближнего своего, активность его парализована, он бездеятелен.

Психология обоих героев обрисована безупречно, а между тем одной психологией нельзя объяснить ни Раскольникова, ни Ивана Карамазова.

Достоевский необыкновенно проникновенный психолог, и в то же время он сам отклонял от себя «титло» писателя-психолога. «Меня зовут психологом,— писал он,— неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Одним только психологическим анализом, утверждает он, нельзя достигнуть «полного реализма» или иначе: «при полном реализме найти человека в человеке».

Достоевский отказался признать себя психологом в общераспространенном смыс-

---

**КИРПОТИН ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ.**

Литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Автор книг «Молодой Достоевский (1946), «М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество» (1955), «Достоевский в 60-е годы» (1966), «Вершины. Пушкин, Лермонтов. Некрасов» (1970) «Разочарование и крушение Родиона Раскольникова» (1971), «Достоевский-художник» (1972), «Мир Достоевского» (1980).

ле слова именно тогда, когда реализм стали сводить к одной только психологической правде. Анненков и Писарев, де Вогюэ, Овсянико-Куликовский, Мережковский и многие другие с разных позиций и различными аргументами определяли значение творчества Достоевского гениальностью психологического проникновения в душу человека. А параллельно ряд философов и ученых и на Западе и в России самую психологию стали низводить только к физиологии — Бюхнер, Молешотт, Клод Бернар, Льюис, Пидерит и так далее (всех их знал и всех их упоминал Достоевский).

Приведенные только что слова Достоевского истолковывались по-разному, вызывали и вызывают споры. Современное советское литературоведение, мне кажется, выработало в общем правильное отношение к психологизму Достоевского. Всемерно подтверждая значение психологического видения Достоевского, оно поняло, что исключительный психологизм — это род позитивизма в науке и род натурализма в искусстве, что человек не может быть объяснен, даже в искусстве, минуя социологию, историю, этику, философию, вне обуревающих его идей и идеалов.

Остается лишь назвать первоучителя, подчеркнувшего в XIX веке необходимость изучения действующего человека в свете «о б щ и х м о м е н т о в». Э т о—Г е г е л ь. «Этот способ рассмотрения,— писал Гегель,— исключает и так называемое психологическое рассмотрение, которое... старается выяснять внутренние мотивы всех поступков и придать им субъективный характер, так что выходит, как будто лица, совершавшие их, делали все под влиянием какой-нибудь мелкой или сильной страсти, под влиянием какого-нибудь сильного желания и что, будучи подвержены этим страстям и желаниям, они не были моральными людьми... Какой школьный учитель не доказывал, что Александр Великий и Юлий Цезарь руководились страстями и поэтому были безнравственными людьми? Отсюда прямо вытекает, что он, школьный учитель, лучше их, потому что у него нет таких страстей, и он подтверждает это тем, что он не завоевывает Азии, не побеждает Дария, но, конечно, сам хорошо живет и дает жить другим. Затем эти психологи берутся преимущественно еще и за рассмотрение тех особенностей великих исторических деятелей, которые свойственны им как частным лицам. Человек должен есть и пить, у него есть друзья и знакомые, он испытывает разные ощущения и минутные волнения. Известна поговорка, что для камердинера не существует героя; я добавил — а Гёте повторил это через десять лет,— но не потому, что последний не герой, а потому, что первый — камердинер. Камердинер снимает с героя сапоги, укладывает его в постель, знает, что он любит пить шампанское, и так далее. Плохо приходится в историографии историческим личностям, обслуживаемым такими психологическими камердинерами; они низводятся этими их камердинерами до такого же нравственного уровня, на котором стоят подобные знатоки людей, или, скорее, несколькими ступеньками пониже этого уровня... Всемирно-исторической личности несвойственна трезвенность, выражающаяся в желании того и другого; она не принимает многого в расчет, но всецело отдается одной ц е л и»[1].

Нет никакого сомнения, что Достоевский читал и знал «Философию истории» Гегеля, что чтение этой книги отразилось и в тексте, и на мировоззренческом уровне «Преступления и наказания». Сама мотивировка: «все позволено» для великой или общезначимой цели — восходит к Гегелю. К Гегелю же восходит положение, что цель сама по себе в ее абстрактной формулировке еще не может побуждать человека к неудержимому и почти что безоглядному действию. «Та цель, для осуществления которой я должен быть деятельным,— пишет Гегель,— должна каким-либо образом явиться и моей целью; я должен в то же время осуществлять при этом и свою цель... Ничто не осуществлялось бы в истории без интереса, а так как мы называем интерес страстью,— продолжает Гегель,— то мы должны вообще сказать, что ничто великое в мире не совершалось без страсти»[2].

Гегель конструирует понятие «хитрости мирового Разума», вовлекающей человека через частные цели, через слепые и губительные страсти, через преступление общеустановленных норм к выполнению своей всеобщей всемирно-исторической миссии (правильно ли понятой или нет — это другой вопрос). В своей книге о «Преступлении и наказании» я подробно остановился на том, как «хитрость Разума» во все более ускоряющемся темпе и со все более возрастающей силой влечет Раскольникова к его «пробе», к убийству ростовщицы, чтобы выяснить, годится ли он на роль Наполеона-Мессии или нет.

Можно указать и на другие моменты, подтверждающие знакомство Достоевского с «Философией истории» Гегеля.

История, историческая деятельность, не является ареной счастья, пишет Гегель, не является она и ареной, на которой всегда можно руководиться совестью. Раскольников и понимает и говорит, что его «проба», убийство, даже в случае удачи, обрекает его на одиночество, горе и страдания. Порфирий в тяжких и мучительных для Раскольникова разговорах-допросах задает ему вопрос: «Ну-с, а насчет... совести-то?», а Раскольников отвечает: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди... должны ощущать на свете великую грусть,— прибавил он вдруг задумчиво и не в тон разговора».

Ответ Раскольникова отсылает нас к Великому инквизитору и к Ивану Карамазову, грустившим по поводу вырождения христианства и заката европейской цивилизации,— и опять-таки к Гегелю. Кто «не предавался размышлениям о тленности царств и людей и грусти о былой жизни, полной сил и богатой содержанием? Эта

[1] Г е г е л ь. Соч., М.—Л., 1935, т. VIII, с. 30—31.

[2] Там же с. 23.

грусть не вызвана личными потерями и непостоянством личных целей, но является бескорыстной грустью о гибели блестящей и культурной человеческой жизни»[1].

Такую грусть испытывал и Хомяков, но и Хомяков ведь тоже знал Гегеля.

Достоевский читал Гегеля, читал он и его слова об ограниченности узкопсихологического подхода к истории и к современности. И тогда оказывается, что формула: нет, я не психолог, я лишь реалист в высшем смысле — является весьма хорошим резюме рассуждения Гегеля, а само это рассуждение комментарием к формуле Достоевского.

Не надо лишь упрощать процесс ассимиляции художником тех или иных философских идей и органического «включения» их в новый и самостоятельный художественный синтез.

Достоевский изучал и воспринимал философские идеи иначе, чем философы-специалисты. Он читал философские книги, он читал русских критиков и публицистов, превращавших свои статьи в своеобразную философскую трибуну. Через журналы он знакомился с трактовкой и популяризацией самых различных и неожиданных мировоззренческих систем. В своеобразных условиях русской жизни кружковые и личные беседы нередко превращались в философскую школу, более значительную, чем тогдашнее философское преподавание. Достоевский чрезвычайно много извлекал из живых бесед: в сороковых годах с Белинским и его кругом, в шестидесятых — в редакции «Времена» с Аполлоном Григорьевым, со Страховым, в семидесяых годах — с Владимиром Соловьевым. И чтения и беседы Достоевского ложились на непрерывно идущую внутреннюю художественную работу, ею сортировались, отбирались, истолковывались и адаптировались. Из писем Достоевского мы знаем, что в период писания «Идиота» он прилежно читал Дидро и Вольтера, и не без пользы для себя как художника. «Племянник Рамо» помог ему в формировании образа Лебедева Идеи Вольтера отложились в его памяти впрок и всплыли наружу, когда он продумывал замысел «Жития великого грешника» и писал «Братьев Карамазовых». В «бунте» Ивана внимательный глаз найдет следы споров, вызванных философскими идеями Фейербаха и Чернышевского

Осенью 1865 года в Висбадене в отчаянном положении, созданном очередным проигрышем в рулетку, Достоевскому вдруг пришла в голову «превосходная мысль» сочетать замысел «Пьяненьких» с историко-философскими идеями «Введения» гегелевской «Философии истории» Все осветилось как бы светом гигантской проясняющей молнии. Раскольников задумал покорить мир как Юлий Цезарь как Наполеон, но и преобразовать его как давно ожидаемый Мессия. Теперь для создания образа Раскольникова Достоевскому понадобилась вся та хитрость, которую использовал «мировой Разум», чтобы двинуть исторических деятелей прошлого в их мирозавоевательные походы.

Но Достоевский вовсе не повторил слепо Гегеля. Гегель оправдывал своих героев по формуле «все действительное разумно», Достоевский обвинил и осудил существующую действительность за ее несправедливость и жестокость. Это не в трудах историков, а у Гегеля «прочитал» Раскольников, что Наполеон ни на секунду не задумался бы, если бы ему понадобилось расколоть череп никуда негодной старушонки и стать на четвереньки, чтобы порыться в ее укладке.

Раскольников понял, что он не годится в Наполеоны, а Достоевский показал, что в век уже начавшейся социалистической пропаганды нельзя спасти страждущих и преобразовать мир наполеоновскими средствами.

Не всегда можно проследить, как та или иная философская мысль входит в совершенно неожиданный художественный синтез и влияет и на его смысл, и на его форму. Гегель писал: «..мы видим...», как в истории «благодаря огромной затрате сил достигаются мелкие результаты, а из того, что кажется незначительным, вытекают чудовищные последствия». Не знаю, насколько это гегелевское положение помогло профессорской деятельности Гоголя как историка, но вдруг оно пробилось на страницы «Старосветских помещиков»: «...по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и, наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет... и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля: а иногда... два каких-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города... веси и деревни, а там и целое государство». Несколько этих строк даже по форме стали вполне гоголевскими и придали и повышенную философичность, и неожиданный смысл всему гоголевскому рассказу.

Возвращаясь к Достоевскому, мы не можем не признать, что гегелевское понимание ограниченности чисто психологических оценок человека и его деятельности оказалось созвучным художественному дару великого писателя и помогло окончательной выработке его реалистического метода. Мало того, Достоевский с большим успехом использовал в своих романах то, что Гегель остроумно назвал «камердинерской» оценкой героических действующих лиц в истории и в искусстве. Достоевский любил оттенять высокое значение своих повествований толкованиями, свойственными эмпирическому, мещанскому сознанию. Некоторые из судей Раскольникова («особенно из психологов») решили, что причиной совершенного им убийства было ипохондрическое состояние и временное умопомешательство. Евгений Павлович Радомский «разумно и ясно», «с чрезвычайной даже психологией» снижал личность князя Мышкина и опошлял величественную, трогательную и трагическую его судьбу. Нарочитое подчеркивание психологической природы вульгаризаторских, «камердинерских» оценок Раскольникова и Мышкина несомненно

[1] Гегель. Соч., т. VIII, с. 69.

соотносит этот художественный прием Достоевского с гегелевским текстом.

Гегелевская трактовка одностороннего и исключительного психологизма как в историографии, так и в искусстве [1] заключает в себе разумное и положительное основание, «рациональное зерно», как говорили первоучители марксизма. И Ленин учил не смешивать гносеологию с психологией («Материализм и эмпириокритицизм»), не идентифицировать реализм с психологизмом. Психологизм — лишь момент или подчиненная часть полного реализма, «реализма в высшем смысле». В одном из своих писем к Горькому Ленин объяснял: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне. Т. е. можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое»[2].

Любопытно отметить, что и Щедрин также энергично возражал против сведения реализма к одному только психологизму. Усилия беллетристов, хотевших удержать литературу в пределах чисто психологических, Щедрин уподоблял попыткам «извлечь драму из... стакана воды».

Достоевский был противоречив. Ложная общественная позиция нередко ограничивала или даже искажала силу его художественного видения, и тем не менее Достоевский никогда не переставал быть художником объективной действительности.

**Ю. Карякин.** Всемирная слава Достоевского беспримерна. Однако не будем ею обольщаться, потому что еще слишком часто Достоевского смешивают с его персонажами — из «подпольных». (Разумеется, есть в западной и в восточной литературе и критике превосходные исключения из этого печального правила. Но сейчас я хочу сказать именно о последнем.) Когда говорят, что Достоевский «завоевал мир», боюсь, что большей частью это означает на деле: не Достоевский, а пока лишь его персонажи (не из лучших) завоевали мир. Более того, есть немало таких его апологетов, которые сами оказываются словно ожившими его персонажами, претендуя в то же время на место его душеприказчиков, и тогда появляется какой-то безысходный, беспросветный Достоевский, чуть ли не проклинающий жизнь, капитулирующий перед неизбежным Апокалипсисом, радостно тонущий в бездонных глубинах личности энтузиастически отбрасывающий все и всякие нравственные ориентиры в этом мире и даже неистово утверждающий неуловимую относительность добра и зла. Для «красоты» (и по дилетантству) его сравнивают при этом с Эйнштейном: дескать, он открыл абсолютную относительность нравственности...

Нет, вероятно, художника более противоречивого, чем Достоевский. Но сейчас как никогда стало ясно, что ведущей и победившей тенденцией его было — «просто» гениальное жизнелюбие и жизнетворчество. И чем могущественнее было это жизнелюбие и жизнетворчество, тем более чутким становился он к смертельным опасностям для рода человеческого. И наоборот: чем очевиднее и страшнее были эти опасности, тем больше находил он в себе и в людях силы сопротивления им.

Сравнительно недавно стали известны слова Достоевского, очень многое проясняющие в его творчестве: «...несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь... Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности». И вот ядро его личностного и художнического самосознания. Вот, так сказать, внутренний эпиграф всего его творчества. Но значение и смысл этой самооценки становятся еще более весомыми, если мы отдадим себе отчет, в каком жизненном контексте, в какой момент Достоевский пишет, чеканит свои слова: 31 января 1873 года, через месяц после завершения «Бесов» и за пять дней до публикации рассказа «Бобок». А ведь «Бесы» и «Бобок» — это, казалось бы, самые «черные» его произведения. Но, стало быть, и они созданы во имя «жизни для жизни» и непостижимы без этого главного ориентира.

«Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — под этими пушкинскими словами стоит и подпись Достоевского (они светили ему, когда он писал «Идиота», светили всегда). И нельзя выдернуть из текста этого одно словечко — «тьма», да еще с восклицательным знаком, да еще прочитать весь текст так: «Да здравствует тьма!» Другое дело (и важнейшее), что мало кому солнце доставалось столь дорого, как Достоевскому. Разве еще Гойе?

Вот, кстати, парадокс: многие европейские писатели, мыслители, увлеченные, потрясенные Достоевским, не заметили, что он спасал, защищал, развивал и их собственные — европейские (и общечеловеческие) — духовные ценности, от которых буржуазный Запад отрекся, о которых забыл и уже узнать не мог, да и не хотел узнавать.

[1] «Терсит у Гомера, осуждающий царей, является бессмертной фигурой всех эпох»,— замечает Гегель.

[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 47, с. 221.



**КАРЯКИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ.**

Литературовед, публицист, историк. Автор книг «Запретная мысль обретает свободу» (1966) — совместно с Е. Плимаком — о Радищеве; «Чернышевский или Нечаев?» (1976) совместно с А. Володиным и Е. Плимаком; «Самообман Раскольникова» (1976), исследований, посвященных творчеству Ф. М. Достоевского, а также инсценировок по его произведениям («Преступление и наказание», «Бесы», «Записки из подполья» и «Сон смешного человека»).

Все великие художники — от Гомера до Сервантеса, Данте и Рабле, до Шекспира и Гёте, до наших Пушкина, Толстого, Достоевского,— все они и великие жизнелюбы, жизнетворцы. Все они изначально любили жизнь больше и прежде, чем смысл ее (слова Алеши Карамазова), а потому и пробивались к смыслу. Это — «общий знаменатель» истинного искусства и на Западе и на Востоке. И в этом смысле искусство для всех таких художников и есть, в сущности, «лишь» способ жизнеутверждения, «лишь» способ заново познавать и проклинать тьму в человеке и заново открывать и славить в нем солнце.

Духовные мизантропы и развратники не выживают, на них может быть только мода (иногда страшная). Мода вообще бывает только на вещи, без которых именно м о ж н о прожить. Не бывает моды на вещи, без которых жить нельзя. Потому и нет моды на хлеб, на воду, на воздух. Нет моды на любовь, на детей, на жизнь, нет и не будет. Но простая, простейшая истина эта становится вдруг обжигающим откровением, когда невозможно уже с прежней гарантированной уверенностью повторять слова Пушкина: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» А если н е будет? — ужаснулся Достоевский. Ужаснулся и — понял с небывалой прежде остротой: «...эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем... Самое простое принимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, что казалось мудреней или глупей».

Вот за месяц-два до смерти Достоевский формулирует свое осуществленное кредо: «При полном реализме найти в человеке человека...» И проникает он в глубины души не для того, чтобы утопить человека и утопиться. Нет — для того, чтобы спасти и спастись. Но ищет он в человеке человека, изживая все и всякие прекраснодушные иллюзии: «Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это». И он завоевал право сказать тем своим критикам, которые больше всего боялись правды, правды о действительности и о самих себе: «Да моя болезненность здоровее вашего здоровья». И он прекрасно знал, что шел здесь от Пушкина, который говорил: «...описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так как анатомия не есть убийство».

«Мир спасет красота» — кто не знает этих слов Достоевского? Меньше известны другие, его же, слова: «Некрасивость убьет». Достоевский и самое эстетику определял как искусство творить себя и — тем самым — мир, искусство жить «живой жизнью», отождествлял ее с преображением мира: «Эстетика есть открытие прекрасных моментов в душе человеческой, самим человеком же для самосовершенствования».

Да, Достоевский не только открыватель тайн, но больше всего открыватель самого существования тайн. Да, всегда есть у него какой-то притягательный, нерасшифрованный «икс», тревожащий и взнуздывающий воображение. Да, все у него сложнее, тоньше, глубже, чем нам кажется. Но главное в том, что у него все и о п р е д е л е н н е е, чем кажется. Неисчерпаемость искусства (тем более — жизни) вовсе не означает, будто должны быть отброшены и забыты, перепутаны и неузнаваемы все критерии «положительного» и «отрицательного», критерии, выстраданные, проверенные и перепроверенные опытом человечества, будто вообще нет и быть не может таких критериев, будто первоосновы нравственности сгинуть должны перед лицом необыкновенной сложности искусства и жизни.

«Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» И никакие убеждения не мог он принять, если они, убеждения эти, основаны на том, что «лишь одна десятая людей должны получать высшее развитие, а что остальные девять десятых служат лишь материалом и средством»: «С условием десятой лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации». Об этом же: «Нет, серьезно: что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации». И еще: «Путаница понятий наших об добре и зле (цивилизованных людей) превосходит всякое вероятие.. То, что нет преступления, есть один из самых грубых предрассудков и одно из самых развращающих начал». В черновиках «Преступления и наказания» он записал: «Уничтожить неопределенность, т. е. т а к и л и э т а к объяснить все убийство...» «Уничтожить неопределенность», а не умиляться ей, уничтожить, иначе она сама уничтожит мир. Здесь Достоевский не знал никаких компромиссов, не знал никогда.

«Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!» — сколько наговорено, написано о том, что в этих словах Достоевского проповедуется, мол, страдание как самоцель. Какая глухота самодовольная! Ведь это же проповедь тихой, совестливой работы, труда — и каторжного и счастливого, честного и сердечного, проповедь отзывчивости всемирной. Известно: были у Достоевского страшные минуты отчаяния. Подивимся на тех, у кого их не бывает. Но не забудем главное — самое, самое главное,— как он их п р е о д о л е в а л. Вся работа, весь труд его — вот это преодоление. Вот они — тридцать томов, без которых — на какую голову человечество было бы ниже, на какую совесть — беднее, на какую силу жизни — слабее! Тридцать томов этих — величайшая национальная гордость наша. И они же — еще одно доказательство того, что нет в искусстве иного пути к всемирному признанию, кроме как быть изначально и до конца национальным. Без витамина национального никому не достанет сил взобраться на мировые вершины. И даже: чем национальнее искусство, тем сильнее его всемирный отклик. Только не понимаю я, откуда берется иногда предрассудок (прозвучавший, мне показалось, и сегодня), будто особенностью Достоевского является про-

поведь самоутверждения личности и нации — несмотря ни на что. Нет, очень и очень на многое смотря. «Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия... Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите... наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Достоевский проникся пушкинским: «...нежного слабей жестокий, И страх живет в душе, страстьми томимой». Как мало кому была ему родной мысль: «И милость к падшим призывал». И это он сам еретически писал: «Я православие определяю не мистической верой, а человеколюбием, и этому радуюсь» Это он сам повторял: «Великое дело любви и настоящего просвещения. Вот моя утопия!» Еще: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». И еще: «Эта жалость — драгоценность наша, и искоренять ее из общества страшно». А если говорить о беспощадности Достоевского, то прежде всего — о беспощадности человека к самому себе: «Свет надо переделать, начнем с себя... Моя мысль, что мир надо переделать, но что первый шаг в том, чтоб начать непременно с себя». Его книги и были таким «первым шагом» Это же и был его способ переделки мира. И его слова: «Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла»,— это не случайные слова по случайному поводу. Это, в сущности, тоже его кредо.

Да, себя Достоевский не щадил и страстно ждал того же самого от читателя. В черновиках к «Бесам» есть такие слова: «Пусть потрудятся сами читатели». Содержание простой формулы этой неисчерпаемо. В ней — смысл всего писательского труда его. Ведь если самоцель искусства для Достоевского — «найти в человеке человека», то это и означает конкретно — выявление человеческого «Я» читателя. Творчество не имеет никакого смысла без сотворчества. И встреча книги его с будущими читателями и была для Достоевского маленькой идеальной «моделью» (и, главное, маленьким, но реальным звенышком) перестройки всего мира, если и «потрудятся сами читатели».

У Достоевского ведь не столько человек зависит от мира, сколько мир зависит от человека. «Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек?» Слова эти относятся, по Достоевскому, не только к Шекспирам и Гомерам. Они прямо адресованы к каждому, в ком есть хоть искра «живой жизни».

Почему, читая Достоевского, изучая его, все время невольно «путаешь» искусство и действительность, образы и живых людей? Но настоящая-то путаница, по-моему, как раз тогда, когда одно от другого отделяют настолько, что можно подумать, будто не было у Достоевского никаких забот и целей, кроме как снабдить «чистых» литературоведов «чистым» материалом, чтобы они «разбирали» одни образы, сюжеты, фабулы и прочее с тем, чтобы потом еще лучше «разбирать» другие, третьи и так далее. У Достоевского — особая художественность, художественность такой глубокой, беспощадной и мужественной правды, которая только одна и является спасительной. «И тут кончается искусство...»

Один французский писатель сказал: «Мне помешал стать гением слишком большой вкус...» Я думаю, что вкус этот выразился и в самом этом афоризме. Только, может быть, не о слишком большом вкусе к литературе — нет, о слишком малом вкусе к самой жизни шла здесь речь. Есть и другой афоризм: гений — человек, который начинает беспокоиться раньше всех. Это — уже прямо о Достоевском, как и такие слова нашего исследователя Назирова: «Намеренно терпкими и тяжелыми образами царапая сердце, он разрушает существующий эстетический канон и переступает границы искусства. Болевой эффект, заменяя ожидаемый читателем эстетический эффект, порождает протест в его душе; энергию этого протеста автор как бы «переадресовывает» впечатлениям окружающей жизни». Однако долгое время многие читатели «переадресовывали» свои впечатления не действительности, а обратно — самому Достоевскому, обвиняя его в «клевете» на действительность. «Жестокий талант», «Не на тех бесов вы напали» — такие «отметки», как учитель взбалмошному ученику, выставил прекраснодушный (в данном случае) Михайловский Достоевскому, и нет-нет, такие «неуды» повторяются и сейчас, будто ничего в мире не изменилось за эти сто лет...

Достоевский писал: «...человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то». Он (как и всякий великий художник) и занимался болезнями смертельно опасными, а не такими, от которых и осложнений-то никаких не бывает, и уж конечно не его профессией было выдавать злокачественную опухоль за какой-нибудь флюс. Социальная чума и холера, рак и сифилис духовный («трихины»!) — вот чем он занимался, куда уж тут до «вкуса». И как нельзя, физически нельзя, невозможно — «красиво» писать о Хиросиме, так и нельзя было для Достоевского, невозможно — «красиво» модулировать голосом, когда кричал он о смертельной опасности роду человеческому. Понадобилось около ста лет, понадобилось обязательно пожить во второй половине нашего двадцатого века, чтобы многое темное у Достоевского прояснилось, чтобы понять понятое им, открыть им открытое, чтобы за всеми несомненными и острейшими противоречиями его увидеть, наконец, доминирующую его тенденцию: страстную любовь его к России, абсолютную непримиренность с господством одной десятой над

девятью десятыми человечества, жизнетворчество, жизнелюбие его, не искоренимое ничем,— ведь он, в конце концов, жизнь людей хотел спасти, жизнь людей на этом свете, для этого света, спасти ее не иначе, как высшим одухотворением ее, подвигнуть их на подвиг он хотел.

Несколько слов о «Бесах». Предвзятости и противоречия Достоевского здесь очевидны и давно выяснены. Основное из них — смешение революционеров, социалистов истинных, действительно преданных интересам «девяти десятых», с карьеристами от революции и социализма, готовыми пойти на любую ложь, подлость, насилие ради своей власти. Однако и здесь, в романе, Достоевский заставляет Петра Верховенского признаться: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» И здесь один из героев, столкнувшись с кровавой, омерзительной практикой верховенщины, восклицает: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!...» Настало (и давно уже настало) время признать художественные открытия, совершенные Достоевским в этом романе. Я пытался говорить об этом еще в 1963 году, но, по-видимому, недостаточно убедительно.

Десять лет назад Сучков (ныне покойный — помянем его добрым словом) говорил в своем докладе в честь 150-летия со дня рождения Достоевского: «Роман «Бесы» являет собой анатомию и критику ультралевацкого экстремизма». Этой теме была посвящена в «Иностранной литературе» замечательная заметка Гривнина — «Бесы в Японии». Нынешний уровень нашей науки в оценке «Бесов» зафиксирован в 12-м томе Полного собрания сочинений Достоевского — больше двухсот страниц убористого текста (сегодня Фридлендер наметил развитие этих идей). «Бесы» характеризуются здесь как «роман-предостережение», предостережение о смертельной опасности человечеству со стороны чисто фашистских и ультрареволюционных бесов, которые — чем дальше, тем больше — смыкаются друг с другом. (Кстати, и этими двумя разрядами «бесы», в понимании Достоевского, отнюдь не исчерпываются. Вспомним слова Степана Трофимовича, которому и отдано ключевое суждение о бесовщине: «...это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся... за века, за века!»)

В свое время некоторые критики писали, что «Бесы» — это не социальный роман, что здесь, мол, вообще нет «униженных и оскорбленных», нет «бедных людей». Но, спрашивается, что́ прежде всего, сильнее всего разоблачает Достоевский в бесовщине, как не вопиющую антинародность ее, как не стремление еще сильнее унизить и оскорбить «девять десятых»? Тут ведь именно о трагедии народной идет речь! А Хромоножка? Матреша? Разве это не гениальные образы предельно «униженных и оскорбленных»? Проклятие Хромоножки Ставрогину, кулачок Матреши — это ли не художественный символ народного проклятия ставрогиным? И разве нет здесь развития острейших и сложнейших социальных тем — «преступления и наказания», веры и безверия? Разве не живы вопросы, мучившие Шатова и Кириллова? Или думы о смысле духовного бытия человека и человечества, защита народа, защита «девяти десятых», защита высших нравственных идеалов, культуры, искусства, наконец, защита самой «жизни живой» — это все не социально?! Что же такое тогда социальность?.. Нет, здесь не отказ от социальности (по сравнению, скажем, с «Бедными людьми» или «Униженными и оскорбленными»), а небывалое ее развитие, углубление. Уровень художественного исследования социальности необычайно углубился, а мы должны повторять, будто ее нет вообще...

Как не вспомнить о «Бесах» в связи с эволюцией Сартра, который закончил чистой бесовщиной, провозглашая здравицы в честь «великой культурной революции» и осатанело призывая изодрать Джоконду Леонардо да Винчи? Достоевский только в одном оказался неточным, предвидя этого персонажа в тех же «Бесах»,— у него шла речь о «Мадонне» Рафаэля. Вспомним милого, слабого Степана Трофимовича, у которого достало, однако, сил устоять накануне смерти своей перед бесами: «Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первым взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и... пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие...» Вот как работает роман Достоевского! Некоторые «крепкие» выражения из этого монолога можно, пожалуй, и опустить, да ведь, по правде говоря, не хочется: только представьте себе, что призыв Сартра — чудовищная реальность; у него просто не было сил «взмоститься», а были бы — «взмостился» б, под радостное улюлюканье бесов...

Зададимся одним фантастическим вопросом, выходящим за рамки «чистой» критики: а что бы сделал Петр Степанович Верховенский («Петруша») с «Бесами», будь на то его воля? Ни у кого не может быть малейших сомнений на этот счет: сжег бы исступленно и трусливо, разодрал бы в клочья и растоптал, боясь разоблачений, боясь увидеть диагноз собственной омерзительной и смертельной болезни, которая грозит гибелью всем. Кстати, в начале 60-х годов, работая в журнале «Проблемы мира и социализма», я слышал от одного юного маоиста, что «лучше бы «Бесов» не было» (!) и что роман этот «никогда не будет переведен на китайский язык» (пока он действительно не переведен). Превосходная оценка романа: его боятся, как огня. Значит, он живет, горит, жжет.

И еще один вопрос такой же фантастический: об отношении Петра Степановича к Достоевскому и Пушкину. Только так ли уж фантастичен этот вопрос? Отчего же ответ на него предусмотрен в самих «Бесах», устами самого «Петруши»: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями... горы сравнять — хорошая мысль, не смешная — мы всякого гения потушим в младенчестве» Чем не полная программа «культурной революции»? И это ли опять не критерий в оценке романа?

Когда недавно я побывал в Кампучии в составе делегации ОСНАА (Организация со-

лидарности народов Азии и Африки), я не мог, конечно, не вспомнить там о «Бесах». У меня был с собой экземпляр романа, и много раз мы читали оттуда: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать»...

В Кампучии ультралевые бесы успели уничтожить около трех миллионов человек из восьми — всего за три с половиной года, а идеал был: «Для строительства нового общества нам достаточно одного миллиона кампучийцев» (Пол Пот). Вот бесовщина в предельном выражении, в «химически чистом» виде. У меня звучит в ушах одна и та же фраза на многих языках — от кхмерского до английского, но с одной и той же интонацией горечи и какого-то испуганного восхищения, фраза, которую я слышал там, в Кампучии, от всех, кто вспомнил или впервые узнал роман Достоевского: «Не может быть! Не может быть! Откуда он это знал?!» А я думал о том, какой ценой достигается истина. Не слишком ли — непостижимо — дорого? Действительно, как говорил Иван Карамазов, «не по карману нашему». И воскресни сегодня Михайловский, взгляни он, «не отвертываясь», на сегодняшний мир, на тот же Китай, на ту же Кампучию,— да неужели не взял бы он свои слова обратно? Есть ли в конце концов более высокий, более точный и решающий критерий истины, чем жизнь и смерть людей, жизнь и смерть рода человеческого? Или — пусть погибнет мир (от бесов), а формула: «Не на тех бесов вы напали» все равно, все равно верна?! «Не на тех...» На тех! На тех, которые уже извели многие миллионы людей и которые, будь на то их полная воля, уподобили бы всю Землю самолету (образ, рожденный ими самими), а человечество — заложнику, угрожая ему гибелью, если не согласится оно на «безграничное повиновение» На тех, которые собираются сегодня заменить пластиковые бомбы на атомные. На тех самых, на которых напали Маркс и Энгельс, Герцен и Щедрин. А еще: воскресить бы людей, погибших от бесов, да спросить у них: надо ли не надо было нападать на убийц?. Сколько же еще миллионов людей должны угробить бесы, чтобы, наконец, стали понятны предупреждения нашего великого соотечественника?

Приведу еще мнение о «Бесах» члена Политического Руководства Компартии Чили писателя В. Гейтельбойма: «Это роман, понимание которого растет вместе с повзрослением человечества. В наше время стали слишком очевидны как предрассудки гениального художника, так, главное, и непреходящие духовно-эстетические открытия его. Но сегодня «Бесы» являются для меня и настольной политической книгой, где дан непревзойденный художественный анализ социально-психологического механизма, управляющего действиями тех, кого называют ныне ультралевыми или ультраправыми, то есть тех сил, которые сыграли свою роковую (и провокаторскую) роль в трагической судьбе чилийской революции».

А вот что говорит с другого конца света японский писатель Кэндзабуро Оэ в связи с разоблачением преступлений ультралевой организации «Рэнго сэкигун» («Объединенная Красная армия»): «Я уверен, что самые разные люди, на голову которых обрушилась лавина газетных сообщений о деле так называемой группы «Рэнго сэкигун», оторвавшись от газет, сразу же обратились к «Бесам» Достоевского... Если не рассматривать или оказаться неспособным рассмотреть нынешнюю обстановку, и в первую очередь дело группы «Рэнго сэкигун», так же глубоко и широко, как рассмотрел «нечаевщину» Достоевский, то теряется смысл столетия, пройденного человечеством после Достоевского».

И еще об одной проблеме: «Бесы» и «Война и мир». Кажется, нет в русской и мировой литературе вещей, более несопоставимых, и не только нет, но и придумать невозможно. На самом деле: нет произведений, более «рвущихся» к такому сопоставлению, и если оно не делается, то, может быть, именно в силу вопиющей самоочевидности фактов, его требующих. Случай парадоксальный и редчайший, если не единственный в своем роде. «Бесы» (1871—1872) — первое произведение Достоевского после появления «Войны и мира» (1865—1869). И даже если ничего больше не знать (кроме одного, конечно,— прочел ли Достоевский роман Толстого? — да, прочел, к весне 1871-го), то все равно нельзя не обжечься вопросом: не являются ли «Бесы» (п о м и м о всего прочего) ответом Достоевского на «Войну и мир»? Да, здесь и там почти все разное. Ч т о и к а к. Предмет и способ изображения. Время и пространство, продолжительность и темп, ритм действия. Само действие... Аустерлиц, Бородино и — ночное убийство в глухом ставрогинском парке. Повелители империй, полководцы знаменитейшие и — студенты-недоучки. Наполеон, Кутузов и: «Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!» У Толстого — десятки смертей, убийств «ближним, крупным планом» и еще десятки тысяч — «планом дальним, мелким», и все равно жизнь торжествует безоговорочно. В «Бесах» «всего» тринадцать смертей, а в результате — впечатление кануна или начала Апокалипсиса. А лад? Тон? У Толстого — величавый, поистине гомеровский. Автор — настоящий демиург. У Достоевского — Хроникер, какой-то «господин Г-в» Антон Лаврентьевич. Величественная эпопея и безобразная злоба дня. История с большой буквы и — «провинциальная хроника» А сама композиция, архитектоника? Навечно воздвигнутый собор и — словно наспех сколоченный театральный балаган-лабиринт... Но все же главное в том, что здесь и там — и с к у с с т в о, здесь и там — р е а л и з м, реализм р у с с к и й. А какая здесь и там правда, какая боль за свой народ («девять десятых»), за Россию, за человека и человечество. И здесь и там — с в о е понимание и

свое осуществление общего — пушкинского — завета: «Судьба человеческая, судьба народная».

Какое мощное напряжение возникает между этими двумя романами. Какие неожиданные и могучие бьют разряды, разряды мыслей и чувств. Словно столкнулись две художественные вселенные, и от столкновения этого происходит небывалый взрыв, но взрыв не уничтожающий, не разрушающий, не катастрофический, а творящий, созидающий, взрыв энергии духовной.

Ничего нет труднее, чем точно выразить свои мысли и быть при этом еще и правильно понятым. Поэтому подчеркну: не о противопоставлении идет речь и не о том, конечно, что «выше», что «ниже». Ничего подобного! Речь идет просто о сопоставлении, которое, по-моему, необходимо, но результатов которого мы еще не знаем. Речь только о задаче, ответа на которую еще нет. И, может быть, наиболее точным будет здесь образ-понятие: контрапункт. Разве уничтожают, унижают, забивают друг друга две контрапунктные темы единой симфонии? Они звучат, светятся друг в друге, они взаимопроникают, и вдруг каждую из них начинаешь понимать яснее, острее, свежее, в каждой открываешь новую глубину. Так и тут. Здесь не арифметика: один плюс один равняется двум. Нет, здесь — одна художественная бесконечность «плюс», другая «равняется» какой-то новой бесконечности. Здесь — высший контрапункт двух художественных мировоззрений.

Итак: предстоит, во-первых, возможно объективнее сравнить оба эти гениальные произведения (в их общем и особенном); во-вторых, выяснить, насколько осознанно Достоевский именно отвечает Толстому, учитывая, разумеется, что Достоевский не потому видел мир по-своему, чтобы не видеть его так, как видел Толстой, а просто потому, что у него было особое художественное зрение, был свой «хрусталик».

И последнее. Я хочу поблагодарить редакцию журнала за инициативу сегодняшнего разговора и выразить, может быть не совсем утопическое, пожелание — развить эту инициативу, а именно: не целесообразно ли, именно на базе вашего журнала, организовать обмен мнениями выдающихся современных зарубежных деятелей культуры и прежде всего писателей о всемирном значении Достоевского?

**Б. Бурсов.** Хотя я с удовольствием согласился принять участие в «круглом столе» журнала «Иностранная литература» на тему «Достоевский и мировая литература», однако ехал в Москву с настроением не самому говорить, а слушать других, так как на обсуждение предлагалась тема, к которой я не имею прямого отношения. Но выступавшие до меня ораторы нередко говорили не столько о связи Достоевского со всемирным литературным процессом, сколько об его мировом значении. Тут и я кое-что могу сказать Потому и попросил слова.

Как первый опыт обсуждения такой сложной темы наш разговор можно признать, на мой взгляд, вполне удачным. Плохо разве только то, то мало было спора между выступавшими. Несколько ораторов варьировали, в сущности, одни и те же положения, прежде всего такие: Достоевский принадлежит «большому времени», творчество Достоевского представляет собой совершенно новый этап в развитии всемирной литературы, после Данте и Рабле, будто между ними и им был какой-то застой в мировом литературном процессе. Откровенно скажу: эти утверждения меня несколько озадачили, пожалуй, даже насторожили. Я постараюсь высказать свою точку зрения.

Начну с понятия о «большом времени». Что оно означает? И зачем требуется нам? Ведь сколько существует искусство, столько пишут о неувядаемости художественных шедевров. Разве не писали об этом Маркс и Энгельс, в частности, когда касались проблем древнегреческого искусства? Разве не присутствует сходная мысль в статье Гёте «Шекспир и несть ему конца»? Разве не приходят на память нам изумительные, проникающие в душу слова Пушкина о вечной молодости поэзии, в сравнении с великими научными открытиями? Можно было бы без труда назвать десятки работ о «жизни в веках» Гомера или Данте, Шекспира или Сервантеса.

Я задаю вопрос: чем же хуже «века» или «столетия» так называемого «большого времени»? Кому и зачем потребовалось оно? Какие бы там ни были намерения у его авторов, на деле получилось, что они прибегают к произвольному размежеванию гениев на немногих избранных и остальную массу неизбранных. Среди великих русских писателей к «большому времени» отнесен один лишь Достоевский, а вот Пушкин, Гоголь и Лев Толстой не удостоены этой чести. Предпочтение, оказанное Достоевскому, в действительности наносит ущерб толкованию Достоевского, так как отрывает его от русской национальной традиции. Воображаю, как бы отнесся он к своим толкователям, произведшим над ним такую вивисекцию.

Понятие о «большом времени» ввел у нас наш ныне знаменитый литературовед Бахтин. Разделяя общее мнение о его выдающемся таланте и редчайшей эрудиции, я не раз выражал несогласие с некоторыми его теоретическими построениями, в

---

**БУРСОВ БОРИС ИВАНОВИЧ**

Литературовед критик доктор филологических наук, профессор. Наиболее значительные работы: «Мастерство Чернышевского-критика» (1956), «Лев Толстой» (1960), «Лев Толстой и русский роман» (1963), «Национальное своеобразие русской литературы» (1964, 2-е издание — 1967), «Критика как литература» (1976), «Личность Достоевского» (1974, 2-е издание — 1979).

особенности с тезисом о полифоничности романов Достоевского. Я убеждал, что полифоничен вообще всякий реалистический роман, но на свой лад.

Вместе с тем писали в свое время еще Шестов и Бердяев об автономности героев Достоевского по отношению к автору. Бердяев называл их людьми, «отпущенными на свободу», имея в виду их независимость от автора. Другое дело, что Бахтин дал блистательный анализ поэтики романов Достоевского. В этом и заключается огромная ценность его книги о Достоевском. Она была четырежды издана у нас, лично я предпочитаю первое издание, когда книга называлась «Проблемы творчества Достоевского».

Оговорюсь: я здесь спорю не с Бахтиным, а с его адептами, упростившими и огрубившими сложные ходы мысли своего метра. Я даже скажу, что они допускают некоторую неразборчивость в средствах, во имя доказательства справедливости своих весьма спорных концепций.

Полифонизм, примененный к одному только Достоевскому, сказал я, отрывает Достоевского от русской национальной традиции. Добавляю: более того, Достоевский оказывается противопоставленным ей. В результате бросается на нее какая-то тень, как на недостаточно полноценную, поскольку она не овладела «моделью мира», выработанной Достоевским. Между тем с каким уважением писал Достоевский о своих великих современниках, которых считал, как и самого себя, принадлежащими к плеяде наследников и продолжателей Пушкина!

Бахтин не заявлял, по крайней мере, что поскольку Достоевский числится по штату «большого времени», выходящему за всякие национальные рамки, то и не содержит в себе каких-либо специфических признаков русского национального писателя. Нынешние его адепты покушаются вообще на отрицание национального своеобразия всякой национальной литературы, в том числе, разумеется, русской.

Кто из нас не помнит знаменитого изречения, принадлежащего, уж не знаю, какому «большому времени»: все мы расточаем достояние отцов наших. Но вот что странно: сколько бы ни расточали, оно существует, что называется, как ни крути. Страдают только расточители от своего расточительства, обедняя себя.

Пушкин возмущался, когда Ломоносова называли русским Бэконом, он говорил: не достаточно ли того, что он есть русский Ломоносов. Можно представить, как его коробило, когда его самого называли северным Байроном. Рассуждая о Пушкине, как о поэте, не имеющем себе равного в мировой литературе, Гоголь говорил о нем как о чрезвычайном явлении русского духа. Для Достоевского Пушкин, как воплощение всемирности и всечеловечности, предстает перед нами носителем именно «русской мысли». Или Толстой, имея в виду всех русских романистов, от Пушкина и Гоголя до Достоевского и самого себя, утверждал, что русские романисты не умеют писать романов в том смысле, как понимают этот род сочинений на Западе. И это он утверждал не где-либо, а в предисловии к «Войне и миру», величайшему роману во всей всемирной литературе. Иначе сказать, Толстой решительно настаивал на принципиальном отличии русского романа от западноевропейского, возводя это отличие к глубочайшему своеобразию русской мысли. Лишь как таковая она представляет собою вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры.

У нас весьма популярна тема о мировом значении русской литературы. Взять хотя бы книги Тамары Лазаревны Мотылевой «О мировом значении Толстого» и Георгия Михайловича Фридлендера «Достоевский и мировая литература». Запад, разумеется, интересуется нашими толкованиями всемирного значения русской литературы. Но у него на этот счет своя точка зрения. Я в этом особенно убедился, беседуя о Достоевском с Джоном Чивером и Альберто Моравиа. Очень запомнился мне разговор с Моравиа. Для него Достоевский преимущественно общечеловеческий, а Толстой, главным образом, русский национальный писатель. Я же утверждал и утверждаю, что общечеловеческое значение того и другого определяется тем, насколько глубоко и своеобразно в творчестве каждого поставлены русские национальные проблемы.

Поучительна полемика по некоторым проблемам между нами и западными исследователями русской литературы на международном симпозиуме, посвященном 150-летию со дня рождения Толстого, проходившем в Венеции в сентябре 1978 года. Нам говорили: если Толстой зеркало русской революции, то и Достоевский — тоже. Потому что оба они, дескать, гениально изображали одну и ту же эпоху, уловили в ней признаки назревавшего революционного переворота. Наши западные коллеги упускали из виду, что, говоря о Толстом как зеркале русской революции, Ленин имел в виду крестьянскую революцию, которая была призвана разрешить крестьянский вопрос. Толстой сам называл себя адвокатом 100-миллионного русского крестьянства. Для Достоевского же крестьянская проблема отнюдь не была главной.

Каждый гениальный писатель гениален на свой лад. Следовательно, для каждого из них должна быть своя мерка. Для Толстого одна, для Достоевского другая.

А как отличаются герои одного из них от героев другого — Раскольников от Андрея Болконского или Пьера Безухова, Версилов от Левина! Герой Толстого говорит: я виноват перед всем миром, потому считаю необходимым заниматься самосовершенствованием. Это понятно: как помещик, он осознает свою вину перед крестьянством, а тем самым и перед всем миром. Герой Достоевского, напротив, считает, что весь мир виноват перед ним, сломав его судьбу, сделав его несчастным. Вспомните того же Раскольникова или Аркадия Долгорукого («Подросток»). Он жаждет не самосовершенствования, а самоутвержде-

ния. Достоевский сам сформулировал, в чем его главное художественное открытие: он открыл подпольного человека. Не принимая во внимание этой самооценки Достоевского, забывая о ней, даже отодвигая ее в сторону, нам не разобраться в национальном и общечеловеческом значении его творчества. Что же такое подпольный человек? Он загнан в угол. На весь мир смотрит из своего угла. В мире ему видится прежде всего враждебность по отношению к человеку. Если так, то вина за это не на ком-либо другом, а на самом же человеке, на людях вообще. Герой «Записок из подполья» винит всех других за то, что они мешают ему делать добро. Потому вместо добра он делает зло. Вот откуда вообще у героев Достоевского тяга к злу, и они тем больше к нему тянутся, чем больше мечтают о добре, о «золотом веке». Отсюда — ход к реализму Достоевского, по его собственному определению, одновременно и «фантастическому» и «в высшем смысле». Я бы назвал его еще полемическим реализмом. Толстой утверждал искомые истины прямо и непосредственно, потому что в каждый период своего развития у него была своя собственная программа, в которую он беспредельно верил, пускай только в течение этого периода. Достоевский столько же верил в то, к чему стремился, сколько и сомневался в этом, а по этой причине находился в постоянном споре с самим собой, но, разумеется, в неизмеримо большей степени со всеми другими — с Тургеневым, с Чернышевским, да и с Толстым, которого ставил выше всех из своих современников.

Одна из решающих отличительных черт Достоевского, таким образом,— непрестанная борьба между верой в человека и мир и сомнением в человеке и мире. Отсюда— размах творчества Достоевского, постановка им проблем столь мучительных для него, для всех нас, не только русских, а людей всей нашей земли, на материале всемирной истории, с неизменным отправлением от современного ему состояния русской национальной действительности.

Каждый из наших великих писателей является русским из русских. Только потому и только в этом повороте и общечеловеческим. Так пишет Достоевский о Пушкине, так же — и о Толстом. Замечателен его анализ «Анны Карениной». Он гордо заявляет, что в европейских литературах нет ничего равного этому толстовскому роману. Пожалуй, главнейшим достоинством его считает подход Толстого к общественно-историческому процессу с нравственной точки зрения. Пишет о Толстом как принадлежащем «плеяде» наследников Пушкина, о том, что Толстой сказал больше всего своего после Пушкина.

В Пушкине Достоевский особенно дорожил идеей всечеловечности и всемирности, проникающей его творчество, способностью Пушкина, как он говорил, ко всеотклику. Это же есть в самом Достоевском. Но идея всемирности и всечеловечности, пронзающая все романы Достоевского, уже другого качества. Она полна беспокойства, тревоги за дальнейшие судьбы мира. Достоевский более склонен представлять человечество и человека в неприглядном и неблагообразном виде. В его романах звучит и нота отчаяния, совершенно чуждая Пушкину. Потому Достоевскому так необходим был Пушкин. Но, с другой стороны, потому Достоевский так и созвучен современному миру.

Выходит, чтобы правильно понять Достоевского как этап в национальном и всемирном литературном развитии, надо соотнести его и с его предшественниками, прежде всего с Пушкиным и Гоголем, и с его современниками, то есть с Толстым, Тургеневым, Чернышевским и так далее. Иначе будет перекос. Все-таки Пушкин и после Достоевского остался недосягаемым художественным образцом, а Толстой, рядом с Достоевским, внес не меньший вклад в художественное развитие человечества.

Мы говорим о мировом значении Достоевского, как и всякого другого великого нашего писателя, учитывая всю сложность его положения сначала и прежде всего в рамках национального литературного процесса, а потом уже и всемирного. Нам это необходимо для всесторонней и объективной оценки его литературного наследия. Убежден, в подобных случаях решающее слово за нами. Но, поскольку великий национальный писатель делается достоянием всей человеческой культуры, другие народы также приобретают право выносить свои суждения о нем. Они, как правило, в чем-то неизменно будут расходиться с нашими. И в двух смыслах: так как Достоевский и Толстой стали общечеловеческими писателями, оказывающими влияние на литературы разных народов, то эти народы, не обладая нашей полнотой знания их и проникновения в них, тем не менее откроют в каждом нечто такое, что не было уловлено и замечено нами. С другой стороны, подходя к ним под углом зрения развития своих собственных национальных культур, зарубежные исследователи могут навязывать неприсущие им свойства, ставить на место главных менее существенные и так далее. Например, не раз писалось об однобоком понимании Андре Жидом Достоевского. По-моему, есть однобокость и в суждениях Томаса Манна о Толстом или Достоевском.

Мы и сами по-разному пишем о Достоевском. Спорим, порой ожесточенно, друг с другом. Я не вижу в этом ничего плохого. Но как бы мы ни расходились в понимании Достоевского, он для всех нас — колоссальное явление прежде всего нашей национальной культуры, несущее в себе решающие признаки исканий национального духа.

Восприятие за рубежом русской литературы как входящей составной частью в мировую литературу не является адекватным нашему. О том же Достоевском зарубежные исследователи пишут преимущественно, а то и только как о литературном явлении. Для них он лишь в малой степени заземлен в русской национальной почве. Их интересует в первую очередь поэтика Достоевского, как таковая, а структура духовного содержания его романов ставится от нее в зависимость. Что же касается современной литературы западных народов, она тянется к Достоевскому нередко более,

чем к какому-либо другому великому писателю прошлого, но все-таки часто видит в нем поэта распада, искривления, часто извращения человеческого ума и души. Об этом говорит с достаточной убедительностью и наглядностью уже и опыт Томаса Манна, а ведь Томас Манн сам великий писатель. Однако уже тронутый декадансом. Это можно найти также у Стейнбека, у Грэхема Грина, даже, по-моему, и у Апдайка.

Но, простите, я вторгаюсь в чужой огород, а это не положено, а потому ставлю точку.

**Т. Мотылева.** Невольно получилось так, что в ходе настоящего обсуждения Достоевский привлек внимание скорей как идеолог, мыслитель, нежели художник. Это можно понять. Достоевский и социализм, Достоевский и революция, проблемы гуманизма и народности в его мировоззрении и творчестве — все это живейшим образом занимает наших исследователей, тут немало спорного, нерешенного, и никто не может претендовать на то, чтобы быть носителем окончательной истины в последней инстанции. Так или иначе, о значении Достоевского в духовном развитии человечества здесь было сказано много верного. Однако тема, поставленная в заголовке нашей дискуссии: «Достоевский и мировая литература», оказалась где-то на периферии разговора.

Мне хочется возразить против тенденции рассматривать «Запад» или «Европу» как некое монолитное целое. Уже стали привычными обороты речи вроде: «Запад не понял»... «Запад не оценил»... или «Европа была вынуждена признать»... А ведь нам не безразлично—к т о признал или к т о не оценил. Суммарные и априорные суждения тут мало помогают делу. Мы приближаемся к столетию того момента, когда русская классическая литература стремительно и широким фронтом вышла на международную арену. До начала 80-х годов прошлого века о ней знали по преимуществу в литературных кругах Франции, Англии, отчасти Германии. В 80-е годы русские романы начали широко переводиться и издаваться в разных странах мира — произошел как бы качественный скачок Можно ли сказать, что величие русских классиков было сразу и единодушно признано? Да ни в коем случае. Русская классическая литература сразу же стала предметом острейших разногласий, идейной борьбы. Она не прекратилась и поныне Достоевский по сей день остается в фокусе идеологического противоборства: люди разных общественных лагерей оценивают его по-разному.

Достоевский — явление уникальное в истории мировой культуры, как, впрочем, и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и Горький. Любой гениальный писатель занимает свое особое место в пантеоне деятелей культуры. Но если мы будем возводить «особость» Достоевского в некую небывало высокую степень, мы рискуем вовсе его обособить и от русской литературы, и от мировой. Правда, литературоведам иногда приходится, так сказать для удобства исследования, расчленять то, что на самом деле тесно взаимосвязано, выделять изучаемого писателя, отделять его от других. Однако в сознание миллионов читателей в разных странах Достоевский вошел в контексте русской и мировой литературы, а его книги — в контексте многих других книг.

Тысячи раз повторялись и повторяются в зарубежной литературе и критике два имени, названные вместе: Толстой и Достоевский. Правда, иной раз делались попытки противопоставить одного другому. У нас в минувшие времена Толстой превозносился в ущерб Достоевскому — эта вульгарно-социологическая мода, к счастью, отошла в далекое прошлое. В дореволюционной русской критике, а потом и в критике иностранной, Достоевский не раз превозносился как истинный христианин, в ущерб Толстому, который, мол, в своей гордыне хотел соперничать то ли с Христом, то ли с самим богом. Мы отвергаем подобные попытки «сталкивания» обоих наших классиков. Конечно, мы отдаем себе отчет в глубоких различиях, которые существуют между ними — и в идейном, и в художественном плане. Но факт остается фактом: Толстой и Достоевский вошли в мировую литературу в м е с т е, почти в одни и те же годы («Война и мир» вышла впервые на французском языке в 1879 году, «Преступление и наказание» на немецком — в 1882-м). И оба гениальных художника-мыслителя в м е с т е, именно вместе, обозначили новую ступень в развитии мировой литературы. Притом стоит заметить: Достоевский одним из первых, если не первым, заговорил в своих статьях об «Анне Карениной», о мировом значении Толстого — а Толстой в беседах и письмах говорил о мировом значении Достоевского.

Реализм, гуманизм, народность — все эти понятия, которыми мы часто пользуемся, приобретают для нас новые оттенки, когда мы задумываемся над наследием каждого из наших классиков. Так или иначе, применительно к Толстому и Достоевскому эти понятия неразрывно взаимосвязаны. Противопоставлять одно из этих понятий другому, скажем, отрывать народность от гуманизма — дело не плодотворное.

---

Ф М ДОСТОЕВСКИЙ
И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

---

**МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА**

Литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор Автор книг «О мировом значении Л. Н. Толстого» (1957), «Творчество Ромена Роллана» (1959), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (1966), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (1970), «Достояние современного реализма» (1973) «Первый антифашистский роман» (1974), «Роман Иоганнеса Бехера «Прощание» (1976) и др.

В иностранной буржуазной критике делались и делаются попытки поставить под сомнение гуманизм русской классической литературы, ибо гуманизм, начиная с эпохи Возрождения, включает в себя утверждение личности, а Толстой и Достоевский, мол, подчиняют личность народу, массе. Очевидна беспочвенность подобных суждений. Да, и Толстой, и Достоевский мерили отдельного человека высокой мерой народного блага, народного бытия. Но они утверждали богатство и многогранность личности самим своим гениальным мастерством человековедения. Притягательная сила русской классической литературы для широких кругов читателей во всем мире в немалой степени основана на том, что герои этой литературы для них — ж и в ы е л ю д и, более значительные, яркие, своеобразные, духовно развитые, чем многие и многие герои новой и новейшей литературы Запада. Под разными широтами живут читатели, которые влюбляются в Наташу Ростову или Анну Каренину, до глубины души сострадают Илюшечке Снегиреву или Матреше, загубленной Ставрогиным, терпят душевные муки вместе с Раскольниковым и Иваном Карамазовым, ищут путей в жизни вместе с Пьером Безуховым и Нехлюдовым из «Воскресения». И можно с уверенностью сказать, что обаяние этих (и многих других) героев русской литературы действует на читателей сильнее, чем толстовские идеи непротивления злу насилием или социально-политические инвективы автора «Дневника писателя».

Понятно, что сегодня для нас все то, что относится к области трагических заблуждений Достоевского (последних десятилетий его жизни), будь то его упования на доброго царя или эпизодические приступы нетерпимости к иноверцам, представляют тот аспект его наследия, который наименее важен и практически даже сброшен со счета. Но все же не стоит забывать, что в руках буржуазной критики антиреволюционные стороны наследия Достоевского — оружие, которое она хочет использовать против социализма. Иной раз подобным воззрениям поддаются и талантливые люди. Можно пожалеть о том, что Альберто Моравиа, лучшие произведения которого мы ценим, еще четверть века назад написал статью, тенденциозную в наихудшем смысле,— «Дуэль Маркса и Достоевского». Но не весь свет клином сошелся на этой статье и других писаниях подобного рода.

Мне думается, что нет смысла объяснять наши разногласия с иными (и даже довольно многими) иностранными интерпретаторами Достоевского непроницаемостью «национальных барьеров». Современный мир разделен прежде всего не национальными, а социальными и политическими барьерами. Кстати сказать, авторы «основополагающих» работ о Достоевском, написанных с антисоциалистических позиций,— лица происхождения не иностранного: Мережковский, Бердяев, Шестов. Последователи или, вернее, последыши этих господ — наши идейные противники, безотносительно к тому, в каких иноземных державах они обитают. С другой стороны, стоит вспомнить, что среди искренних зарубежных ценителей Достоевского, высказавших о нем проницательные и оригинальные суждения,— Альберт Эйнштейн, Роза Люксембург, Антонио Грамши. С людьми т а к о г о духовного склада мы всегда можем найти взаимопонимание.

Национальные барьеры, как видим, вещь проблематичная А вот барьеры языковые — проблема реальная. Ведь иностранцы читают, строго говоря, не произведения Достоевского, а переводы этих произведений, что далеко не одно и то же. Могу судить об этом по аналогии. Несколько лет назад, работая над книгой о международной судьбе «Войны и мира», я изучила основные переводы романа-эпопеи на три западноевропейских и два славянских языка. И пришла к выводу, что, очевидно освоение великого литературного произведения на иностранных языках — процесс длительный, требующий многолетних и повторных усилий. Первые переводы «Войны и мира» изобиловали произвольными купюрами, отсебятиной, иногда даже делались не с оригинала (первые переводы на английский, венгерский, польский, голландский, турецкий языки были сделаны с французского). Современные переводы выполнены, как правило, уже после второй мировой войны — несравненно лучше первых, но и они не полностью свободны от ошибок и неточностей. Лучше ли обстоит дело с иностранными текстами Достоевского? Зарубежные исследователи только в самые последние годы начали задумываться над проблематикой художественных переводов русской классики. Американский ученый Ральф Мэтлоу опубликовал в 1976 году статью, где отметил некоторые специфические трудности, которые подстерегают переводчика романов Достоевского, отметил, надо сказать, далеко не все. Приведу простейший пример. Название первой книги «Братьев Карамазовых», «История одной семейки», на французский язык переводится «L'histoire d'une famille», на немецкий—«Die Geschichte einer Familie». Английский вариант «The history of a certain family» — немногим лучше. Тут пропадает нечто очень важное: и сигнал о некоем неблагополучии в судьбе этой «семейки», который дается с первых слов, и фамильярная интонация повествователя-хроникера. То, что Бахтин называл «чужим словом» (стилизация определенного строя устной речи, причем с эмоционально-оценочной окраской),— очень важная особенность стиля Достоевского, крайне туго поддается передаче на других языках. Даже в хороших переводах стиль оригинала несколько нейтрализуется.

Но ведь вот какой парадокс. Первые внимательные иностранные читатели Достоевского и Толстого, которые имели дело с более чем несовершенными переводными текстами, т е м н е м е н е е почувствовали величие подлинников! И взволновались, и были восхищены! Значит, и языковые барьеры — препятствие не столь роковое, когда речь идет о прочтении гениального писателя за рубежами его страны.

Иное дело, что и Достоевский, и Толстой настолько могучи, многосложны, мно-

гомерны, что охватить наследие любого из них в полном объеме вряд ли кому-либо под силу. И у каждого из иностранных почитателей, пропагандистов, последователей, исследователей Достоевского (как и Толстого) свои оттенки понимания, или непонимания, или понимания лишь частичного, даже если этот почитатель по своему духовному складу открыт для восприятия гуманизма и народности русской классики.

В чем влияние Достоевского на мировую литературу? И прежде всего — на кого он оказал влияние? У нас, в общем, уже преодолено упрощенческое представление, будто на Западе к Достоевскому тяготели только писатели декадентской ориентации, будь то Андре Жид, Кафка или Сартр. Упрощенчеством обратного рода было бы предположить, что у него учились и учатся только писатели прогрессивные, писатели-реалисты. Есть известная картина Макса Эрнста, которая не раз репродуцировалась, «Встреча друзей» (1922) — Достоевский там изображен в кругу французских сюрреалистов. И это не просто вздорная выдумка. Сюрреалисты считали Достоевского одним из своих предшественников в исследовании подсознательного. В этом не было никакой злонамеренной клеветы — просто сказывалось крайне субъективное, смещенное восприятие русского классика. По сути дела даже — обедненное восприятие. И это не единственный пример такого рода. Только на основе предвзятого, в сущности ложного, представления о Достоевском могла возникнуть легенда о нем как о родоначальнике экзистенциализма.

Восприятие Достоевского за рубежом, его влияние на литературы разных стран в высшей степени разнообразно по конкретным проявлениям, представляет крайне пеструю картину. Но во всей этой пестроте есть ведущая тенденция. Достоевский сыграл важную роль в поступательном развитии реалистической, демократической литературы нашего века.

Здесь уже было верно сказано, что нельзя сводить влияние Достоевского (как и Толстого) к сумме частных подражаний и заимствований. Само собой разумеется, что на путях подражаний большое искусство не создается. Мировое влияние великого художника измеряется теми откликами, которые он вызвал в духовной жизни человечества, теми встречными течениями искусства и мысли, которые он сформулировал и поддержал. Влияние великого художника — тем более такого художника-мыслителя, каким был Достоевский,— сказывается, конечно, не только в плане литературном. Элементарный пример: Ромен Роллан, борясь в одиночку против безумия мировой империалистической войны, ссылался на Толстого и Достоевского, которые «формировали его душу» (и, кстати сказать, перечитывал Достоевского — это отмечено на неопубликованных страницах его «Дневника военных лет»).

Толстой и Достоевский, оба вместе и каждый по-своему, отразили неминуемую перспективу крушения эксплуататорского мира, выдвинули проблему народа как центральную проблему времени. Оба они заставили многочисленных своих читателей тревожно думать о смысле жизни, о назначении человека. И этим подняли уровень демократического, нравственного сознания в мировой литературе.

У Достоевского в этом процессе своя особая роль. Именно он, как художник, гениально распознал болезни эпохи, то кризисное, трагическое, что несли надвигавшиеся мировые события. И он по-своему — иначе, чем Толстой,— произвел переворот в художественном познании человека. Об этом уже много было справедливо сказано в ходе нашего обсуждения. Замечу только, что мотив «двойничества» у Достоевского, на мой взгляд, не сводится к социальной патологии, тут есть и другая сторона, многосложность, многосоставность личности, разнообразие возможностей, которые в ней заложены; этот аспект новаторства Достоевского вызвал много творческих откликов в литературе XX века.

Иногда вопрос ставится так: стоит ли изучать влияние Достоевского на зарубежных писателей, которые несопоставимы с ним по масштабам, то есть не достигают высоты его гения? Можно ответить «не стоит», и тогда мы вовсе закроем проблему — ведь его влияние на мировую литературу складывается из множества конкретных фактов, из которых каждый может быть таким образом оспорен. А если ответить «стоит» — тогда необходимо в каждом отдельном случае учитывать и различие художественных уровней, и, что еще важнее, различие мировоззрений (мне, в частности, кажется, что между Достоевским и Прустом или Достоевским и Камю — идейная дистанция, мимо которой проходить не следует).

Писатели разных стран, так или иначе преемственно связанные с Достоевским, очень многочисленны (о некоторых линиях этой преемственности мне доводилось писать в книгах «Иностранная литература и современность» 1961, и «Достояние современного реализма», 1973). Теперь наши читатели располагают новой книгой Георгия Михайловича Фридлендера «Достоевский и мировая литература» — на мой взгляд, это очень ценный и серьезный труд. Однако можно ли сказать, что тема исчерпана? Нет, она требует все новых исследований.

Достоевский оказал влияние не только на творчество, но и на мышление многих крупных писателей XX века. Мне думается, что в этом плане представляют интерес не только художественные произведения, где можно «уловить» следы его воздействия, но и прежде всего те работы иностранных писателей (включая эссе, речи, дневники, письма, интервью), где размышления о Достоевском даны, так сказать, открытым текстом. Иногда зарубежным писателям удается внести собственный творческий вклад в изучение нашего классика. Достойно внимания, что Анна Зегерс в статьях, написанных еще в годы мировой войны, едва ли не первой выявила то общее, что связует «Преступление и

наказание» с «Войной и миром»: осуждение «наполеоновской идеологии власти». Достойно внимания и то, что наш американский современник Джон Гарднер в книге «О нравственном искусстве» (1978) ссылается на опыт Достоевского и Толстого в подкрепление своей мысли о том, что задача большого искусства — «гуманизировать» человека.

Другой видный американский прозаик, Уильям Стайрон, в антифашистском романе «Софи делает выбор» (1979), где герой-рассказчик молодой литератор — персонаж отчасти автобиографический,— пишет: «Я глубоко погрузился в «Преступление и наказание»... Этот рассказчик попутно говорит о себе: «Меня как писателя всегда привлекали болезненные темы — самоубийство, насилие, убийство, военная жизнь, брак, рабство». Это сказано размашисто, с нарочитым оттенком вызова. Однако роман Стайрона проникнут самой искренней и горячей ненавистью к тому, что угнетает и губит человека, будь то пережитки рабовладения на юге США или фашистский геноцид. Следы влияния Достоевского здесь — не в частных приемах или мотивах, а в той беспощадной откровенности, с какой писатель говорит о самых болезненных, трагических страницах истории XX века.

Достоевский расширил рамки реализма, внес много нового в искусство романа — и уже в этом смысле воздействовал на художественную практику прозаиков XX века. Иногда и частные аспекты мастерства зарубежных писателей обнаруживают их тяготение к Достоевскому, родство с ним. Недавно Дмитрий Владимирович Затонский в очень интересной новой книге «В наше время» проанализировал, на примерах из немецкоязычных и латиноамериканских литератур, ту форму романа, которую он условно назвал «д'артезовской» (имея в виду книгу Носсака «Дело д'Артеза»). Речь идет о таком типе повествования, где истина выявляется как бы путем расследования, путем сопоставления свидетельств разных лиц. В литературе нашего времени таких книг немало. Но кто стоит у истоков такого типа романов? Конечно, Достоевский. Наглядный и живой пример продолжения этой традиции Достоевского — роман Фолкнера «Авессалом, Авессалом!». Еще более ранний пример — «Лорд Джим» Джозефа Конрада. И там и здесь сам процесс поисков истины заостряет драматизм повествования.

Особого разговора заслуживали бы работы иностранных литературоведов о Достоевском. Этих работ великое множество, и появляются все новые. Нецелесообразно отвергать их «с порога», к ним надо подходить дифференцированно. В них иногда очень противоречиво сочетаются полезные, тонкие наблюдения — и застарелые стереотипы буржуазной мысли. А лучшие из этих иностранных работ — например, книга Жака Катто «Литературное творчество у Достоевского» — при всей самостоятельности концепции обнаруживают основательное знакомство их авторов с советской литературной наукой.

Достоевский в международном контексте — достойный, важный предмет для интернационального диалога писателей и литературоведов.

**П. Палиевский.** Дорогие товарищи, наша встреча подошла к концу, но не к завершению. Очевидно, что в ней могли бы участвовать еще и многие другие здесь непосредственно не присутствующие наши коллеги — литераторы и читатели.

Позвольте мне от имени журнала поблагодарить всех, кто согласился прийти к нам сегодня, за интересные и перспективные суждения о творчестве Федора Михайловича Достоевского, высокий профессиональный уровень этого разговора.

В 1876 году Достоевский писал: «Мысль, все более меня занимающая,— где те пункты, в которых мы могли бы все разных направлений сойтись?» Его вклад в решение этой задачи остается несравнимым

Заметки на полях

# ПОРА ЗРЕЛОСТИ

## Кубинская литература на страницах журнала «Революсьон и культура»

В августовские дни 1961 года в зале гостиницы «Абана либре», где проходил Первый национальный съезд писателей и деятелей искусства Кубы, открывалась новая страница в культурной жизни этой страны. Съезд постановил в числе других решений расширить издательскую деятельность и, в частности, начать выпускать новые периодические издания. Так появился ежемесячный журнал «Революсьон и культура», на страницах которого начали публиковаться материалы, рассказывающие о революционных преобразованиях в области изобразительного искусства, театра, музыки, кино библиотечного и издательского дела, народного творчества. Что касается литературы, то журнал уделяет внимание самым различным аспектам литературного процесса в стране. На его страницах можно прочитать статьи и о самых известных литераторах, и о тех, кто делает свои первые шаги.

Творчество ушедшего недавно из жизни Алехо Карпентьера будет еще долгие годы волновать умы читателей. Его романы, в особенности последние, вошли в сокровищницу литератур Латинской Америки. С именем Карпентьера тесно связано развитие кубинской культуры после революции 1959 года. Неразрывное единство с судьбой родины писатель подчеркнул на страницах журнала «Революсьон и культура»:

> «Мне выпало счастье принадлежать к тому поколению, которое, будучи убеждено зримыми и ощутимыми свершениями после 1 января 1959 года, навсегда излечилось от пустых мечтаний... Я смотрю в будущее и чувствую себя, несмотря на преклонный возраст, на своей великой, могучей и доблестной родине молодым как никогда...».

С первых же дней после победы революции Карпентьер стал для нового поколения литераторов Кубы духовным наставником, и более чем двадцатилетний период становления новой кубинской литературы, несомненно, прошел под влиянием и обаянием его творчества, представляющего собой сложный мир, в котором переплетаются человеческие судьбы, время, природа. Двум аспектам его творчества посвятил свою книгу, фрагменты которой публиковались в журнале, Леонардо Акоста — «Музыка и эпос в романе Алехо Карпентьера».

Писатель, блестящий знаток музыки, в особенности старинной, не раз признавался, что любое прозаическое произведение всегда ассоциируется в его голове с какой-нибудь музыкальной формой. Говоря об этом, Леонардо Акоста обращается к словам самого Карпентьера:

> «Разве не было бы интересным, если бы романисты в некоторых случаях ограничивали свой творческий труд какой-либо определенной формой, как это делают композиторы, старающиеся заключить созданное ими творение в монолитный блок».

Разумеется, писатель подходил к этому вопросу не формально. Акоста пишет, что Карпентьер в своем творчестве «достигал, обращаясь к музыкальным произведениям, превосходного согласия между темой и выражающей ее формой» Карпентьер вводит музыку почти во все свои произведения, и она звучит в них на правах «действующего лица». Это не просто какая-то абстрактная музыка — фон для развертывания сюжета, а вполне конкретные мелодии той или иной этногеографической области, в которой действуют герои произведения. Причем Карпентьер со знанием дела рассказывает историю ее возникновения, говорит об исполнителях и даже описывает сами музыкальные инструменты.

Что касается эпоса, то, по мнению критика, такие исторические романы, как «Царство земное», «Век просвещения» и «Весна священная», нельзя назвать эпическими в привычном для нас, классическом понимании. Автор статьи объясняет это тем, что выдающийся кубинский романист считал традицию европейского исторического романа неприемлемой для Латинской Америки. Единственное, что его привлекало в европейском литературном наследии,— это испанский плутовской роман, элементы которого он вводил в свои произведения. Однако более всего Карпентьера интересовали испанские хроники XVI века, а из них в первую очередь «Подлинная история завоевания Новой Испании» Берналя Диаса дель Кастильо. Автор ее был необразованным солдатом, конкистадором, участником походов испанских завоевателей и, разумеется, не был литератором, а поэтому его восприятие действительности не обременили оценки и сентенции, которые могли быть присущи кабальеро-грамотею. Для писателя этот фактор имел решающее значение.

Заметной публикацией журнала «Революсьон и культура» стала статья «Этот семидесятилетний юноша!». Эванхелина Чио рассказывает в ней о творческом пути Феликса Питы Родригеса, чье творчество неразрывно связано с революционным движением. Прекрасный прозаик, черпавший сюжеты для своих рассказов из долгих странствий на чужбине, он прославился и как поэт, его ярко социальные стихи стали подлинно народными. В статье приводятся высказывания о Феликсе Пите Родригесе критиков и писателей Рене Мендес Капоте, Онелио Хорхе Кардосо и даже соседей, которые рассказывают о поэте как о благородном и преданном революции человеке. Читатели узнают любопытный факт: несколько лет назад не могли найти место для квартального комитета защиты революции, тогда поэт освободил в своем доме одну комнату, и с тех пор комитет размещается в ней, а семья Феликса Питы Родригеса и он сам стали активными членами этого комитета. Основная мысль Эванхелины Чио: жизнь и творчество Феликса Питы Родригеса как выдающегося деятеля кубинской культуры может оказать большое влияние на становление молодых литераторов.

Имя национального поэта Кубы Николаса Гильена стало известно зарубежным читателям еще до второй мировой войны, а на самой Кубе его популярность нельзя измерить никакими прилагательными в превосходной степени. Его знает и читает и стар и млад, и для всех он просто «Николас». В последние годы творчество Гильена приобретает большое значение в странах Карибского моря независимо от того, говорят там на испанском или на другом языке, ибо оно не только отвечает социальным чаяниям народов этих стран, но и близко им по национальному духу. Журнал напечатал большую статью известного кубинского литературоведа Анхеля Аухьера «Карибская тема в поэзии Николаса Гильена». Автор пишет, что все творчество выдающегося кубинского поэта «вобрало в себя поэзию народов, чьи земли омываются водами Карибского моря». Он обращается к стихам Гильена и находит в них множество доказательств связей его творчества с фольклором других карибских народов. Поэзия Гильена, по мысли критика, обретает интернационалистическое звучание, в его произведениях отражается стремление народов Карибского бассейна к объединению на этнической и политической основе для борьбы против общего врага — североамериканского империализма.

В 1961 году, когда вся страна поднялась, чтобы за 365 дней искоренить зло, существовавшее на Кубе более четырех веков,— неграмотность, вряд ли кто-либо мог предвидеть всходы, которые даст засеянная целина. «Революсьон и культура» печатает много интересных материалов о духовном подъеме кубинского народа, о необыкновенных творческих силах, вырвавшихся из его недр. Так, в октябрьской книжке журнала за 1979 год комментируется роман «Сестры Фарфан», ошеломивший не только читателей, но и критиков. Его автор — Томас Альварес де лос Риос, уже немолодой, известный журналист из провинции Вилья-Клара, которому знакомы и изнурительная работа земледельца, и труд разнорабочего. На шестом десятке лет он написал роман, сразу же прославивший его имя. Критики с похвалой отозвались об этой книге, а один даже сравнил ее с романом «Сто лет одиночества» колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса. В разговоре с корреспондентом журнала Томас Альварес де лос Риос сказал:

> «Тема моего романа — жизненное кредо крестьянина: любовь к земле, к животным, к природе; любовь к поговоркам и присказкам, которыми очень богата та среда, где он живет. События романа не излагаются в хронологическом порядке, хотя и охватывают большой период нашей истории, начиная с установления республики и кончая семидесятым годом».

Иначе говоря, автор написал книгу о своем времени, о событиях, свидетелем которых был он сам. Примечательно, что стремление к писательскому труду стало на Кубе широко распространенным явлением, и никто никого не корит и не ругает, если у человека, впервые взявшегося за перо, не получился «роман», ну а если получился — честь и хвала ему. Огромный интерес к литературе проявляется не только в желании писать, но и в стремлении собирать то, что уже было написано или осталось в памяти и передается поколениями из уст в уста. Увлечение фольклором получило после революции широкое распространение. Своими успехами современная кубинская фольклористика обязана и деятельности старейшего собирателя афро-кубинских преданий, песен и лексики областных говоров Самуэля Фейхоо. В февральском номере за 1980 год опубликовано выступление Фейхоо на студенческом семинаре в университете города Лас-Вильяс. Самуэль Фейхоо с такой увлеченностью излагает в нем принципы национальной фольклористики, что наверняка возбуждает у читателя интерес к собирательству устного народного творчества.

Особой заботой революционной Кубы стали дети, ибо, как сказал Фидель Кастро, «за тех, кто еще не родился, пролиил 26 июля свою чистую и благородную кровь юноши, павшие при штурме Монкады». Литература для детей начала создаваться в стране только после революции 1959 года. Сейчас уже можно говорить о ее «Совершеннолетии». Одним из свидетельств этого стал пятый номер журнала «Революсьон и культура» за 1979 год, посвященный «от корки до корки» детям. В нем принимают участие такие известные литераторы, как Элисео Диего, Рафаэла, Чакон Нарди, Дора Алонсо, Сальвадор Ариас, Ахенор Марти и многие другие. Но главное не в том, что пишут «взрослые» писатели для детей и о детях, а, пожалуй, в том, что пишут сами дети: во «взрослый» журнал вшит другой журнал — его детское издание, все шестнадцать страниц которого сделаны самими ребятами. Они сочиняли стихи, рассказы, репортажи, загадки и даже сами оформляли свой журнал. И почти во всех сочинениях этих маленьких прозаиков и поэтов есть отзвуки социальной действительности, которой живет их родина. Вот, к примеру, как воспевает раненого голубя, посланца мира, Антонио Понте Мирабаль:

Раненый голубь,
Есть место для гнезда твоего,
Оно — в сердце моем,
Оно — на Кубе моей.
На земле, о которой песню пою.

Интересны и интервью с двумя детскими писательницами, опубликованные журналом в других номерах. Старейшая писательница Кубы Рене Мендес Капоте в свои 78 лет — живая история национальной культуры, поэтому ее слово весомо и к нему все прислушиваются со вниманием. У этой женщины удивительная судьба: родилась она в обеспеченной семье, ее отец Доминго Мендес Капоте был соратником Хосе Марти и генералом Освободительной армии, а в 1902 году его избрали первым вице-президентом республиканской Кубы. Литературный талант Рене раскрылся по-настоящему после революции, когда ей было за шестьдесят. Тогда вышла книга «История маленькой кубинки, которая родилась вместе с веком», принесшая ей заслуженный успех. Отвечая на вопрос журнала, Рене написала, что революция раскрепостила ее духовно, сделала ее писательницей, нужной народу, и «вернула интеллигенции утраченное достоинство». Теперь все ее творчество обращено к молодым. Она пишет о прошлом, чтобы оно никогда не вернулось на кубинскую землю.

Нерсис Фелипе — представительница молодого поколения. Печататься она начала несколько лет назад, опубликовала повесть «Романи Эле» и «Сказки Гуане», премированные на конкурсе «Каса де лас Американас» в Гаване и ставшие любимыми книгами кубинской детворы. Очень символично, что две писательницы, представительницы разных поколений, вышедшие из полярно противоположных социальных слоев (Нерсис родом из крестьян), проявили свой талант только после глубоких и широких социальных и политических сдвигов, которые принесла Кубе революция.

Журнал «Революсьон и культура» постоянно стремится показать то новое, чем отличается современная кубинская литература, которая за 22 года прошла путь от первых робких шагов до зрелости и возмужания. Эта литература стала общедоступной и подлинно народной, ибо она создается для народа и впервые ее героями становятся люди новой социальной формации — рабочие, служащие, крестьяне, воины революционной армии. Эта литература, как и сам журнал, стала важным оружием кубинского народа в борьбе за построение социалистического общества.

**Ю. ПОГОСОВ**

◆

# Публицистика

## ОТ ИМЕНИ ПЛАНЕТЫ...

В двух номерах журнала, открывающих нынешний год, мы публикуем в разделе «Публицистика» материалы, посвященные состоявшимся минувшей осенью в столице Болгарии Софии небывалому по характеру и масштабам международному форуму — Всемирному парламенту народов за мир и Третьей Международной писательской встрече, прошедшей, как и первые две (см. «ИЛ» № 10, 11, 12 за 1977 год и № 10, 11, 12 за 1979 год), под девизом «Мир — надежда планеты».

Представление читателей об этих крупных событиях антивоенного движения современности, сложившееся на основе обширной газетной информации, «Иностранная литература», как и в прежних публикациях, стремится дополнить подборкой текстов, позволяющих услышать собственные голоса писателей, принявших участие в высоких форумах.

(Известный казахский писатель, секретарь правления Союза писателей СССР Ануар Алимжанов выступает с заметками о Парламенте народов за мир.)

При всем многообразии исходных позиций и оттенков во взглядах авторы речей единодушны и солидарны в том основном, ради чего вот уже третий раз со всех концов планеты они собрались в Софии — в решимости противостоять войне, сделать все, чтобы восторжествовали на земле идеи мира, добрососедства, социальной справедливости.

Разумеется, размеры журнальной публикации не дают возможности воспроизвести все выступления и речи — даже все те выступления, которые можно было бы назвать существенными документами нашего тревожного и ответственного времени: никогда прежде необходимость выразить свое отношение к дилемме «война или мир» не вставала с такой остротой перед всем человечеством.

И потому мы оставляем страницы журнала открытыми для продолжения обсуждения этих важнейших проблем: вряд ли им суждено в обозримом будущем утратить свою насущность и значимость.

# УЧАСТНИКАМ ТРЕТЬЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ ПИСАТЕЛЕЙ

**Уважаемые дамы и господа!**

**Уважаемые товарищи!**

**Я рад, что мне предоставлена честь от имени Государственного Совета, правительства Народной Республики Болгарин и лично от себя сердечно приветствовать вас словами: «Добро пожаловать!»**

**Я убежден, то ни один из вас не имел бы ничего против, если бы Третья Международная встреча писателей в Софии была посвящена вопросам, связанным с писательским творчеством. Однако времена сейчас такие, что вот уже третья ваша встреча проходит под благородным девизом «Мир — надежда планеты».**

**К сожалению, эта ваша встреча пройдет в тревожной обстановке, в обстановке, когда дыхание ядерной катастрофы уже чувствуется в стратегии, в политике, в делах противников мира и всеобщей безопасности. После хельсинкской победы миролюбивых сил, несмотря на огромное облегчение, народы почувствовали, что милитаристы не примирились со своим поражением. Не случайно уже тогда народы и правительства миролюбивых государств выдвинули, а затем все настойчивее повторяли требование дополнить политическую разрядку разрядкой в военной области. В последнее время и особенно в этом году стало совершенно ясно: в то время, когда мир настаивал на прекращении вооружения и на разоружении, противники мирной жизни готовили эскалацию вооружения, способствовали обострению международной напряженности, выдвижению в качестве официальной военно-политической стратегии опережающего ядерного удара, так называемой ограниченной ядерной войны.**

**Не знаю почему, но в разговорах с деятелями культуры вопрос о мире и войне обычно связывают с судьбой культуры. Судьба культуры — этого неоценимого плода человеческой цивилизации — дорога нам всем. Однако, мне кажется, мы бы недооценивали вас как собеседников и как людей, если бы сводили вопрос о мире и войне к вопросу об угрозе культурным ценностям человечества.**

**Находится ли под угрозой человеческая культура?**

**Да, находится.**

**Однако сегодня угроза нависла над самим человечеством, над самим существованием планеты, которая миллионы лет, глухая, слепая и немая, носилась в космической пустыне, прежде чем стать прекрасной колыбелью человека и человеческой цивилизации. Говорят, что населенным планетам нет числа. Не знаю. Наверное, это так. Но Земля — одна из этого бесчисленного множества планет — для нас единственная, и даже писатели — авторы научно-фантастических произведений в конечном итоге возвращают своих героев снова на Землю.**

**Как вы знаете, в Софии только что закончил свою работу Всемирный парламент народов за мир. Большинство из вас участвовали в его работе и в принятии его решений. Все единодушно констатировали, что сейчас как никогда прежде человечеству угрожает термоядерная катастрофа. И единодушной была воля народов добиться полной мобилизации всех политических и государственных деятелей, партий, движений, религиозных и культурных кругов, всех сторонников мира во имя того, чтобы все человечество поднялось против поджигателей войны!**

**Я не собираюсь льстить вам. Вы, писатели, сами по себе не в состоянии обуздать силы войны. Но сами по себе не в состоянии сделать это и мы — политики, стоящие во главе таких мощных организаций, какими являются государства. Дело мира — особенно в нынешний тревожный час — можно спасти, только объединив усилия сотен миллионов людей. И именно вы, писатели человечества, не имеете себе равных в возможности влиять на умы и сердца людей.**

**Я уверен, что Третья Международная встреча писателей в Софии поднимет свой мощный голос в защиту мира и ее призыв получит широкий отклик на всей планете.**

**От всего сердца желаю вам плодотворных встреч и бесед, приятного пребывания в нашей стране, новых больших успехов в вашей творческой работе!**

29 сентября 1980 года.
София

**ТОДОР ЖИВКОВ**
**Первый секретарь ЦК БКП**
**Председатель Государственного Совета**
**Народной Республики Болгарии.**

**За столом президиума. На трибуне — Любомир Левчев**

## *Мигель Отеро Сильва*

## ВЕНЕСУЭЛА

Друзья!

Для взаимного знакомства, для взаимопонимания между народами, а это является очевидной и главной целью нашей международной писательской встречи, нет более подходящего и действенного орудия, чем культура и искусство. С самых давних эпох истории человечества художественное творчество было тем связующим звеном, которое соединяет враждующие народы, сближает расы, выходит невредимым из гибельных пожаров войны, воскрешает народы, погребенные под лавой вулканов или в катаклизмах землетрясений.

И среди художественных проявлений человеческого духа (нельзя этого не признать) нет проявления более непосредственного, более объединяющего, более богатого, чем то, которое находит свое выражение в устном или письменном слове, то есть в литературе. Литература способна сеять знания, необъятное множество истин, что не всегда доступно, скажем, музыке или живописи, несмотря на все их величие. Слово может реять знаменем, плакать скорбящей матерью, трепетать, словно ветер, светить пламенем, шуметь, как море. Неоспоримо, что поэмы Гомера стали кузницей величавого духа греков. Шекспир — высочайшая вершина английской словесности, пульсирующее токами живой жизни олицетворение подлинной истории его страны. Дон Кихот — светлое зеркало мечтающей, жаждущей справедливости Испании, выстоявшей века страданий и мракобесия. Пабло Неруда — это сегодня призывный глас Латинской Америки, которая борется за то, чтобы разбить свои оковы и внести свой вклад в окончательное освобождение человека на земле.

Отсюда — неизбежная ответственность писателя, его долг перед самим собой достойно осуществить творческие возможности, которыми его одарила природа.

Никто не может нанести большего вреда своему ближнему и своему времени, чем писатель-циник или писатель-софист, отдающий свои книги на службу делу несправедливости и оправданию незаслуженных привилегий. И, наоборот, никто не может принести большего блага своему народу, чем писатель, упорно идущий сократовым путем, отстаивая истину, добро и справедливость, пусть даже ценой собственной жизни.

Все мы, собравшиеся здесь, люди мысли, каждый в своей стране сотни раз утверждали, что самой ответственной миссией писателя является в наши дни сохранение мира, война войне, противодействие преступным замыслам фабрикантов оружия и поджигателей войны. Святой наш долг, друзья,— сражаться за мир, не ведая усталости. Пусть обвиняют нас в повторении стереотипных лозунгов, пусть называют фантазерами или паникерами, послушными орудиями в чьих-то руках. Мы прекрасно знаем, какие зловещие силы плетут сети подобных обвинений. Достоверно, гораздо лучше многих государственных деятелей и генералов мы знаем, что означала бы для человечества ядерная война; мы знаем, что она безжалостно уничтожила бы жизнь наших детей и детей во всем мире; мы знаем, что она безвозвратно разрушила бы

Тексты выступлений печатаются с некоторыми сокращениями.

цивилизацию, созданную многовековыми усилиями труда и разума. И мы знаем, что после нее Земля носилась бы в космическом пространстве безлюдной и необитаемой планетой. И это сознание, наша писательская совесть, наша ответственность современников заставляют нас, не жалея сил, призывать людей встать на защиту мира, против тех, кто подстрекает народы к ужасному самоуничтожению.

Друзья! Теперь я хочу сказать то, с чего мне следовало бы начать свое краткое выступление. Я считаю высокой и незаслуженной честью решение болгарских писателей, выраженное председателем Союза болгарских писателей Любомиром Левчевым, доверить мне вступительное слово на этой исключительно важной встрече. Я склонен верить, что эта честь оказана мне не из-за моих скромных заслуг как писателя и поборника мира, а как дань уважения к народам Латинской Америки, в частности, к их писателям и художникам, которые в наши дни неутомимо сражаются против своих диктаторских режимов, против империализма, который приводит к власти и поддерживает эти режимы. Как дань уважения к писателям и художникам, заживо погребенным в застенках Чили, Уругвая, Парагвая, Боливии, Гватемалы, к жертвам военно-фашистских режимов на юге континента. Как дань уважения к писателям и художникам Кубы и Никарагуа, присоединившимся к революционным силам своих народов, чтобы свергнуть кровавые режимы и привести к власти народные правительства. Как дань уважения к героическому народу Сальвадора и тем писателям и художникам, которые поддерживают его в вооруженной схватке с могучим врагом, опирающимся на американский империализм и реакционные правительства континента и получающим от них военную помощь. И, наконец, как дань уважения к поэтам, художникам, музыкантам и другим деятелям искусств всей Латинской Америки, которые в большинстве своем сумели остаться верными знамени своих народов, и особенно к тем, кто, как спартанцы, отдали свою жизнь в борьбе за справедливость. От имени живущих, и в память о мертвых, я выражаю нашу благодарность болгарским писателям за гостеприимство и теплый прием, оказанный многочисленной латиноамериканской делегации, которая пересекла Атлантический океан, чтобы участвовать в этой встрече.

Друзья! Недостаточны, отрывочны знания большинства из нас, писателей дальних стран, об истории Болгарии и о болгарской литературе. В известном смысле это произошло по нашей собственной вине, но еще и потому, что история была безжалостно сурова к этой балканской стране, которая на протяжении веков оставалась стертой с географической карты. Но мы знаем, что история Болгарии — это история борьбы народа за освобождение от поработителей и что этой борьбе всегда сопутствовала солидарность поэтов, многие из которых встретили смерть, не успев допеть своей песни. Мы знаем, что в XVIII веке жил монах по имени Паисий, чья небольшая книга по истории стала боевым катехизисом народного патриотизма. Мы знаем, что блистательные песни Христо Ботева прозвучали в XIX веке словно мятежные фанфары, зовущие к борьбе против турецкого владычества. Мы знаем, что в конце XIX века Иван Вазов написал свой роман «Под игом», который открыл новые пути к пониманию национальной истории и мысли. И наконец, мы знаем, какой взволнованный отклик вызвала русская революция 1917 года в Болгарии, как зазвучали голоса больших поэтов, чьи строфы полыхали пламенем революционной страсти; до нас дошли замечательные стихи Христо Смирненского и Николы Вапцарова. Это то немногое, что мы знаем,— гораздо больше еще неведомого, лишь миллионная часть того, что мы должны были бы знать, известна нам. Но и того немногого довольно, чтобы понять главное: великие болгарские писатели сумели воспеть свободу своего народа, они погибли во имя этой свободы. Этого нам достаточно, чтобы испытывать к Болгарии искреннее уважение и ставить ее в пример. Земля Болгарии была полита кровью поэтов, и потому на ней так пышно цветут идеи справедливости и социального освобождения.

От имени собравшихся здесь свободомыслящих людей, прибывших из сорока семи стран, чтобы провозгласить, что мир — это надежда, самая благородная надежда планеты, сегодня, 29 сентября 1980 года, Третью Международную встречу писателей в Софии торжественно провозглашаю открытой.

## *Любомир Левчев*

## БОЛГАРИЯ

Если писателю позволено говорить от имени Земли, то я бы хотел передать вам привет от моей земли, которой ведомы высочайшие взлеты стольких человеческих цивилизаций и которая, увы, помнит ужас и страдания стольких человеческих войн. Свою землю мы называли когда-то «землей убитых поэтов».

Сегодня она встречает вас — художников, защитников мира — как самых дорогих гостей.

И если писатель в самом деле имеет право говорить от имени народа, я хотел бы передать вам привет от моего народа, который так дорого заплатил за теперешнее свое счастье быть созидателем собственного будущего. Поэтому он ценит, любит и уважает как свою подлинную свободу каждого народа и как своего — каждого настоящего писателя-гуманиста, потому что нет более чистого символа человеческого единства и братства, чем творческий порыв, чем беззаветное служение красоте.

Итак — добро пожаловать в свою Болгарию.

Добро пожаловать в свою Софию на Третью Международную встречу писателей.

Стоит вспомнить пути, которые привели нас сюда: они пролегли через горы и пропасти векового человеческого отчаянья,

глубокого неверия в смысл борьбы, холодных насмешек, а нередко и реальных угроз со стороны мракобесов. Поэтому так огромна наша благодарность всем, кто сердцами своими торили и торят наши дороги надежды.

Я хочу привести по памяти несколько строк из одной книги мемуаров. На писательской встрече 1878 года (не любопытно ли — Первая встреча писателей состоялась в тот самый год, когда 1200-летнее болгарское государство вновь получило свободу? Но продолжу свой пересказ...— Л. Л.)... на писательской встрече 1878 года присутствовали Гюго и Тургенев. На нашем конгрессе — пишет автор мемуаров — не было писателей такого ранга, быть может, в 1935 году их просто не было в мире. Удалось собрать самых читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, Алексея Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс...

Это — фрагмент из воспоминаний Ильи Эренбурга. Обращаюсь к его словам хотя бы по одному тому, что в том 1935 году сам я только родился и не было у меня ни собственных слов, ни воспоминаний.

Конгресс продолжался пять дней, и огромный зал «Мютюалите» постоянно был переполнен, громкоговорители передавали речи в вестибюль, на улице стояли люди и слушали. Газеты, которые вначале решили было замолчать конгресс, вынуждены были уделить ему довольно много места. Даже Гитлер не выдержал, истерически возопив нечто по адресу «большевиствующих писателей — убийц культуры».

И воспоминания, и информация текущего дня тонут в круговороте времени, и теперь нам приходится уточнять: два года спустя, в 1937 году, Второй конгресс в защиту культуры заседал уже под грохот орудий. Он переезжал то в Валенсию, то в Барселону, то в Мадрид и в конце концов завершился в том же Париже. Те, кто утверждал, что серьезный писатель должен сидеть у себя в кабинете и писать свои книги, называли эту встречу «бродячим цирком». И все же орудия не заглушили голосов Алексея Толстого, Антонио Мачадо, Людвига Ренна, Людмила Стоянова, Анны Зегерс, Николаса Гильена, Александра Фадеева. К ним присоединились Генрих Манн и Луи Арагон, Лэнгстон Хьюз и Пабло Неруда. Среди них был и Рафаэль Альберти, поэт непокорившейся Испании, тот самый, кто в 1979 году открыл Вторую софийскую встречу писателей в качестве ее почетного председателя.

Сейчас уже история знает, что если человечеству удалось создать спасительный антифашистский фронт, то этим оно обязано не тем, кто смирно сидел дома, а тем, кто жертвовал свое время и силы на то, чтобы ударить в набат, пробудить общественную совесть, а некоторые — и на то, чтобы своей кровью записать оставленный нам завет...

Разрешите мне выразить глубокую веру в то, что идеалы и действия писателей, в 1977 году подписавших воззвание о созыве международной писательской встречи в Софии, как и всех ее участников и всех, кто своими посланиями поддержал ее гуманную цель, тоже останутся в доброй и благодарной памяти народов.

Узнав, что имена инициаторов Софийской встречи отлиты в металле, полученном из переплавленных снарядов, один из тех, кто не видит смысла в подобных писательских форумах, задал иронический вопрос: уцелеют ли эти письмена во время атомного взрыва? Не знаю, хотя в одном уверен — после взрыва ни я не смогу сообщить ему этого, ни он не сможет ничего об этом узнать. Я отлично понимаю также, что данную плиту можно вновь переплавить в снаряды. И это печальное знание заставляет меня испытывать еще большее уважение ко всем, кто ополчается против отчаянья и смирения и отдает свой талант действенному служению надежде.

Я вспоминаю замечательные слова, которыми Эрве Базен в качестве почетного председателя открыл Первую софийскую встречу, определив ее связь с реальной политикой:

«Дух Хельсинки — это не святой дух, который снизойдет на нас в духов день, чтобы помочь нам сразу же разрешить все наши проблемы. Дух Хельсинки — и это уже немало — означает взаимное осознание риска, которому мы подвержены вследствие политического, географического и языкового разделения, вследствие гонки вооружений. Он означает «нет» раздорам во имя всего того, что нам завещано. Он означает преклонение перед тремя миллионами лет, превратившими примата в мыслящее существо...»

Время подтвердило не только справедливость этих слов, не только основания для тревоги, выраженной всеми участниками Первой встречи. Время подтвердило важное значение этой встречи, ее исторический смысл. Если три или четыре года назад в свете хельсинкских соглашений мир казался стабильнее, чем когда бы то ни было, то сегодня, в начале 80-х годов, накануне Мадридского совещания мы оказались лицом к лицу с новой чудовищной эскалацией «холодной войны» и абсурдной гонкой вооружений. Мы стоим перед новой, гораздо более реальной и ранее казавшейся немыслимой угрозой всеобщей ядерной гибели. Не буду долго останавливаться на этом важнейшем моменте — он широко и проникновенно обсуждался только что закончившимся Всемирным парламентом народов за мир, и большинство из вас приняли участие в этом форуме. Спасибо вам за вашу недремлющую писательскую совесть, за вашу сопричастность делу неделимого мира. Ловлю себя на том, что я повторяю слова товарища Тодора Живкова, сказанные на открытии Парламента, но его мысль была: «мир неделим, но сегодня неделима и термоядерная война...»

Поставленный перед апокалипсической возможностью мировой катастрофы, человек вправе и в самом деле спросить себя: «Разве могу я что-нибудь изменить, что реально могу я сделать для мира?» Любому допустимо было бы простить подобное сомнение, но когда речь заходит о нас, писателях, мы должны помнить, что в нашем распоряжении есть оружие необыкновенной силы. Это оружие — слово, главная и

великая сила нашего искусства. Вот почему мы, писатели, не имеем права чувствовать себя беспомощными, как мать не имеет права показывать свое отчаяние детям.

Даже Жан-Поль Сартр, который никогда об этом не заботился, в своем последнем интервью, озаглавленном «Надежда сегодня», удивил нас следующим новым суждением. «И я не думаю...— сказал он,— что эта надежда — некая лирическая иллюзия, она — в самой природе действия... В самой надежде кроется нечто вроде необходимости».

Разумеется, наше время, когда мы пресыщены мало что меняющими петициями и резолюциями, приучило нас к своеобразному, я бы даже сказал, опасному прагматизму — мы хотим немедленной реальной пользы от таких возвышенных субстанций, какой является искусство. Иногда я думаю, что желание получить какие-то сиюминутные доказательства полезности борьбы писателей за мир столь же наивно, как условие лицезреть чудо, чтобы поверить в бога.

Мы, писатели, чей главный и общий для всех бог — человек, должны всегда видеть и всегда открывать для всех смысл простых, но великих духовных сил, которые составляют человеческую сущность. Разве сам факт нашей встречи, встречи тех, кто по праву считается носителем совести народной, не есть чудо? Живая природа не одарила нас даром прекраснее, чем мирная встреча человека с человеком. Мирная встреча — это первый шаг к взаимному узнаванию, к доверию. Это любовь и привет. Это рукопожатия, это объятия солдат, которые когда-то братались на фронтах империалистической войны. Мирная встреча — это добрый день мира, это здоровье человечества, разве не щедры, не плодотворны мирные контакты между народами, между различными цивилизациями, которые, взаимодействуя, подводят нас к новым, еще более высоким степеням духовного совершенства?

Так истолковал бы я смысл и содержание нашей Софийской встречи. Они — в самих идеях, положенных в ее основу и подтвержденных установившейся прекрасной традицией, позволяющей испытывать особую гордость по поводу одного из главных и во многих отношениях уникальных ее принципов — искать пути к сближению, стремиться к тому, что делает нас более терпимыми, что нас сплачивает, а не к тому, что разделяет и противопоставляет друг другу. Это основное правило нашей трибуны не только запрещает оскорблять отдельные нации и отдельные культуры, более того, оно дает возможность народам через посланников своей совести выразить свои чаяния, поделиться опытом ума и сердца. В сущности, это и есть тема Третьей софийской встречи: «Писатель и взаимоознакомление и взаимопонимание между народами». Мы проникнуты глубокой верой в то, что даже самое малое участие в этом процессе — важный и реальный вклад в фундамент мира во всем мире: легче воевать против абстракций; людей, знающих друг друга, гораздо труднее заставить скрестить оружие. То же относится и к народам. История свидетельствует, что только на почве невежества, незнания и отчуждения может взойти семя национальной ненависти.

Всего лишь год назад здесь, в Софии, состоялась детская ассамблея «Знамя мира». Когда в канун Международного года ребенка группа болгарских писателей, педагогов и других представителей науки и искусства посетила некоторые школы и детские базы отдыха, чтобы популяризировать эту инициативу ООН, мы задали детям преднамеренный, но неожиданный для них вопрос: «Какой дар вы хотели бы получить в этом вашем году?» Огромный процент одного и того же ответа оказался для нас более неожиданным, чем сам вопрос для детей. Ответ этот был: «Хотим встретиться с нашими друзьями из всех стран, со всех континентов». Это бесхитростное детское пожелание заставило меня почувствовать, сколь чиста и высока идея нашей Софийской встречи, какая жизненная сила кроется в ней, если она отвечает чаяниям детей. С особенной силой это чувство впервые овладело нами год назад, когда мы присутствовали (разумеется, только как наблюдатели) на незабываемой встрече детей в нашем Народном собрании. На один день Болгария предоставила здание своего парламента детям всей земли. Программа не предусматривала никакой особой церемонии, но дети без всякой предварительной договоренности и организации, без всякого сценария стали один за другим выходить на трибуну и говорить от имени своих народов. Выступления были короткими. Дети сами выработали свой порядок дня, прекрасный, волнующий, подобного которому я не видел нигде и никогда. Помню одного испанского мальчика, который, выйдя на трибуну, начал со слов: «Я — Испания...». Завидую детям, которые в нескольких словах умеют выразить самые высокие, самые великие понятия на свете. В сущности, это детское собрание и было, наверное, первым Всемирным парламентом народов за мир. И почти как в Библии — после детей пришли мы, взрослые, может быть, именно затем, чтобы увидеть, удалось ли нам сохранить что-то от той бесценной детской непосредственности и чистоты, которую мы всю жизнь растрачиваем во имя каких-то якобы чрезвычайно важных целей и соображений.

Софийская встреча писателей, как об этом знают все ее участники, — вовсе не встреча сторонников абстрактного пацифизма. В июне прошлого года мы подписали известное послание к художникам будущего. Это необычное коллективное произведение было торжественно вручено участникам Международной детской ассамблеи группой писателей — участников нашей встречи, среди которых вновь назову Эрве Базена, незабвенного Джанни Родари, Сергея Михалкова, Пьера Гамарра, Альдо Де Яко, Асена Босева и других. Это произошло при открытии монумента «Знамя мира» в тот момент, когда зазвучали колокола народов. Тысячи детей понесли слова нынешних писателей не только в свои страны и континенты, но в первую очередь — в будущее, в царство единства, творчества

и красоты. А несколько позже председатель Комитета по делам культуры товарищ Людмила Живкова, возглавившая болгарскую делегацию на 34-й чрезвычайной сессии ООН, при всеобщем одобрении вручила это Послание Курту Вальдхайму. Это явилось серьезным подтверждением авторитета и значения нашего форума. Послание было распространено в качестве документа Организации Объединенных Наций. Насколько мне известно, это первый писательский документ, ставший документом ООН. Думаю, вы согласитесь, что это нечто более существенное и реальное, чем вздохи одинокого поэта. Хозяин Софийской встречи писателей, наша страна выполнила свои обязательства, как будет выполнять их и в будущем.

Я — один из тех, кто разделяет взгляд на мир как на наивысшую гармонию человеческих достоинств и возможностей, гармонию направлений, в которых мог бы развиваться человеческий дух, гармонию между личностью и обществом, обществом и вселенной. А война — глубочайшее и трагическое нарушение этой гармонии во всех областях. Поэтому мир — основа нашего единства. Мир — необходимое условие любого вида человеческого творчества. И сейчас, когда нас хотят заставить привыкнуть к мысли о «малой», или «локальной», ядерной войне, о «частичной» смерти, о приемлемости новых, все более ужасных средств массового уничтожения, право человека быть всесторонне гармонически развитой личностью становится проблематичным. А это право — начало всех остальных начал, так же как мир — начало начал всех надежд. Стремление к гармонии — не только движущая сила вечно беспокойного и ищущего человеческого духа, стремление к гармонии — это священное пламя искусства, это исторический оптимизм общества, это единственный язык, на котором человек может разговаривать со вселенной.

Дорогие друзья!

Разрешите мне выразить самую сердечную благодарность нашему почетному председателю Мигелю Отеро Сильве за благородные и мудрые слова, которыми он открыл Третью Международную встречу писателей в Софии. Позволю себе напомнить, что у Софийской встречи нет бывших почетных председателей, и потому мы сегодня шлем свои сердечные приветствия Эрве Базену и Рафаэлю Альберти. Мы приветствуем также Пантелея Зарева, инициатора и одного из организаторов наших первых двух встреч, состоявшихся под девизом «Мир — надежда планеты».

## *Пьер Гамарра*

### ФРАНЦИЯ

В начале лета 1944 года дивизия СС «Дас рейх», измотанная отрядами Сопротивления, стала откатываться с юга Франции в надежде соединиться с гитлеровскими войсками в Нормандии.

Девятого июня она остановилась в Тюле. Нацисты решили преподать населению наглядный урок — отобрали наугад из жителей города 99 заложников и повесили их на балконах домов в районе вокзала. Только благодаря вмешательству каноника Жана Эспинаса число казненных было сокращено со 120, как намечалось первоначально, до 99.

Неподалеку от Тюля смерть сделала еще одну остановку — ее имя Орадур-сюр-Глан известно сегодня, я думаю, всему миру.

Я мог бы назвать многие места на земле Франции и в других странах, познавшие такие же кровавые дни и ночи, их имена неизгладимо врезались в мою память. Почему я говорю об этих фактах именно сегодня? В прошлом году, в одной местной газете, обратившейся к этим столь драматическим событиям, я встретил фразу, заставившую меня о многом подумать. В те дни по французскому телевидению показывали американский фильм «Тотальное истребление», который буквально потряс зрителей. В связи с показом этого фильма упомянутая выше газета попросила одного из жителей Тюля высказаться по поводу ужасов, которые несет с собой война, и получила следующий ответ. «Я не убежден,— сказал оч,— что моим землякам когда-нибудь приходила в голову мысль о том, что между казнью их девяноста девяти собратьев и гибелью шести миллионов евреев существует прямая связь». В этом ответе содержался намек на то, что многие люди во время войны — и порою даже те, кому она принесла жестокие страдания,— слишком многого не знали, видели лишь то, что происходило непосредственно рядом с ними. Вот почему мысль об общем несчастье, которое отвести от себя можно лишь общими силами, общим сопротивлением, не приходила им в голову.

Возможно, и даже наверное, среди мучеников и жертв Тюля, Орадура и многих других обителей страдания были женщины, мужчины, дети, которые, погибая, спрашивали себя в своей наивности, в своей чистоте, в простоте душевной: «За что?»

И быть может, задыхаясь в кольце огня и железа, они не видели, не могли себе представить, вообразить, что за его пределами адское пламя уже охватило или охватит — через несколько месяцев, лет или десятилетий — новые Орадуры, Лидице, Освенцимы, Ленинграды, Хиросимы.

Гарсиа Лорка, Вапцаров, Жакоб, Деснос понимали, что их страдания и муки, их слово — плоть от плоти мук и страданий миллионов погибших — и их современников, и тех, кто погиб в прошлом, а также тех, кому уготовят гибель несправедливости и войны грядущего, но многие — увы! — не обладали такой ясностью видения и понимания и погибали, считая себя одиночками, жертвами слепого и злого случая.

Меня, как писателя, это их одиночество, это их заблуждение заставляет о многом задуматься. Писатели — это те, в чьем сознании память, настоящее и будущее живут одновременно. Они слушают, они наблюдают, они фиксируют и они мечтают.

Я не собираюсь давать здесь уроки ни моим собратьям, ни моим коллегам. Каждому смотрит в окно свое солнце. Свое солнце или своя ночь. У каждого — свое

представление о политике и о жизни общества. Но быть может, по двум пунктам мы все же придем к согласию.

Во-первых, надо постараться так жить и так действовать, чтобы больше никогда не отправляли на виселицы невинных Тюля, чтобы не сжигали заживо школьников Орадур-сюр-Глана, чтобы никогда не погибали миллионы людей в Бухенвальдах и Освенцимах, если бы дикие звери вновь вздумали возродить, воссоздать их, чтобы никогда более не угрожали расстрелы Вапцаровым и Лоркам — провозвестникам и творцам нашего будущего.

И во-вторых, быть может, все-таки мы придем к согласию по поводу той части нашей программы, цель которой — покончить с теми, кого Поль Элюар называл «созидателями руин», я имею в виду осознание нашей общей ответственности за нашу историю и за наш нынешний день.

Фильм, о котором я только что упоминал,— и я счастлив, что это фильм американский,— возможно, кинематографически небезупречен, несовершенен. Это не столь важно! И у нас, и в других странах он разбередил души, пробудил сознание. Мрак и пламя адских печей лагерей смерти он швырнул на мирный порог наших будней. И, повинуясь воле творческой памяти режиссера, жуткий смрад ворвался в наш дом, душераздирающий крик матери, отца, сироты рассек небеса над нами. И это было необходимо, это было справедливо.

Во время моего прошлого визита в Болгарию мне показали тюрьму, где провел свои последние дни Вапцаров, я видел клочок земли, где пролилась его кровь. И с того дня во всех стихотворениях Вапцарова мне слышится лязг ружей, заряжаемых в гулких стенах тюрьмы,— каждое слово поэта напоминает мне его последний вздох, последнее мгновение жизни его души, оборванной пулями фашизма.

Среди бесчисленных жертв ленинградской блокады была девочка, которая вела дневник в школьной тетрадке. «Соседи умерли... Умерла мама... Я осталась одна... Я одна».

Она не была одинока, эта невинная душа. Ее горе, ее смерть оплакивали тысячи и миллионы детей Америки, Европы, Азии. Да и сегодня она не одинока, ибо мы еще не сумели создать мир, где сыновья не умирали бы прежде матерей и отцов. Она не одинока в страдании и в смерти. И не должна больше никогда остаться одинокой в живой памяти людей.

Наша обязанность, наш гражданский долг — сделать так, чтобы дети, чью жизнь вчера отняла война, воистину стали братьями детей, живущих сегодня; чтобы родители и наставники детей, живущих сегодня, чувствовали свою связь с теми людьми, кто пали жертвами вчерашней, позавчерашней войны.

Мы должны осознавать не только опасность, но и необходимость солидарности перед опасностью.

Куда поведет нас это осознание? Каждый должен сам найти для себя решение. И выразить его по-своему — согласно своей вере, своим воззрениям, своему призванию художника. Когда Пикассо создавал Гернику, он был Пикассо и никто другой. Никто не водил его рукой, когда он воплощал чудовища фашизма, никто позднее не заставлял его рисовать голубя мира. Он сам распоряжался своим мастерством, искусство его, конечно же, вбирает в себя богатство традиций и само их обогащает новыми дарами. Никто не водил его рукой, но сам он, разумеется, внимал голосам многих и многих — живых и мертвых, мудрецов и невежд, людей утонченных и людей простодушных.

Не все художники пишут Гернику, и не все художники пишут голубя мира. Важно, чтобы каждый из них по-своему, свободно служил детям человеческим, служил будущему, служил чистоте.

Рисуешь ли ты розу, описываешь ли улыбку любви — помни обо всем остальном в человеке, о его беззащитности и о его достоинстве. Быть может, в этот бутон розы ты вложишь ощущение счастья летнего мирного дня, а быть может — крики детей на пороге газовой камеры, быть может — страдание невинно осужденного, быть может — радостную надежду на светлое будущее. Художник должен быть свободен. Такова моя точка зрения, и я всегда буду настойчиво призывать к неприкосновенности творческой свободы.

Человеческое сознание, человеческая совесть неделимы. Ребенок, танцующий ради куска хлеба в Варшавском гетто — один из кадров страшного документального фильма,— этот ребенок взывает к сердцу каждого из нас в отдельности и ко всем вместе.

## *Леслав Бартельский*

## ПОЛЬША

Я принадлежу к поколению, у которого война, вторая мировая война, отняла молодость, на пять долгих лет вырвала из нормальной жизни, толкнула на тяжелую борьбу. Шесть миллионов граждан и половину национального богатства потерял польский народ за период с 1939 по 1945 год. Среди этих шести миллионов погибших было 300 писателей. Они погибали с оружием в руках на полях сражений, их расстреливали гитлеровские карательные отряды, они умирали от истощения в концентрационных лагерях смерти, наконец, гибли из-за невыносимых условий жизни. Война для польских писателей стала ужасной, горькой школой жизни. Каждый день грозил гибелью — не могло быть речи о нормальном писательском труде. И все-таки польские писатели не покорились, они вступили в неравную борьбу, писали и публиковали свои произведения в нелегальной прессе или в подпольных издательствах. Сегодня, спустя столько лет, мы с большим волнением смотрим на эти документы трагического прошлого, на доказательства нашей борьбы. Мы понимаем, какой ужасной была судьба не только польских, но и множества советских, французских, югославских, греческих, чешских, болгарских, датских, нор-

вежских писателей. Я не буду называть фамилии этих европейских писателей, павших жертвами войны, список погибших — длинный и горестный. Напомню только, что гибли писатели как старшего поколения, так и молодые, только начинавшие писать. Из нас — девяти молодых варшавских поэтов, поднявших в 1942 году перо на борьбу,— войну пережили только двое. Погиб выдающийся поэт Кшиштоф Камил Бачиньский, а ему было только двадцать три года. С оружием в руках во время Варшавского восстания погиб его ровесник Тадеуш Гайцы. В пору, когда мы, молодые, начинали свой творческий путь, в лагере смерти Треблинка II был убит Януш Корчак — писатель, врач и педагог, как известно, он до конца остался с детьми из еврейского детского дома, хотя мог спастись. Его образ стал для нас символом непоколебимости принципов польских писателей.

Я говорил о прошлом, о войне, которая принадлежит уже истории. Наш долг — напоминать человечеству об этой трагедии, о фашистских преступлениях, об ущербе, нанесенном войной миру. Слово «война» не ушло из современной жизни. Мы все еще находимся под ее угрозой, к тому же на уровне страшной ядерной катастрофы. Мы должны протестовать, пусть наш голос звучит над планетой, пусть наша вера в лучшее будущее исполнится: мир — надежда вселенной!

## *Зденек Плугарж*[1]

### ЧССР

Я убежден, что главная функция литературы — социальный анализ. Много лет назад я написал роман о безрадостных судьбах детей, лишенных безответственными родителями права на счастливую жизнь. В настоящее время человечество во всем мире все больше сталкивается с реальностью различных форм нарушения прав человека: ежедневно мы читаем об актах насилия, о репрессиях, похищениях, жестокостях всякого рода — на экранах телевизоров каждый день мелькают жертвы террора, развалины домов, разрушенных в результате взрыва подложенных бомб или агрессивных боевых действий. Можно даже опасаться, не покажется ли иным зрителям, что такие картины жестокости и произвола в порядке вещей, не проявятся ли симптомы определенного отупения, понижения личной активности. Больше всего меня потрясают, вызывают чувство гнева и протеста жертвы среди детей. До сих пор не могу забыть заплаканные, до смерти испуганные, растерянные лица двух девочек, потерявших родителей и бежавших из горящей деревни во время вьетнамской войны. Не могу забыть выражения лиц изможденных детей, на их преждевременно повзрослевших лицах отпечаталось длительное недоедание. Я снова вспоминаю детей среди развалин палестинских деревень после израильских налетов или детей на улицах Сан-Сальвадора; эти дети не играют в покойников, они лежат мертвые. Мы знаем и другие судьбы детей в современном мире, находящемся на вершине цивилизации и культурных возможностей. Прокуратура итальянского города Бари в марте 1976 года начала расследование самоубийства пятнадцатилетнего Микеле Колонна. Выяснилось, что родители продали мальчика в рабство, когда ему было одиннадцать лет. Они получили за него сорок тысяч лир и несколько килограммов сыра. Мальчик пас овец и спал в хлеву. Через некоторое время хозяин продал его другому помещику за семьдесят тысяч лир, восемь килограммов сыра и ягненка. А тот сдал его внаем соседу за десять килограммов сыра, двадцать четыре килограмма оливкового масла и соли и несколько кубометров дров.

По сообщению французской газеты «Монд», в последнее время Южная Корея стала крупнейшим «экспортером» детей. С 1968 года продавалось по пять тысяч детей ежегодно, главным образом в Соединенные Штаты и Швецию. Матери получают за них по восемьдесят тысяч вон, то есть примерно по восемьсот французских франков.

Испанская газета «Оха де лунес» сообщает, что торговля детьми существует и в испанской провинции Аликанте. Большинство детей продают незамужние или разведенные матери, которые приезжают в эту провинцию из Мадрида, чтобы сохранить в тайне рождение ребенка. В газете приводится случай, когда один покупатель дал матери за ребенка подписанный чек на пятьсот тысяч песет, но тут же заблокировал чек в своем банке, чтобы его не оплатили. Мать не могла пожаловаться на покупателя, так как торговля детьми карается по закону. В газете далее говорится, что многие дети продаются еще дешевле.

Говорят, что слишком жестокие факты одиозны для романа, человеческий крик в романе не может быть адекватно запечатлен, форма не допускает этого. Но писатель должен все время иметь перед собой в виду болевые точки человеческой души, всеми средствами он должен бороться с равнодушием.

Жан-Поль Сартр когда-то сказал: перед ребенком, который умирает с голоду, литература бессильна. Что это, собственно говоря, означает? Бессильна — это значит не способна описать детские мучения, детскую агонию, не способна точно передать, что есть смерть ребенка, который голодает, что вообще есть страдание ребенка? Каждая попытка исправить положение — полезна, пока в мире дети и взрослые будут страдать от грубого нарушения прав человека, писатель и художник не имеют права заниматься литературой и искусством в отвлеченном смысле слова — их долг поставить свое перо на службу гуманизма, прогресса, всех позитивных ценностей жизни, на службу стремления к миру: там, где гремят орудия, умолкают не только музы, но гибнут и права человека, а с ними и самое основное право, право на жизнь. А это означает — и право на жизнь детей. Матери всего мира рожают своих детей не для войны и голодной смерти, недоедания и эпидемий, но для жизни, для радости и счастья.

[1] Текст выступления за «круглым столом» Всемирного парламента народов за мир.

Есть много способов для писателя приложить свои усилия на этой ниве, это не только книги и статьи, это и радио, и телевидение; это не легкий и не гладкий путь, эти гневные выступления не всегда встречаются с пониманием, но отступать перед трудностями — трусость.

## *Роберто Армихо*

### САЛЬВАДОР

Мы, писатели, представляющие литературы разных стран и разных народов, приехали в Софию на свою Третью Международную встречу, руководствуясь единым стремлением — предотвратить новую войну и упрочить мир и дружбу между народами. Нас очень серьезно тревожит положение в Республике Сальвадор. В случае военной интервенции Соединенных Штатов в Сальвадор мы видим реальную угрозу распространения конфликта на всю Латинскую Америку, что может обернуться катастрофой для всего мира. Вот почему так важно, чтобы от имени Международной встречи писателей в Софии, которая проходит под девизом «Мир — надежда планеты», была выражена надежда, что народ Сальвадора победит в своей борьбе и в будущем сможет сам распоряжаться своей судьбой [1].

## *Алексис Маркес Родригес*

### ВЕНЕСУЭЛА

Товарищи и друзья!

По дороге в Софию, этот прекрасный древний город, богатый историческими традициями, я читал купленную в Мадриде необыкновенную книгу, которую следовало бы перевести на все языки мира, чтобы каждый писатель мог с ней познакомиться. Я имею в виду сборник речей, докладов и посланий, которые были зачитаны на Втором Международном конгрессе писателей-антифашистов, проходившем в течение нескольких памятных дней в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Париже в июле 1937 года, в ту пору, когда Испанию терзала самая грязная и жестокая из войн, которую когда-либо переживал народ.

Эта книга — по сей день неопровержимое живое свидетельство того, насколько более масштабные и солидарные усилия людей доброй воли необходимы, чтобы противостоять зловещему наступлению реакции, то и дело дающей о себе знать то в одной, то в другой части земного шара,— словно адский топор палачей занесен над головами человечества. Ведь агрессия, развязанная против любой нации — какой бы маленькой она ни была, как бы далеко от нас ни находилась,— на самом деле есть война против всего человечества.

Конгресс собрал самые блистательные умы — всемирно известных и всеми уважаемых интеллектуалов своего времени. Хосе Бергамин, Алексей Толстой, Анна Зегерс, Хосе Мансисидор, Висенте Саэнс, Николас Гильен, Сесар Вальехо, Андре Мальро, Федор Кельин, Тристан Тцара, Клод Авелен, Хуан Маринельо, Илья Эренбург, Фернандо де лос Риос, Луи Арагон, Бертольт Брехт, Антонио Мачадо и многие, многие другие клеймили жестокую агрессию фашизма против испанского народа.

Однако, как известно, их слов оказалось недостаточно, чтобы сдержать адскую машину, которая обрушилась на испанский народ. Сорок лет вынуждена была томиться любимая Испания под игом фашистской диктатуры.

Когда враг пускает в ход бомбы, танки, пушки, чтобы заставить людей замолчать, только объединенными усилиями людей всего мира можно изменить ход истории.

Очень хорошо об этом сказал тогда же в 1937 году на конгрессе замечательный литератор Коста-Рики Саэнс: «...Я с тревогой спрашиваю себя, когда вижу то, что происходит в Испании: что можем сделать мы, люди умственного и физического труда безоружных республик? Что могут реального сделать люди, чтобы раздавить фашизм? Раздавить фашизм! Таков тезис всех собравшихся здесь писателей, которые выступают в защиту культуры... Так мы заявляем и такую резолюцию принимаем на этом конгрессе писателей-антифашистов. Но пока мы так рассуждаем, итальянские и германские самолеты, заправленные бензином британских, голландских и североамериканских компаний... эти варварские аэропланы... которые без горючего и машинного масла ничего не могли бы сделать, летают над Мадридом и убивают... детей, стариков и женщин — мирных жителей этого героического города. Видя, каково реальное положение вещей, нам следовало бы спросить: действительно ли мы, художники слова, имеем поддержку мирового пролетариата, имеют ли ее демократические силы? Другими словами, можем ли мы рассчитывать на поддержку объединенных в профсоюзы портовых рабочих, рабочих военно-промышленных предприятий и нефтяных компаний? Существует тенденция к объединению между передовыми интеллигентами и пролетарскими организациями Старого света, Америки и Азии. Но прошел год, и это сближение не оказало должного давления на правительства «великих демократий», чтобы не допустить преступного избиения и порабощения испанского народа».

Горькие слова Саэнса становятся еще горше, когда их обращаешь к нашей сегодняшней действительности. Она давит на наше сознание и сжимает наши сердца: не достаточно ли изменить всего несколько слов, чтобы ими же рассказать о трагедии, которая уже семь лет терзает народ Чили?

[1] Перед закрытием Встречи Мигель Отеро Сильва от имени всех ее участников зачитал текст принятой единогласно соответствующей декларации.

Фашизм все более преступно и кроваво властвует в Гватемале, Чили, Уругвае, Боливии... Недавно утвердившиеся диктатуры, такие же жестокие, угнетают народы Парагвая, Гаити, Сальвадора и народы стран в других частях света. Только решительными общими действиями всех народов, всех трудящихся мира можно остановить волну фашизма, которая грозит разлиться по свету. Наши голоса — выступления и книги писателей должны набатом клеймить фашизм. Мы, прогрессивные интеллигенты, должны пробудить сознание народов, всех тружеников земли, внушить им веру в реальную возможность обуздать и уничтожить фашизм, иначе никакие наши литературные труды и выступления на форумах не принесут никакой пользы. Самый свежий пример — Никарагуа, чей народ, вдохновленный блестящими идеями Сандино, дорогой ценой, кровью и слезами, героически завоевал себе свободу. Если нам удастся своими книгами, статьями, декларациями и манифестами пробудить в сознании народов чувство общей ответственности за построение счастливого будущего, только тогда мы сможем сказать, что сумели выполнить взятую на себя миссию.

## *Мухаммед аль-Кейси*

### ИОРДАНИЯ

Я смотрю на ваши лица, которые излучают свободолюбие и гуманизм, и чувствую себя счастливым от сознания, что нахожусь здесь вместе с вами.

Как палестинский поэт, от имени Лиги иорданских писателей крепко жму ваши руки.

Великий турецкий поэт Назым Хикмет сказал:

Наши лучшие песни
еще не спеты,
Наши лучшие дети
еще не увидели света...

И наше право современных писателей и поэтов — и прежде всего граждан этого мира — трудиться, чтобы появлялись на свет лучшие песни и более счастливые дети.

Вы знаете, что Палестина была захвачена сионистскими шовинистическими силами. С помощью международных заговоров против нашего народа они грабят нас, стремятся лишить понятия палестинской родины, ее наследия, отнять даже наши названия улиц. Попробуйте хотя бы ненадолго представить себя палестинцами, и вы увидите собственными глазами вашу родину, ваши дома, стадионы, книги, ваше настоящее и будущее обезличенными, потерянными, а вас самих — отправленными в изгнание. Более того, машина смерти и разрушения будет постоянно преследовать вас в тщетной попытке покончить с вашими законными требованиями — отечества, земли, прав. Что сделали бы вы, оказавшись на нашем месте?

Избавлю вас от горькой необходимости ставить перед собой подобный вопрос и решать его. Хочу только пояснить, как мы, иорданские и палестинские писатели и поэты, представляем себе смысл этой важной встречи. Наш палестинский народ в Иордании разбросан по палаточным поселениям, по окраинам городов. Он лишен элементарных условий для нормальной, справедливой жизни, он стиснут блокадой оккупантов, блокадой произвола. Но во взгляде нашего народа мы видим железную волю, она проявляет себя и в повседневном поведении, и в стремлениях, в мечтах. Это воля противостоять, выстоять в условиях гнета, бездомности, блокады. С верой в принципы Организации освобождения Палестины сыны нашего народа ведут революционную борьбу.

Наш палестинский народ, как вы знаете, проживает сейчас не только в Иордании. Он рассеян, разбросан по всем странам. В то же время он связан своей судьбой и с революционной борьбой, которая ведется в Ливане. Американский империализм снабжает агрессора современным оружием, его цель — подавить революцию, которая достигла больших успехов. Израиль отвергает наше право решать свою судьбу, право создать наше независимое государство на базе наших национальных традиций.

Мы считаем, что художник не может быть только свидетелем эпохи. Он должен полнокровно и страстно участвовать в процессе прогрессивного преобразования действительности, в борьбе с произволом и реакцией. Наши поэты, художники, писатели связывают свои судьбы с борьбой за торжество этих светлых целей. История нашей культуры знает много имен поэтов и писателей — героев, отдавших жизнь в справедливой борьбе,— могу назвать здесь имена Абдеррахима Махмуда и Кемаля Насера, Гассана Канафани и многие другие. Израиль стремился и стремится к физическому уничтожению наших деятелей культуры, писателей. Наши культурные центры подвергаются нападениям и ракетным обстрелам. Так случилось, например, с Центром палестинских исследований в Бейруте.

У нас, литераторов Иордании, есть оружие — наше боевое слово, способное разить врага, поднимать народ на борьбу.

Наши боевые устремления не противоречат нашему стремлению к миру. Голоса моих братьев и сестер, вливаясь в хор ваших голосов — голосов надежных друзей, призывающих к миру для всей земли, тоже решительно требуют разрядки напряженности, требуют мира.

## *Гуго Гупперт*

### АВСТРИЯ

Пять чувств современного писателя-реалиста «обогатились» сегодня шестым — способностью ощущать страх простого человека. Эту растущую изо дня в день мучительную душевную подавленность людей, этот ясный или полуосознанный испуг называют с т р а х о м за существование. Люди, живущие в капиталистическом мире, испытывают сейчас с каждым днем все более гнетущий страх быть выброшенными из процесса производства, лишиться заработка, средств к существованию, оказать-

ся в числе безработных, которых в Англии, например, насчитывается уже два миллиона человек.

Тонкий воспринимающий аппарат писателя все более ясно ощущает, что эта неуверенность в жизни, эта степень страха за существование с каждым днем все более интенсивно и в то же время органично переходит в еще более глубокую степень подавленности: в страх перед внезапной войной. Война в наши дни может начаться без объявления, объявлять ее было бы даже непрактично, так как это дало бы противнику время первому нанести атомный удар или предупредить его. Момент неожиданности, возможно, даже призван предопределить победу или поражение. Но это общеизвестное обстоятельство порождает — как я мог наблюдать — еще гораздо более сильный страх (правильнее бы сказать: ужас) перед возможностью внезапного военного нападения, от которого нет защиты ни днем, ни ночью. Каждое мгновение может оказаться последним, и никто не успеет ни оповестить нас, ни предупредить.

Но какая существует связь между инстинктивным страхом перед безработицей и органическим страхом перед внезапным началом ракетной войны? Со времен второй мировой войны всякому простому человеку известно, что безработица, разрос-шаяся промышленная резервная армия людей, не имеющих средств к существованию, обычно бывает связана с готовностью — вынужденной и даже добровольной — стать на службу начинающимся военным событиям, то ли в качестве боевых подразделений, то ли в качестве «рабочей силы» в военной промышленности. И тогда эта резервная промышленная армия мгновенно превращается в армию военную, в инструмент оперативной агрессии, то есть империалистической, бесчеловечной, опасной, разбойничьей политики.

С этим и связаны страхи простого человека наших дней. Цели агрессивного Атлантического пакта, философия НАТО основываются на страхе и подавленности людей, а пропагандисты этой философии, словно балаганные зазывалы, придумали опасный номер, который они называют равновесием страха. Этим иллюзорным равновесием страха должна быть вымощена дорога к третьей мировой войне. Какая зловещая, убийственная ситуация для всех нас, вынужденных наблюдать, как наращивается вооружение США, как систематически размещаются ракеты среднего радиуса действия в Англии и Западной Германии,— и все это под политической личиной стратегии, носящей противоестественный псевдоним «равновесия устрашения»! Бертольт Брехт говорил: «Я отказываюсь пассивно созерцать, как страхи европейцев растут на рынке акций американской военной индустрии!»

Я обращаюсь к своим коллегам, писателям Европы, континента, обильно политого кровью. Изумительное гостеприимство социалистической Болгарии, ее прекрасной столицы Софии в третий раз предоставляет нам возможность покончить с положением, когда мы лишь гневно наблюдаем за ходом событий, отложить наши частные споры и единым фронтом выступить на борьбу против войны ракет, которой империализм грозит нашей части света. Все человечество следит за подготовкой к Мадридской конференции. Наша третья писательская встреча может эффективно способствовать успеху этой конференции. Равновесие страха и устрашения должно смениться равновесием надежды, безопасности и сотрудничества — во имя будущего.

## *Родриго Рубио*

## ИСПАНИЯ

Мы живем в так называемое мирное время. Но можно сказать, что мира как такового не существует, во всяком случае его нет в полном смысле этого слова. Помимо войн, локальных вооруженных конфликтов, попеременно вспыхивающих в различных точках земного шара, существует еще и война психологическая, война страха и неуверенности.

Наше писательское слово не всегда совпадает с теми, которые употребляют и считают своими политики.

Это печальная истина. В поворотные моменты истории и в периоды, предшествующие революциям и социальным и государственным реформам, однако, слово писателя подчас опережало слово политических деятелей. Или, по крайней мере, звучало одновременно. Достаточно вспомнить, например, писателей, по-своему поддержавших французскую революцию, которая полностью изменила не только жизнь этой страны, но и внесла новое в наши представления о свободе народов и государственном устройстве. Кроме Виктора Гюго и Эмиля Золя мы могли бы назвать и другие всемирно известные имена: таковыми в России были Федор Достоевский, Лев Толстой и Максим Горький. В странах Латинской Америки в годы борьбы за независимость большим влиянием среди народа пользовалось слово и произведения таких людей, как Хосе Марти, герой и великий поэт колониальной Кубы. А также имена революционеров и политиков — Сан-Мартина и Боливара.

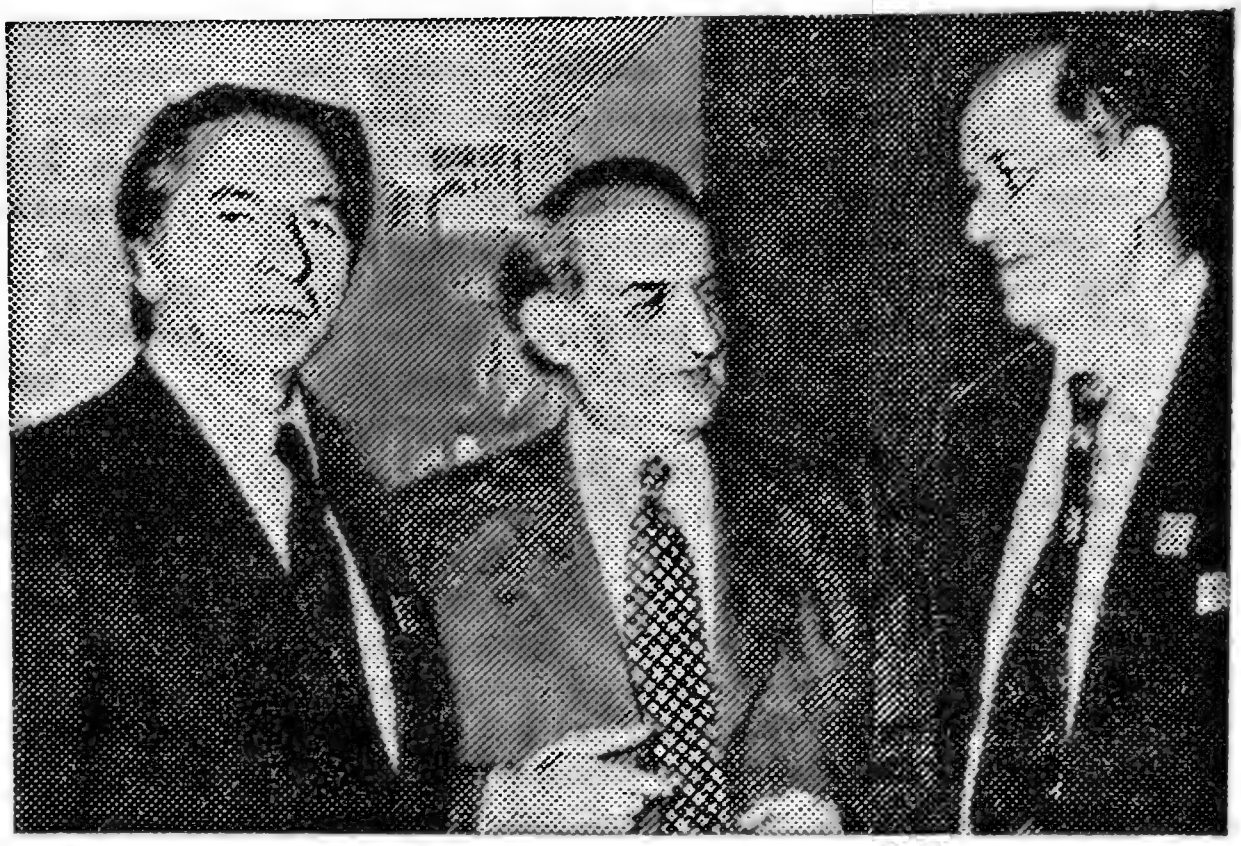
XIX век славен многими именами, передовые европейские писатели всегда стояли в авангарде борьбы за лучшие идеалы, за мир для народов. В наш век мы не можем не назвать имена Сартра, Камю, Казандзакиса, Хемингуэя, Вапцарова, моих соотечественников: Мигеля Эрнандеса, Федерико Гарсиа Лорку и многих других, чье поэтическое перо стало оружием борьбы за светлое будущее.

С первого взгляда может показаться, будто чрезмерно материализованная жизнь сегодня отодвигает творца, художника на второй план. Мне вспоминаются несколько скептические слова нашего коллеги Уилья-

Выступает Мигель Отеро Сильва

За столом президиума — Юрий Бондарев

Английская писательница Эмма Смит



Слева направо: Л. Бартельский, Д. Пантелеев, Ян Пиларж

В центре — Ана Мария Матуте

Мария Эужения Нето — поэтесса из Анголы, вдова Агостиньо Нето

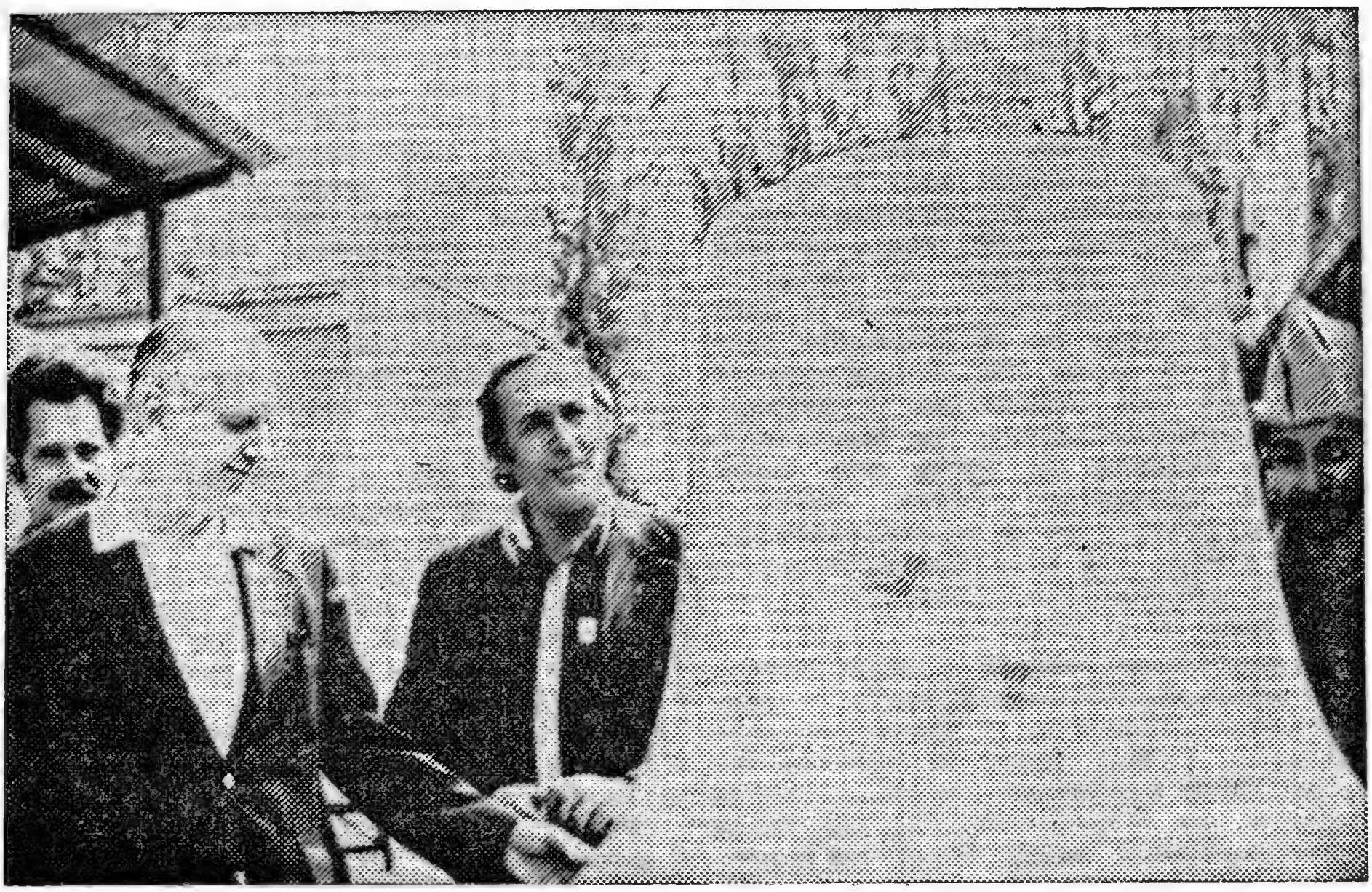
Блага Димитрова и Амрита Притам

Испанский писатель Анхель де Лера

Павел Матев и Олег Шестинский

Георгий Джагаров беседует с Леонидом Леоновым

Уильям Мередит и Лучезар Еленков возле памятного Колокола



ма Сарояна, которые он произнес здесь на Первой Международной встрече писателей. Он сказал, что ни один политик или генерал не спрашивал его разрешения и не интересовался его мнением, когда пускал в ход пушки. И это действительно так. Но значит ли это, что мы должны молчать? Мир живет в постоянном напряжении, и мы, люди чуткие к происходящему, не можем оставаться в стороне.

Но я начал с войн в «мирное время» — то тут, то там они вспыхивают в различных частях нашего полного тревог мира. Можно было бы еще раз сказать о войне, которую империалистический блок не прекращает вести против народа Палестины. Или упомянуть о непрекращающемся притеснении африканского населения со стороны белого меньшинства в Южной Африке, о провокациях в Афганистане, о конфликте Ирака и Ирана...

Если бы я стал анализировать, почему происходят войны, то слишком далеко ушел бы от своей основной темы. Вот почему я буду говорить о другой борьбе, о других войнах. О войне психологической, об акциях бандитов, о терроризме.

Мы должны повести активную борьбу с подобными действиями. Мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, кто был подлинным вдохновителем террористических актов, которые причиняют столько бед. Как все это выглядит? Если, например, жертвой покушения является какой-нибудь генерал, неискушенному человеку может показаться, что речь идет о вооруженной борьбе народа и что ведут эту борьбу люди, которые хотят свергнуть власть, олицетворяемую высокопоставленными чинами. Однако тот, кто задумывается над происходящим, не может не заподозрить: не стоят ли за спиной очередного подлого преступления тайные силы, которые, отсиживаясь под прикрытием свобод, хотят вернуть прошлое, иными словами, не ищет ли возврата свергнутая ранее или очередная новая фашистская диктатура.

Позволительно также спросить, какова роль ЦРУ в тех или иных покушениях или переворотах?

Есть и другие войны в мирное время. Войны, за спиной которых стоит ничем не гнушающийся капитал. Его символами могут оказаться наркотики, диски, моды, которые порой тлетворно действуют на молодежь во всем мире. И нас всех — отцов и матерей ее — не может это не тревожить. Хотя речь идет о войне без огнестрельного оружия, она тоже смертоносна и разрушительна. Современные торгаши без всякого стеснения перешли от более или менее легальных спекуляций к тому, чтобы с помощью разного рода одурманивающих средств втянуть нас в дьявольскую преисподнюю, обезоружить силы, борющиеся за свободу и за мир.

Со всеми этими войнами — терроризмом, наркотиками, гонкой вооружений — должны бороться мы, писатели. И здесь, на этом форуме, и у себя дома, за письменным столом, везде и повсюду, где нам придется выступать, мы будем говорить, что хотим мира и ненавидим войну во всех ее проявлениях, что мир, если он окажется подчиненным жажде наживы и лишенным человеческого облика, может привести нас к к самоуничтожению.

## *Эмма Смит*

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Все мы, присутствующие сегодня в Софии, находимся здесь потому, что нас глубоко тревожат судьбы мира на земле, нависшая над ним и так обострившаяся за последнее время угроза самому существованию человечества. Некоторых из нас, кто приехал с Запада, особенно беспокоит равнодушие к этой угрозе, явно наблюдаемое среди большинства населения наших стран. Возможно ли, спрашиваем мы себя, чтобы тысячи, миллионы людей были способны оставаться столь невозмутимыми, глядя, как их правительства готовятся к ядерной войне? Как могут люди, не числящие в своем родстве кровожадных монстров, даже не глупые, и не жестокие, а, напротив, добрые и человечные, спокойно внимать рассуждениям о массовом истреблении миллионов себе подобных, не задумываясь при этом над тем, какая чудовищная форма уничтожения, истребления уготована для них самих и их детей? Ответ может быть только один: они не в состоянии вникнуть в смысл всего этого — возможно ли в самом деле вникнуть в смысл того, о чем не имеешь понятия? Чтобы познать истину, которая выходит за рамки личного опыта, необходимо иметь доступ к правдивой информации. Огромные массы людей на Западе не имеют доступа к правдивой информации о подготовке к третьей мировой войне и ее возможных последствиях. Их лишают этой информации, лишают сознательно те, кто контролирует наши средства массовой информации. Международные монополии держат под контролем наши средства информации подобно тому, как они контролируют, прямо или косвенно, наши правительства и все стороны нашей жизни.

Разрядка напряженности — тема, предаваемая анафеме средствами массовой информации: на моей родине, в Великобритании, на нас обрушивают нескончаемые потоки дезинформации относительно всего, что хоть в какой-то мере связано с разрядкой,— финансируемые и инспирируемые правительством потоки антисоветской, антикоммунистической пропаганды против идей мира.

При всем том их воинственные словоизвержения не вызывают ответной реакции, на которую, казалось, могли бы рассчитывать вдохновители. На улицах и в магазинах вы не услышите разговоров о ракетах дальнего действия, о нейтронных бомбах или ракетах «Трайдент». Вы вообще не услышите разговоров о войне. На эту тему англичане многозначительно молчат. Перед нами явно парадоксальная ситуация: с одной стороны, средства информации, изливающие потоки устрашающей милитаристской пропаганды, с другой стороны, публика, люди, почему-то сохраняющие при этом

спокойствие и невозмутимость, словно лично к ним это не имеет никакого отношения, словно сами они находятся в сухом укрытии позади водопада. В том ли дело, что терпят провал попытки этих пропагандистов заразить людей страхом и ненавистью? Или, быть может, они действуют по законам расчетов более хитроумных? Пожалуй, отчасти и то и другое имеет место. Вопрос, видимо, только в степени того и другого.

Одна из очевидных причин этого безразличия современных англичан — вынужденная потребность сосредоточиться в первую очередь на проблемах экономического характера: повседневных заботах о том, как одеть и накормить семью, как оплатить счет за электроэнергию, как сохранить за собой работу. Для людей, над которыми постоянно нависает все более грозная тень инфляции, сокращения штатов, безработицы, все прочее — чуть более отдаленное, сколь бы серьезным оно ни было,— как правило, ускользает из поля зрения. Однако попробуем оставить в стороне бремя частных забот и попытаемся разобраться, так сказать, в чистом виде, в том, какое влияние оказывают или пытаются оказать средства информации на отношение людей к разрядке и вопросам мира вообще.

Начать придется со скандально низкого интеллектуального и культурного уровня нашей информационной продукции. Людям постоянно внушают тривиальнейшее представление о том, что есть человеческое существо, у них настойчиво отбивают охоту к сколько-нибудь серьезному и ответственному размышлению. Фильмы, транслируемые по телевидению, перенасыщены сценами насилия, зримого насилия, которое в наше время стало неотъемлемой частью развлекательных программ, что же касается фильмов о войне, то общее их количество не поддается исчислению. Изображение войны в наше время превратилось в основную форму развлечения, и зачастую бывает трудно отличить реальную, настоящую войну от войны вымышленной. Все это не случайно. Война превратилась в спектакль, заснятый камерой, в нечто, происходящее всего лишь на экране, не всамделишное, нам, зрителям, ничем не грозящее. Приблизить и в то же время отстранить — вот две задачи, скрытая цель которых сделать реальное нереальным. Лошадиные дозы кинодействительности, преподносимые без серьезного или вообще без какого-либо анализа, приводят к желаемому результату — окончательному умерщвлению способности к эмоциональному восприятию.

В старых же, мелодраматических, лентах о второй мировой войне, которые также идут на телеэкранах, мы вновь и вновь сталкиваемся с несколько иным, утешительным, образом некой эрзац-действительности, который скорее убаюкивает, нежели умерщвляет чувства.

Цель этих фильмов, как мне кажется,— с помощью скрипок за кадром и счастливого конца создать атмосферу ностальгии, вызвать ощущение, что нечто подобное уже было и в тот раз закончилось для нас благополучно, почему бы хэппи-энду не повториться и в следующий раз? Нам сознательно не напоминают, что зло, с которым мы сражались во время последней войны,— это реальное зло фашизма, иначе в голову может прийти мысль, что фашизм и сегодня — реальное зло, в борьбе с которым необходимо объединить усилия; не напоминают нам и о том, что 20 миллионов тех, кто был в ту пору нашим советским союзником, погибли в этой войне, благодаря чему Великобританию не раздавил сапог нацизма; не напоминают ни о том, против какого врага столь героически сражались болгарские партизаны и болгарский народ, ни о цене, которую заплатили другие восточноевропейские страны за освобождение от ига нацистской оккупации. Реальный облик исторического прошлого сознательно размывается, затушевывается, чтобы не напомнить нам невзначай о чем-нибудь таком, что способно расколдовать экранные чары. Английского зрителя не приглашают ни принять участие в создаваемом на его глазах сценарии истребления человечества, ни даже выступить в роли его комментатора — достаточно с него обычной роли: пассивного потребителя продукции масс-медиа, молча соглашающегося с тем, что было задумано и случилось без его ведома.

До сих пор публика, травмированная темпами распада общества благосостояния и крушения британской промышленности, как будто склонна соответствовать заданной программе. Но до каких пор так будет продолжаться? Сколько должно пройти времени, пока большинство, а не только отдельные люди, осознают наконец весь ужас планов наших правителей, планов, которые они пытаются освятить именем народа. Когда разбуженное сознание позволит воскликнуть большинству: «Хватит! Мы этого не хотим!»?

Наши нынешние властители с помощью своей многоголовой гидры средств информации хотят заполучить согласие народа на политику войны, согласие равнодушное, но тем не менее согласие, ибо они усвоили урок, преподнесенный историей: когда народ говорит «нет» достаточно громко и ясно, это может не только перечеркнуть избранный политический курс, но даже покончить с самой войной. Ведь вынудило же все возрастающее возмущение мировой общественности в конце концов администрацию США прекратить военную агрессию во Вьетнаме. Памятуя это, в сегодняшней Великобритании средства информации очень осторожно, поистине с макиавеллевской изощренностью, приучают среднего англичанина не вмешиваться в происходящее, а согласно кивать головой. Власти стремятся не допустить осознанного восприятия происходящего. Человека пытаются отвлечь, отстранить, затуманить его сознание, успокоить, обмануть. Все это делается. Мало того, делается под лозунгом укрепления демократии. Но что такое демократия? Как только правда перестает служить демократии, демократия перестает быть таковой.

Нас, англичан, непрерывно наставляют, ежедневно и ежечасно нам внушают, что

---

социализм в лучшем случае нелеп, а в худшем, особенно в том виде, в каком его олицетворяет Советский Союз,— устрашающе уродлив. Нам говорят, что социализм — синоним агрессии и экспансии, что он — угроза демократии, что он — враг человечества. И, разумеется, нам никогда не говорят о действительной угрозе, которую представляет социализм,— угрозе существованию капитализма. Что же до утверждения, будто социализм — враг человечества, то сейчас в мире достаточно примеров, способных еще и еще раз доказать обратное: что на самом деле, а не в одной лишь теории именно социализм — живая реальная надежда человечества. Подобные доказательства могли бы оказаться катастрофическими для обвинителей, и потому средства массовой информации заняты их сокрытием либо искажением.

Основа социализма — мир, и если в чем и нуждается он для расцвета — это во времени, в перспективе мирного развития; дайте социализму время, дайте ему мир без войн, и он окажется несокрушимым адвокатом собственной правоты — ни у кого на этот счет не останется сомнений. Отсюда и следует обращение капитализма к политике, цель которой — не дать социализму мира, не дать ему времени. Отсюда тотальная монополия на средства массовой информации, отсюда и запрограммированный их курс на ложь, на извращение фактов.

В милитаристской пропаганде, образцы которой нам, англичанам, в таком великом множестве преподносят сегодня в эфире, с экранов, в газетах, особенно поражают, как мне кажется, два момента. Во-первых, почему ее так много? Если согласие с проводимой политикой требует столь настойчивых словесных принуждений, не означает ли это наличия серьезного сопротивления этому курсу со стороны какой-то части аудитории, ее нежелания принимать внушаемое за истину? И второе, апелляция средств массовой информации к самым высоким категориям морали и этики. Суть здесь, на мой взгляд, не в том, откуда у капитализма взялась наглость морализировать — наглости у него всегда хватало, вопрос в том, п о ч е м у сейчас, в самый разгар оргии крушения социальных основ капитализма, ожесточились его нападки на демократические свободы, которыми по праву гордится английский народ и которые были завоеваны на протяжении ряда столетий в жестокой и смелой борьбе с реакцией, почему капитализм так печется о том, чтобы предстать в глазах мира поборником прав человека? Почему, когда все его деяния столь явно свидетельствуют о несправедливости и нетерпимости, он позволяет себе взывать к принципам свободы, справедливости и т. д. и т. п.?

Почему, занятый экономическим порабощением, политической кастрацией, интеллектуальным оскоплением, духовным обманом английского народа, который он все ближе и ближе пододвигает к пропасти, грозящей поглотить в пламени атомной войны все человечество, капитализм испытывает столь острую потребность в морализаторской упаковке и лживо-праведных ярлыках для безнравственной продукции, которую ему во что бы то ни стало необходимо сбыть? Ответ прост: мораль на бирже корпораций имеет в наши дни рыночную стоимость. Общественное мнение монополии рассматривают как предмет купли-продажи; как нечто, чем можно и должно умело пользоваться. Это — фашистский принцип. Известно, что стихия общественного мнения, если ее раскачать, может оказаться неуправляемой; военный бизнес стремится обратить ее в стихию поистине губительную: силам мира это следует иметь в виду. Правда, покушаясь на общественное мнение, поджигатели войны — транснациональные корпорации — вынуждены в наши дни принимать в расчет открытие собственных исследователей рыночной конъюнктуры: оказывается, человеком движет не только собственнический интерес — рычаг капиталистической психологии, которая с помощью средств массовой информации от века внедрялась в сознание публики, но и такие понятия этики, как справедливость и несправедливость. А если это так, если большинство поддержит то, что оно с точки зрения морали считает справедливым, и отвергнет то, что сочтет несправедливым, значит, его надо любой ценой убедить, что курс, который ему навязывают,— правильный и справедливый, и, наоборот, идеи, против которых его убеждают выступить,— несправедливы. Правде в этой циничной логике места нет.

Чтобы свести концы с концами, наши средства массовой информации прибегают к фальсификации фактов, хуже того, они фальсифицируют сам язык, которым излагают факты: фальсифицируют сами слова. Слова — это драгоценнейшая, тончайшая субстанция. Они облекают смыслом нашу жизнь. С помощью слов мы общаемся, мы обмениваемся мыслями. Но если слова действительно способны облекать смыслом нашу жизнь, они должны сохранять заложенное в них истинное значение, которое выходит далеко за рамки простого поименования предмета или понятия; они должны с точностью выражать оттенки наших намерений и сами получать выражение в нашем поведении. И если смысл, заключенный в них, незамутнен и чист, отражения тоже должны быть соответственно точными. Говоря о чести, не следует путем ловкой подмены именовать ее бесчестием, слово «надежный» не следует употреблять по отношению к тому, что заведомо ненадежно, словом «оборона» подменять «нападение», говоря о постыдном, нельзя называть его «достойным». Производить такого рода подмены — значит искажать внутреннее содержание слова, иначе говоря, клеветать на его истинный смысл. Это и есть то самое, чем занимаются сегодня наши поджигатели войны: для того, чтобы использовать естественную нравственную человеческую реакцию в своих безнравственных целях, они сознательно манипулируют формулами языка — искажают истинное значение употребляемых понятий. В результате слова, и без того часто обвиняемые в обмане и лжи, навлекают на себя еще больше подозрений: люди перестают считать их надежными полпредами смысла.

Отказывая в доверии словам, они перестают верить в побуждения и намерения, в

чувства, которые за ними скрыты,— во все побуждения, все намерения и все чувства. Слова способны, будто на крыльях, поднимать дух человека, и потому, когда язык поступает в распоряжение фальсификаторов, опороченными оказываются далеко не одни слова.

Мир в наши дни — этот синоним самой веры в завтрашний день человечества — зависит от желания и стремления людей понять друг друга. И помочь нам здесь способен лишь тот язык, который в полном смысле слова отвечает этому стремлению. Ибо когда слова теряют истинный смысл, мы теряем способность пытаться с их помощью лучше понимать друг друга, приближаться друг к другу; напротив, мы отдаляемся друг от друга и оказываемся в изоляции, менее защищенными перед натиском продажной пропаганды и грубой силы. Я верю, что наш долг, долг писателей,— восстановить, защитить, обеспечить неприкосновенность достоинства языка, защитив и обеспечив тем самым изначальное, главное право каждого человека — право на общение друг с другом. Мы, писатели, работаем со словом — разве мыслимо для нас пройти мимо хотя бы одной попытки постыдного обращения с ним как с расхожей пустышкой, способом одурачить, средством обмана? Словам предначертана иная судьба — служить дару вдохновения, которое через барьеры времени и расстояний мы передаем друг другу, для наших посланий конечной веры в мужество и человечность людей, действующих во имя взаимного блага, а не во вред друг другу. Печатное слово способно существовать столь же долго, как сам мир, как должен существовать мир,— вечно. Давайте же попытаемся поставить это великое орудие нашей профессии — а вместе с ним и нас самих — на единственно подобающее ему и нам место в мире — на сторону социализма, сторону справедливости и морали, сторону жизни. Мы, писатели, обязаны выступать на стороне жизни.

## *Юрий Бондарев*

СССР

Только торговцы блаженными снами и архитекторы башен вавилонских утверждают, что свет и тьма живут в непрерывном диалоге, доказывающем извечное равновесие в мире. Но где он, этот диалог равновесия? Свет и тьма находятся в состоянии неистовой борьбы белого и черного, и тьма кривляется на кровавой сцене, угрожая свету мучительным апокалипсисом, а свет кричит пронзительно, испытывая боль перед человеческим безрассудством.

Правительства и кабинеты приходят и уходят, но косность, алчность, глупость и самонадеянность остаются, как будто это феномены наивысших земных постижений, а ненависть, сладострастная игра силой и последовательное приближение к гибели планеты и человечества как будто определены завороженностью тупого разума.

Совесть — внутренний судья, который помогает отличить добро от зла, черное от белого и выражает отношение к реальности. Все великие утопии, философии, искусство, все содеянное ради человека было рождено совестью, которая, однако, стала химерой в третьем рейхе, уничтожившем 56 миллионов людей в Европе и Азии.

Человеческая боль и человеческие страдания сороковых годов нашего столетия остались в конце концов невыученными уроками истории. Трагический урок продолжается, приобретая иные формы, подверженные новой моде военного насилия последних десятилетий — убивать руками других. Да, после окончания второй мировой войны, в течение 35 лет так называемого мирного времени на земле уже произошло более ста крупных локальных войн, и потери исчисляются миллионами.

Кроме того, в состоянии перманентной битвы с природой человек насилует, отравляет, обезвоживает землю, одерживает в жадности и безумии потребления роковые победы. И все-таки в этом сражении он не будет победителем. Идея цивилизации стала идеей ложной, лишенной разумности: шуршание денег и мелодичный звон золота подменили нравственность, совесть, стыд, мужество, веру, любовь. Американский образ цивилизации распространяется по земле подобно эпидемии гриппа. Началась эра разрушения духовных ценностей, место которых занимают предметы и вещи.

Две угрозы висят над человечеством: война оружием — казнь свободы и культуры и война экологическая — медленное самоубийство. В некоторых странах не угасает кровавая вражда людей — своего рода необъявленная гражданская война: палачи и жертвы, террористы и «черные куртки», националисты и «красные бригады».

Человек виноват во многих собственных бедах, ибо разрешает злым силам командовать собой. Но если утверждать, что по своей природе люди добровольно принимают на себя роль жертв или убийц, то это значит, что исправить в этой жизни ничего невозможно и люди недостойны уважения, а великое самосожжение героев, философов и писателей ради торжества концепции человека — бессмысленно.

Можем ли мы согласиться, что все действенные идеи похищены нашими врагами, изверившимися в человеке, и использованы против нас?

Оптимизм и трагизм художника — это лицевая и оборотная стороны медали, диалектическое единство, в котором одно не исключает другого.

Зло социально в своей первооснове, а не самой Вселенной так устроено. Зло реализует насилие как власть.

Говорят: когда гремят пушки, музы молчат. Не думаю, что эта мудрость соответствует моменту современной истории. Писатель — посредник во всеобщем общении

людей. Когда гремят пушки, тишина — это звук смерти, а наше молчание — согласие с войной.

Очевидно, одно из главных действий доброй воли — преодолеть политическую пассивность, инертность мирового обывателя, который с одинаковым равнодушием и страхом исповедует спасительный, но в конце концов преступный принцип «А мне-то какое дело?» Он, обыватель, способен увидеть и понять хорошее, но пока еще не способен совершить поступок, сделать последний шаг к добру, в сторону от равнобедренной морали середины

И хотя кто-то в отчаянии сказал, что на каждого Толстого приходится сто Наполеонов, а на каждого Менделеева — тысяча Эйхманов, мы не должны терять надежды. Мы не должны с плачем взывать к глухой аудитории и, не услышав эха, уходить в самих себя в поисках успокоительного убежища.

И остаются первородные проблемы: жизнь и смерть.

Литература — содружество мирового чувства и мирового разума.

Ключи от надежды и доверия еще окончательно не потеряны сегодня, но могут быть потеряны завтра. Сознание людей надо завоевывать, иначе разрушительные силы алчных и беспощадных властолюбцев сотрут грань между добром и злом и наступит последний день человечества. Понять это — значит уже действовать.

И если даже мы согласимся, что безумный мир 60-х годов превратился в жестокий мир 70-х годов с его омертвением добра, то все равно девиз писателей остается прежним: «Не только оружием!» — «NON SOLUM ARMIS!»

## *Хуан Эдуардо Суньига*

### ИСПАНИЯ

Я буду говорить о главном враге писателей — войне. Я вижу в ней не только грязный бизнес — в случае, когда она ведется с захватническими, колониалистскими, грабительскими целями, но и фактор морального разложения.

Чтобы пояснить свою мысль, расскажу о книге, которую опубликовал несколько месяцев назад и в которой стремился рассмотреть под определенным углом зрения гражданскую войну в Испании: как тяжкий удар в душу многих испанцев.

Часть сознательного населения посчитала тогда своим долгом с оружием в руках подняться против врага. Но я не хотел в этой книге касаться героической стороны войны, говорить об ее участниках, о народном мужестве, о кровавой эпопее на фронтах. Такую работу уже проделали до меня другие писатели и выполнили ее лучше, чем мог бы это сделать я. Не хотел я также описывать физические страдания людей и те унижения, через которые им пришлось пройти, как это блистательно сделал, например, в своей повести «Холера» Людмил Стоянов.

Я постарался рассказать то, чему был свидетелем в годы гражданской войны, когда подростком, живя в Мадриде, увидел его осажденным, сотрясающимся от ежедневных бомбежек, увидел бои на его окраинах.

Я обратился к этим свидетельствам прошлого, чтобы показать, какие низменные чувства может породить война, какой отпечаток оставляет она в сознании и психологии людей. Я имею в виду определенный социальный круг людей, которых избрал героями своих рассказов. Тех, кто не понимал сущности войны в ее общественно-экономическом выражении. А их было немало. Эти люди восприняли ее как несправедливое стихийное бедствие, и это причиняло еще больший моральный ущерб.

Война в том психологическом плане, в котором я решил ее проследить, находила свои наихудшие проявления именно в тех слоях общества, в которых не было ясного представления о причинах ее возникновения. Такие люди не борются, потому что у них нет убеждений, способных толкнуть на самопожертвование, на отказ от материальных благ, когда на карту ставится судьба народа. Потрясение этих людей настолько велико, что невольно делает их соучастниками подлой сущности войны.

В своих рассказах — этом моем протесте против войны — я обращался к достоверным фактам, которые с ужасающей жестокостью возникали в той экстремальной обстановке.

Война может, к примеру, пробудить преступную жажду наживы не только у капиталистов — торговцев оружием,— но и у тех, кто, чувствуя себя в опасности, пытается воспользоваться силой денег и драгоценностей. Такая корысть оборачивалась крахом для целых семей; рвались кровные узы, которые объединяли людей, пока они не начинали тяжбу из-за наследства или состояния.

Над городом витала смерть, готовая в любую минуту обрушиться на человека, и сознание этой временности бытия порождало неуверенность, заставляя искать утешения в случайной любви, в иллюзорных «знамениях судьбы», в разгадке снов с их призрачными аллегориями и предсказаниями.

В атмосфере войны оказывались возможными самые крайние выплески, самые жуткие психологические срывы. Обычно скрытые в человеке темные страсти как бы выползали на поверхность. Эта разрушительная работа войны, этот военный психоз тяжким кошмаром обернулся для тех, кто не понимал истинных причин развернувшихся в Испании событий, которые явились прологом бедствия, обрушившегося на мир в сентябре 1939 года, когда гитлеровские орды начали свой военный поход.

В своей книге — прошу прощения, что избрал ее темой для выступления,— я хотел показать гнусность, которая неизбежно всплывает вместе с войной. Однако в эту жалкую панораму я внес вспышки веры в

человеческий разум, благородные порывы, чтобы читатель смог задуматься над тем, какая из двух противостоящих друг другу сторон была права, почему Мадрид являлся тогда символом свободы, за которую шли на смерть испанские патриоты, а рядом с ними бок о бок сражались бойцы Интернациональных бригад, и среди них, кстати сказать, были отцы наших сегодняшних хозяев встречи, многие из которых до сих пор еще покоятся в безвестных могилах рядом со своими товарищами по оружию.

## *Остен Шостранд*

### ШВЕЦИЯ

На этой конференции многие писатели уже говорили о важности взаимопонимания между народами — особенно сейчас, когда мы очутились перед лицом опасности ядерной катастрофы. Испанский писатель Анхель де Лера в своей речи подчеркнул, сколь важно не свести духовное общение людей к формальным декларациям и банальным заверениям. По этому поводу я тоже хотел бы сказать еще несколько слов.

В нашем мире — мире огромных социальных и политических перемен долг писателя, я думаю, заключается в том, чтобы не свести к упрощению, прямолинейным формулам концепцию человеческой личности. Наш долг,— не занимаясь копанием в низменных инстинктах человеческой натуры, утвердить это понятие во всей его сложности, сохранить живым истинный облик внутреннего мира человека и его стремлений. В природе каждого человека заложено нечто, выходящее за рамки будничных представлений. «Попытка взлететь» — название и смысл пьесы большого болгарского писателя Йордана Радичкова — как нельзя лучше говорят об этом свойстве человека.

И его особенно важно сохранить сейчас, когда всем живущим на нашей планете угрожают тотальным уничтожением. В наше время главная задача литературы, поэзии состоит в том, чтобы помочь человеку сохранить неразрушенным его внутренний мир, свойственными только им средствами спасти нас от духовного паралича. Поэзия в восприятии человека — так это порой случается со мной — становится своего рода волшебной силой, перед которой отступают силы зла, она пробивает путь к человечности, красоте, к торжеству живого духа. Более того, прокладывая себе путь сквозь барьеры меркантильного общества, обостряя нашу способность реагировать и чувствовать, она не дает человеку утратить чувство справедливости.

Искусство обладает уникальной способностью влиять на наше воображение, проникать в суть вещей, находя для этого единственные слова.

Сохранять верность жизненной правде в изображении человека, открывать сокрытые в нем возможности, будить в нем творческое, созидательное начало — вот что должно определять наш труд, труд писателей, вот что способно расширить наше понимание человеческого сообщества, на которое мы возлагаем такие надежды.

Безволие, пассивность могут погубить нас в тот момент, когда мы всерьез столкнемся с проблемой голода, смерти, жестокости, террора, глупости. К сожалению, слишком часто жизнь и деятельность людей становятся функцией досадного ощущения собственной беспомощности, цинизма, поиска утешения в наркотиках и других формах саморазрушения.

Мы более не имеем морального права ограничить свою жизнь одним стремлением к накоплению материальных ценностей. Песок, песок, пустынная планета — вот все, что останется, если мы вовремя не научимся соединять свою деятельность с устремленностью к духовным ценностям. В той же степени, в какой развивающиеся страны нуждаются в плодоносной земле, свежей воде, орудиях производства и школах, наш хлеб — творческая сила воображения, которое поможет нам заново пережить радость бытия, откроет новые горизонты, позволит поверить в возможность построения нового общества, которое непременно родится — быть может, не завтра, но, во всяком случае, родится.

## *Эрвин Фишер*

### ФРГ

Самый тягостный вопрос, который мне довелось услышать в этом году от одного доброго друга, звучал так: «Скажи, будет ли война?»

Я озадаченно ответил: «Не знаю».

Но действительно ли я не знаю? Это бы означало, что манипуляторы страха, организаторы насилия, диктаторы раздора уже достигли своей первой цели: внести сумятицу в умы, распространить неуверенность. Это бы означало также, что они в состоянии добиться и своей второй цели: войны всех против всех, как сформулировал это Томас Гоббс.

Афинянин Платон в своих «Законах» постулировал, что все находятся в состоянии войны со всеми:

«Bellum omnium in omnes»...

Римлянин Луцилий шутил: «Они расставляют ловушки, как будто каждый каждому враг».

И наконец англичанин Гоббс провозгласил в своем «Левиафане»:

«Bellum omnium contra omnes» [1]

Но я говорю: Левиафан мертв!

---

[1] Война всех против всех *(лат.)*.

Войны всех против всех не будет, если все этого не захотят, если никто не станет оспаривать права другого на жизнь, если никто не станет угрожать другому своей силой, если каждый объединится с другими в борьбе за мир.

«Сентябрь станет маем! — пророчески провозгласил Гео Милев,—

Жизнь человека
Расцветет пышным цветом,
Станет все прекрасней и прекрасней!
Земля станет раем —
Так это будет»

Но что, если Гео Милев ошибся?

Может ли поэт ошибаться в своей любви к людям, в своих предсказаниях о будущем человечества, как ошибается судья в попытке установить истину?

Мы знаем, что это не так, ибо язык поэта — это биение его сердца, мысль его — отражение его души, и его творения не подлежат пересмотру, как приговор судьи. Всем существованием своим он утверждает веру в человека, надежду на человечество, любовь к своему народу.

Пусть буря бушует, я снова хочу
Быть вместе с тобой, мой народ,
ведь мы любим друг друга!

Это последние строки последнего стихотворения Николы Вапцарова, написанные в день его казни, 23 июля 1942 года. Мог ли ошибаться Вапцаров в своей вере, что народ любит его, как он любил свой народ? Мир хорошо знает, что Никола Вапцаров не ошибался ни в эти последние часы своей жизни, один на один со своими убийцами, ни в осознании целей той борьбы, которой была полна его короткая жизнь, и те из нас, кто, как и я, около года тому назад имели честь быть приглашенными сюда на празднование 70-летия Вапцарова, можем это засвидетельствовать. Мы убедились, что сбылась надежда Вапцарова, о которой он так писал в своих стихах:

И тогда своими руками,
Своим потом, единым стремлением
Мы построим жизнь, долгожданную,
нужную —
И что это будет за жизнь!

Не так давно в моей стране видные ученые, занимавшиеся проблемами будущего, пришли к выводу, что у человека в рамках поступательного движения истории есть великолепные шансы путем создания новых структур прийти к таким формам общественного бытия, в которых воплотятся тысячелетние мечты человечества о жизни в условиях мира и равноправия. При этом свобода человека определялась ими как такое состояние независимости, когда равная ответственность каждого перед каждым становится прогрессивной нормой для преодоления бесчеловечного гнета извращенного классового мышления.

Параллельно была предпринята попытка междисциплинарного исследования проблем мира и конфликтов, уже первые результаты которого позволили на основе вышеприведенного вывода создать конкретную теоретическую модель предотвращения военных катастроф.

Что же из этого вышло?

Социологам и политологам с горечью пришлось выслушать упрек, что они разрабатывают не научную теорию, а служат целям политической идеологии, то есть диалектически и идеологически искажают и неправильно используют результаты своих исследований и отдельные положения своей концепции. И футурологи, еще недавно захваченные богатыми перспективами прогрессивного, ориентированного на новые ценности общества будущего, по большей части прекратили свою работу в самом начале или же, ввиду успеха уже существующих прогрессивных общественных форм, свели все дело к исследованию современных проблем, руководствуясь уже не принципом надежды, а следуя правилу «держи вора» — формулируя новые страхи перед «неопределенным» будущим, для которого они вдруг перестали видеть какую бы то ни было альтернативу в форме новых общественных структур. Во всяком случае ее нет, если под прогрессом понимать освобождение человека от страха перед будущим.

В результатах третьей технической революции и связанных с нею экологических проблемах,— так утверждают эти ориентированные на современность предсказатели,— ничего нельзя исправить с помощью революционных общественных норм. Другими словами: не манипуляторы страха, организаторы насилия и диктаторы раздора украли у человека свободу, а он сам потерял ее в ходе технического прогресса, против которого общественный прогресс бессилен.

Так что ж, значит, поэты ошибались? Значит, они предсказывали ложное будущее? Будили несбыточные надежды? Торжествует ли рациональность абстрактно-научной теории над этико-гуманистической эмоциональностью?

Я не намерен в рамках своего краткого выступления начинать новое «культурное сражение». Но насколько сомнителен для меня свободный характер научных результатов, осуществление которых зависит от степени их «пригодности», настолько я убежден в ценности поэтического слова, ибо корни его — в любви к человеку, ибо оно независимо ни от материального насилия, ни от физической власти; не страшась никаких жертв, оно служит осуществлению надежд народов на общество, где восторжествуют принципы свободы, равенства и братства.

«И что это будет за жизнь!»...

Думаю, в этом зале нет ни одного слушателя, который бы не знал, «что за жизнь» имел в виду Никола Вапцаров, поэтически пророчествуя о будущем человека... Одна известная деятельница науки в моей стране видит его, однако, иначе. Вот что она предвещает в своей недавней публикации, касаясь своих результатов исследования проблем будущего,— я цитирую:

«Можно исходить из того, что смерть в экологическом смысле не является осмысленной целью общественной деятельности, скорей следует выживание принять в качестве этического минимума общества». Конец цитаты. Что-то странное творилось со

мной, уважаемые друзья и коллеги, когда я в сотый раз перечитывал эту фразу. Мне виделся древний бог в новом облачении, который провозглашал в современной форме древние заветы в качестве нового структурного образца для общества будущего:

— Чти капитал и поклоняйся ему всю жизнь!

— Уважай и почитай власть имущих, воспитывай детей и внуков своих в покорности им!

— Возлюби эксплуататора своего больше, чем себя самого и не поклоняйся кроме него никому!

— Не отказывай в послушании мучителям своим и будь им покорен до конца своих дней!

— Возненавидь ближнего своего, как он ненавидит тебя, и преследуй его со всей своей силой и страстью!

— Вооружайся для борьбы против представителей других рас, исповеданий и убеждений и убивай их всюду, где только ни встретишь!

— Довольствуйся тем, что имеешь, и радуйся тому, что можешь жить!

— Не стремись ни к каким целям, кроме тех, что тебе указаны, и не возжелай того, что тебе по праву недодали!

— Пожертвуй женой, ребенком и братом, если так прикажет тебе твой господин, презирай отца и мать, если они не пожелают склониться под игом зависимости!

— Не желай быть тем, кем ты вправе быть, но оставайся тем, кто ты есть, дабы не потерять и этого!

— Веруй лишь в то, во что тебе позволено, люби лишь то, что тебе не запрещено!

— Не стремись к свободе, не ищи независимости и не мечтай о равноправии!

— Пребывай не человеком, но тварью, ибо я поставил господ и властителей над тобой, и над твоими детьми, и над внуками твоими, и они разобьют тебе голову, если твоя душа возбудится и сердце восстанет против моего порядка, при котором ты — ничто,— господа же твои и властители — все, ибо они исполняют над тобой и тебе подобными волю мою, этический минимум и гуманистический максимум такого общественного порядка, который я позволяю тебе и тебе подобным!

«Bellum omnium contra omnes»?

А может, Левиафан все-таки не мертв?

Земля станет раем —
Так это будет!

Ошибался ли поэт Гео Милев, как давно уже оказался ложным пророком философ Томас Гоббс?

Странный вопрос перед форумом Третьей Международной встречи писателей, в гостеприимной стране, которая стала для нас родной и как раз в эти дни оказалась трибуной первого Всемирного парламента народов за мир. Странный вопрос, ибо цитированные мной поэты вышли из народа, который боролся за это общество, ибо и Гео Милев, и Никола Вапцаров — мученики, отдавшие жизнь за это общество, предсказанное силой их поэтического воображения.

Нет! Они не ошибались!

Нет! Они не оказались ложными пророками!

Нет! Не напрасно их кровь оросила землю, на которой расцветает дух мира и взаимопонимания между народами; страстное воодушевление разносит его созревшие семена через границы по всем континентам как свидетельство исполнившейся надежды:

...так это будет!

Так это должно быть! Так должно стать уже завтра, ибо время ускорило свой бег, и не тысяча лет сейчас как один день, а один день как тысяча лет. Смерть миллионов в ракетной боеголовке быстрее, чем единственная смерть в ружейной пуле. И быстрее, чем мозг отдельного человека способен сформулировать мысли о стремлении к миру и взаимопониманию между народами, распространяемая в эфире человеконенавистническая пропаганда способна отравить сознание.

Времени становится меньше. Запас его иссякает быстрей, чем запасы сырья и минералов. У истории больше нет комнаты ожидания, где можно бы дать созреть мыслительным процессам и где подготавливаются решения эпохального значения. Фашизм научил нас, что на смену комнате ожидания пришел операционный зал, где режут решительно и целеустремленно.

Отрезать! Отрезать! Отсечь! Ампутация целого народа запрограммирована в компьютере политических расчетов. Мы должны действовать сегодня, чтобы наши дети завтра могли жить так, как предвидели это вчера поэты.

Если же мы этого не сделаем, мы окажемся столь же виновными, как те, кто не написал, хотя обладал громким голосом, кто не потребовал, хотя имел для этого достаточно оснований, кто не предостерег, хотя долг гуманизма требовал от него этого.

Человек и его будущее! Это давно уже не тема для философствования, а жизненная заповедь.

Мир — надежда планеты. Это давно уже не изящная формула проблематики международной встречи интеллектуалов, но приказ бойцам, служащим той любви, что наделяет их в семье народов способностью выражать страстное стремление людей к свободе и мирной жизни на нашей планете.

Этот мир представляется мне единственно мыслимым будущим для человека. Он — величайшее достижение и высшая цель его цивилизованного развития. Но наш мир станет раем лишь тогда, когда государства, гуманистический характер которых избавил людей от экономической зависимости и социального неравенства, выиграют битву за мир. Это не схоластика пацифизма, а диалектика реализма, способного заставить замолчать оружие.

Данная, Третья Международная встреча писателей превзойдет по своему значению предыдущие, если ее участники присоединятся к решениям только что закончившегося Всемирного парламента народов за мир и обратятся ко всем правительствам и ко всем народным представительствам с призывом, с предостерегающим и

напоминающим призывом деятелей искусства: прекратить гонку вооружений, выступить с законодательными инициативами за ослабление политической напряженности. Ибо мир и взаимопонимание между народами — это не только потребность для человека, но и заповедь для человечества, которое не может больше порождать виноватые поколения. Учтите: виновным в будущем будет считаться уже тот, кто решит, что ему достаточно сослаться на свою невиновность.

Позвольте мне под конец еще несколько замечаний в связи с темой нашей сегодняшней встречи.

Итак, знакомство взаимопонимание между народами.

Могу сказать про себя, что наши прежние встречи означали для меня не только коллективные связи, они обогатили меня, несмотря на языковые барьеры, личной сердечной дружбой. Книга на шести языках с нашим Посланием к творцам будущего, написанным нами от руки для грядущих поколений, которую наши болгарские друзья издали после прошлогодней Второй Международной софийской встречи писателей, необычайно расширила мой горизонт и изменила мое личное самочувствие. Благодаря мастерству болгарских переводчиков, познакомивших меня с вашими мыслями, каждая личная встреча с вами переросла в глубокие духовные отношения. Каждый из вас — постоянный гость в моем рабочем кабинете. Достаточно лишь снять книгу с полки, и встреча возобновляется, а чтение углубляет чувство связи. И вот еще чему служит эта книга. Ее уже множество раз просили у меня почитать родственники, друзья и знакомые, с помощью почты она может пересекать и границы во всех направлениях; так что немалое число людей благодаря вашим факсимильным текстам познакомится с вами ближе, чем это могло бы позволить чтение ваших переведенных работ.

Так на моем самом скромном примере вы можете видеть, какое важное значение имеют наши софийские встречи для нашего личного знакомства и для дела взаимопонимания между народами. Я убежден, что каждый из вас может привести примеры, несравненно более важные...

Друзья! Когда мы говорим о человеке и его будущем, мы говорим о мире и взаимопонимании между народами. Следовательно, это вопрос личных связей и дружеских отношений независимо от языковых барьеров и национальных границ! И в этом — звучание голоса нашего сердца, свидетельство зрелости нашего разума. За мир, за будущее для нашей планеты мы сами должны бороться.

## *Урбано Тавареш Родригеш*

### ПОРТУГАЛИЯ

Прошло три года с тех пор, как мы впервые собрались на конференцию в гостеприимной Софии, где живет и приносит плоды духовное наследие Димитрова.

За это время во многих странах произошли перемены: патриоты Никарагуа завоевали свободу, в борьбе за которую отдали свою жизнь лучшие сыны народа; в Сальвадоре и Боливии демократия одержала победу, однако вскоре — увы! — реакционные силы обеих стран, при всем различии внутренней ситуации в них, взяли верх, хотя мужественные борцы за светлое будущее не сложили оружие.

Бесчеловечный режим Пол Пота и Иенг Сари в Кампучии был сметен мощным гневом народа, жаждущего справедливости и лучшей жизни. Однако через короткое время грубой агрессии подвергся Вьетнам, и лишь долгие испытания и героизм помогли ему отбросить интервентов.

Ряд других событий нарушил согласие между народами, необходимое для того, чтобы достойная и гармоничная жизнь воцарилась на земле, где голод, нищета, угнетение все еще являются жестокой реальностью, где до сих пор не существует возможности быстро разрешить трудные проблемы развивающихся стран — эпидемии, голод, порабощение. Мы с тревогой следим за расширением ирано-иракского конфликта.

В такой — действительно мрачной — обстановке ястребам «холодной войны» легче плести сети интриг, разжигать ненависть, подстрекать к раздорам.

Каждый день приносит нам новые свидетельства того, что экологическая стабильность планеты под угрозой, что ее атмосфера загрязняется, мир перенаселен и охвачен истерией, что, несмотря на успехи социализма, в отдельных странах Африки и Азии люди вынуждены бороться за свою долю свободы и человеческого достоинства, за общее счастье. Несмотря на это, как и на то, что наша жизнь коротка и порой лишена ясной цели, что порой она проходит меж двух кровопролитий, в грохоте атомного взрыва, под угрозой нейтронной бомбы и ядерных ракет, мы должны остановиться, собраться вместе и обсудить все это, чтобы заявить решительное НЕТ глупости и бессмысленному насилию. Ведь мы писатели.

Писатель наделен властью над словом, способностью к эстетическому поиску, чуткостью и даром предвидения. Ему дано и большее: он — носитель критического духа, он противостоит и всегда должен противостоять врагам справедливости, свободы, мира, он, если того требуют обстоятельства, должен быть бескомпромиссен даже с друзьями, привлекая их внимание к попустительству и ошибкам. Писатель — человек мира, но мира, отвергающего рутину; это человек неустанных открытий и созидания в братстве, в любви, в свободе.

Я прибыл из страны, которая, пережив чудесную и полную своеобразия революцию, снова оказывается сегодня перед опасностью фашизма, верх могут одержать силы реакции. В эти дни мы боремся за победу демократии, а для нас это означает победу тех, кто при всех различиях во взглядах стремится к улучшению условий жизни трудящихся, к уважению духовных усилий, к установлению дружеских связей со всеми странами мира.

Лишь чудовище фашизма должно быть изгнано из всемирного сообщества людей. Нам не следует также забывать наш долг — всеми мирными средствами поддерживать истерзанные народы Чили, Парагвая, Боливии, Палестины, не оставлять их в беде, во мраке нищеты и жестоких битв, которые они неутомимо ведут за то, чтобы вернуть родине свободу.

Подлинный писатель, независимо от того, реалист ли он или предпочитает образные средства фантастики, приверженец ли классической ясности стиля или искатель новых возможностей в обширной сокровищнице литературного языка, не может не занять в своем отношении к миру антифашистскую позицию. Ибо настоящий писатель, будь то наследник Шекспира, Сервантеса, Камоэнса, Достоевского или Рембо, является в наши дни не просто волшебником слова, всеведущим магом человеческих чувств: он воплощает также совесть своего времени и своего общества, чаяния своего народа. Об этом достаточно свидетельствуют Пабло Неруда, Алехо Карпентьер, недавно ушедшие от нас, Хулио Кортасар, Луи Арагон, Гарсиа Маркес, Итало Кальвино, Хосе Гомес Феррейра... А недалекое прошлое оставило нам имена Гарсиа Лорки, Чезаре Павезе, Карло Леви, Поля Элюара, Хосе Бергамина, Жан-Поля Сартра, Элио Витторини, Хосе Марии Аргуэдаса. Завещанный ими урок, даже когда им случалось ошибаться, даже когда их подход грешил идеализмом, когда им недоставало широкого и ясного взгляда на действительность, вселяет в нас глубокую веру в силу прогресса и мира.

Дорогие коллеги, друзья, товарищи, итогом этой встречи должен быть призыв, в котором самые различные голоса сольются в единое взволнованное и пламенное НЕТ холодной войне, грозящей ввергнуть нас в ядерную катастрофу, НЕТ эгоизму плутократии, скрытому за ложью, диффамацией, клеветой и апокалипсическими ужасами; ДА дружбе народов, ДА красоте, справедливости, братству, человеческому достоинству.

*(Окончание следует)*

■

АНУАР АЛИМЖАНОВ

# ПОД ОДНИМ НЕБОМ

Даже тогда, когда седина окрасит твои волосы, память не устает раскрывать сокровенный смысл увиденного и услышанного в детстве. Вот и сейчас, когда я по поручению «Иностранной литературы» готовлюсь поделиться впечатлениями о только что закончившемся в Софии форуме и просматриваю свои заметки о работе Всемирного парламента народов за мир, память уносит меня к дням войны, к родному аулу, к словам старого аксакала, услышанным в детстве и запомнившимся на всю жизнь.

Пусть мне простят читатели длинный зачин — он для меня насущен и имеет, я думаю, отношение к тому, о чем дальше пойдет речь в моих заметках.

*Итак, война... Все мужчины нашего селеньица, приютившегося на склоне отрогов Джунгарских гор, ушли на фронт. Снежная, вьюжная, необычайно холодная зима обессилила оставшихся женщин, детей. Вся тяжесть забот, казалось, легла на плечи стариков. Да и стариков-то в нашем ауле, названном именем маленькой жизне-*

---

**АНУАР АЛИМЖАНОВ** (род. в 1930 г.).

Советский писатель, журналист; лауреат Международной премии им. Дж. Неру, Государственной премии Казахстана и премии ЦК ВЛКСМ Казахстана. Автор романов «Стрела Махамбета», «Гонец», «Возвращение учителя», ряда повестей, сборников очерков и статей. Член Советского Комитета защиты мира, член Комитета по связям с писателями Азии и Африки.

радостной птички карлыгаш (ласточка), было не больше десяти.

Но десять стариков на сорок или пятьдесят дворов — это уже сила. Их мудрость, опыт, деловитость вселяли спокойствие. Самый крепкий — Хамза — еще глубокой осенью угнал небольшой табун колхозных кобылиц в далекие пески на зимовку; другой — Жакып — хозяйничал в соседнем ущелье, где на старом базу, сложенном из дерницы, содержались колхозные коровы. Он был одновременно и скотником, и сторожем, и ремонтником, а летом пастухом; трое стариков — Акшолак, Егеубай и Хусаин,— лопатами прокладывая дорогу в сугробах, помогали женщинам и подросткам свозить остатки сена и соломы для коров и дрова для колхозной конторы и двухкомнатной школы.

Остальные во главе с председателем — тоже стариком — чинили телеги и сани, уходили на ремонт в МТС, где находились три наших колхозных трактора, водили обозы в райцентр, чтобы свезти туда, для отправки на фронт, остатки зерна, варежки и полушубки, сшитые для бойцов женщинами и девушками нашего аула.

И только один из стариков жил в своем доме, как в крепости, огородившись забором и держа на цепи огромного злого волкодава. Ни внуков, ни снох, ни дочерей он не отпускал для работы в колхозе. Сена, дров, еды у него было вдоволь: десятка три овец держал, две коровы...

Люди голодали. Замерзали от холода. Метель и мороз закрыли дорогу в горные ущелья, где можно было заготовить дрова.

После очередной метели, занесшей снегом жилища до самых труб, люди прорывали в снегу траншеи, чтобы дойти друг до друга и проверить все ли живы. Выяснилось, что от болезни и недоедания умерла жена Мырзахмета, погибшего на фронте. Осталось семеро голодных детей. Старики распределили их по домам. Хотели было попросить помощи у владельца волкодава, но тот отрезал:

— Какое мне дело до вас. Я вам не мешаю, и вы меня не трогайте...

Весной сорок третьего года из райцентра на бричке, утепленной старой соломой, Хусаин в сопровождении девушки, представителя районного комсомола привез к нам в аул детей с Украины и Подмосковья. Улыбаясь сквозь слезы, не знавшие ни слова по-русски, ни по-украински женщины аула уводили малышей в свои дома...

Дом владельца волкодава был закрыт для них, да никто и не хотел, чтобы дети, прибывшие издалека, попали к нему..

С полей сошли снега. Показалась зелень Возле колхозной кузницы собрались все аульчане от мала до велика· готовились к севу От бескормицы и холода отощали и еле держались на ногах колхозные волы Люди выводили своих коров и впрягали их в плуги. На полянку возле кузницы вынесли в мешках все колхозное семенное зерно.

Старейшины собрались в круг. Посчитали мешки, посоветовавшись, три отодвинули в сторону.

— Люди! Смотрите сюда: это весь наш семенной фонд. Озимые дали хорошие всходы. А эти семена под яровые. Мы должны посеять их, не потеряв ни зернышка, иначе не соберем хорошего урожая, чтобы дать побольше хлеба нашим солдатам и хорошо накормить наших детей. Три мешка зерна поровну поделим на каждую семью. Больше зерна нет. Добудем немного картошки, уже есть молоко... Весна, лето скоро. Выживем. Не впервой...

— Э-эй! — закричали вдруг. — Хамза возвращается...

Из-за дальнего холма небольшой косяк кобылиц рысцой приближался к аулу. Тонконогие, еще совсем слабые жеребята старались не отстать от матерей. Следом за косяком — гривастый черный жеребец, в седле, увешанном торбами, — человек в огромном малахае. Поверх шубы на нем шерстяной рваный чекмень. За плечами — ствол старой берданки.

Люди умолкли. Долго не было вестей от Хамзы. Лютовала зима, лютовали волчьи стаи. Ходили слухи, что он замерз в песках, что его и кобылиц загрызли волки: прошло почти полгода, как он угнал косяк в пески... Люди не верили в чудо...

Но вот он, Хамза! Он жив. Лицо растрескалось и потемнело от ветров и морозов. Седые волосы прилипли к малахаю. Руки как коряги, но светятся глаза. Женщины с почтением снимают его с коня, говорят что-то смешное, доброе...

Председатель торопит людей: надо начинать сев.

— Сеялка одна; чтобы быстрее пошло дело, будем сеять вручную,— говорит он.— Эй, бабы, давайте ваши торбы, будем делить зерно из трех мешков — сегодня хорошо покормите детей.

Никто не заметил, как к баскарме[1] приблизился владелец волкодава. В руке у него была расшитая торба.

— Сыпь побольше. Не жалей, не твое, колхозное.

Побагровел председатель, старые жилистые руки сжались в кулак.

— Эй, ты, мы, кажется, с тобой одногодки. Нам обоим седьмой десяток пошел. Но вот что я тебе скажу: мое зерно или не мое, но ты его не получишь. Не заслужил!

— Ишь ты какой, баскарма! Самоуправством занялся, власти на тебя уже нет?! — процедил сквозь зубы хозяин волкодава.

— Прочь отсюда! — вдруг заревел председатель. Люди никогда не видели его таким.

Хамза, еще не понявший, в чем дело, протиснулся вперед.

— Ну, что тут у вас стряслось? Зачем ты так, Абиш? — тихо проговорил он, обращаясь к председателю. Тишина стояла над толпой Только фырканье коней да визг детей, гонявшихся за жеребятами, доносились до слуха.

— Хамза,— уже спокойно, но четко проговорил Абиш,— ты помнишь великую заповедь нашей степи, наших гор: не бойся врага, самое худшее, что он может совершить — убить тебя. Не бойся друга, самое жестокое, что он может сделать,— предать тебя. Бойся равнодушного — он будет спокойно смотреть и на убийство и на предательство! Не подаст капли воды жаждущему, куска хлеба умирающему, не остановит руку, занесшую нож над невинной

[1] Председатель.

*жертвой... Не дам ему ни одного зерна, он хочет отнять эти зерна у голодных детей. Берегитесь его!..*

*Много лет прошло с тех пор, но заповедь моей земли, услышанную в самые тяжелые дни войны из уст старого аксакала, я никогда не забываю... На следующее утро я был в поле, колючки раздирали босые ноги. Непривычные к ярму коровы не хотели идти по борозде. У меня не хватало сил, чтобы управлять ими, но я был погонщиком, а за плугом — старая женщина, мать четверых, а теперь, с Петей из-под Москвы, пятерых полуголодных детей. Мне шел тринадцатый год, и я знал, как косить сено на крутых косогорах, как сушить копны и как отвернуть железные ручки плуга и, повернув их к земле, поставить на упор, чтобы дать отдых старой женщине, а лемех в это время чтобы не сходил с заданной глубины...*

Я знал всех людей в ауле. Знал, как встретили люди жуткую весть о войне, как встречают похоронки...

Я видел безудержно веселый, лихой праздник усталых, измотанных, исхудалых людей — праздник Победы! Не успели люди обрести спокойствие, как их потрясла весть об атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму.

— Сынок, а хватит ли в том городе живых, чтобы похоронить мертвых? — с горечью спросила моя бабушка у бывалого фронтовика...

Потом — к тому времени я окончил университет — мне довелось услышать рассказ Хисако Нагата — девочки из Хиросимы, участницы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве,— рассказ о том жутком дне. Хисако стояла на трибуне, возведенной на Манежной площади, заполненной тысячами молодых людей из многих стран мира. Осенний ветерок плутал меж знамен и транспарантов. Очень тихим голосом смертельно больная девушка взывала к своим сверстникам, к своему поколению — призывала их к борьбе, призывала не оставаться равнодушными к людскому горю, бороться против войны.

— Пусть никогда и нигде не повторятся трагедии Хиросимы и Нагасаки,— говорила она.

Ее не смогли спасти врачи ни Токио, ни Москвы. Она погибла. Я был одним из тех журналистов, которым в те дни удалось с ней побеседовать. Я помню ее лицо, ее глаза, ее голос, ее трудную улыбку.

А потом — первая советская конференция солидарности с народами Азии и Африки в Сталинабаде. И новый рассказ японки, ее муж погиб от атомной бомбы. У нее было двое детей. Оставив их дома, она путешествовала по свету с одной лишь целью — бороться и бороться, чтобы больше не повторялись ужасы Хиросимы и Нагасаки, чтобы на свете не было равнодушных, когда речь идет о будущем детей. Она словно повторяла слова нашего аксакала, слова великой заповеди казахской степи. В те месяцы два японских художника совершали путешествие по свету, чтобы показать людям свои картины, запечатлевшие страшный облик городов, сожженных адским пламенем. Их картины, рассказы гидов Бухенвальда и Освенцима, Лидице и Маутхаузена, памятники на месте сожженных деревень Белоруссии, Украины, Прибалтики, трагические слова из дневника ленинградской школьницы Тани обращены к нам, землянам, как символы великого горя. Фашизм преподал жуткий урок всем тем, кто равнодушно взирал на то, как он зарождался и набирал силу. Тысячекратным набатом обращенные к нашей памяти, к нашему сердцу, к нашей совести, эти символы зовут нас встать в ряды борцов за мир.

Год 1948-й... Голубь мира Пикассо возвещает о начале похода честных людей за мир на планете. В первых рядах — писатели, ученые, люди искусства... Первый конгресс деятелей культуры из 43 стран мира в польском городе Вроцлаве под председательством великого сына Франции, выдающегося ученого XX века Фредерика Жолио-Кюри. Апрель 1949 года — Первый Всемирный конгресс сторонников мира. Реакционные буржуа, капиталисты, колонизаторы, недобитые фашисты начинают сражение против защитников мира. Французское правительство запрещает въезд в страну многим делегатам конгресса, заседания конгресса одновременно проходят в Париже и Праге, но голоса делегатов звучат в унисон. 2500 выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, представители духовенства, собравшиеся из 70 стран, заявляют о том, что борьба за мир должна стать общим делом всех народов. Необходимы единые действия! Люди мира должны быть бдительными! Безразличию и равнодушию к людскому горю не должно быть места на планете.

«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!»—эти слова Юлиуса Фучика, начертанные в застенках фашистов, становятся девизом сторонников мира. Год 1950-й — организован Всемирный Совет Мира, первый его председатель — Жолио-Кюри. В том же году 500 миллионов людей со всех уголков земли ставят свои подписи под Воззванием, вошедшим в историю под именем Стокгольмского. Оно требует запрещения атомного оружия как оружия массового уничтожения. Именно в те годы, в конце сороковых и в пятидесятые годы, начинают свою жизнь такие международные прогрессивные организации, как Всемирная федерация демократической молодежи, Ассоциация солидарности народов Азии и Африки, и другие...

Я думаю сейчас об усилиях, с первых же послевоенных дней предпринятых Советским правительством, чтобы положить начало курсу на разрядку международной напряженности. Враги разрядки предлагают взамен «холодную войну». Реакционные круги Франции отстраняют Фредерика Жолио-Кюри от руководства Комиссариатом по атомной энергии Франции как «политически неблагонадежную личность», один этот факт отношения к великому ученому способен доказать, что борьба за мир — не абстрактное понятие, что она требует гражданского мужества и стойкости, что голос народов, общественное мнение — великая сила, которой боятся реакционеры: разве

не эта сила помешала американским генералам использовать атомную бомбу в корейской и во вьетнамской войне?

Три десятилетия прошло с тех пор. Тридцать пять лет Европа живет без войн. И вот, словно отмечая эти две даты, в древней Софии в сентябре 1980 года собрался Всемирный парламент народов за мир.

Конечно же, не для юбилейных торжеств прибыли осенними днями в Болгарию представители 137 стран земного шара. Людей разной веры, различных убеждений и сословий, разных наций и разного возраста привело в Софию со всех концов света одно чувство — обострившееся, как никогда прежде, чувство тревоги за судьбы человечества. Вновь замаячила над миром зловещая тень Хиросимы.

Американские империалисты, пекинские гегемонисты, игнорируя идеи разрядки, довели напряженность в разных частях света до значительного накала. И вот уже говорят об «ограниченной термоядерной войне», переходят к открытой ее пропаганде...

Когда-то Мао Цзэдун призывал не бояться третьей мировой войны. Атомную угрозу он называл «бумажным тигром». Бывший президент США Картер в своем предвыборном трюкачестве, можно сказать, превзошел «великого кормчего» в лицемерии и цинизме. Ничего, если будет ядерная война, таков смысл его высказываний,— погибнет одна четверть человечества, но, по крайней мере, остальные останутся живы. Так в начале восьмидесятых годов берущие под свою защиту палачей, подобных Пол Поту, Пиночету и Сомосе, политиканы Пекина и Вашингтона начали мыслить о немыслимом.

Всемирный парламент собрался в те дни, когда Пентагон сосредоточил в северной части Индийского океана небывалую в истории военную армаду с авиацией и морской пехотой, министр обороны США без экивоков назвал ее «мощнейшей военной группировкой, превосходящей военные силы всех стран региона, вместе взятые».

По призыву Всемирного Совета Мира в столицу Болгарии прибыли крупнейшие общественные, государственные, политические деятели разных направлений и ориентаций, делегаты народов, сражающихся за свою свободу и независимость, выдающиеся представители науки и культуры, влиятельные религиозные деятели, представители профсоюзов, крупнейших международных организаций.

Приветственные телеграммы в адрес Парламента — из многих стран, от глав многих правительств и государств, политических партий...

«Советский Союз неоднократно заявлял и подтверждал делом: мы готовы пойти на все необходимые меры, которые направлены на уменьшение угрозы разрушительного военного конфликта,— это строки из послания Парламенту Л. И. Брежнева. — Мы не хотим состязаться в производстве орудий смерти и искренне выступаем за ограничение и сокращение военных арсеналов, за разоружение... Форум, на который вы собрались... призван и может сказать свое веское слово в пользу мира и разрядки, против гонки вооружений, против усиливающейся военной опасности».

Обращение Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма: «Начинания, подобные этому Парламенту, могут сыграть важную конструктивную роль, ибо они помогают людям понять основные проблемы и воздействовать на политику правительства. Таким образом, будет создана политическая воля, необходимая для решения международных вопросов».

В фойе крупнейшего зала Софии — «Универсиада», где проходили пленарные заседания Парламента, в вестибюлях гостиницы, где жили делегаты, вернее, депутаты (этот статус подтверждали синие книжечки с выразительной эмблемой на обложке — стилизованной золотой латинской буквой «S»—инициалом Софии, изображающей голубя с оливковой ветвью в клюве) — на фотостендах — репродукции картин, плакатов, документов о минувшей войне, о корейской войне, о сегодняшней трагедии южнокорейского города Кванджу, о страшном геноциде полпотовцев в Кампучии, о застенках Чили, о разгуле террора в Сальвадоре, Уругвае, Парагвае, Гаити, Пуэрто-Рико, о трагедии Палестины, о голоде в Уганде, о бесчинствах колонизаторов и их наемников. Эти выставки — жестокая правда о прошлом и настоящем, правда о бесчеловечности войн, эксплуатации человека человеком, расизме, фашизме, сионизме. Документы и фотографии о заговоре китайских гегемонистов и американских империалистов против человечества и человечности. Тысячи документов и снимков — кадров, повествующих о зверствах, о глумлении над честью и достоинством человека и целых народов; тысячи документов, разоблачающих Зло, и сотни свидетелей этого зла, направленного на подавление воли народов: Луис Корвалан и Ясир Арафат; всегда собранный, спокойный, решительный команданте Санчес — член высшего руководства Никарагуа; совсем хрупкая на вид, юная, но уже закаленная в борьбе, человек с неотразимой логикой — бесстрашная дочь Сальвадора Норма Гевара; президент СВАПО (Народной организации Юго-Западной Африки) Сэм Нуйома; непокоренный мэр палестинского города Наблуса Басам Шакаа, который в результате взрыва сионистской бомбы лишился ног; два депутата израильского кнессета, которым за поездку в Софию правители Израиля пригрозили лишением парламентского иммунитета; бывший министр иностранных дел Греции Г. Маврос; член английского парламента Р. Хьюз; итальянский сенатор Н. Пасти...

«Тот факт, что мир живет сегодня в мире, в огромной мере есть результат принципиальной политики Советского Союза»,— заявил в своем выступлении в день открытия заседаний Парламента Тодор Живков, указавший на исключительный личный вклад в борьбу за дело мира Л. И. Брежнева.

Всеобщий фронт мира ищет и находит новые действенные формы и методы борьбы — таков был вывод его яркой речи. Самой массовой общественной силой планеты, способной заставить противников мира все больше считаться с их желаниями и стремлением к спокойной и мирной жизни, назвал он движение сторонников мира. Объ-

ективно сегодня нет другого общественного движения, которое было бы способно сплотить десятки и миллионы людей, организовать их действия, сказал он.

Депутат Всемирного совета церквей от имени представленных в этом Совете более трехсот общин, культов и организаций духовенства выдвинул предложение: государствам, располагающим ядерным оружием, прекратить его производство и немедленно начать переговоры о его нераспространении, запрещении и уничтожении.

Председатель Всепольского комитета защиты мира Юзеф Циранкевич, советский академик Евгений Федоров, председатель Вьетнамского комитета защиты мира Фань Ань, профсоюзный деятель США Эйб Фейнгласс — представители разных стран на разных языках взволнованно говорили об опасности, нависшей над человечеством, о том, что доктрина «ограниченной ядерной войны» — опасный абсурд, сам характер ядерного оружия исключает возможность его ограниченного применения, что решение Совета НАТО о размещении новых американских ракет в Западной Европе и Директива № 59 администрации Картера — факторы, ставящие мир на грань мировой термоядерной войны, непоправимой катастрофы для населения планеты.

Работа была организована как свободный обмен мнениями. В тематических форумах, девяти комиссиях, на заседаниях «круглых столов» по отдельным проблемам имел возможность выступить каждый депутат.

Выявлялись различные подходы к той или иной проблеме, сталкивались разные оценки тех или иных событий, по-разному трактовались отдельные факты — круг участников заседаний Парламента беспрецедентно широк,— но в самом главном все, и буддисты и христиане, мусульмане и католики, представители разных политических партий, женских и молодежных организаций, были едины: надо незамедлительно активизировать усилия всех людей доброй воли, чтобы остановить гонку вооружений.

Все ораторы, а их были сотни, указывали точный адрес виновников ухудшения международной обстановки — монополисты США, руководство НАТО, правящие круги Вашингтона и Пекина.

— В своей Директиве № 59 президент США объявил о готовности первым применить термоядерную бомбу. Однако 85—90 процентов граждан моей страны, увы, даже не осознали угрозы, нависшей над ними,— заявил Эйб Фейнгласс, представитель США. — Наша моральная обязанность — разъяснять людям положение вещей, помочь им взглянуть правде в глаза. Наша задача — пробуждать людей. Безразличие — это наш враг!..

Речь главы советской делегации — секретаря ЦК КПСС Б. Н. Пономарева освещает путь неустанной борьбы советского народа и его правительства за международную разрядку, мирное сосуществование между народами...

Боенные эксперты — генералы, адмиралы, старшие офицеры из одиннадцати стран, принимавшие участие в работе Парламента,— выступают со своим Манифестом, его назвали в печати «Манифестом генералов».

Военные специалисты дают в этом документе детальный анализ пресловутой директивы, подписанной президентом США, и приходят к единодушному выводу о том, что «доктрина «ограниченной термоядерной войны» резко усиливает возможность ничем не ограниченного ядерного конфликта со всеми его катастрофическими последствиями». Среди подписавших — генералы Коста Гомеш (Португалия), Г. Куманакос (Греция), Н. Пасти (Италия), С. Поблете (Чили), адмиралы А. Астафьев (СССР), А. Сангинетти (Франция), полковник И. Вебер (ФРГ) и многие другие.

На одном из пленарных заседаний депутаты Всемирного парламента народов заслушали выступления представителей Кампучии и Вьетнама о зверствах полпотовцев и китайских агрессоров. Собственно, это был суд народов над палачами...

Многие резолюции, принятые комиссиями Парламента, резко осуждают все формы угнетения человека человеком, геноцида, расизма, терроризма, военных диктатур в странах Латинской Америки — Чили, Парагвае, Уругвае, Гаити, Сальвадоре, Пуэрто-Рико, Гватемале, выражают протест против диктата белого меньшинства над черным большинством в ЮАР, против курса сионистских правителей Израиля, против американского вмешательства в дела Южной Кореи, стран Ближнего Востока...

Волнующие минуты пережили присутствующие, когда в последний день работы зал Народного Собрания заполнили дети, собравшиеся в Софии отметить дату Международной детской Ассамблеи, состоявшейся здесь год назад под девизом «Мир. Единство. Красота». Дети из 88 стран обратились с приветствием ко всем депутатам Парламента. Они призвали своих старших братьев и сестер, отцов и матерей защитить их будущее, сделать все для того, чтобы тучи новой Хиросимы, нависшие над миром, были разогнаны, чтобы над землей всегда было чистое, ясное, мирное небо.

После детального обсуждения, завершая работу, Парламент единогласно принял Хартию и Воззвание, обращенные ко всем народам и правительствам: «...1981 год должен стать стартовым рубежом решительного наступления миролюбивых сил в 80-е годы за достижение перелома в деле обуздания гонки вооружений!».

«Остановим тех, кто пытается столкнуть мир в пропасть! Пусть с небывалой силой прозвучит наш голос!» — вот строки из этих исторических документов.

Среди 2260 участников Парламента, представляющих 137 стран и более ста международных организаций и единодушно принявших Хартию и Воззвание к народам земли, находилось немало писателей. Практически осуществляя волю Парламента, подхватывая, как эстафету, его призыв, буквально через день после завершения работы этого грандиозного форума они собрались на свою, уже ставшую традиционной, Третью Международную встречу, проходившую под девизом «Мир — надежда планеты».

Прежде чем буквально в нескольких словах высказаться об этой встрече (я говорю

«в нескольких словах» потому, что читатели журнала «Иностранная литература», в соответствии с традицией освещения двух предыдущих софийских писательских встреч, получают возможность услышать собственные голоса многих ее участников), позволю себе еще одно отступление — теперь уже совсем в недалекое прошлое.

*В ноябре 1979 года, когда мы вместе с Анатолием Софроновым находились в ФРГ, нас пригласил к себе писатель Йозеф Ипперс. С Йозефом мы были почти одногодки. Впервые встретились в Ташкенте в дни двадцатилетия Первой Конференции писателей стран Азии и Африки. Теперь в маленьком городке Ноис наше знакомство было продолжено. У Йозефа тоже было трудное детство. Война. Отец погиб. Школу окончить он не смог. Был разнорабочим, садовником, сторожем и, лишь когда его книги получили известность и он убедился, что можно жить на литературные заработки, стал профессиональным писателем, выступает с лекциями. У него четверо детей.*

*...В комнату вошла старушка — мать Йозефа Положила передо мной большой портрет в рамке под стеклом — фотографию молодого нациста.*

*— Вот посмотрите, каким красивым был отец Йозефа. Погиб молодым. Воевал где-то под Сталинградом...*

*— Да, под Сталинградом было много крови пролито,— сказал Софронов, чтобы как-то разрядить неловкость ситуации, не оскорбив чувств старой женщины — ее-то ведь никак мы не могли судить.*

*— Всюду, где живет человек, земля пропитана кровью,— тихо проговорил Йозеф.— Наверное, он был неплохим человеком, раз мать до сих пор любит его,— добавил задумчиво. — Он выполнял чужие приказы. Верил другим. За него думали другие. А сейчас надо думать самому, решать самому. Мы все сейчас под прицелом — атомным прицелом. Это вам не порох...*

Разговор этот происходил в дни, когда буржуазная пресса была полна материалов о размещении американских ракет в ФРГ когда телеэкраны США и их партнеров, захлебываясь от лжи, твердили о мнимой «советской угрозе»...

«Современное человечество и современный мир испытывают горячую потребность в Слове писателя» — это из приветствия участникам встречи Первого секретаря Союза писателей СССР Георгия Маркова.

И действительно, разве на протяжении всей истории, даже в самые мрачные времена, голос писателя, голос поэта не служил великой опорой, помогавшей людям выстоять и восторжествовать!

Настоящие писатели всегда были и остаются защитниками Разума и Красоты, равенства и мира для людей Они знают цену и силу Слова и потому первыми выступали в защиту родного языка, в защиту культуры и цивилизации открыто бросая вызов мракобесам и палачам Примеров тому было немало и в нашем сложном и противоречивом двадцатом веке Не по чьей либо указке или внушению, а по собственному убеждению и побуждению Роллан и Цвейг, Брехт и Фейхтвангер, Толстой и Фадеев Хемингуэй и Мальро, Эренбург и Хикмет, Элюар и Незвал, Симонов и Ивашкевич, Станев и Сноу, Корнейчук и Ауэзов Тагор и Акутагава, Ли Ги Ен и Турсун заде, Айбек и Айни и еще десятки других, таких же талантливых, сынов человечества — писателей и ученых — вели беспощадную борьбу против захватнических войн, против тирании и фашизма за свободу и равенство граждан всей земли. Их традиции, как и все лучшие традиции борьбы за торжество Разума, продолжают ныне их соратники, чьи имена известны людям.

Когда писатели выходят на общественную трибуну и поднимают свой голос в защиту мира, они никогда не отделяют понятие «мир» от идей справедливости и свободы. Ибо борьба за мир неотделима от борьбы за исконные права человека. Не может быть мира там, где поруганы честь и достоинство человека. Об этом вам скажут и те, кто сегодня продолжает дело великих борцов за мир,— Базен и Олдридж, Сароян и Леонов, Гамарра и Чивер, Гарсиа Маркес и Колдуэлл...

Не только великие творения человеческих рук, не только города и люди, а сама мать-земля, сама кормилица наша, которая дала жизнь всему сущему, сегодня в опасности — звучало с трибуны.

Объединим же свои усилия, обратимся к народам и правительствам, предотвратим войну! И если нас одарила природа даром слова, если нас по праву называют совестью народов, то мы должны до конца выполнить свой высокий долг. И нет в наши дни более высокого и неотложного дела, чем борьба за мир, за будущее человечества.

Пусть огонь пожирает огонь! Пусть наша битва, наша страсть, пламя наших сердец придает силы народам, чтобы вырвать из рук мракобесов ключи от клетки зверя и превратить огонь испепеляющий в свет разума, справедливости, добра!

Не только единство воли писателей, подтвержденное в речах и документах такого рода встреч, но и личные контакты, знакомства, человеческая дружба служат взаимопониманию и вере в правое дело; укреплению решимости сделать все, чтобы преградить путь войне.

■ ■ ■

...В один из дней, свободных от заседаний, мне удалось попасть на театрализованное выступление участников Всемирной детской Ассамблеи.

На склоне горы Витоша, близ старинных болгарских деревень, на небольшой естественной террасе воздвигнут величественный монумент — «Знамя Мира».

На монументе колокола. Колокола свисают и с причудливых бетонных глыб, окружающих монумент с трех сторон, а на площадке, откуда видна София танцуют и поют дети из разных стран. У них разный цвет кожи, они говорят на разных языках Но здесь им не нужны переводчики. Смех песни, восторг в глазах, доверчивые улыбки...

Они гурьбой бегут к колоколам, маленьким и большим, чугунным, медным, к се-

ребряному колокольчику, колоколам из Греции и Вьетнама, Японии и Кореи, Индии и Кампучии, Кубы и Мексики, Анголы, Турции и Италии — из многих, многих стран мира. Большие и малые колокола — их звуки сливаются с радостным смехом, с песней детей.

Это колокола Мира. Их голоса обращены к нам. Они призывают нас защитить будущее детей.

В дни Третьей Международной встречи писателей в Софии был отлит еще один колокол. Он могуч, этот колокол. На нем запечатлены автографы всех писателей, принимавших участие во встрече,— всех, кто объединил усилия для дальнейшей битвы за мир.

Этот колокол тоже займет свое место у монумента «Знамя Мира».

Пусть его голос сольется с голосами других больших и малых колоколов, призывая к дружбе детей земли, укрепляя их единство!

Мы должны сделать все для того, чтобы эти колокола никогда не зазвонили по человечеству.

Писатели — участники встречи, обращая свой взор в грядущее, приняли Послание к творцам будущего, к потомкам — наказ беречь Мир, беречь красоту земли и всегда выступать в защиту самого священного права — права на всестороннее гармоническое развитие человеческой личности, никогда не стоять в стороне от борьбы за лучшие идеалы человечества, не оказаться безликим винтиком экономического механизма в обществе потребления.

Равнодушие к злу и ненависти пагубны для каждого человека, для каждой эпохи. Жизнь — это борьба за справедливость...

■ ■ ■

Когда, вернувшись домой в Алма-Ату и дописав статью, я собирался отправить текст в редакцию, пришло письмо из Мюнхена от известного писателя и публициста Фридриха Хитцера.

В Софии после его выступления об «электронном апокалипсисе» мы долго беседовали, сидя на семнадцатом этаже отеля «Москва». Он хотел узнать подробнее об истории казахов, о нашей жизни. И тогда я вспомнил о годах минувшей войны, о детстве, о своем ауле и о словах старого аксакала, которые приводил в начале статьи...

Каково же было мое удивление, когда я обнаружил в письме Фридриха Хитцера стихи о нашей с ним встрече.

Их перевел мне алма-атинский коллега Гарольд Бельгер:

«Дорогой Ануар! Я написал стихи, которые были бы немыслимы без нашего знакомства. Спасибо за ваши прекрасные, жизненно важные рассказы. Вот стихи:

**Воспоминания**

Казах пересказывает
человеку с Запада,
задавшему тысячу
трудных вопросов,
древнее изречение
Мухаммеда Абу Насра:
«Не бойся врага —
В крайнем случае
Он убьет тебя.

■

Не бойся друга —
В худшем случае
Он предаст тебя.

■

Остерегайся равнодушного».

Это как смерть!—
подумалось мне.
Пока человек с Запада
утверждался во мнении
и спор
о тысяче и одном слове
длится без конца —
может наступить смерть!
Прочь равнодушие!
Нужны дела!
Да здравствует борьба!

*Фридрих Хитцер*

*СОФИЯ—МЮНХЕН. ОКТЯБРЬ 1980 ГОДА»*

◆

# Антирубрика

## Л. М. ФЭЛЛОУ

# СОБИРАТЕЛИ ПУГОВИЦ

*Перевод с английского Л. БИНДЕМАН и* **В. ЛИМАНОВСКОЙ**

*Мы предлагаем читателям фрагменты из романа-памфлета американского писателя Л. М. Фэллоу «Оголтелые», в котором он высмеял нравы и обычаи своих сограждан.*

*Ог Первый (герой романа), Большой Вождь и Главный Шаман страны Огленд, услышал призыв богов — спасать бледнолицых дикарей. Он сел в боевое каноэ и через триста солнц прибыл в Нью-Йорк.*

Вообразите обычный день нью-йоркского клерка.

Утром его будит оглушительный треск будильника. Из-за духоты в дико натопленной комнате он не в силах разлепить веки. От сигарет и виски во рту у него такой вкус, словно он съел накануне старый башмак. Нутро как будто обожжено серной кислотой. Почти всю ночь ему мешал спать ребенок, а когда под утро удалось забыться, часы приказывают ему встать.

Он смотрит на свою жену. Что за колдовство, кто эта старая ведьма с ним рядом? В этот ранний час его грозная законная супруга выглядит отнюдь не столь блестяще, как та соблазнительная самка, которая совсем недавно сумела так возбудить его гормоны, что он ринулся очертя голову в расставленный для него капкан. Она встает и хмуро собирает ему завтрак, а он тем временем готовится к трудовому дню. Моется. Полощет горло. Скребет щеки острой бритвой. Напяливает на себя множество стесняющих движения одежд, башмаки, повязывает тугой ошейник. Теперь он готов начать свой день, как две капли воды похожий на остальные.

За завтраком он пьет какой-то сок из консервной банки. Делает колкое замечание супруге из-за подгоревших гренков. Как это она так постаралась? Следует обмен супружескими любезностями. Она закуривает длинную сигарету и презрительно пускает ему дым в лицо, а он глотает яичную слизь и запивает ее мутным кофе, впившись взглядом в часовую стрелку. Потом, нахлобучив шляпу, сует руки в рукава еще одной одежды и выбегает на улицу. Хватает на углу газету и, как крот, ныряет под землю.

С гулом приближается подземный поезд. Стоп. Толпы дикарей, как бараны, сбились в кучу. Двери вагонов раздвигаются. Нью-йоркцы, толкаясь, врываются в вагоны, наступают друг другу на ноги и ругаются. Перронный страж запихивает нашего героя в вагон коленом в зад, но тот и не собирается протестовать против такой грубости. Он мирится с унижением, какого не стал бы терпеть даже скот. Ежедневные путешествия в подземке и домашняя обстановка давно лишили его гордости. Поезд с грохотом несется в черном туннеле. Прижатый грудью и ягодицами к грудям и ягодицам других пассажиров, он качается, как пьяный, в такт движению поезда и развлекается чтением «новостей» в газете — про изнасилования, драки и убийства, про кандидатов на государственные посты, про войны и стихийные бедствия. Стихийные бедствия доставляют ему наибольшее удовольствие: они до некоторой степени мирят его с собственной несчастливой судьбой.

Потом он проталкивается к выходу и с силой пробивает себе дорогу в толпе таких же, как он, полузадушенных людей с помятыми боками и отдавленными мозолями. Наконец он выползает из-под земли, но перед ним — ни неба, ни деревьев. Лавируя среди людского муравейника, он добирается до высоченного небоскреба и втискивается в узкую коробочку, которая взметает его вверх. Громадные часы отстукивают на карточке, что он явился вовремя.

Под крышей небоскреба он проводит день вместе со многими другими дикарями. Листает бумаги, что-то чиркает на них, разговаривает с кем-то, кому-то невидимому что-то кричит в трубку. Проходит какое-то время, он глядит на часы и бежит поесть. Потом возвращается и делает те же движения, повторяет те же слова и жесты до вечера. Он очень старательный работник, примерный служака, но его не ценят. Один Ог знает, чем он занимается, хотя у них это считается мужским делом. Какой-то бизнес, вернее всего рекламный. Как это ни глупо, но многим дикарям нравится такая работа. Она заполняет время, а нет более несчастного существа, чем американский безработный.

Но вот стрелки показывают, что день окончен, и нью-йоркский дикарь спешит в бар. Ну и денек, жалуется он соседу по стойке. Сколько дел провернул, сколько бумаги исписал! Но зато какой прогресс, какие грандиозные цели! Дикарь осушает второй стакан, внезапно вспоминает о куче бумаг, ожидающей его завтра, и ему становится тошно. Еще стакан, двойную порцию! Под ложечкой сосет. Куда бы поехать — к любовнице? Не домой же, к своей мегере...

Его распирает от сознания собственной добродетельности: целый день трудился как вол, терпел всяческие унижения, так неужто он не заслужил себе право на отдых? Иначе откуда возьмутся силы, чтоб продолжать такую жизнь завтра, послезавтра и через месяц? Он требует еще двойную порцию виски, поворачивается к телевизору и начинает мечтать. Уехать из Нью-Йорка хоть ненадолго. Нет, навсегда! Добиться места своего шефа, который платит ему гроши и не понимает его. Отомстить всем, кто попирает его и не желает признавать. Выиграть кучу денег. Зажить на широкую ногу, вот так, как сулит проклятая реклама, которую он сам же и сочиняет за письменным столом под крышей небоскреба...

Это лишь набросок, эскиз к портрету нью-йоркского дикаря. Чтоб рассказать о нем подробно, нужно много книг, целые фолианты. Кстати, они написаны. Но еще никто и никогда не объяснил, *почему* он такой.

Наш герой виновато поглядывает на часы. Перекусить, пожалуй, а после съездить в Центральный парк, послушать модного проповедника Ога, о котором ходит столько разговоров.

И вот он является на мой спектакль. Его микроскопический мозг заинтригован, пленен и восхищен. Ура! Наконец-то нашелся человек, который интересуется его душой. Важный, как бог, и наверняка премудрый, если его так ценят. Итак, дикарь обретает религию. Он нашел истину. Другие тоже в меня поверили, а он всегда делает то, что другие. Он бросает свои полдоллара в тарелку для сбора пожертвований, и ему записывают отпущение грехов.

Наконец он избавился от мучительного чувства неполноценности, обрел самоуважение. Он пьян своей свободой, он как бы заново родился. По этому поводу он идет в бар, выпивает два стакана крепкого виски, звонит по телефону своей милашке и условливается с ней отпраздновать спасение души.

Я довольно скоро понял, какое огромное значение придают дикари-американцы цвету кожи. Эти отсталые суеверные люди отдают предпочтение белой коже перед черной, коричневой, красной и желтой. Кому бы пришло в голову посадить в саду одни лишь белые цветы — даже лилии; как это было бы скучно, пресно, безжизненно! Но дикари полагают, что их дряблая белая кожа лучше любой другой, поэтому они тщательно изолируют себя от цветных. Их законы, их боги говорят, что все люди равны, но двуличие — вторая натура американцев, и они каждый день нарушают свои законы и божьи заповеди. Себя они считают небожителями. Все к их услугам, все для их удовольствия — хорошая еда, вина, красивая одежда, удобные дома, церковные клубы, все технические новшества. Цветным же, по милости белых небожителей, остаются лишь отбросы, которые они тоже должны заслужить тяжким трудом.

Такова система, провозглашенная дикарями самой достойной и самой совершенной.

Во время вечерних прогулок я мог наблюдать лишь жизнь низов. Из любого положения есть выход. Я нанял хорошего гримера, и этот парень оказался настоящим волшебником: он сделал меня белым (за деньги в Америке можно сделать все!). Затем портной, получивший приличное вознаграждение, превратил меня в настоящего денди. И тогда, нацепив золотистый парик, придававший мне слащавый вид, воткнув в петлицу белую гвоздику, я начал выезжать в свет.

Главное — пустить пыль в глаза! Дикари были в восторге от поддельного красавца. Они решили, что в его жилах течет голубая кровь. Притворяясь демократами, они в душе обожают громкие титулы. Я назвался графом Монте-Киско и сорил деньгами направо и налево.

Передо мной открылись все двери — ювелирных магазинов, театров, шикарных ночных кабаре, домов нью-йоркских богачей. Один важный-преважный епископ пожелал завербовать меня в члены своего клуба. Только самым большим снобам открыт доступ в этот роскошный клуб. Я стал желанным гостем всех гостиных и салонов. Меня приглашали на обеды и коктейли. Новые друзья из высшего класса порой оказывали мне честь, прося у меня денег взаймы.

Я бросился в этот сумасшедший водоворот, чтобы получить более полное представление о дикарях. Я изучал жизнь «сливок общества». Все эти дикари со знаком превосходства — долларовым знаком, запечатленным на их бледных лицах, напоминали мне жирных котов, залезших на самую верхушку мусорной свалки. Меня избирали в члены правления разных корпораций, приглашали на заседания благотворительных комитетов. Жирные коты могут радоваться собственному благополучию только при виде тощих.

На каждом приеме я знакомился с сот-

ней знаменитостей — деятелями рекламы и коммерции, законодателями мод, финансовыми тузами и сортировщиками мусора из бульварных газет. У одних глупость была на лице написана, другие старательно делали умное лицо, третьи были вообще безлики.

В литературных салонах я встречал литературных львов. Это были покорные бесхребетные существа, лишенные зубов и когтей. В своих творениях они с нежностью изображали дикарей, как те того требовали, и, безоговорочно принимая дикарскую систему, воспевали ее, подобострастно виляя хвостом. Это называется у них свободой творчества.

Один дикарь очень любил пуговицы. Он их жадно собирал. Но чем больше у него их становилось, тем больше он желал иметь еще. Вскоре он стал обладателем колоссального количества пуговиц, какое лично ему никогда бы не понадобилось. Однако он продолжал собирать пуговицы. Он сделал это своим постоянным занятием: давал пуговицы взаймы, под залог, прибегал к любым сомнительным сделкам, лишь бы завладеть новыми богатствами. Все казалось ему мало. Страсть к пуговицам превратилась у него в манию.

Он складывал пирамиды из пуговиц, заставлял пуговицы работать на себя, и они размножались у него, как кролики. Уже перещеголяв всех своих знакомых, он все-таки старался разными правдами и неправдами выманивать у них пуговицы. Он знал, что есть еще люди, у которых их больше, чем у него, и это терзало его, заставляло чувствовать себя бедняком и неудачником. Он хотел быть первым обладателем пуговиц во всем нецивилизованном мире.

Итак, он посвятил всю жизнь собиранию пуговиц. Он молился Великому Белому Отцу, чтобы тот ниспослал ему побольше пуговиц. Он подкупал колдунов, надеясь, что те своей ворожбой помогут ему захватить новые кучи пуговиц. В часы бодрствования и в часы сна его мозг был подчинен одной лишь навязчивой мысли. Он не признавал ни искусства, ни философии, отдых был для него несуществующим понятием. За едой (хотя на еду у него почти всегда не хватало времени) он думал и говорил о пуговицах — все прикидывал, как бы загрести их побольше. Он старался — и небезуспешно — отнимать пуговицы у друзей, если узнавал, что кто-нибудь начал их собирать. У него не было времени любоваться природой. Он не замечал ни деревьев, ни неба, ни звезд, хотя неустанно путешествовал. Он не мог выкроить ни минутки, чтобы пройтись пешком до угла, так как вечно мчался то на поезде, то в самолете, то в автомобиле куда-нибудь за пуговицами. Если же изредка брал себе отпуск, то часть его так или иначе посвящал своей страсти.

Этот маньяк в юности страдал от робости и чувства неполноценности. Он был подобен толстухе, которая, зная, что ее никто не любит, утешается тем, что набивает себе желудок шоколадом. Другие молодые люди были красивее и умнее его. Он трепетал при мысли, что над ним смеются и не хотят его общества. И он решил добиться успеха. Он будет собирать пуговицы. Он докажет свое превосходство: соберет больше пуговиц, чем любой другой дикарь. Он женился и обзавелся семейством. Сыновья выросли и пошли по его стопам: тоже занялись пуговицами.

Влиятельное лицо в своей общине, он был предметом восхищения и уважения, если не общего, то во всяком случае тех, кто поклонялся пуговицам.

Из развлечений он признавал только одно — сбор пожертвований в роскошном, обитом бархатом, церковном клубе. Приглушенное шуршание пуговиц на мягкой подушечке, положенной на тарелку, было музыкой для его слуха, божьим благословением. Он слыл человеком примерных привычек, нравственным образцом для ему подобных, для тех, кто тоже усердно собирал пуговицы. ПУГОВИЦЫ — ЭТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ. СОБИРАЙ ПУГОВИЦЫ. Он не курил. Не пил. Почти ничего не ел. И очень редко спал с женщинами, считая, что это, во-первых, грешно, а во-вторых, слишком дорого стоит.

И вот он собрал уже столько пуговиц, что они не стали поддаваться счету. Но это лишь побуждало его загребать обеими руками еще и еще. Ему доставляло неизъяснимое наслаждение взирать свысока на тех, у кого было меньше пуговиц, чем у него. Собственно говоря, теперь он уже мог взирать свысока на всех.

Так жил он долгое время, зарывшись с головой в свои пуговицы. Но вдруг случилось нечто непостижимое: пуговицы начали ускользать. Вначале появилась маленькая течь. Он не мог обнаружить откуда, не знал, в чем причина. Потом стало исчезать побольше, и вот уже смыло целый слой. В панике он пытался заткнуть брешь, остановить стремительный поток, но пуговицы растекались целыми реками во все стороны.

Никакие усилия не спасли его богатство. Он снова очутился на голом месте, откуда начинал свой путь, без единой пуговицы.

Это было чудовищно. Он кричал. Он таращил глаза. Он вопил, кружился в исступлении. Молился. Проклинал. Бормотал бессвязные слова. Считал пуговицы, которых у него уже не было. Бредил. Отказывался от пищи. Не узнавал своих родных. Пришлось увезти его из дому и надеть на него смирительную рубаху.

— Беднята,— говорили соседи, радостно ухмыляясь,— он потерял свои пуговицы!

Политика — один из множества фальшивых кумиров, которым поклоняются дикари-американцы. У них в политике, как и в других формах культа, простой смертный становится божком. Политика — очень странный кумир, но для дикарей очень важный.

Самое странное в этом культе то, что их Великий Белый Отец земной, избранный с помощью и одобрения всех язычников,— просто подделка. Он может играть роль бога только четыре года. Потом выбирают другого. Любой стоящий бог продержался бы у власти дольше. Но дикари обновляют своих божков постоянно, меняют их, как лошадей посреди реки,— в самое неподходящее время — и соблюдают ритуал предвыборных съездов каждые четыре года.

Двуглавая американская богиня Политика проводит съезды в двух городах, расположенных далеко друг от друга. Один съезд выдвигает Главного Осла, другой — Главного Слона. Этим двум подставным лицам еще предстоит помериться силами, чтобы решить, кому же стать Самым Главным Вождем, Первым Американцем.

Политический съезд — спектакль, который дается с целью позабавить и околпачить дикарей, получить их одобрение и голоса. Эти съезды повергли меня в изумление. О них кричали все газеты. Их показывали по телевидению и в кино. Здешняя публика любит такие зрелища. Сторонники той или иной партии, как стадо баранов, валили в огромный зал, горланили песни, курили, пили и орали как сумасшедшие. Размахивали плакатами. Маршировали. Доводили себя до исступления, припадая к стопам своих кумиров в знак обожания. Чтобы протащить баранов рангом повыше к вершинам величия и власти над простыми стадными баранами, вожаки ранкари пребывали в каком-то счастливом помешательстве.

У Главного Слона был доверенный вице-слон, который ему поддакивал, вторил и помогал расширять власть над незадачливыми баранами. У Главного Осла был вице-осел для тех же целей. Но Главный Слон и Главный Осел не очень-то доверяли вице-слону и вице-ослу, ибо (и это знали все) последние метили на их место и всеми правдами и неправдами были готовы добиваться этого места, в то время как Главного Слона никак не прельщало место вице-слона, а Главного Осла — место вице-осла.

Конкуренция политических полубогов создавала нездоровую обстановку, вызывала нехорошие чувства, ибо Главный Вождь достиг вершины и выше идти уже некуда, а у его помощника была возможность подняться еще на одну ступеньку и стать Главным Вождем. Главный Вождь знал: случись с ним беда, помощник займет его место, но никогда не сможет этому месту соответствовать, поэтому Главного Вождя всегда окружали солдаты, врачи, шпики и охранники, чтобы защитить его от сумасшедших, бактерий, террористов и — собственного помощника. Тот же, со своей стороны, должен был при народе всячески подчеркивать свое лояльное отношение к Главному Вождю и в то же время не упускать даже самой малой возможности обзавестись собственным окружением, выжидая, когда Главного Вождя прихлопнет какой-нибудь негодяй.

Политические кампании, проведение которых многие наивно считают борьбой за справедливость, начались и приобрели размах осенью. Главные Кандидаты и их помощники готовы были со сна произнести любую речь. Их рты открывались с большой эластичностью, языки с шумом перемалывали слова. Они с благоговением выполняли священный ритуал: колесили по стране, целовали младенцев, завоевывали популярность и разводили демагогию. Они давали с три короба разных обещаний. Они обещали содрать с народа уйму денег в виде налогов и вернуть ему часть ее в виде благ, даруемых государством. Народ ликовал. Кандидаты обещали даже сократить налоги и увеличить блага, даруемые государством. Народ ликовал пуще прежнего.

Даже если кандидат отдавал себе отчет в том, что он говорит, он не всегда знал, где он находится. Выступая в Нью-Джерси, кандидат говорил аплодирующим баранам, что счастлив снова оказаться в Аризоне.

Кандидаты, словно хамелеоны, постоянно меняли цвет, приспосабливаясь к окружению. Приехав в Арканзас, кандидат, который никогда не держал в руках мотыги и не выносил запаха пойла свиньям, прикидывался эдаким работящим фермером. В Чикаго он был сталеваром с крепкими мозолистыми руками. В Пенсильвании выдавал себя за бывшего углекопа. На Мэдисон авеню он представал скромным гением рекламы в костюме от «Брукс бразерс». Агитируя за себя в Голливуде, он подделывался под са-

Но это все то же старое — услуга за услугу — вранье, вздор, надувательство, тщательно замаскированное общей истерией.

Речи кандидатов просто ошарашивали меня. Послушать их, так выходило, что кандидат, будь то Слон или Осел, может дать избирателям больше, чем кто-либо другой. Кредита — больше. Автомобилей — больше. Трущоб — больше. Бомб — больше. Дорог — больше. Обеспеченности — больше. Доходов — больше. Расходов — больше. Свободы — больше. Долгов — больше. Образования — больше. Невежества — больше.

Кандидаты обещали, что малый бизнес станет большим, а большой — еще больше Рабочие станут получать больше денег, а работать — меньше. Чернокожие станут больше похожи на белых. Фермеры выручат больше долларов за меньшее количество пшеницы.

Я не верил своим ушам, а бедные дикари лучились от счастья. Кандидатов восхваляли, им аплодировали, им поклонялись. Ди-

мых отъявленных реакционеров. В Гарлеме он становился филантропом, любящим негров, а в Новом Орлеане — гурманом, обожающим французскую кухню. В Висконсине он с одобрением отзывался о качестве сыра и профсоюзах, а в Каролине горячо поддерживал идею автономии этого штата. В Вермонте он, ухмыляясь, называл себя «чертовым янки», а в Техасе, надев ковбойские сапоги, выкрикивал лозунги южан. Он был за мир, прогресс, благосостояние и — за себя. Он старался угодить всем, а в результате каждый здравомыслящий дикарь начинал его презирать.

Все делалось ради голосов. Каким захватывающим зрелищем было выступление Главного кандидата! Его портрет, увеличенный во сто крат, выставлялся для восторженных идолопоклонников. Они размахивали флагами и платками, топали и выкрикивали приветствия. Там, где нужно, аплодировали. И кандидат делал паузы в нужных местах, чтобы сорвать аплодисменты. Вы бы посмотрели, какое довольство выражало при этом его честное лицо! Как ему нравилось согласие и аплодисменты тупоголовых баранов. В своей речи он всегда давал им понять, что он — самый большой баран! Доказательством могли служить его высокие моральные качества, достойное похвалы поведение и благочестие, отмеченные его близким родственником — Великим Белым Отцом небесным.

По сути дела языческая богиня Политика всего лишь о двух головах, и кандидат мог стать идолом лишь на пятьдесят процентов, но о его близости к Великому Белому Отцу небесному так много говорилось, что дикари в это твердо уверовали.

Все — лишь бы получить голоса. Дикари увлекались этим примитивным ритуалом почти как первенством по бейсболу, поэтому они радовались, что политические игры проводятся каждые четыре года.

Чем холодней становилось, тем жарче распалялись политические страсти. Одна партия вдруг обнаружила, что другая собирается пообещать рабочим больше денег и меньше работы — тридцать пять часов в неделю. Тогда другая с ходу пообещала тридцатичасовую неделю и еще больше денег. Как это ловко придумано и в политике и в религии: кто обещает больше других, тому и верят.

Кандидаты отбросили всякие церемонии. Атаки и контратаки следовали одна за другой. Поминались и ложь, и некомпетентность, и пренебрежение к долгу, и разложение, и злоупотребление властью. Обвинений было слишком много, чтобы их перечислить.

Американские дикари любили эту глупую игру, эту пышную кампанию. Как и в религиозных обрядах, им нравилась театральность, *форма*. Они часами сидели как приклеенные, смотрели в телевизор, и слушали, и ликовали, и шикали на ослиных и слоновых кандидатов. Эти тупицы хлопали громче тому, кто давал им больше обещаний. Они никак не могли сообразить, что правительство может дать им только то, что сначала содрало с них же, и то лишь малую толику. Американцы воображают, что у них — демократия (то есть власть народа). На самом же деле у них плутократия плюс толпократия. А вернее всего — овцекратия.

Большой-Большой Вождь американцев живет в Вашингтоне в царском дворце, который называется Белая Хижина. Эта хижина богаче и роскошнее, чем дворец любого властелина или короля. Ее стоимость — свыше двенадцати миллионов долларов. Не удивительно, что эти дикари, называющие себя демократами, почитают свою священную Белую Хижину. В ней более ста комнат. Ее охраняет целая армия, состоящая из ста пятидесяти полицейских и уймы вооруженных шпиков. Этот яркий символ демократии обслуживают несколько сот лакеев, сто поваров и горничных. Кто же платит всему этому народу жалованье? Тупоголовые бараны-налогоплательщики, вот кто! Кроме этих слуг, они оплачивают еще четырех швейцаров, чья работа состоит в том, чтобы открывать двери перед важными правительственными «слонами» и «ослами», и трех дворецких, которые снуют взад и вперед и отвешивают поклоны.

Для царственного вождя демократии — Великого Белого Отца, обитающего в Белой Хижине, построено превосходное подземное логово — страшно дорогое бомбоубежище. А для его подданных, баранов-налогоплательщиков,— ничего, ибо он обещает им мир. Если начнется война, баранам придется самим о себе позаботиться. Но они довольствуются обещаниями: им не привыкать! Зато, если их укокошат, они попадут в рай, и кое-кто даже с медалями и воинскими почестями...

Их Большой-Большой Вождь, изображающий на своем лице Большую-Большую демократическую улыбку,— по сути дела король. В его честь производится королевский салют—двадцать один пушечный выстрел. Он пользуется монаршими привилегиями и монаршей неприкосновенностью. Суд не имеет над ним власти. Бараны, которых он пасет, охотно оплачивают его разъезды и удовольствия. В его личном распоряжении самолеты, поезда, пароходы и автомашины. Все-все — бесплатно. Он получает громадное жалованье. Он может передоверить подхалимам любые свои обязанности. Когда ему все надоедает, что бывает с ним нередко, он покидает свой королевский кабинет и удаляется на отдых. Привольно живется королю американских дикарей.

Дикари много говорят о мире и делают вид, что мир им нравится больше, чем война. Тем не менее они вели много кровопролитных войн и неустанно готовятся к новым. Их речи, их профессии изобличают их деятельность...

Однако при всех своих военных талантах эти дикари оскандалились перед всем миром: они проиграли войну одному маленькому племени за океаном. Не смея признаться в этом, они объявили о перемирии

◆

*К нашим иллюстрациям*

## СВЕТЛИН РУСЕВ

В многообразном и живом процессе развития современной художественной культуры социалистической Болгарии творчеству Народного художника Светлина Русева принадлежит особое место. Талантливый живописец и монументалист, многолетний и бессменный председатель Союза болгарских художников, С. Русев начал активно работать с начала 60-х годов, закончив Художественную академию по классу известного болгарского живописца Д. Узунова. Поколение художников, к которому принадлежит С. Русев, продолжило революционные традиции болгарской художественной культуры на новом этапе и сумело сказать свое новое, живое слово в живописи, графике, скульптуре и монументальном искусстве.

С. Русев обладает удивительно острым чувством гражданственности, постоянно обращается к широкому зрителю, вовлекая его в процесс творческого размышления о жизни и судьбах человеческих. Это особенно заметно в портрете и пейзаже, в произведениях, посвященных болгарской истории, и в картинах, рисующих жизнь наших современников. Художника привлекают целостные и сильные характеры, он показывает своих героев не в действии, а погруженных в раздумье. При этом художник обращает внимание на основную мысль, тему своей картины, отсюда — предельный лаконизм и особая суровая и мужественная поэтика произведений Русева, их благородный цветовой ритм и внутренняя смысловая наполненность.

С особой силой раскрывается талант художника в сериях его портретов и пейзажей. Строгие и сдержанные в цвете портреты С. Русева пронизаны стремлением показать внутренний мир человека, его богатство и духовную красоту. Многие портреты художника написаны в лучших традициях мирового искусства, исполнены широко, смело, давая представление о людях, которых С. Русев знает и любит. Каждый его портрет — яркая индивидуальность. Столь же интересны и его пейзажи, они переносят зрителя в атмосферу уютных старинных улочек Самокова, Карлова, Мелника, на набережные Дуная, где в обычных и привычных уголках городской жизни он умеет увидеть особую красоту и поэзию. Способность художника погрузить своих героев в атмосферу далекого прошлого проявилась и в его исторических полотнах последних лет; одно из них, «Свет и мрак», изображает противоборство сил света — русских воинов и болгарских ополченцев — с иноземными поработителями в эпоху русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Художник показывает момент жестокой схватки, воспевая мужество и силу народа, рвущегося к свободе. Другая картина, «День последний», также получившая широкое международное признание, посвящена антифашистской борьбе болгарского народа, его мужеству и стойкости. Внешне обе картины как бы противостоят друг другу: в первой, вертикальной по форме, почти не видны лица людей, мы в первую очередь ощущаем неодолимое движение борцов за свободу, во второй фигуры словно застыли в трагический и страшный миг — узников-антифашистов, обреченных на гибель, в следующий момент поведут на казнь. Художник дает зрителю возможность внимательно всмотреться в лица этих людей. Эта картина звучит как реквием всем антифашистам, отдавшим жизнь за Родину.

С. Русев — тонкий колорист, цвет в его произведениях всегда хорошо передает настроение, цветовая гамма его картин сложна и многогранна. В огромном и сложном современном мире борьбы за высокие революционные идеалы уверенно и страстно звучит голос болгарского художника С. Русева, своим искусством утверждающего жизнь, ее красоту и торжество победы человека.

**Е. ЛЬВОВА**

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### «ВАША СТРАНА ПРОТЯГИВАЕТ НАМ РУКУ ДРУЖБЫ...»

**Право на жизнь. Рассказы и повести. Перевод с сингальского, тамильского, английского языков. Составление и примечания А. Бельковича и А. Ибрагимова. Москва, «Художественная литература», 1979.**

*Названием этому сборнику произведений писателей Шри Ланки послужил одноименный рассказ* **Гунасены Витаны,** *генерального секретаря Фронта народных писателей Шри Ланки, лауреата международной премии «Лотос» за 1980 год. Во время пребывания* **Гунасены Витаны** *в Советском Союзе мы встретились с ним и попросили ответить на ряд вопросов.*

**— Известен ли вам состав нового сборника писателей Шри Ланки, изданного в нашей стране?**

— Да, и, конечно, приятно, что в него включены мои рассказы. Но особенно радует, что еще одна книга, представляющая литературу Шри Ланки, вышла в вашей стране. В сборнике есть очень интересные авторы. Гунадаса Амарасекара, например. Я его очень люблю. Он прекрасный рассказчик и замечательный поэт. Или другой участник сборника — Абрахам Сильва. Кажется, его впервые перевели на русский...

**— Не совсем так. Один из рассказов, включенных в сборник, «Кошачий глаз», печатался раньше в еженедельнике «Литературная Россия».**

— Хороший рассказ. Надеюсь, что советским читателям будет интересно познакомиться с творчеством этого художника. Он принадлежит к старшему поколению наших писателей, поколению Мартина Викрамасинге, который тоже представлен в сборнике несколькими рассказами. Всего в книге около пятнадцати авторов — это наши наиболее значительные современные прозаики. Их произведения рисуют реальную картину общественной жизни в стране, быт ее простых людей. Мне хотелось бы поблагодарить и переводчиков, и составителей книги, и всех сотрудников издательства «Художественная литература», принимавших участие в ее подготовке.

**— За последние годы это третий сборник рассказов писателей Шри Ланки, выходящий на русском языке. Кроме того, были еще и авторские книги — Амарасекары, Суравиры, Пуньяканте Видженаике. Пять раз издавался Мартин Викрамасинге. Добавьте к этому многочисленные публикации в периодике и сборниках писателей разных стран.**

— Для нас это пример того, как великое социалистическое государство относится к народу и культуре маленькой страны. Ведь Шри Ланка — очень маленький остров в Индийском океане. А культура у нас древняя и богатая. И земля богатая. Колонизаторы буквально дрались за наш остров. Португальцы, голландцы, англичане... Несколько веков колониального рабства. Господа менялись, но их презрительное отношение к нашему народу, его культуре оставалось неизменным. Они грабили наш остров, эксплуатировали народ, наживали огромные состояния. И ничего не делали для экономического и культурного развития страны. Это были столетия духовной тюрьмы. Почти триста лет господствовали у нас англичане. Но они и не думали знакомить мир с нашей культурой. Напротив, прилагали все усилия, чтобы помешать этому. Мы же были для них «дикари», «дети природы»... Вот почему мы так признательны Советскому Союзу за внимание к нашей литературе. Многие наши писатели стали известны в мире благодаря именно русским переводам. Кроме того, с русского наших писателей переводят на другие языки и в самом Советском Союзе, и в других социалистических странах...

**— Знают ли в Шри Ланке литературу нашей страны?**

— Свет русской литературы достиг Шри Ланки давно. Принес его к нам Чехов. В 1890 году, возвращаясь с Сахалина, он, как известно, останавливался в Коломбо. Сейчас эта гостиница называется «Тапробана». Номер, где жил Чехов, украшен портретом писателя. Думаю, Чехов оказал наибольшее влияние на литературу Шри Ланки. Крупнейший наш писатель Мартин Викрамасинге много раз отмечал необыкновенную популярность Чехова у нас в стране, его воздействие на нашу литературу. Сам Викрамасинге всю жизнь сохранял любовь и глубокий интерес к русской

литературе. Говорю об этом, потому что хорошо знал Мартина. Он был моим учителем и близким другом более двадцати лет... Можно вспомнить и других писателей, многим обязанных Чехову. Я упоминал уже Гунадасу Амарасекару — так вот, он написал несколько рассказов под непосредственным воздействием чеховских произведений.

**— Ваш собственный рассказ «Дом аристократов» тоже, видимо, создавался под влиянием «Вишневого сада»? Гибнущая помещичья усадьба, нравственная деградация ее владельцев... Правда, впечатление такое, что вас больше занимают люди, которые противостоят миру собственников.**

— Правильно! Я очень люблю Чехова, но найти свой путь в литературе мне помогли книги Горького. Если вы заметили, то и рассказ «Право на жизнь» по сути...

**— Горьковский. О людях «дна» — взрослых и детях, о духовной их красоте, о несломленном человеческом достоинстве...**

— Пожалуй, так. И разве не Горький открыл нам, сколько красоты, какие подспудные богатства таятся в душе самого простого человека, даже если он обречен на вечную нужду и страдания? Разве не Горький открыл нам высокий смысл писательского творчества — будить в таких людях гордость, осознание своей силы? Чтобы человек из раба превратился в борца за лучшую жизнь...

**— У вас есть стихотворение, посвященное Владимиру Ильичу Ленину. Несколько лет назад оно было переведено на русский язык. Ведь оно о том же — о величии и силе простого человека, обретающего социальное зрение.**

— Это стихотворение печаталось в Шри Ланке в специальном издании, посвященном столетию со дня рождения Ленина. У нас в стране личность Ленина, его работы вызывают огромный интерес. Я писал также и о великом соратнике Ленина — Луначарском. И о многих значительных представителях вашей литературы. Однажды в Москве, побывав на Пушкинской площади, у памятника поэту, я сочинил стихотворение «Разговор с Пушкиным». Несколько лет назад мы организовали Пушкинский клуб, где широко отмечаем юбилеи ваших писателей. Недавние юбилеи Толстого и Чехова превратились у нас в подлинные праздники литературы. Вообще Толстой и Чехов стали неотъемлемой частью нашей духовной жизни

**— Вы, наверное, знаете, что Толстого глубоко интересовали проблемы духовной культуры народов Востока. Он многие годы изучал индийский эпос, переписывался с Ганди. Привлекли его внимание и работы выдающегося русского востоковеда Ивана Павловича Минаева, побывавшего на Цейлоне немного раньше Чехова, в 70-х годах. Впрочем, был у Толстого и непосредственный контакт с Цейлоном. К своему 80-летию он получил поздравительную телеграмму и иллюстрированную книгу о Цейлоне от русских, живших в Коломбо Он послал им ответное благодарственное письмо—«Русской колонии в Коломбо».**

— Еще один большой ваш писатель, Иван Бунин, посетил наш остров. Затрудняюсь точно назвать год...

**— 1911-й.**

— ...зато помню изумительный образ, созданный им. В рассказе «Город Царя Царей» он сравнивает наш остров с каплей дождя, сбежавшей с Индостана, как с листа дерева...

**— Цейлонская тема у Бунина могла бы стать предметом особого исследования, настолько она значительна. Главное же, видимо, в том, что рассказы его исполнены глубокой симпатии к цейлонскому народу.**

— Да, это действительно так. И мы никогда не забудем, что именно русские писатели показали пример уважительного отношения к народу и культуре Шри Ланки. У нас уже написано несколько работ о взаимосвязях наших культур. Все большее внимание привлекают такие советские писатели, как Маяковский, Эренбург, Шолохов, Айтматов. Ваша страна, ваша сегодняшняя литература протягивают нам руку дружбы. А что может быть важнее?..

## РЫНОК ОБРАЗОВ

**Богомил Райнов. Массовая культура. Перевод с болгарского. Вступительная статья Г. Чернейко. Москва, «Прогресс», 1979.**

Зрителям фильм понравился: веселый, развлекательный, думать не надо. Аплодисментами вызывают режиссера. А он выходит мрачный, презрительно оглядывает зал и бросает: «Эту ерунду, которую я сделал, может оправдать только то, что у меня есть жена и дети и я должен их кормить!».

Горькие и безжалостные слова. А какая творческая трагедия стоит за ними! Трагедия западного художника, силою жизненных обстоятельств втянутого в конвейерное производство поделок под искусство, поневоле подчинившего свой талант жестоким законам рынка, где торгуют не простым товаром — художественными образами.

Много всякой всячины можно увидеть на прилавках этого рынка: кровавые приключения, слезливую мелодраму, похоть, примитивный ужас... Крикливо рекламируемый товар продается в разной упаковке: в форме бульварных романов, порнофильмов, комиксов, разухабистых шлягеров... Всего не перечислишь...

Но все они, эти формы, столь несхожие с виду, сродни друг другу и относятся к одному семейству — «массовой культуре».

Существует много определений этого сложнейшего (несмотря на кажущуюся простоту) явления современной западной действительности. Одни определения сочувственные, даже хвалебные, другие — критические. Да, некоторые западные обществоведы терпеть не могут «массовую культуру» Они обвиняют ее в падении нравов, пропаганде преступности, духовном оскудении. Они громогласно отлучают «массовую культуру» от «высокой», или «элитарной», культуры, с которой она на

самом деле составляет единое целое — пресловутую буржуазную культуру.

С учетом всех этих противоречивых оценок и пересудов очень важно объективно, с марксистских позиций исследовать «рынок образов». Именно так и поступает известный болгарский писатель и философ Богомил Райнов. Он исходит из того очевидного для нашей науки факта, что «массовая культура» «представляет собой производство низкопробного культурного продукта, открыто или завуалированно пропагандирующего идеи, служащие классовым целям капитализма».

В своей книге «Массовая культура» на материале, собранном в ходе многолетних и плодотворных исследований, Б. Райнов приводит развернутое доказательство правильности этого определения. Он не ограничивается одним только описанием (ярким и совершенным в литературном отношении) «рынка образов», а подробнейшим образом разъясняет читателю социально-историческую подоплеку «массовой культуры». Одновременно Б. Райнов показывает себя бескомпромиссным и остроумным полемистом: разоблачает попытки буржуазных исследователей отстоять мнимую политическую безвредность коммерческого искусства.

Спокойно и твердо болгарский писатель доказывает: система этого псевдоискусства подчиняется не только и не столько экономическим законам капиталистического производства и потребления, сколько антинародной политике, проводимой современным буржуазным государством. С помощью развлекательных штамповок на человека оказывают идеологическое воздействие. Средства доставки «массовой культуры» — массовые коммуникации — есть не что иное, как пропагандистский канал, по которому на потребу читателю, зрителю, слушателю поставляются политические мифы.

Пропаганда такого рода резко активизировалась за последнее время. Объясняется это тем, что буржуазная идеология практически исчерпала свои мировоззренческие ресурсы. Признаки кризисного состояния западного общества и его культуры становятся все более явными. В таких условиях агитаторы не могут быть чересчур разборчивыми. Все идет в дело. В том числе эрзац-искусство: только бы отсрочить неизбежную развязку

«...Необходимость контратаки против прогрессивных сил,— отмечает Б. Райнов,— в гораздо большей степени определила характер «массовой культуры», чем прибыль, получаемая ее производителями Ведь если бы дело здесь было только в прибыли, капитализм мог обеспечить ее себе и другими путями скажем продажей не идейных, а самых обыкновенных наркотиков»

Нынче «идейные наркотики» в особой цене. С их помощью правящая элита стремится превратить человека в безропотного члена безликой «массы». Элита исходит из того, что человек по ее мнению — зверь жестокий и развратный Поэтому особенно падок он должен быть на две приманки: насилие и секс. Для общественного порядка в этом особой опасности нет: современная техника позволяет создать их безобидные имитации.

Надо признать, «массовая культура» добилась больших успехов в производстве художественной эротомании и жестокости. Она создала надежный рынок сбыта. Западный обыватель, замороченный рекламой, с жадностью потребляет кровавые и эротические миражи. Горькое высказывание знаменитого американского режиссера Гриффита: «Девка и револьвер: вот что нужно публике» стало одним из главных законов «рынка образов».

Однако Б. Райнов видит нечто большее в злоупотреблении темами насилия и эротики: признаки явного разложения общественной системы.

Антигуманный тезис о врожденной агрессивности человека Б. Райнов решительно отвергает. Построенные на этом тезисе теории, начиная с психоанализа и кончая социальной этологией, не столько раскрывают природу человеческой психики, сколько снабжают пропагандистскую службу весьма ценным с ее точки зрения материалом Затем этот материал умело сортируется, обрабатывается и направляется по каналам массовых коммуникаций прямиком к публике.

«Практический эффект от популяризации биологизма и аморальности очевиден,— подытоживает Б. Райнов.— Конечной целью внедрения этих концепций является оправдание и мотивация мизантропии и пессимистического отношения к будущему человечества, а вместе с этим и утверждение зверства как характерной человеческой черты».

В главах «Легенда о Диком Западе» и «Плоды сексуальной революции» Б. Райнов раскрывает механику художественного насилия и эротики. К сожалению, в настоящем издании нет разделов, имеющихся в болгарском оригинале, где рассказывается о трактовке этих тем в бульварной литературе. Отсутствуют они по той причине, что ранее были выпущены у нас отдельной книгой. Но включить их все же следовало: без них читатель не получает целостного представления об одной из важнейших особенностей «массовой культуры».

Не менее заметное место в прейскуранте «рынка образов» занимает страх. О «высоких» пропагандистских качествах этого расхожего продукта рассказывает Б. Райнов в главе «Торговцы страхом». Он начинает издалека: вместе с читателем совершает путешествие в XVIII век. эпоху «готического романа».

Такой экскурс необходим: нельзя исследовать современные литературные кошмары, не зная, что им предшествовало. Роман ужаса, ведущий свое начало от знаменитого «Замка Отранто» Хораса Уолпола, сегодня деградировал до уровня непритязательного бульварного чтива. Правда, Б. Райнов считает, что повествования о вампирах и призраках к сегодняшнему дню вообще себя изжили: «дискредитировав себя в области литературы, жанр не капитулировал, а переместился в другие области: кино и комикс». Получается, будто литературы ужаса нет сейчас и в помине. Но это не так. Действительно, несколько лет назад наблюдался явный спад

в области кошмарной словесности. Ведьм, бесов и упырей изрядно потеснили герои научно-фантастических романов. Но сказочная нечисть не желала сдаваться. Она предприняла новое наступление на «страну литературы», пользуясь выгодной ситуацией: бумом суеверия и мистики, наблюдаемым сегодня на Западе.

«Традиционные» чудовища по-хозяйски обосновались на «рынке образов». Они убивают, жгут, насилуют, а заодно выполняют главную свою функцию: запугивают людей. Черным массовым потоком низвергается мистика на публику, угрожая психическому равновесию человека.

Поток этот ловко направляется теми, кто заинтересован в том, чтобы держать члена «массы», «презренного большинства» в суеверном страхе. Ведь страх — надежный, опробованный многовековой практикой инструмент принуждения и подавления. Страх делает человека забитым, покорным обстоятельствам. За это качество его весьма уважает буржуазная пропаганда. Недаром один западный социолог назвал страх «сильно действующим средством, используемым для того, чтобы положить конец нежелательному поведению».

И еще одну важную обязанность выполняют перечисленные выше «идейные наркотики» — насилие, эротика, страх помогают человеку на время убежать от действительности, укрыться от тоскливой повседневности за миражами, будоражащими психику или, наоборот, елейно убаюкивающими ее.

Функция эта имеет в мировой культурологической литературе два наименования: эскапизм (от английского escape — бегство, уход) и эвазионизм (от французского évasion — то же самое значение).

Одна из главных целей «массовой культуры» — создать некий фантастический, заманчивый мир, где все не так, как в жизни: веселее, ярче, разнообразнее. Где все всегда кончается хорошо. Мир этот населен сильными, мужественными и жестокими героями, волоокими красавицами, страшными, но в конце концов побеждаемыми врагами. Читатель и зритель, уставшие после утомительного и суматошного дня, в течение целого вечера могут отождествлять себя со сверхличностями: ковбоями, увешанными кольтами, капитанами пиратских бригов, светскими дамами с ослепительными плечами.

Б. Райнов убежден, что эвазионизм, осуществляемый с помощью «идейных наркотиков», безусловно вреден человеку. Эвазионизм не просто отвлекает от действительности — он целенаправленно подкрашивает эту действительность, изобретательно гримирует язвы капиталистического общества. Заманивая людей в призрачное королевство изощренно жестоких или, наоборот, изощренно слащавых теней, «массовая культура» проводит в сознание публики то, что «заботливо программируют» дипломированные пропагандисты, «преследующие свои собственные классовые цели».

Они очень хорошо понимают, какую выгоду можно выколотить из безобидной с виду развлекательности. Они твердо усвоили один из главных законов своего ремесла: пропаганда должна быть развлекательной. Одной назидательностью ничего не добьешься. Вот почему так необходимо воспитать в обывателе представление об искусстве как средстве отдыха. Вот почему обывателя раздражают попытки заставить его воображение работать, напрягаться. Он предпочитает тех авторов, которые его развлекают.

И художник вынужден подделываться под вкусы публики и приказы менеджеров, если хочет «кормить жену и детей». Ничего особенно нового в этой трагической перипетии нет. Художники и раньше, задолго до того, как появились средства массовых коммуникаций, были вынуждены порой заниматься творческой поделкой, чтобы заработать себе на жизнь.

И все-таки сегодня социальный и экономический статус творческой личности, обслуживающей систему «массовой культуры», заметно изменился. Художник превратился в одного из многих техников при поточной линии, штампующей предметы искусства.

Сказывается ли это новое положение западного художника на его даровании? Сказывается, да еще как гибельно! Но хозяева «рынка образов» равнодушны к судьбам искусства и таланта. У них свои — коммерческие и политические — интересы. Поэтому и нужен им свой художник: сладкоречивый пропагандист, разбитной затейник. Словом, эстетствующий ремесленник, который так выразительно и безжалостно показан на многочисленных примерах из книги Б. Райнова.

Примеры эти и в еще большей степени выводы, сделанные из них автором, еще раз подтверждают известное ленинское положение о партийности искусства, об иллюзорности свободы художника от работодателя и социального заказчика.

Именно это важнейшее обстоятельство тщательно замалчивается западными исследователями «массовой культуры». Против их внешне хитроумных, но в действительности уязвимых позиций направлен публицистический пафос книги Б. Райнова. Жаль только, что книга эта, изданная в Болгарии еще в 1974 году, не была переведена у нас раньше. И тем не менее она существенным образом дополняет и обновляет наши сведения о нравах, царящих на «рынке», где оптом и в розницу торгуют художественными образами. Нравах, пропитанных стяжательством, грязным политическим расчетом и враждебностью к подлинному искусству.

**В. МОЛЧАНОВ**

## МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ МИР

**Яромира Коларова. Наш маленький, маленький мир. Перевод Веры Петровой. Предисловие И. Бернштейн. Москва, «Прогресс» 1980.**

«Философы назвали человека микрокосмом (малый мир); он обнимает собою в сжатой форме все,

что расстилается во все стороны по великому миру (макрокосму)... Итак, ум человека, вступающего в мир, чрезвычайно удачно сравнивается с семенем или зерном, в котором хотя и нет в действительности формы травы или дерева, однако понятия травы или дерева на самом деле в нем существуют: как это ясно, когда семя, посаженное в землю, внизу пускает маленькие корни, а выше дает ростки, из которых впоследствии, по врожденной силе, развиваются ветви и сучья; последние покрываются листьями, украшаются цветами и плодами»,— писал в своей «Великой дидактике» крупнейший чешский педагог-демократ Ян Амос Коменский (1592—1670).

Три столетия разделяют труд чешского мыслителя и книгу его соотечественницы Яромиры Коларовой [1] «Наш маленький, маленький мир», однако не трудно разглядеть прочную нить традиции, сквозь толщу веков связывающую ученого прошлого и нашу современницу. Книга Коларовой — о вступлении человека в жизнь, о познании окружающего мира, в процессе которого выявляется и расцветает собственный мир ребенка, вмещающий в себя столь многое.

Редко встретишь писателя, в какое бы время и в какой стране он ни жил, который не поддался бы однажды искушению оглянуться назад и погрузиться в дорогие ему воспоминания детства, не покидающие человека до конца его дней. Подобное искушение может испытать и начинающий литератор, и зрелый автор, и завершающий творческий путь мастер — столь властно притягательны нестертые временем новизна и поэзия детского мировосприятия, приобретающие особое освещение благодаря опыту и воображению художника. «Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения»,— сказано у Л. Толстого в «Детстве». Читая писательские исповеди и «семейные хроники» (любимые нами по русской литературе — помимо Л. Толстого это и С. Аксаков, и Н. Гарин-Михайловский), воскрешающие безмятежную и «невозвратную пору детства», домашнюю атмосферу, светлые и темные образы людей, тесно обступавших когда-то автора воспоминаний, черты давно минувших, но долгопамятных лет, мы получаем возможность проследить начало судьбы будущего поэта или прозаика, понять истоки вдохновения и таланта, различить невыдуманное в его произведениях.

Книга Коларовой — это страницы скудного, но все же счастливого детства ее героини, выросшей на окраине Праги в не знавшей достатка семье рабочего. Счастливого — потому что нужда и постоянный вкус голода не омрачили радостного света, наполнявшего душу ребенка, не приглушили любви к смеху и лукавому юмору, с которым взирает писательница не только на свое детство, но и на всю свою дальнейшую совсем не легкую жизнь.

Естественно, что каждое детство непоправимо. Но кому не знакомо это возможное только в детстве ощущение сказочности мира, когда все вокруг, любое дерево или травинка кажутся таинственно волшебными. Когда новое утро неизменно сулит обещание счастья, для которого требуется так мало (иной раз достаточно леденца или горсти орехов, чтобы захлестнул ликующий восторг), когда самые горькие обиды быстро проходят и еще неизвестна взрослая продолжительность грусти. А эти необъяснимые детские страхи, когда ужас может внушать вполне безобидная дверь, или дальний конец улицы, или соседний двор, в который, став взрослыми и возвратившись в родные места, вы входите с привычной настороженностью — и с облегчением, но и с грустью не обнаруживаете ничего достойного опасения. И эта бессильная немота, когда столько слов и признаний рвется наружу, но, словно зачарованный, ребенок молчит, не в силах прервать сковавшего его оцепенения. И по-детски страстное желание переделать несовершенно устроенный мир и одарить всех без исключения красотой, которая в этом возрасте представляется непременным залогом счастья. И первые книжки, и первая дружба, и самая первая невысказанная любовь, которая, притворившись забытой, может снова ярко вспыхнуть через многомного лет. И первая ревность, и первые разочарования, и первая встреча со смертью.

Однако важно, что в воспоминаниях героини Коларовой (как и писательницу, ее зовут Яромирой) оживает не только маленький и вместе с тем многокрасочный и поэтический мир ее детства, полный чудесных и горьких открытий, но широко показана и чехословацкая действительность 20—30-х годов — сначала сквозь призму восприятия доверчивого и веселого ребенка и услышанных от взрослых суждений, а затем девочки-подростка, уже осознавшей царившее в стране социальное неравенство, пропасть, разделявшую нищих и господ, и усвоившей чувство достоинства и гордость бедного человека, во многом унаследованные от отца, от которого она не раз слышала: «Человек может умереть, но попрошайничать не имеет права!»

Роман воспитания? Да, но и самовоспитания. Ведь как бы ни воздействовали время, среда и семья на человека, ему с младенчества приходится совершать самостоятельные шаги и принимать решения, правильность или ошибочность которых зависит от индивидуального склада личности, его собственной натуры (вспомним Коменского). Многому героиня Коларовой могла научиться у родителей-коммунистов: честности, принципиальности, бескорыстию, непримиримому отрицанию духа наживы, чувству сопричастности к своему классу, преданности и сердечности. Но, сталкиваясь с разными сторонами жизни и порой больно ушибаясь, девочка без чьей-либо помощи вынуждена была определять, что есть Добро, а что есть Зло, и решительно отстаивать свою, пусть детскую, но с ранних лет присущую ей независимость. И одновременно — учиться самоотверженной любви, заботясь о неизлечимо больном брате.

[1] В «Иностранной литературе» публиковались главы из романа Я. Коларовой «Мой мальчик и я» (1975, № 1) и повесть «О чем не сказала Гедвика» (1979, № 2).

Школа жизни, начальные классы которой запечатлены в этом автобиографическом романе, подвергла Яромиру Коларову впоследствии многим испытаниям, и у нее достало мужества воспринять ее как школу добра — и потому, наверное, в первую очередь добру учат книги чешской писательницы.

**Н. ПОПОВА**

# *Издано за рубежом*

## «БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА»

**Disa Håstad. Samtal med sovjetïska författare. Stockholm, Askild och Kärnekull, 1979.**

**Диса Хостад. Беседы с советскими писателями. 1979.**

Интервью, казалось бы, — наиболее удобный и откровенный жанр журналистики. Что может быть проще: задал вопрос — получил ответ и поделился тем, что узнал, с читателем. Но бывает, что интервьюирующий вовсе не заинтересован в том, чтобы узнать действительное мнение собеседника,— у него уже заранее готова схема ответа. Именно с такими заведомо антисоветскими шаблонами отправлялась на встречи с советскими писателями бывший корреспондент шведской газеты «Дагенс нюхетер» в Москве г-жа Хостад, во введении к своей книге «Беседы с советскими писателями» обещающая читателю определить основные тенденции литературного процесса в нашей стране и раскрыть перспективы развития советской литературы.

Конечно, на прямое искажение ответов идти боязно: а вдруг поймают за руку, но зато можно снабдить их соответствующим комментарием, который бросит тень на собеседника, ибо г-жа Хостад тщится выдать всех советских писателей если не за откровенных «диссидентов», то во всяком случае за «критически мыслящих» по отношению к политике нашего государства. К примеру, слова В. Распутина о том, что «сейчас все русское требует защиты, бережного к нему отношения», в которых звучит естественная забота художника о сбережении национально-культурных традиций в современном мире, Хостад пытается трактовать чуть ли не в духе реакционного национального шовинизма, противопоставляя его «официальному курсу» на интернационализм.

Подобные передержки в духе «желтой» прессы; так, г-жа Хостад утверждает, что Ч. Айтматов в пьесе «Восхождение на Фудзияму» якобы выносит «суровый приговор советскому обществу в целом», в то время как пьеса одного из крупнейших писателей современности, лауреата Ленинской премии позволяет задуматься над острыми философскими и нравственными проблемами человеческого бытия, и раздумья эти, цементированные глубокой и непоколебимой верой в счастливое будущее человечества, не имеют ничего общего с досужими домыслами шведской журналистки.

А вот как г-жа Хостад пересказывает повесть В. Быкова «Сотников», пронзительное и глубокое произведение о войне, о стойкости и долге советского человека, о полном крушении предательства: «...два солдата, оторвавшись от своих, пробираются через снежные заносы Белоруссии. Один из них связан с партизанами. По пути они скрываются в одной из деревенских изб. Немцы находят их. На допросе Сотников отмалчивается. Другой солдат от всего отрекается и тем самым избегает виселицы». Возникает вопрос: читала ли Хостад повесть Быкова? Если даже и читала, то речь в данном случае идет о принципиально порочной методике: с «легкой» руки автора известный советский писатель превращается в этакого абсурдиста на западный манер, намеренно ушедшего от активного участия в решении социальных вопросов в затхлый мирок одинокой и беспомощной личности.

Подобным же образом, походя зачеркивается вся литература рабочей темы как «не заслуживающая внимания». Тогда как в книгах на производственную тематику ставятся острые социальные, хозяйственные и нравственные вопросы жизни нашего государства. Напомним «ученой» даме хотя бы о последних романах А. Проханова, А. Плетнёва, Ю. Скопа. В этих и многих других произведениях содержится немало трезвой и объективной критики наших недостатков. Так чем же эти книги не устраивают г-жу Хостад? Да как раз именно конструктивностью критики, стремлением разрешить те непростые вопросы, что стоят сегодня перед нашим обществом. Ведь наши недоброжелатели изо всех сил стараются внушить западному читателю, что в Советском Союзе «полностью» запрещена критика и «почти» запрещена культура.

Полна вопиющих несуразностей и глава о В. Шукшине. Автор утверждает, что Шукшин, «оставаясь неофициальным при жизни, получил признание лишь после смерти». И это говорится о писателе, всегда пользовавшемся заслуженной любовью советских людей, книги и фильмы которого читали, смотрели и широко обсуждали не только у нас в стране, но и за рубежом.

Подобных глубокомысленных «открытий» в книге Хостад немало. Так, оказывается, почти все писатели «деревенской темы», якобы старательно умалчиваемой в СССР, находятся вне «официального» направления советской литературы. В разряд «диссонирующих голосов» в советской литературе попадают и С. Залыгин, и Ф. Абрамов, и В. Белов. Если бы г-жа Хостад удосужилась перелистать номера «Литературной газеты» — в ней не так давно широко обсуждались столь интересующие ее проблемы «деревенской прозы»,—

то ей пришлось бы отказаться от своих выводов.

Современная советская литература о деревне, на которую так уповает автор, ничего общего не имеет с тщетными попытками увидеть советскую деревню убогой и нищей, погрязшей «в темноте и невежестве, скованной цепями патриархальности». В произведениях Ф. Абрамова, В. Белова, С. Залыгина (к сведению г-жи Хостад, не раз удостаивавшихся высшими литературными премиями) и многих других писателей, создавших великолепную прозу о деревне, речь идет о рождении новой жизни и нового человека в советской деревне, человека, духовно растущего, преодолевающего косность деревенской жизни и послевоенные трудности. Писатели-«деревенщики» смело ставят в своих произведениях важнейшие социально-политические и нравственные проблемы, содействующие революционному преобразованию деревенской жизни, ее развитию по пути прогресса.

В повести «Привычное дело» Белова г-жа Хостад увидела лишь «картину сплошного голода и нищеты», а в судьбе героя — «неустроенность и никчемность колхозной жизни». Допустимо ли писать так о прозаике с таким обостренным чувством родины, сумевшем, не скрывая ни объективных трудностей, ни сложностей, рассказать о жизни северной деревни, о величии души простого человека, его готовности к самопожертвованию, готовности, которая зиждется не только на непоколебимой уверенности в лучшем завтрашнем дне, но и на веками воспитанной любви к родной земле, к крестьянскому труду.

В таком же духе сделан и анализ повести С. Залыгина «На Иртыше». Выдавая желаемое за действительное, г-жа Хостад сводит полемический заряд повести к иллюстрации якобы губительных последствий процесса коллективизации в нашей стране. А о том, что книга Залыгина органично входит в русло современных раздумий о повышении доверия к труженику, к его хозяйственной ответственности перед обществом, г-жа Хостад умалчивает.

Надо сказать, что в последние годы произведения советской литературы находят все более широкое распространение в странах Запада. Заметно расширился и круг произведений советских писателей, выпускаемых в Скандинавских странах. Большой интерес у скандинавских читателей вызвало появление книг В. Шукшина, Ч. Айтматова, В. Тендрякова, В. Распутина, В. Белова, Ю. Трифонова, Ч. Амирэджиби и других. Однако, преследуя цель скомпрометировать советскую литературу, разномастные «советологи» прибегают сегодня к целому набору приемов — от прямой лжи в освещении событий литературной жизни в СССР и странах социалистического содружества до внешнего объективизма. Правдивость, беспощадность в обличении зла и несправедливости, борьба за социализм, поддержка всего передового и прогрессивного в мире, глубокие и искренние чувства интернационализма, коммунистическая партийность, убежденность — все то, что снискало лучшим произведениям многонациональной советской литературы добрую и вполне заслуженную славу,— по сей день вызывают злобные нападки со стороны отдельных буржуазных литературных и издательских деятелей, которые в расширении культурных обменов с социализмом увидели опасность краха всевозможных мифов и вымыслов о социалистической действительности и культуре. Одна за другой появились проникнутые духом антисоветизма книги Л. Блумквиста, П.-У. Мэллера, Н. Нильсона, О. Равнума, Э. Дальгора и К. Бъёрнагера, в которых внешний налет учености призван замаскировать тенденциозность и субъективизм критиков, заданный штампами литературной «холодной войны». В этом же ряду псевдонаучных советологических опусов стоит и книга Д. Хостад.

**ДМ. ХАЧАТУРЯН**

## ЖИЗНЬ... КАК ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА

**Nadine Gordimer. Burger's daughter. London, Jonathan Cape, 1979.**

**Надин Гордимер. Дочь Бургера. 1979.**

Слово «апартеид» может быть поставлено в один ряд с такими словами, как «нацизм» или «фашизм». Бесцветно-серое, оно, однако, наполнено страшным, поистине трагическим смыслом.

Новый роман видной южноафриканской писательницы Надин Гордимер «Дочь Бургера» тем прежде всего и интересен, что позволяет увидеть реальность, скрывающуюся за этим словом. Посвященный стране, которая дорога автору, как только может быть дорога родина, роман написан с проникновенностью, обостренной любовью и душевной болью. Любовью к родной земле пронизаны строки романа, воскрешающие природу Южной Африки, рисующие ее сельские и урбанистические пейзажи с их неизгладимым отпечатком социальных контрастов. С пристальным вниманием вслушивается писательница в голоса людей, в их споры, вдумывается в их мысли. И с нескрываемой болью размышляет над судьбами родины.

Один из центральных образов романа — образ власти. Он складывается постепенно из рассказа о полицейских облавах, о политических процессах, из подробностей человеческого существования в атмосфере подозрительности, страха и лжи. Расистская власть маниакально подозрительна, трусliва и беспощадна. Внешне спокойно, не повышая голоса, Надин Гордимер рассказывает, как власть расправляется со своими жертвами, иногда соблюдая видимость законности, иногда убивая тайно за стенами тюрем либо полицейских участков, иногда открыто бросая отряды армии против демонстрантов. Грубое насилие и внушаемый этим насилием страх — важнейшая опора режима, но, кроме того, он рассчитывает на коллективную солидарность белых, на их «автоматический расизм», воспитанный веками привилегий, культурной отчужденно-

сти, официальной лжи и подсознательного самообмана.

Однако случаи «измены» своему классу, своей «расе» многочисленны. Никакие покровы демократизма не могут утаить в ЮАР того, что господство белых зиждется на абсолютном бесправии огромной массы африканцев. И может ли человек, душа которого не оскоплена расизмом, не сознавать вопиющей несправедливости окружающих порядков? Особенно если он не склонен к компромиссу с собственной совестью, который всегда не только унизителен, но и мучителен?

Среди тех, кто бросает вызов власти расизма, были и есть люди удивительно крупные, огромного мужества и интеллектуальной силы. Таким был Абрахам Фишер, коммунист, выходец из богатой и влиятельной бурской семьи. Приговоренный к пожизненному заключению, он умер в тюрьме. Даже враги преклонялись перед его умом, стойкостью, убежденностью. Нет сомнения, что трагическая судьба этого человека хорошо известна Надин Гордимер. Не он ли и послужил прообразом самой значительной фигуры ее романа — Лионеля Бургера? В Лионеле Бургере Надин Гордимер видит сплав мужества и прозорливости, мудрости и человечности.

Суд над Бургером — это один из наиболее волнующих эпизодов романа. Говорит подсудимый, и он знает, что, может быть, последний раз в жизни имеет возможность изложить свое кредо, кредо коммуниста. Его речь занимает больше времени, чем предоставляется обвиняемому законом, но никто в зале не смеет остановить подсудимого. Не потому ли, что даже судьи услышали в его словах голос собственной, заглушаемой обычно совести?

«Этот суд признал меня виновным по всем пунктам, — с гордым достоинством заканчивает Лионель Бургер.— Если я был в чем-то уверен в моей жизни, так это в том, что я по всем пунктам действовал в согласии с моей совестью. Я был бы виновен только в том случае, если бы не стремился уничтожить расизм в моей стране». Вскоре Бургер умирает в заключении, но не исчезает со страниц романа. Надин Гордимер снова и снова возвращается к его образу. Он воскресает в воспоминаниях дочери, его имя произносят в спорах, идеи живут в делах и мыслях соратников. Постепенно человек, на несколько мгновений появившийся на первых страницах книги, вырастает в поистине историческую фигуру, силуэт которой высоко поднимается над всеми другими персонажами романа.

Время, охватываемое романом, будущие историки, возможно, назовут поворотным. Казалось бы, это эпоха наступления в ЮАР махровой реакции, но восстание в 1976 году в Соуэто, «черном пригороде» Иоганнесбурга, обнаружило, что в недрах южноафриканского общества продолжают накапливаться ферменты протеста. Взрыв в Соуэто вызвал цепную реакцию антиправительственных выступлений практически по всей стране, и, хотя они были свирепо подавлены, отныне стало ясно, что перемены в стране неизбежны. Даже власти заговорили о необходимости реформ.

Надин Гордимер, очевидно, не ставила перед собой задачи создать эпическое полотно народной жизни и политической борьбы. В центре ее повествования находится судьба дочери Лионеля Бургера — Розмари. Но, рассказывая о становлении этого характера, о формировании самосознания молодой женщины, писательница пристально наблюдает и за движением общественной мысли. Благодаря этим наблюдениям роман — при всей его «сфокусированности» на индивидуальной судьбе — воспринимается как зеркало южноафриканского общества в один из важнейших периодов его истории.

Подобно тому как от страницы к странице создается обобщенный образ расистской власти, так и портрет оппозиционных сил складывается в романе исподволь. Материалом для него служат и события в Соуэто, и городские пейзажи Иоганнесбурга, и многообразные, выразительно очерченные людские характеры. В романе есть эпизод, который особенно важен для понимания тех, кто противостоит расистской власти. Однажды вместе с приятелем-журналистом Розмари приезжает в дом кузена своей подруги — спортивного предпринимателя Фэтса. Надин Гордимер, иногда сжимающая месяцы и годы в короткую строку, здесь внимательна к каждой минуте: слышно, как стучит на блюдечке чашка с чаем в руке принесшей его девочки, как постепенно разгорается спор между белым журналистом и собравшимися в доме африканцами, как, с каким акцентом звучат их голоса. Время словно замедляет свой ход, позволяя внимательно присмотреться к тем, кто собрался у Фэтса.

Эти люди знают, что в их среде, возможно, есть полицейский осведомитель, а сама их встреча нарушает какую-то букву расистского закона. И все же они говорят открыто и смело. Дискуссия быстро накаляется. Надин Гордимер умело обнажает некую внутреннюю взаимосвязь между характерами участников спора, их общественным положением и идейными убеждениями. Фэтс, антрепренер, осуждая апартеид, готов смириться с его реальностью и довольствоваться тем ничтожным шансом на личный успех, на личное обогащение, который расистская система оставляет «черным». Ему возражает соратник Лионеля Бургера. Он убежден, что лишь единый фронт трудящихся, сплоченных вне зависимости от цвета их кожи, может разрушить расистскую машину угнетения и открыть перед всеми африканцами равные возможности успеха. С яростной горячностью высказывается юноша, который вообще отвергает любую возможность сотрудничества между «черными» и «белыми».

Историку, следящему за общественной жизнью ЮАР, явственно влияние вполне определенных политических организаций и движений за высказываемыми в дискуссии у Фэтса мнениями. Писательница же раскрывает различные человеческие характеры и социальные типы: предпринимателя-приспособленца, студента, слепо ненавидящего белых. И рядом с ними — активист Африканского национального конгресса Джеймс

Ньялуза, который, прислушиваясь к горячим речам студента Думы Дхладхлы, размышляет вслух о вине Фервуда и Форстера, этих лидеров «белого» расизма, за распространение среди африканской молодежи крайних взглядов движения «черного самосознания».

В отношении Надин Гордимер к людям, о которых она пишет, часто чувствуется тревожная обеспокоенность. Она прекрасно видит, как уродуются, извращаются людские характеры царящей в ЮАР атмосферой подозрительности, страха, официальной лжи, как в результате перестают быть естественными, нормальными человеческие отношения. Вновь и вновь возвращается она к проблеме расизма, причем ее пугает огромный заряд ненависти и враждебности, заложенный, как ей представляется, в самом фундаменте южноафриканского общества.

В этом расколотом, пугающе поляризованном мире и живет дочь Лионеля Бургера. Могучее влияние отца и матери защитило ее душу и ум от расизма, и Розмари выросла, сохранив свою естественную человечность, непосредственную прямоту не замутненных предрассудками и официальной ложью суждений. Надин Гордимер видит в ней своего рода моральный камертон, которым она выверяет, насколько неправдиво и неестественно все южноафриканское общество. Структура романа во многом подчинена задаче возможно более полного и всестороннего раскрытия этого образа. Вслед за главами, в которых повествование ведется от имени автора, идут главы, словно бы написанные самой Розой. Такой прием позволяет увидеть южноафриканское общество глазами дочери Лионеля Бургера, погрузиться в поток ее мыслей и переживаний. А вместе с тем мы смотрим на Розмари как бы со стороны, воспринимаем ее так, как видят ее друзья и враги, подмечая при этом черты поведения и характера, которые, может быть, она сама не знает за собой. Время ее свободной, полнокровной жизни коротко и ярко, словно вспышка метеора в ночном августовском небе.

Искания Розмари, несомненно, отражают собственные сомнения Надин Гордимер. Постепенно Розмари отходит от тех, кто был соратниками ее отца. У нее нет и не может быть общего языка и с теми, кто представляет крайнее, экстремистское движение «черного самосознания». Она подвергается преследованиям расистских властей. Потерянная, одинокая, она несет печать трагической обреченности.

Этот образ интересен, по-человечески привлекателен, но он же — источник некоторых слабостей и противоречий романа. Может быть, помимо воли автора в нем отразились колебания и изолированность той либеральной части южноафриканской интеллигенции, которая отчетливо видит пороки и обреченность системы апартеида, но не может преодолеть враждебности к единственной политической силе, которая предлагает разумное, трезвое и честное решение проблем ЮАР,— к коммунистам. И вот, создав удивительно яркий и жизненный тип коммуниста-борца, Надин Гордимер, словно испугавшись его притягательной силы, заставляет Розмари вести бесконечную внутреннюю полемику с соратниками отца, изображает их замкнутой и изолированной кастой. Есть в романе и антисоветские нотки, опять-таки дань писательницы предубеждениям среды.

Новый роман Надин Гордимер появился вслед за сборником ее критических статей об африканской литературе «Черные истолкователи» (1973) и такими крупными прозаическими работами, как «Почетный гость», «Покойный буржуазный мир», «Мир чужих». Критикой он был расценен как заметный творческий успех писательницы, и, действительно, роман «Дочь Бургера» — редкое не только в южноафриканской литературе произведение, обнажающее бесчеловечность и политического строя, и жизненного уклада в ЮАР. Но роман несет на себе и родимые пятна того общества, в котором он был создан. Не заметить их трудно: подобно пыли на зеркале, эти пятна замутняют видение отраженного в романе мира.

**В. ИОРДАНСКИЙ**

◆

# Из месяца в месяц

## БОЛГАРИЯ

### «ПУТЬ К ДЕТСКОМУ СЕРДЦУ»

Асена Босева, как пишет газета «Работническо дело», с полным правом можно назвать одним из немногих современных писателей, на книгах которых воспитаны целые поколения; Асен Босев — автор широко известных в народной Болгарии стихов и прозы для детей. Уже в первые годы после освобождения страны от монархо-фашизма заслужили популярность у юных болгар его стихи, призывающие любить свое отечество, свой народ, гордиться героями Сопротивления. «Все его творчество, — пишет газета «Работническо дело», — пронизано идеалами борьбы за народное счастье, идеалами человеколюбия, заботой о воспитании трудолюбивых, достойных сынов родины».

В своей новой книге «Путь к детскому сердцу» Асен Босев одновременно выступает и как талантливый поэт, и как видный общественный деятель, и как страстный публицист. По словам обозревателя газеты, в новой книге прежде всего покоряет активная социальная позиция писателя, стремление указать на личную ответственность каждого члена общества и всего общества в воспитании детей.

Диалог Асена Босева с читателем, пишет далее «Работническо дело», удивительно интересен и увлекателен: публицистическое слово подкрепляется на страницах этой книги поэтическими размышлениями автора о социальной миссии литературы. «Это — своеобразные раздумья о нас и наших детях, об искусстве воспитания и о нашем постоянном долге по отношению к нравственному и художественному миру следующего поколения». В развитом социалистическом обществе, подчеркивает газета в рецензии на книгу, созданы все реальные условия для всестороннего расцвета детских способностей и дарований. Об этом новая книга Асена Босева. И еще о том, что литература — незаменимое мощное средство в воспитании новых людей.

## БРАЗИЛИЯ

### НОВЫЙ РОМАН АДОНИАСА ФИЛЬУ

С большим интересом была встречена в Бразилии книга Адониаса Фильу «Живая плоть». Вслед за публикацией в Бразилии она вышла на испанском языке в аргентинском издательстве «Эдиториаль Судамерикана», вызвав многочисленные отклики в латиноамериканской прессе.

Адониас Агиар Фильу — таково полное имя бразильского писателя — родился в 1915 году в Баие, в том самом городе, который воспет Жоржи Амаду и который как бы воплощает африканский дух на земле Бразилии. Детство будущего писателя прошло среди простых бразильских тружеников — сборщиков какао в Итажубе. Уже в старших классах школы Адониас Фильу пробует свое перо и посылает свои статьи и рассказы в журналы. Первым его опубликованным литературным произведением был очерк «Возрождение человека». Затем появляются его книги «Слуги смерти», «Дневник писателя». Известность в Бразилии Адониасу Фильу принес его первый роман— «Воспоминания Ласаро», и вот теперь повесть «Живая плоть» принесла ему известность в других странах Латинской Америки.

В «Живой плоти» Адониас Фильу затронул тему, близкую ему с самого детства, — жизнь эксплуатируемых и обездоленных людей Бразилии, тех самых сборщиков какао, которые гнут спину под нещадно палящим тропическим солнцем и получают за свой труд столько, чтобы едва можно было выжить. С документальной точностью автор вскрывает истоки социальной драмы бразильских тружеников, показывает их нужду и беспросветное горе, обличает эгоизм и своеволие их хозяев-плантаторов — фазендейрос, думающих лишь о собственной выгоде.

Бразильский критик Афранио Коутиньо, давая высокую оценку роману «Живая плоть», пишет: «Книга Адониаса Фильу идет в широком русле мировой новеллистики и обретает значение как явление мировой культуры».

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### «СОВРЕМЕННАЯ ДЖЕЙН ОСТИН»

Так весьма лестно британские критики называют недавно умершую Барбару Пим, слава которой была недолгой, но весьма бурной. В 50-е годы, когда Барбара Пим принесла свои романы в издательство, там решительно их отклонили: слишком камерным, незначительным, лишенным какой-либо сенсационности казался мир, вставший со страниц ее произведений,— мир холостяков, старых дев, одиноких священников, словом, мир неустроенных, потерявшихся в жизни и в собственных судьбах людей.

Барбара Пим надолго замолчала. Поселилась в провинции, в той самой среде, суровым и ироничным хроникером которой она была. В 1976 году все же вновь решила попытать счастья: предложенный издательству «Макмиллан» роман «Осенний квартет» был немедленно опубликован. За ним последовали другие произведения, почти двадцать лет пролежавшие в ящике ее письменного стола. Издательство «Макмиллан» стало называть писательницу «наша Барбара Пим», известный английский поэт и литературовед Филип Ларкин громогласно объявил ее «подлинным открытием 70-х годов».

Творческий путь писательницы оборвался внезапно. Последним, законченным буквально за недели до смерти, стал роман «Несколько зеленых листьев». Героиня, Эмма Хаувик, женщина средних лет, личная жизнь которой не сложилась, приезжает в небольшой провинциальный городок, где живет ее мать. По профессии Эмма — антрополог, пишет книгу о специфике личности в провинции. Небольшая городская община дает ей богатейший материал: человеческая комедия и здесь. Перед ее глазами проходит грустная и бессмысленная в своей суете жизнь преподобного Тома Догнелла, которого даже его прихожане называют «бедный Том». Она слышит нескончаемые рассказы старожилов городка о некоей мисс Вирикер. Когда-то в пору своей юности мисс Вирикер была гувернанткой в доме местных господ. Большой дом давно стоит закрытым, он, как и его домочадцы, сильно обветшал, и лишь в памяти старых женщин этот особняк окружен прежним блеском. Такой же романтический ореол окружает и мисс Вирикер — в те далекие годы гордую и неприступную красавицу, законодательницу мод и этикета. Читатель только слышит разговоры об этой блестящей даме. Но вот он знакомится с ней — одинокой, жалкой старушкой, из милости живущей у своих молодых родственников. Чувствуя приближающуюся смерть, мисс Вирикер приезжает умирать в те края, где прошла ее молодость. Образ мисс Вирикер, пишет рецензент журнала «Лиснер» Питер Кемп, — один из самых драматичных в романе. Государству «всеобщего благоденствия» нет дела до таких, как мисс Вирикер. Иными словами, ему нет дела до людей.

В новом романе, продолжает критик, Барбара Пим в отточенных, лаконичных, полных иронии фразах дает психологически глубокий анализ одиночества. Ее герои настолько привыкли быть одни, что даже когда судьба предлагает им возможность изменить ход их грустно текущей жизни, они не в состоянии решиться на смелый шаг. Слишком тлетворен яд рутины, парализовавшей их души. И получается, замечает рецензент, что, хотя Эмма Хаувик пишет историю окружающих ее людей, на самом деле она пишет собственную историю болезни.

Не случайно в заглавие романа вынесен образ «нескольких зеленых листьев». Небольшие зеленые листья с приходом осени — старости — пожелтеют и опадут, ничего не оставив после себя. Такой бесконечно разобщенной видится Барбаре Пим жизнь ее современников.

В театре «Олд Вик» состоялась премьера спектакля «Макбет». Главную роль сыграл прославленный актер театра и кино Питер О'Тул, известный советскому зрителю по фильмам «Лев зимой» и «Как украсть миллион». По отзывам прессы, исполнение им роли Макбета впишет славную страницу в историю театра.

На снимке: Питер О'Тул.

*(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)*

---

## ГДР

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1980 год. Премии получили писатели Макс Вальтер Шульц за литературную и общественную деятель-

ность, Ганс Пфайффер «за все творчество в целом», Герхард Бенгш за произведения для телевидения, драматурги Руди Штраль «за вклад в социалистическую драматургию» и Герхард Ренцш за пьесы для радио.

Премии получили также коллективы студии Хайновского и Шоймана, творческий коллектив, создавший фильм «Невеста», режиссер Ганс Ансельм Пертен, ряд художников, скульпторов, графиков и композиторов.

## НА ТЕЛЕЭКРАНЕ — РОМАН ГЁРЛИХА

Телевидение Германской Демократической Республики показало фильм по роману Гюнтера Гёрлиха «Извещение в газете» (см. «ИЛ», 1980, № 8). «Я целиком принимаю этот фильм, — сказал писатель в интервью газете «Берлинер цайтунг». — Режиссеру Юрию Крамеру (он же автор сценария) удалось как нельзя лучше передать на экране все то, что я хотел сказать в своей книге. Работа над фильмом была нелегкой, я это знаю хорошо, так как Крамер все время консультировался со мной. Я был поражен, насколько удачными получились фигуры моих героев, они абсолютно соответствуют тем образам, которые я себе представлял, когда писал книгу. Здесь, конечно, большая заслуга актерского коллектива, умело подобранного режиссером. В первую очередь мне хочется отметить талантливую игру Александра Ланга в роли молодого учителя Манфреда Юста. Интересно сыгран Гансом Тойшером учитель Кеене, от лица которого ведется повествование в романе, удался Курту Бёве трудный и противоречивый персонаж книги — директор школы Штребелов, убедительны исполнительницы женских ролей — Петра Бартель и Кристина Шорн».

«Телевизионный фильм «Извещение в газете» посвящен проблемам современной жизни, — пишет в «Нойес Дойчланд» Петер Хофф. — Он рассказывает о взаимоотношениях людей, об их переживаниях. Фильм заставит зрителей о многом задуматься».

«Фильм «Извещение в газете» можно назвать новым изданием хорошей и нужной книги», — отмечает газета «Берлинер цайтунг».

На снимке: Ганс Тойшер в роли Герберта Кеене и Александр Ланг в роли Манфреда Юста в телевизионном фильме «Извещение в газете».

*(Газета «Берлинер цайтунг»)*

## ИНДИЯ

## ГОГОЛЬ НА ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Огромным успехом у зрителей пользуется комедия «Шах и бадшах», поставленная «Делийским драматическим клубом», входящим во «Всеиндийскую ассоциацию театра». Сюжетную основу комедии, впервые поставленной на индийской сцене, как сообщает газета «Джан юг», составляют события, изображенные в гоголевском «Ревизоре», хотя действие перенесено в Индию, а вместо российских городничих и держиморд выведены представители современной индийской бюрократии, которые принимают мелкого прохвоста за «столичную штучку» — личного представителя премьер-министра, инкогнито прибывшего из Дели.

«Хотя события, изображенные в гоголевском «Ревизоре» и его индийском варианте, разделяют почти полтора столетия, комедия звучит очень современно, — пишет рецензент газеты. — Когда смотришь спектакль, невольно создается впечатление, что в нем, как в зеркале, отразились некоторые сложности современного индийского общества, особенно наша бюрократия с присущим ей бездушием, лицемерием и коррупцией».

Индийский вариант бессмертного гоголевского творения поставил известный режиссер Хабиб Танвир, мастерство которого, по словам рецензента, сделало спектакль подлинным событием современного индийского театра.

## ИСЛАНДИЯ

### «ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ»

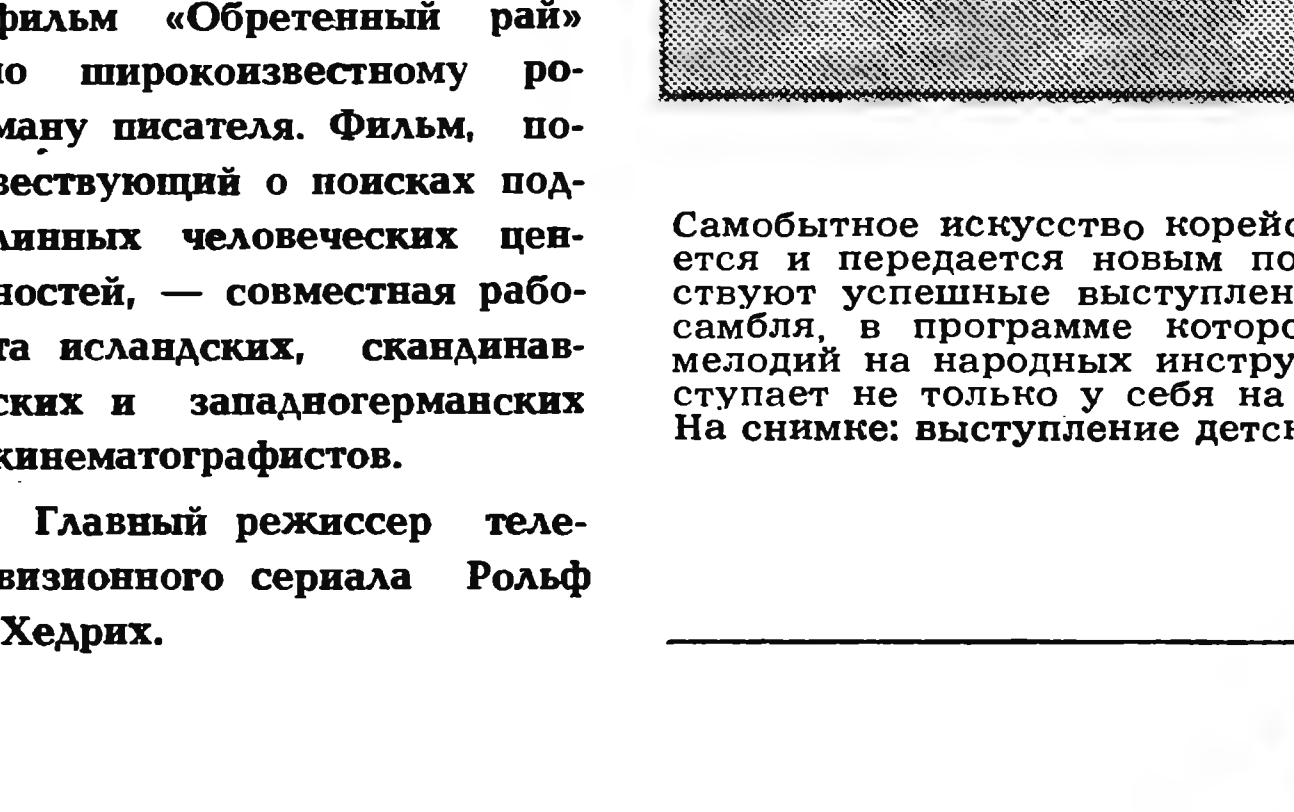
Исландские кинематографисты неоднократно обращаются к произведениям Халлдора Лакснесса. Так, лучшим фильмом фестиваля художественных фильмов в Рейкьявике в 1978 году был признан фильм «Лили», в основу которого лег одноименный рассказ писателя (режиссер Р. Гунладсон) о дружбе старого обездоленного человека с детьми. Фильм интересен еще и тем, что текст от автора читает сам Х. Лакснесс.

Сейчас исландское телевидение подготовило многосерийный художественный фильм «Обретенный рай» по широкоизвестному роману писателя. Фильм, повествующий о поисках подлинных человеческих ценностей, — совместная работа исландских, скандинавских и западногерманских кинематографистов.

Главный режиссер телевизионного сериала Рольф Хедрих.

На снимке: кадр из фильма «Лили».

*(Кинобюллетень)*



## КНДР

Самобытное искусство корейского народа бережно сохраняется и передается новым поколениям. Об этом свидетельствуют успешные выступления детского фольклорного ансамбля, в программе которого исполнение национальных мелодий на народных инструментах. Детский ансамбль выступает не только у себя на родине, но и за рубежом.
На снимке: выступление детского ансамбля в Дании.

*(Газета «Ланд ог фольк»)*

## КУБА

### О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

«Помнить о дореволюционном героическом прошлом кубинского народа, о его лучших сыновьях и дочерях, павших в борьбе за свободу родины, — значит дорожить достижениями сегодняшней Кубы», — сказал в одном из своих интервью известный кубинский кинорежиссер Энрике Пинеда Барнет.

В этих словах, по мнению кинокритика Карлоса Галиано, выражено кредо режиссера, поставившего 13 фильмов и заслужившего широкое признание и любовь зрителей у себя на

родине и за ее пределами историко-революционными лентами, среди которых такие яркие, как «Давид» (1967), «Че» (1968), «Мелья» (1975).

В новом полнометражном художественном фильме «Та долгая ночь...» (сценарий Э. Пинеды Барнета в соавторстве с А. Форнетом) он остался верен однажды избранной теме борьбы лучших людей Кубы за ее революционные преобразования. Кинолента воскрешает полные драматизма события конца 1958 года — кануна победы народной революции на Кубе, в истории которой незабываемой страницей стал подвиг Лидии Досе и Клодомиры Акосты — связных Повстанческой армии Фиделя Кастро, погибших от рук убийцы-садиста, начальника полицейского участка Эстебана Ventуры, — тема, над которой начал работать незадолго до смерти выдающийся кубинский писатель Алехо Карпентьер.

Главные роли в фильме исполнили: Лидия Досе — популярная киноактриса Ракель Ревуэльта, Клодомира Акоста — молодая актриса театра Мария Эухения Гарсиа, для которой, как и для занятых в картине Хосе Р. Маркоса, Роберто Бертранда, Хуана Паласиоса и Рейнальдо Лопеса, эта актерская работа явилась удачным дебютом в кинематографе.

«Обращаясь к прошлому Кубы в переломные моменты ее истории, — отмечает Карлос Галиано в газете «Гранма», — Э. Пинеда Барнет всегда остается верен себе и вместе с тем, ни в чем не повторяясь, ставит в каждом фильме новые проблемы, находя оригинальные художнические решения для воплощения правды самой истории.

В «Давиде» его главной задачей являлось создание средствами документального кино образа юного несгибаемого революционера Франко Паиса — руководителя подпольной организации «Движение 26 июля» в провинции Ориэнте, злодейски убитого агентами диктатора Батисты.

В фильме «Мелья», посвященном деятельности одного из основателей Коммунистической партии Кубы Хулио Антонио Мелья, Барнет воссоздал чрезвычайно сложный процесс идейных исканий передовой революционно-демократической мысли на Кубе. И не случайно в повествование органично вплетены пролог и эпилог, призванные показать преемственность освободительных идей поборника независимости страны Хосе Марти революционерами разных поколений — Хулио Антонио Мелья и Фиделем Кастро.

Новая кинолента «Та долгая ночь...» — своего рода художественное исследование роли кубинской женщины в победе революции — создана уже средствами игрового кино, хотя и не утратила своей документальной основы.

Эти три фильма — важные вехи в творческих исканиях режиссера-новатора, для которого источником вдохновения стала история кубинского национально-освободительного движения», — заключает К. Галиано.

## ПОЛЬША

### ГОД КОХАНОВСКОГО

В Польше широко отмечалось 450-летие со дня рождения выдающегося польского поэта Яна Кохановского, который, соперничая с западноевропейскими корифеями эпохи Возрождения, первый заставил почувствовать силу славянской поэзии и произведения которого сыграли решающую роль в становлении национальной поэзии.

Польские издательства подготовили издание собрания сочинений, сборников и отдельных произведений поэта, монографии о его жизни и творчестве, об эпохе Возрождения, выдающимся представителем которой он был. Так, в издательстве «Оссолинеум» уже вышли два первых тома двенадцатитомного Полного собрания сочинений Яна Кохановского, подготовленного Польской Академией наук. Наряду с этим научным изданием выходит Полное собрание сочинений поэта в популярном издании для широкого круга читателей. Государственный издательский институт (ПИВ) переиздал «Сочинения» Кохановского, а в издательстве «Чительник» вышел сборник его стихотворений.

Подготовлены фототипные издания и перепечатки первых изданий таких произведений, как «Трены», «Сусанна» («Чительник») и «Песни» («Оссолинеум»). Вышла из печати монография Януша Пельца «Ян Кохановский — вершина польского Возрождения».

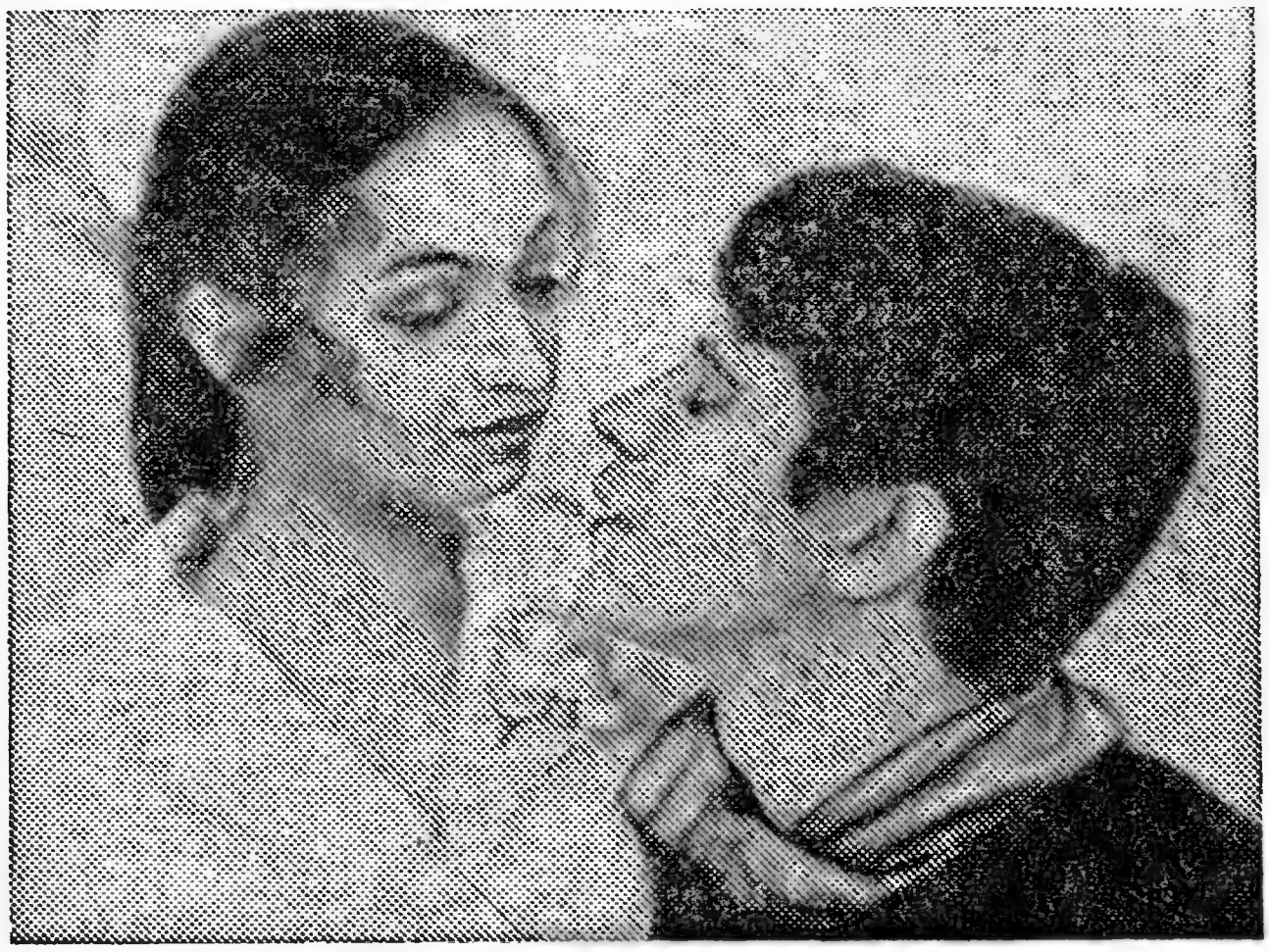
Большое значение для изучения творчества поэта будет иметь издание «Библиография сочинений Яна Кохановского».

## РУМЫНИЯ

### ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФИЛЬМ

В курортном городке Костинешть состоялся очередной фестиваль молодежного фильма СРР, на котором премии присуждаются лучшим лентам, созданным молодыми режиссерами и утверждающим высокие нравственные принципы социалистического образа жизни.

Наиболее соответствующим тематическим и эстетическим требованиям фестиваля был признан фильм «Невеста в поезде», поставленный режиссером Л. Брату по сценарию известного писателя Д. Р. Попеску. Как подчеркивает рецензент «Ромыния литерарэ» Д. И. Сукяну, творческому коллективу удалось донести до зрителя основное содержание произведения Д. Р. Попеску, утверждающего становление новых отношений между любящими друг друга молодыми людьми. Доверие, ничем не ограниченная откровенность, отказ от отживших обычаев и привычек и бережное восприятие всего ценного, что хранит народный этический кодекс, — таковы некоторые аспекты



На снимке: Аурора Леонте и Георге Вису — исполнители главных ролей в фильме «Невеста в поезде».

*(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)*

новых отношений. Фильм утверждает «веру в правду, в человеческое достоинство, — продолжает Д. И. Сукяну, — и это именно в той области, в которой тысячелетиями властвовали соперничество, рознь, жестокость, собственничество».

Справедливость решения жюри фестиваля, присудившего фильму Л. Брату несколько премий, была подтверждена и результатами массового опроса зрителей, высоко оценивших идейные и художественные достоинства киноленты.

---

ратуры, в том числе таких значительных, как роман сирийской писательницы Гады ас-Самман «Бейрутские кошмары» и повесть иракского прозаика Исмаила Фахда Исмаила «Аш-Шиях».

Недавно вышел роман сирийского писателя Ясина Рифаийи «Проход», также посвященный этой теме. Журнал «Аль-Аклям», издающийся в Багдаде, опубликовал подробную рецензию на этот роман. Автор рецензии критик Абд аль-Хамид Канджу отмечает важность и своевременность книги Я. Рифаийи, подчеркивая ее объективный характер. «Сирийский писатель, — пишет Канджу, — был непосредственным свидетелем ливанских событий, он пережил ужасные дни, когда кругом свистели пули и разрывались снаряды». Это позволило ему создать правдивое произведение, в котором описывается война в Ливане и анализируются ее причины.

---

В 1972 г. на кинофестивале в Дамаске группа молодых арабских кинематографистов провозгласила лозунг: «Создадим другое кино вместо старого коммерческого буржуазного кинематографа». За истекшее время прогрессивными деятелями кино Сирии, Ирака, Ливана, Алжира, Марокко, Туниса, Кувейта и других арабских стран был создан ряд фильмов, посвященных актуальным проблемам современности, жизни и борьбе арабских народов.

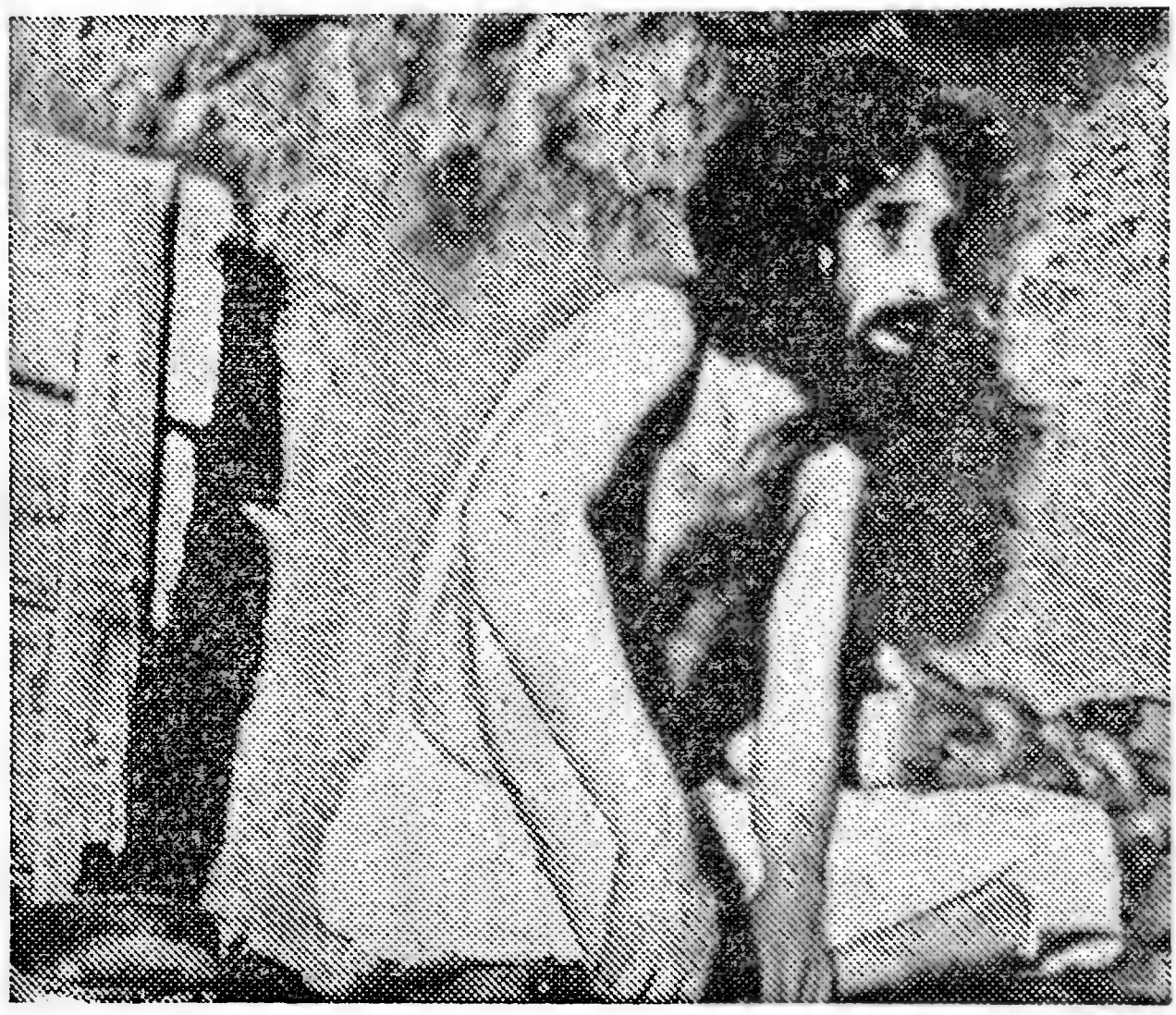
На снимке: кадр из фильма «Солнце гиен» (Тунис).

*(Журнал «Афак арабийя»)*

СИРИЯ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Трагические события, потрясшие в 1975—1976 гг. Ливан, продолжают привлекать внимание арабских писателей. Кровопролитной гражданской войне, спровоцированной в этой стране местной реакцией и стоящими за ее спинами империалистическими силами, посвящено уже немало произведений арабской лите-



На снимке: сцена из спектакля «Варвары».

*(Газета «Дейли уорлд»)*

## США

### ГОРЬКИЙ В БРУКЛИНЕ

Свой первый сезон недавно созданный в Бруклине театр «БАМ Тиетр компани» открыл «Зимней сказкой» В. Шекспира и «Варварами» М. Горького. «Варвары» идут в переводе Китти Хантер Блер, Джереми Брукс и Майкла Уоллера.

«Горький, — пишет рецензент еженедельника «Нью-Йорк ревью оф букс», — в своей социальной драме, созданной в 1905 году, подробно анализирует последствия, которыми грозит маленькому провинциальному городку строительство железной дороги. Он пишет об алчности и косности его жителей, толкающих их на самые неожиданные поступки, заставляющих испытывать самые неожиданные чувства... Благодаря прекрасной игре актеров спектакль был тепло встречен зрителями».

## ФИНЛЯНДИЯ

### ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

Как пишет финский киновед Эркка Лехтола в журнале «Финленд», в стране сейчас снимается несколько интересных фильмов. На создание этих картин затрачено немного средств, они не отличаются помпезностью, но полны внутренней силы. В каждом фильме четко прослеживаются нравственные позиции режиссера. К подобным работам можно отнести такие фильмы, как «Танец ворона» и «Правильно, парень!».

Фильм «Танец ворона» снят режиссером Маркку Лехмускалло, это его первый полнометражный фильм. Картина была показана на международном кинофестивале в Западном Берлине (февраль 1980 г.) Он повествует о взаимоотношении человека и природы, в то же время это обвинение человеку, который часто нарушает ее равновесие.

Начало фильма посвящено показу удивительных по красоте картин природы (режиссер провел более трехсот дней «на натуре», снимая свой фильм), которые служат фоном всему фильму. После такого пролога начинается непосредственно история героев картины. Это финская семья, живущая в лесу, где люди подчиняются старым обычаям и нравам. Цивилизация далеко отсюда, и она не нарушает привычный уклад жизни героев фильма. Однако вскоре начинаются перемены — в лесу строят дорогу. Сначала слышатся лишь голоса людей и звуки машин, но опасность, нависшая над лесом, становится все реальнее. Птицы и звери покидают лес.

Это правдивая, невыдуманная история жизни простых людей, врагом которых стала цивилизация. Фильм Маркку Лехмускалло лаконичен и выразителен, он предостерегает людей от чрезмерной эксплуатации природы.

На снимке: кадр из фильма «Правильно, парень!».

*(Журнал «Финленд»)*

Фильм режиссера Тапио Соуминена, сценаристов Ирьё-Юхани Ренвалла и Пекка Айне «Правильно, парень!» также заслуживает внимания. Это полнометражный художественный фильм о молодых людях, которые бесцельно и без пользы тратят свои силы, не зная, к чему их приложить. Они «прожигают» жизнь, чтобы как-то заполнить окружающий их вакуум человеческих чувств. Школьные преподаватели тоже не знают, что делать с этими ребятами, которые живут в мире, далеком от школьных учебников.

Учителей в фильме играли настоящие преподаватели, а игра немногих профессиональных актеров органично сочеталась с игрой основного состава — молодых исполнителей, непрофессиональных актеров.

В Финляндии ставятся и документальные фильмы, в которых используются также элементы игрового кино. Например, фильм «Война, оставшаяся позади». Режиссер и сценарист фильма — Микаэл Вальфорс. Фильм— о событиях гражданской войны в Испании, о жизни Интернациональной бригады. Герои картины — четверо финнов — ветеранов этой войны. Это драматический рассказ о любви и смерти на войне. Подлинный документальный материал, снятый в Испании известным советским режиссером Романом Карменом, чередуется в фильме с игровыми кадрами.

## ФРАНЦИЯ

### ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Внимание французской критики привлек первый роман Доротеи Летессье «Путешествие в Пэмполь» (издво «Сей»), посвященный жизни заводской работницы. Героиня романа, молодая женщина Маривонна, так же как тысячи других работниц, с нетерпением ждет конца смены, чтобы скорее вернуться домой к мужу и ребенку. Но наступает день, когда она чувствует, что счастье, которое озаряло в первое время ее семейную жизнь, после рождения ребенка погасло, уступив место гнетущей тоске, вызванной беспросветным трудом на заводе и бесконечной домашией каторгой.

Чтобы изменить свою жизнь, Маривонна становится профсоюзной активисткой на заводе, борется за права рабочих. А дома она по-прежнему чувствует себя опутанной паутиной беспрерывных мелких забот, запертой в клетку. «Я задыхаюсь,—думает она.— Мне нужен глоток свежего воздуха». И она совершает неожиданный для самой себя поступок — садится в автобус и едет за 40 км в курортный город Пэмполь. Там она проводит ночь в отеле и утром возвращается домой. Войдя в свою квартиру, она видит, что ее муж уехал. Будет ли его путешествие столь же кратким или мечты о свежем воздухе уведут его далеко от семьи, неизвестно. На этом роман заканчивается.

Однако размышления, возникшие у Маривонны во время этой короткой передышки, дают возможность читателю многое увидеть в новом свете. Например, как пишет Бертран Пуаро-Дельпеш в «Монд», «Бретань, в которой живет героиня, для автора романа прежде всего важиа жизнью и трудом ее рабочих, а не только как курорт для туристов. Ее повествование о работе на заводе — откровение... Оиа рассказывает о том, что конвейер — это нечто неописуемое. Туда приходят, давая себе слово уйти через два месяца, и остаются до конца своих дней... После изматывающего труда в цеху невозможно почувствовать себя свободным... На всем остается свинцовая печать производства, даже на том, что делаешь дома. Нежность становится неуместной. Настоящую жизнь можно ощутить лишь в форме ностальгии, недостижимой мечты... Но Доротея Летессье не ноет. У нее есть своеобразный юмор и скрытая иежность, роднящие ее с Саган... «Путешествие в Пэмполь»— это глоток свежего воздуха прежде всего для нас».

Д. Летессье — 26 лет, она работает в Сен-Брие (Бретань) на заводе Шаффото. Она квалифицированный рабочий, так же как и ее муж. У нее — четырехлетний сын и скоро будет второй ребенок. Роман «Путешествие в Пэмполь» был написан после крупной забастовки на заводе Шаффото. Д. Летессье — активистка профсоюза, член бюро ВКТ.

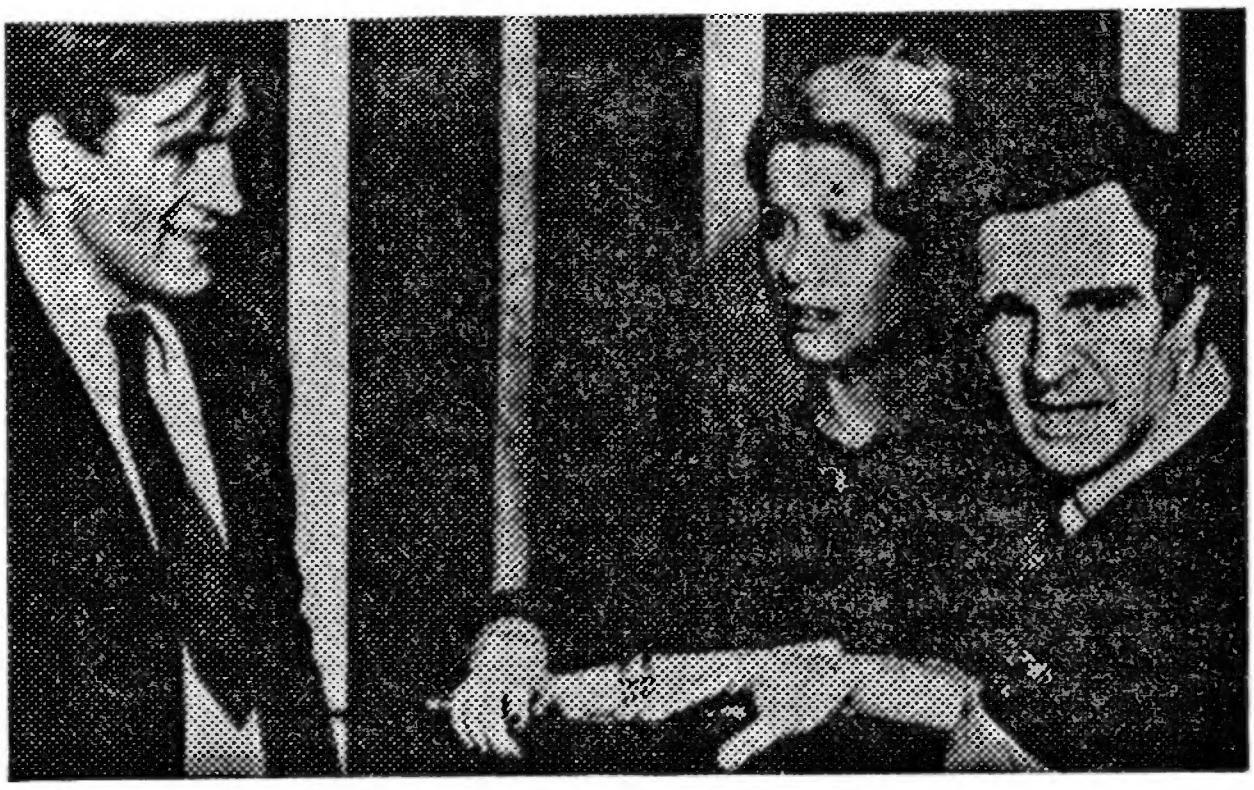
Критик «Юманите» Арно Спир пишет: «Доротея Летессье сумела между восемью часами на заводе и своим вторым рабочим днем матери семейства написать роман и к тому же хороший роман, замеченный критикой. Это знамение времени. Слово работницы нарушило молчание, которое до сих пор окружало завод в нашей литературе...»

### «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»

Режиссер Франсуа Трюффо, начавший свою деятельность в кинематографии в 1958 году как представитель направления «новой волны», автор фильмов «400 ударов», «Жюль и Джим», «451 по Фаренгейту» и др., снимает новую картину «Последнее метро», посвященную жизни парижского театра во времена оккупации.

На страницах журнала «Синема франсез» режиссер объясняет причины, побудившие его обратиться к этой теме: «Я прочел воспоминания Жана Марэ и других французских актеров. Самыми увлекательными оказались главы, описывающие период оккупации. Тогда я перечитал с десяток работ об этом времени, принадлежащих перу французских журналистов и театральных деятелей. Мне уже давно хотелось создать фильм о годах оккупации, да и тема театра тоже привлекала меня. В фильме «Последнее метро» мне представилась возможность объединить эти две линии».

Далее Ф. Трюффо сообщил, что жанр фильма можно определить как драматическую комедию, «где смешано грустное и веселое и до самого финала так и неизвестно, куда перетянет чаша весов». Роль



На снимке: Жерар Депардьё, Катрин Денёв и Франсуа Трюффо на съемках фильма «Последнее метро».

*(Журнал «Фильм»)*

главной героини режиссер поручил Катрин Денёв, в которой его привлекает «способность показать на экране не только видимую, но и скрытую жизнь персонажа». Катрин Денёв исполняет роль жены театрального директора, вынужденного покинуть Францию. На ее плечи легла вся тяжесть ответственности за существование и работу театра. В те годы, добавляет режиссер, возможно по аналогичным причинам, многие театры возглавляли женщины.

Название «Последнее метро» не случайно, объясняет Трюффо. Спектакли в период оккупации должны были заканчиваться к последнему поезду метро.

«В те трагические годы театр был для людей единственной отдушиной, прибежищем от страха, холода и одиночества». Не случайно, замечает Трюффо, именно в это время создавали свои лучшие пьесы Ануй, Сартр, Монтерлан, Клодель. «Представление должно продолжаться» — таков был знаменитый театральный лозунг тех лет.

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### «КРАКАТИТ» СНОВА НА ЭКРАНЕ

Творчество Карела Чапека всегда было источником вдохновения режиссеров самых разных талантов и пристрастий. Чаще всего они обращались к драмам и романам-утопиям 1920 — 1927 годов, в которых явно прочитывался предостерегающий контекст. Уже в то время Чапек понял, что техника опережает развитие человеческой морали и потому существует реальная угроза злоупотребления техникой. Именно об этом и был роман писателя «Кракатит». Но не только об этом. Знаменитый писатель ставит и другую проблему: до какой степени отвечает ученый за последствия своего открытия.

«Кракатит» был написан в 1924 году, спустя шесть лет после окончания первой мировой войны. Казалось, все ужасы, связанные с мировой бойней, позади. Но уже были открыты основные законы атомной физики, и, хотя эта наука стояла у истоков своего развития, обостренное чутье писателя-гуманиста уловило опасность новых открытий в свете политических событий в Германии, где к власти пришли нацисты.

До осуществления своего предвидения — трагедии Хиросимы и Нагасаки — Карел Чапек не дожил. Он умер в конце 1938 года. Но с каждым годом предостережение человечеству, прозвучавшее в романе «Кракатит», становилось все более актуальным.

Вот почему спустя два года после того, как были сброшены атомные бомбы на японские города, кинорежиссер Отакар Вавра обращается к роману Чапека. Он полностью воспроизводит фантастический контекст романа, акцентируя тем не менее реальную угрозу изобретения, способного уничтожить жизнь. И все же в фильме было много от символической борьбы гения зла с гением добра. Причем эту борьбу изобретатель вел в фантасмагорическом горячечном сне, от которого в конце концов пробуждался.

Прошло три десятилетия. И Отакар Вавра вновь обратился к роману Чапека. Ведь его предостережение не устарело.

В новой экранизации «Кракатита», которая носит название «Темное солнце», как сообщает журнал «Чехословацкое кино», режиссер использовал только основную фабулу романа и некоторые сюжетные линии. Главное же внимание он сосредоточил не на судьбе молодого ученого, его поисках и борьбе за мирное использование своего открытия, а на судьбах всего человечества.

В исполнении Радослава Брзобогатого инженер Прокоп не мечтатель-гуманист, каким он был в первой экранизации. Это уверенный в себе, решительный, досконально знающий свое дело ученый-атомщик. Его изобретение становится центром внимания государственных интересов определенной части мира. Его похищают, и в роскошных лабораториях «Атлантика» директора и вице-президенты некой корпорации требуют от него формулу кракатита, использование которого означало бы господство над миром.

Все перипетии инженера Прокопа уже не горячечный сон, от которого можно пробудиться, так как деятели, мечтающие о бомбе, после взрыва которой «все останется, и только люди исчезнут», существуют на самом деле. Правда, им противостоят силы мира. В фильме это мировое сотрудничество Союза народных государств и ученых, чувствующих ответственность за будущее мира.

На снимке: кадр из фильма «Темное солнце».

*(Журнал «Чехословацкое кино»)*

**Фантастическим в этом фильме можно назвать только конец. Апокалипсическую картину мира после взрыва. Мира без человечества...**

**Но эти кадры еще раз напоминают об ответственности ученых за будущие судьбы мира. И не только ученых, но и всех людей на земле.**

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 10.11.80. Подписано в печать 17.12.80. А 11287. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 27,71.

Тираж 520.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.) Зак. 3698.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

16 ИЛ

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394